Г. И. УСПЕНСКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
3

Г. И. УСПЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Г. И. УСПЕНСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 3

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАБОТЫ

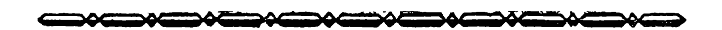
ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1956

Издание осуществляется
под общей редакцией
В. П. ДРУЗИНА

Подготовка текста
Р. П. МАТОРИНОЙ

Примечания
Р. П. МАТОРИНОЙ
и Г. М. ФРИДЛЕНДЕРА



НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАБОТЫ

1. КНИЖКА ЧЕКОВ

(Эпизод из жизни недоимщиков)

I

Иван Кузьмич Мясников, купец и фабрикант, покончив дела, за которыми нарочно приезжал в губернский город, возвратился в грязноватый нумер грязноватой гостиницы, приказал запрягать лошадей и стал собираться в дорогу.

— Что ж, Иван Кузьмич, мало погостили у нас? — помогая уложить весьма небольшое количество вещей отъезжавшего, говорил трактирный слуга. — Право, совсем и не погуляли в городе-то...

— Нагуляюсь потом. — Слава богу, хоть отделался!

— Всё ли благополучно покончили?

— Все!.. хорошо! На-ко вот погляди эту штучку.

Мясников вынул из-под жилета и подал коридорному какую-то маленькую книжку, которую тот с недоумением взял в руки и долго с тем же недоумением смотрел на нее.

— Это что же будет?—спросил, наконец, коридорный.

— А это, друг любезный, — с довольным и веселым лицом проговорил Мясников, — эта штучка стоит пятнадцать тысяч рубликов! Вот что это такое!

— Этакая муха? Пятнадцать тысяч?..

— Да-да, муха, пятнадцать тысяч... Как ты думаешь? Что?

— Да тут все бумага... все одно, как книжка... Тут денег-то нет нисколько...

— То-то вот и хорошо!.. Поди-ко узнай, что это — деньги!.. Чистая бумага, а пятнадцать тысяч в ней весу!.. Называется — чек!

При этом слове лакей повернул перед собою книжку, поглядел на нее с другого бока и уставил ничего не понимающие глаза на купца.

— Это видишь что... Сейчас ты отодрал лоскут и получай деньги!.. — пробовал было объяснить Мясников, но так как и при этом коридорный ровно ничего не понял, то хозяин книжки чеков должен был начать рассказывать ему банковые дела со всеми подробностями. Нельзя сказать, чтобы изложение этих дел, продолжавшееся довольно долго, уяснило коридорному значение книжонки, которую он не переставал держать в своих руках, по временам останавливая на ней внимательный взгляд, тем не менее, когда речь купца была, наконец, кончена, коридорный вздохнул и в каком-то раздумье произнес:

— Да-да!.. Мала-мала штучка, а какую прорву денег вобрала!

Это выражение очень понравилось хозяину книжки.

— Питательная книжка, точно! Именно что впитала!

— Пятнадцать тысяч! — продолжал коридорный: — ведь это в старые годы деревня, да сколько душ крестьян, да лесу... И этакая-то муха слопала!

Слуга замотал головою в знак полного недоумения и отдал книжку купцу, который, продолжая быть вполне довольным, спрятал ее опять под жилет.

— Грехи-грехи! — почему-то пришло коридорному в голову.

Разговор был прерван появлением кучера, который доложил, что все готово.

II

Через час тележка, в которой, закутавшись в мерлушечью шубу (на случай ночных осенних заморозков), сидел Мясников, ехала далеко за городом по проселочной дороге. Иван Кузьмич дремал, болтая головой справа налево и спереди назад. По временам он шарил у себя на груди под шубой, желая удостовериться, тут ли книжка, и всякий раз, когда рука ощупывала ее, ему почему-то тотчас же припоминалось выражение трактирного слуги: «вобрала»; это слово оживляло его и заста-

вляло невольно припоминать, что́ именно она вобрала в себя. Но чем яснее представлялись ему составные части этих тысяч и этой книжонки, которая так искусно всосала их, тем менее хотелось спать и становилось как-то скучнее.

Однажды Иван Кузьмич даже вздохнул.

Отчего это? Неужто книжонка «вобрала» в самом деле уж очень много? С другой стороны, неужели в самом деле Иваном Кузьмичом положено в эту книжку так много труда, что мысль об этом труде, явившаяся вслед за вздохом, совершенно успокоила его, до того успокоила, что он уже не вздыхал больше ни разу, а скоро и совсем заснул?

Необходимо обстоятельнее познакомиться с Иваном Кузьмичом и его деятельностью, чтобы ответить на все вопросы, толпящиеся вокруг книжки чеков.

Иван Кузьмич, как уже сказано, принадлежит к купеческому званию, хотя ровно ничего не имеет общего с тем типом «купца», к которому привык читатель, которого он видел и в лавке и на сцене. Между Иваном Кузьмичом и «купцом» старого типа ни в фигуре, ни во взглядах, ни в манере деятельности — нет никакого сходства.

Старомодный купец, как скажет всякий, кто имел с ним дело, жил обманом, богатство приходило к нему темными путями, и слова «темный богач» так же справедливы по отношению к старомодному купцу, как поговорка: «не обманешь — не продашь» — справедлива относительно его деятельности. В нем все было обман. Женился он обыкновенно не на женщине, а на сундуке, но притворялся, что он — семейный человек и живет в страхе божием, зная, что все в его семье точно так же притворяются и лгут, как и он сам. Обходительность и ловкость, которыми он щеголял перед покупателем, пришедшим к нему в лавку, были не более как средством «отвести» покупателю глаза, «заговорить зубы» и всучить тем временем гнилое, линючее или спустить против настоящей меры на вершок, а то и на целый аршин, если удастся... Так думали про старинного купца все, да так думал и он сам, потому что, хоть иной раз он и наживал большие капиталы, хоть иной раз и ловко удавалось ему «обойти» покупателя, — в глубине души он чувствовал, что дело его «не чисто», что каждую минуту его могут

уличить и поступить на законном основании, да и на том свете, пожалуй, будет не очень хорошо. Вот почему старомодный купец считал своею глубокою обязанностью радеть ко храму божию, заглушать голос совести стопудовым колоколом или пудовой свечкой местному образу, с которою он обыкновенно, пыхтя и обливаясь потом, пробирался посреди толпы, наполнявшей храм, толкая публику направо и налево. Жертвы храму божьему успокаивали его душу, сознававшую, что она не очень чиста, но едва ли они могли успокоить его насчет неумолимого закона, которому нельзя ставить никаких свечек, который не нуждается в колокольном звоне. И действительно, закон, начиная будочником и кончая губернатором, постоянно стоял над старомодным купцом в самом угрожающем виде. Купец был дойною коровою всех, кто представлял собою какую-нибудь власть. Он давал взятки, подносил хлеб-соль, жертвовал, подписывал на альбом видов, который общество задумало поднести значительному лицу, проезжавшему из столицы, делал иллюминации «в честь»... участвовал карманом в каком-то аллегри «в пользу» и т. д., не говоря о том, что пирог с приличной закуской — причем всегда должна быть отличнейшая икра и редкостнейшая рыба (две вещи, неразрывно связанные с словом «купец», как неразрывно связана с этим же словом «лисья шуба» и возглас: «кипяточку!») — этот пирог не сходил у него со стола для званых и незваных. Квартальный, городничий, частный пристав, брандмейстер, судейский крючок, ходатай и т. д. — все это шло к нему в дом, в лавку и брало деньги, ело икру, рыбу, пило водку, постоянно грозилось и требовало благодарности за снисхождение. Старомодный купец всем платил, всех кормил, чувствуя себя виновным, и только миновав все эти препоны, то есть накормив, оделив всех, мог завтра опять «заговаривать зубы» и «отводить глаза». Недаром стародавний купец одевался в лисий мех: нечто лисье было во всей его деятельности, а травля, гораздо более оживленная и деятельная, чем бывает травля на настоящую лисицу, преследовала старомодного купца изо дня в день, из года в год. И вот, налгавшись вдоволь, напотевшись за чаем и из страха наказания за свои плутни, этот лиса-человек кончал тем, что под конец жизни прятал свои деньжонки,

скопленные обманом и криводушием, в сундук и, чтобы спокойно дожить остаток дней, должен был притворяться нищим, уверять всех и каждого, что у него за душой нет копейки, а в доказательство справедливости этих слов — питался одной только редькой.

Ничего общего с этого рода типом Иван Кузьмич Мясников не имеет; в физиономии его нет ни той слащавости, которая замечалась у прежнего купца в моменты спускания аршина на четверть против настоящей меры, ни страха, являвшегося при появлении квартального. Напротив, физиономия Ивана Кузьмича — физиономия смелая, уверенная, и эту открытую смелость Иван Кузьмич не прячет даже в бороду, потому что «по нонешнему времени» он эту бороду бреет. Такая существенная разница между старым и новым представителем капитала объясняется тем, что старый тип считал свое дело в глубине души «не совсем чтобы по-божески», а новый, напротив, ничуть не сомневается в том, что его дело — настоящее и что отечество даже обязано ему благодарностью за то, что он жертвует своим капиталом на общую пользу, и хотя действует из личных выгод, но зато дает другим хлеб, оживляет «мертвые местности» и капиталы, как пишут в газетах (с которыми Иван Кузьмич частию знаком), капиталы, которые, по словам газет и по убеждению Ивана Кузьмича, бог знает сколько времени лежали бы без движения, если бы он, Мясников, не приложил к ним своих рук. В этом убеждении Ивана Кузьмича укрепляет общественное мнение, мнение печати и та действительная нищета, среди которой его капиталы, его хлеб — действительно благодеяние. Вот почему взгляд его прям и прост, вот почему ему нет надобности ни вилять, ни бояться: он действует на законном основании. И нет поэтому Ивану Кузьмичу никакой надобности тащить к местному образу пудовую золоченую свечку, чтобы тем успокоить свою совесть, — совесть эта покойна, потому что Иван Кузьмич «дает просто оборот своим капиталам», а это не запрещено, и в писании ничего грозного на этот счет не сказано. Вот почему и причт того прихода, к которому принадлежит Иван Кузьмич, уж и не ждет от него никакого финансового поощрения, раз навсегда решив, что тут много «не пообедаешь», «не разъешься». Действуя на законном основании,

Иван Кузьмич совершенно покоен и с этой стороны, зная наверное, что его никто не посмеет тронуть: на все у него есть патенты; везде заплачено что следует; без заискивания, без страха, не с заднего крыльца, не тайком в темном углу сунуто, «дадено» в руку, а прямо «заплачено» «что вам следует», и благодаря этому начальство не только не может принять относительно его той угрожающей позы, в которой оно постоянно фигурировало пред купцом старого типа, но по примеру духовенства знает, что тут «больше не ухватишь», и держит себя в почтительном от Ивана Кузьмича отдалении. Словом, сознание, что капитал — сила, что прятать его в сундук — глупость, что делать на этот капитал оборот, что покупать и продавать можно решительно все, что продается и покупается, что получение барыша тоже вполне разрешено и допущено, — все это проводит резкую границу между старомодным купцом и купцом нового типа и делает последнего спокойным, уверенным и не боящимся ничего ни здесь, ни там.

И вот, вместо того чтобы по старому обычаю, отправляясь в дорогу по делам, отслужить с водосвятием напутственный молебен, как это делал прежний купец, когда ехал за гнилым товаром в Москву; вместо того чтобы дать окропить себе лицо и окропить внутренность кибитки и даже внутренность шапки ямщика, Иван Кузьмич, в качестве «нового типа», кладет в карман шестиствольный, заряженный шестью пулями револьвер и совершенно спокойно отправляется «оживлять» мертвые места и капиталы, отправляется в глубину русской глуши, где этих капиталов везде лежат непочатые углы, совершенно недоступные для купца старого закала.

И, словно сказочный богатырь, наделенный непомерною силою денег, Иван Кузьмич начинает буквально двигать горами. Прикоснется он с своими капиталами к дремучему темному бору, грозно шумевшему тучам и грозам: «вороти назад, держи около», и с материнской заботливостью дававшему приют тысячам зверей и птиц, и — глядишь, в две-три недели после появления в этом лесу Ивана Кузьмича — лес исчез, и уж больше нет этого дремучего богатыря! Разбежался зверь; с шумом, карканьем и плачем разлетелись птицы, и остались одни бревна, кое-где придавившие зайца, спасавшегося бег-

ством, поленницы дров, брусья. А скоро и это исчезнет отсюда, и останется голое, изрытое место да деньги в кармане Ивана Кузьмича, какие-то разноцветные маленькие бумажки, которые тотчас вновь идут в дело, и — глядишь, где-нибудь в другом глухом уголке идет стон и рев, и рекою льется кровь быков, свиней и овец... Стадо превращается в мясо, в солонину, в сало, в шкуры, в пуды, в фунты — и все это скоро исчезает, уезжает на скрипучих возах, оставив после себя пустое пастбище да бумажки разноцветные в кармане Ивана Кузьмича, тотчас идущие на какое-нибудь новое дело... Но какого бы рода дело это ни было, всегда что-то очень похожее на опустошение, на исчезание, на смерть чего-то, что было и чего не стало, остается по приведении этого дела к окончанию. Надо отдать справедливость твердости характера и нервов Ивана Кузьмича: он никогда почти не испытывал этого ощущения смерти — ни тогда, когда, треща и крича испуганными птицами и не хотевшими сдаваться топору стволами, падали тысячи деревьев, ни тогда, когда под ножом умирали тысячи быков, тысячи рыб, ни тогда, когда тысячи других тварей, оставленных живыми, с ревом, хрюканьем или беспомощным блеяньем, битком набитые в вагоны, крепко-накрепко запертые, увозились на убой неведомо куда. Все это было для него: триста двадцать пять сажен дров, пятьсот пудов сала и столько-то голов скота. Покончив со всеми этими еще недавно живыми саженями и пудами, он чувствовал только усталость, утомление и убеждался, что деньги достаются не даром, что труда он кладет в них много и что прозвища «благодетель», «кормилец», которые иной раз приходилось Ивану Кузьмичу слышать в оживляемых им глухих местах, «пожалуй что» и справедливые прозвища.

И в самом деле, как в сущности ни проста система оборотов капитала, которой придерживается Иван Кузьмич, как ни прост прием обогащения, основанный на том, чтобы в корень извести все, что произвели природа или чужие руки, как ни просто, проглотивши этот многолетний труд природы и человека, положить потом себе в карман чистые деньги, но условия жизни глухих мест бывают иной раз таковы, что и такая система действия, такая голая купля готового добра, такое бесследное уничтожение естественных и трудовых богатств могут,

поистине, считаться благодеяниями, а Иван Кузьмич — действительным благодетелем...

В самом деле, что такое было, например, в деревне Распоясове, где теперь властвует Иван Кузьмич и куда он теперь едет, прежде нежели появились в ней капиталы Ивана Кузьмича?

III

Лет шестнадцать, семнадцать тому назад вся «окру́га», ныне облагодетельствованная Иваном Кузьмичом, смело могла быть причислена к одной из самых обыкновенных на Руси глухих местностей.. Поля были бесконечные, оживленные только скачущими галками и воронами или фигурой крестьянина с сохой, издали весьма напоминавшего собою тоже ворону. Лес, темневший по окраинам этой холмистой равнины, был лес глухой и дремучий; летом, в самый разгар полуденного зноя, в глубине этого леса чувствовалась прохлада, пахло влажной землей, и нога вязла в грудах сгнившей и тоже влажной листвы. Солнцу было трудно проникнуть сквозь густую чащу ветвей и листьев, и только иногда луч его, как алмаз, блестел где-нибудь на поверхности быстрого ручья, гремящего по оврагу, совершенно затерявшемуся в обильной растительности... Глушь и тишина царствовали здесь поразительные; лес стоял словно в заколдованном сне. Привольно жилось здесь зверю и птице; великое множество было здесь кустов с ягодами; великое множество рыбы сновало в быстрой речке... И никто не прикасался к этим сокровищам, и никто, казалось, не вспоминал и не думал о них... Раз или два в течение двух-трех лет, в летнюю или осеннюю пору, удавалось кой-кому увидать выбегающего из лесной чащи сеттера, и по этой собаке догадывались, что барин воротился из-за границы и охотится в своих владениях... Нагнув голову и заложив руки назад, рассеянно бредет он вслед за обезумевшей от обилия дичи собакой и о чем-то, по-видимому, скучает, о чем-то крепко думает; ружье лениво болтается у него за спиной. О чем же думал барин? Думал он, несомненно, об очень многом, но выходило всегда как-то так, что думы эти ничуть не изменяли печального положения тех мест, где бродил он;

несмотря на обилие всего, что росло и жило в лесу и реках, находившихся во власти этого барина, несмотря на громадные пространства полей, — леса эти, и поля, и реки и после его отъезда за границу (он был болен) оставались в том же забвении; кое-где среди бесконечных владений его торчали черные, нищенские деревеньки, виднелся тощий скот и тощий человек, носивший уже кличку «вора» и «неплательщика», потому что действительно покушался прорваться в эти дебри за дровами, за ягодами, за рыбой, норовил урвать тайком, а что «следовало» платить — платил не иначе, как из-под палки.

Богатство стояло забытое, никому не нужное и никому не доступное. У барина пропадал аппетит охотиться в лесу, где каждый выстрел попадал в цель, — так было много всякой твари; у мужика не было дров зимою, и он зяб в разоренных лачужках, выводился со связанными руками из леса, если, конечно, попадался на глаза сторожу, или уходил без ружья, если тот же сторож запримечивал в нем намерение убить тетерьку. Вот в каком виде была распоясовская округа лет шестнадцать тому назад: всего много, и никому нет от этого пользы. Барин скучал, страдал меланхолией, мужик бедствовал и тоже терял аппетит жить на белом свете.

Освобождение крестьян сразу покончило с этою обоюдною меланхолией барина и мужика. Как только, благодаря этому событию, что-то такое «отошло» от мужиков к господам, от господ к мужикам, тотчас же и в тех и в других появились первые проблески чувства собственности; как только какой-то кусок леса или поля стал чужим, барин сообразил, что все это — «мое», и как только увидел это же самое мужик, то и он тоже сообразил, что ведь это — «наше».

«Мое» и «наше» — ощущения до такой степени были новыми для меланхоликов и до такой степени оказались кстати как для души барина, так для души и желудка мужика, что аппетит к «моему» и «нашему» стал возрастать не по дням, а по часам — и у барина и у мужика.

У старинного управляющего распоясовской округой явилась в это время довольно счастливая мысль; оказалось, что места, на которых издавна сидели распоясовцы,

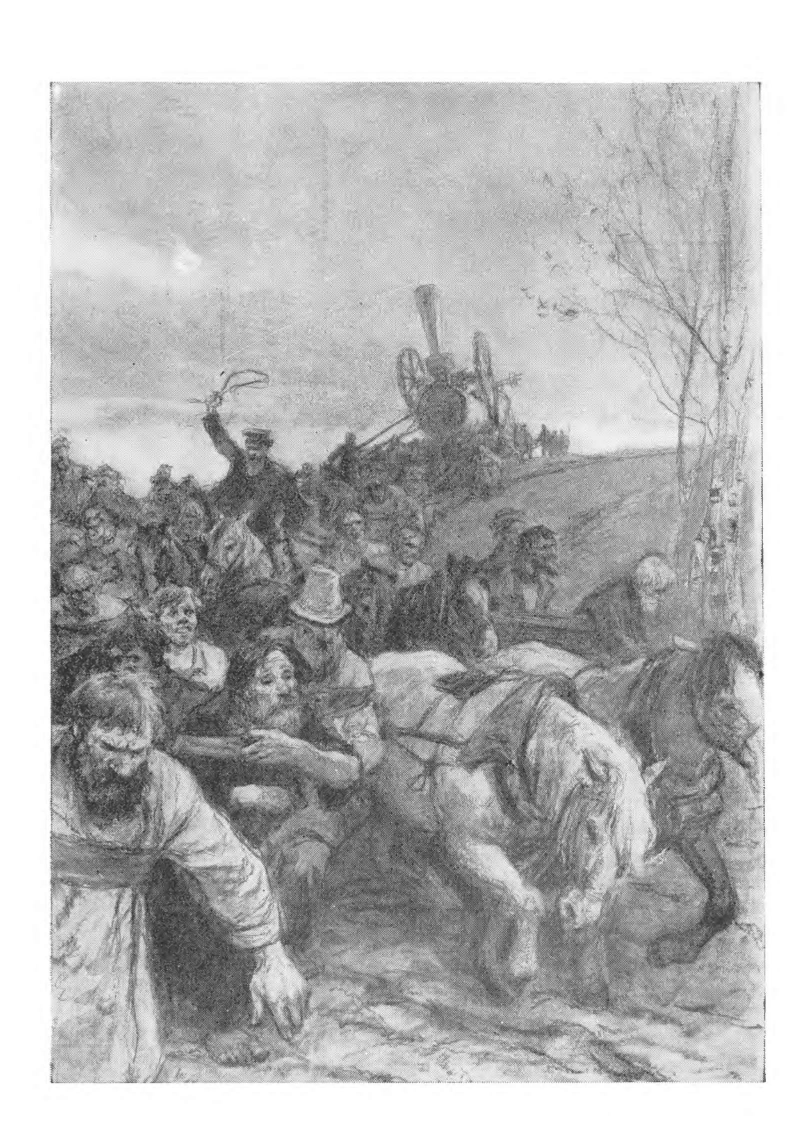
как раз подходят под что-то такое, что ежели это что-то «округлить» с чем-то — как раз вчетверо можно получать доходу более против прежнего. Для этого стоит только переселить распоясовцев куда-то в другое место, где им все под стать и «еще лучше прежнего».

Управляющий сообщил этот план барину, и хотя барин долго колебался в своем решении, но проклятый, совершенно прежде неведомый аппетит к «моему» довел его, наконец, до того, что он как бы прирос к сознанию, что это — его собственность.

«Ей-богу же, ведь это мое!» — стало все чаще и чаще думаться ему среди всяких соображений за предложение управляющего и против него, и наконец, уехав за границу, он написал из Лозанны управляющему, чтобы он действовал как знает, «как лучше».

Управляющий принялся за дело, «наши» тоже ощетинились, началась свалка.

Сильно ощетинились «наши». Жажда свалки и победы, имевшей целью, как уже сказано, удовлетворение весьма простых стремлений желудка, усиливалась теми мечтаниями насчет лучшей жизни, которые тоже как бы пробудились в момент освобождения. Эти мечтания были неопределенны, вырастали под влиянием рассказов древних беззубых стариков о старине, пополнялись нравоучениями прохожего богомольца, беглого солдата, но, благодаря почти непроницаемой темноте крестьянской избы во время сумерек, когда, «сумерничая», мужик обыкновенно слушал эти рассказы солдат и богомольцев и предавался мечтам, мечты эти, хоть и неопределенные, уносили его мысли высоко-высоко и далеко-далеко от крестьянской избы... Так далеко, что, начав песню над ребенком, в которой говорилось, что понева, лежащая под ним, «поневочка худая, ровно три года гнила», и заслушавшись рассказов и замечтавшись, крестьянка бросала этот грустный мотив и, обращаясь к ребенку, почти с уверенностью говорила: «вырастешь велик, будешь в золоте ходить...» Таковы были вполне несбыточные мечты распоясовского мужика, воспитанные темными, угрюмыми зимними вечерами; они до такой степени подняли дух распоясовских обывателей, что обыватели эти решились в предстоящей битве не жалеть своего добришка, так как, думали они, «наше дело верное!»



— Распоясывайся, робя! — галдели они. — Не жалей! втрое воротим... Вынимай кошели-то! Эй, старик! Что у кого есть под печкой — волоки... Обчисво!.. Надо в город посылать человека верного. Дедушка Пармен! Постой за мир! Расправь кости, обхлопочи!

— Пожалейте меня, православные! — говорил дедушка Пармен, восьмидесятилетний старец. — Ох, натерпелась моя спинушка!

— Уважь сиротские слезы! — надвигались на него распоясовцы. — Кто окромя тебя имеет в себе ум? Мы — народ черный, путем света не видали. А ты изжил век, стало, все как по писаному видишь... Постой за наши животы! Дед, а дед! Побойся бога, не дай в обиду!

— Ох-о-ох, пожалейте мою древность ветхую, детушки! о-о-ох-ох...

— Дед! Пармен! — вопияли распоясовцы: — али тебе крестьянского разоренья не жалко? Чисто все помрем...

Долго ревела толпа и долго, обливаясь слезами, оборонялся от нее старый дед, но наконец-таки сдался.

— Н-ну! — сказал он, выпрямившись и осушив глаза решительным движением мозолистой, корявой руки. — Коли так, так, стало, божья воля мне потерпеть еще на старости лет!

— Авось бог, наше дело чистое!..

— Видно, уж господь, батюшка Никола-милостивый так осудил меня венцом — иду!

— Дай тебе господи! Пошли тебе царица небесная! — голосила воодушевившаяся толпа.

— А что деньги дадите, так я единой копейки не покорыстуюсь...

— Дед! Дед! Грех тебе, старому, этак-то говорить, — упрекали его распоясовцы: — такие слова про своего брата. Делай по своему уму, как тебя господь вразумит... Ступай с богом, постой за своих!

И вот старый дед, с котомкой за плечами, с длинной палкой в сухой руке, неровною поступью худых тонких ног, обутых на мирской счет в новые лапти, пошел «воевать» за правое дело. Давненько-таки, признаться, он не бывал в городе, с тех самых пор, как сорок лет тому назад сидел в городском остроге, из которого и пошел прямо в Сибирь. А после Сибири, когда по манифесту ему вышло прощение, он не показывал в город и глаз и отвык

от всех городских порядков. А порядки с тех пор шибко изменились; подьячий, который, взяв взятку, делал в прежнее время то, что хотел, то, что выходило по деньгам, вывелся. Пармену оставалось одно: положиться во всем на бога, на его милость и указание. Для большего успеха в своем деле он не ел, не пил по целым дням, желая постничеством угодить богу, а мирские деньги ревностно раздавал тем, кто обещал постоять за распоясовцев, причем он слезно плакался и умолял не погубить... Но в то время, когда старец Пармен постился и слезно плакал перед лицами, бравшими его деньги, как-то незаметно пропускались очень важные сроки к подаче прошения, к выслушанию решения, к изъявлению несогласия, к апелляции в законный срок! Пропускались эти маленькие пустячки потому должно быть, что Пармен не знал их, не мог о них упоминать и в молитвах, или потому, что кому-то, знавшему эти штучки, выгодно было молчать о них перед темным мужиком. Таким образом, выходило как-то так, что едва Пармен, возвратившись из губернии, объявлял миру, что все — слава богу, что приказано ждать «тайного чиновника», который все повернет против «их», являлся исправник или становой и объявлял, что:

— На основании тома, статьи и на основании статьи... тома... уложения... и по случаю пятнадцатого примечания к тому... статье... и параграфу... определено: объявить крестьянам деревни Распоясово, что просьба их возвращается без последствий за пропущением срока и «постановление» входит в законную силу...

Так как во время отсутствия Пармена крестьяне тоже возлагали надежды на бога, а убеждение в правоте своего дела основывалось у них исключительно на мечтаниях в темные осенние и зимние вечера и ночи, то, не понимая путем того, что́ читал приехавший чиновник, они догадывались однако, что в бумаге нет ничего насчет того, чтобы все «повернуть к ним», как обещано, и поэтому говорили, что эта бумага «не та», что подписывать ее не будут...

— Согласу нашего нет! — говорили они.

— Несогласны?

— Никак нет. Эта бумага фальшивая, наше дело правое. Дедушка Пармен, так аль нет?

— Фальшивая, детушки, бумага! Не она! не наша! Ступай ты, барин, с ней откуда пришел!

— Так несогласны? — переспрашивал приезжий.

— Будет зубы-то заговаривать! — отвечала толпа. — Бери ее себе, бумагу-то... а нам она не нужна! Подделка!

Приезжий все это вносит в протокол, причем Пармена расспрашивают особенно подробно, и затем, написав все это на нескольких листах, отправляют по назначению. Распоясовский мужик везет эту бумагу куда следует и погоняет лошадь. На распоясовских лошадях уезжает и чиновник. Распоясовцы не знают, что, пропустив по своему невежеству сроки, они впутались еще в новое дело. Напротив, после этой «фальшивой» бумаги они как будто ожесточаются относительно размеров жертв, которые нужно принести за свое дело правое.

— Ну-ну, робя, распоясывай! Распоясывайся, миряне! Закипают дела, не жалей, покоряй их своими животами! Неужто так пропадать?..

— Зачем пропадать? Последнее надоть отдать, а не токмо что...

— Дедушка Пармен, постой и во вторительном подвиге! Окроме тебя кто же?

— Ты уж ходил — знаешь!

— Приму свою кончину за свое племя!.. Собирайте в дорогу!.. Отдаю вам свой живот, только молите бога о грехах моих... Может, это от грехов моих бумага офальшивилась против нас... Прощайте, православные!.. Простите — чем обидел!

И вновь отправляется Пармен, еще более длинный, еще более худой, вновь принимается молить бога и поститься и, увы! не возвращается. Отыскивать Пармена берется дьячков сын, служивший уже в каком-то присутственном месте в губернском городе и знающий, по его словам, все порядки. Он вызывается ехать в город, обещается сделать все скоро и дешево: мир, подумав, дает и ему денег, но не пускает его одного, а наряжает в спутники ему мужика, из своих, так как человек этот хоть и мастер в бумажных делах, в переписке и отписке, но давно уже известен всему Распоясову как пьяница и человек ненадежный. Перед отъездом ему рекомендуют вспомнить бога и поминать о сиротских слезах... и т. д.

Дьячков сын не жалеет мирских денег — на взятки и угощения. В нумере на постоялом дворе, где он остановился вместе с мужиком, идет непробудное пьянство несколько дней кряду и такое бесчинство, что депутат и проводник только дивится на господ и «ужахается». Пробовал было он заикнуться о «наших» делах, но дьячков сын, будучи пьян, только обругал его и как будто даже доказал, что дело их давно пропало, что хлопотать тут уж больше нечего и что все давно пошло своим чередом против них. Но наутро он оправился и отпустил мужика домой, сказав, что он, дьячков сын, останется ждать в городе какой-то бумаги, в которой именно и будет сказано все, что следует...

И опять идет бумага, и опять везет ее становой, и опять в бумаге что-то как будто «не так». Оказывается, что в то время, как они галдели с дядей Парменом о вторичном его путешествии, и в то время, как пьянствовал в городе дьячков сын, «истек» еще какой-то срок, день или час, в который можно бы было что-то сделать, а после которого уже решительно «все пропало».

— И поэтому говорю вам по чести: сделайте переселение добровольно, — прибавил становой. — Это будет вам выгоднее: если же вы будете продолжать упорствовать, то — и т. д.

Несмотря на полную справедливость того, что говорил становой пристав, распоясовцы видели, что это — вовсе «не то», что им нужно, и опять не дали «согласу».

— Так несогласны?

— Никак нет! Согласу не даем!

— Не подписываете?

— Храни бог греха...

— Но ведь ваше дело проиграно?..

— Это — не та бумага!

— Фальшь!..

— Как твоя фамилия? Кто это сказал «фальшь»? выходи сюда: кто ты таков?

— Братцы! Не выдавай!..

— Что-о-о?..

В шуме и гаме пишется новый протокольчик, и новый распоясовский мужик везет его куда следует, погоняя лошадь. И становой уезжает тоже на распоясовских лошадях.

Эти два неожиданные удара, эти две бумаги, так жестоко обманувшие надежды распоясовцев, так много поглотившие денег, разрушившие так много мечтаний, в первую минуту до того потрясают распоясовцев, что они не знают, что делать. Нет у них никого, к кому бы обратиться, узнать — как быть: дьячков сын пропал, Пармен пропал, никто ничего не знает. Старшина гнет на «ихнюю» сторону, в сторону фальшивой бумаги. Что тут делать? «Да неужто нет правды на свете?.. Время теперь не прежнее!..» И как только эта мысль о правде вступает в головы распоясовцев, остолбенение их тотчас же заменяется жаждою борьбы в сотни раз сильнейшею той, которая двигала ими в первых двух попытках.

— Али правды нет на свете? — гремит «коновод», вдруг взявшийся незнамо откуда. — Подымай, ребята, последними животами!.. Все одно помирать!

— Выпускай последний дух!.. Авось сыщется правда-то!..

— Бог-то на небе, чай, есть!

— Оскребай, ребята, что есть! Н-но! заодно!

Этот момент в жизни распоясовцев был полон таким удивительным самоотвержением, какое бывает только в самые решительные минуты. Выворотив все, что «оставалось», «выпустив последний дух», распродав «коровенок, овчонок», распоясовцы стали доходить до Москвы, которая казалась им выше губернского города, стали доходить в Петербург, после того как Москва «просолила дело». И когда в Петербурге тоже оказалось что-то плохо, то, воодушевившись мыслию, что Петербург сошелся не клином, стали распоясовцы достигать до сената и т. д., пока не уперлись в пересылочную тюрьму. Оставшиеся дома распоясовцы ждали результатов с непоколебимым терпением. Не было случайно проходившего или проезжавшего чрез их деревню человека, к которому они не адресовались бы с расспросами о своем деле и не совали бы ему поросенка, чтобы он сказал все, что знает. Сами они не знали ничего.

— Где у вас бумаги? — спрашивал заинтересовавшийся проезжий.

— Бумаги даны Пармену.

— А Пармен где?

— В губернии.

— А где такая-то бумага?
— Дьячков сын, Антипкин, взял.
— Где же он?
— Неизвестно...
— А такая-то?
— А такой и не было.
— Должна быть!
— Может, у Пахомки... У Пахомки нагдысь оглядел я бумагу.
— Каё у Пахомки? у Радивона! Радивон сказывал, говорит, у него вишь!
— У Радивона воспяная бумага, эво ты! Припущать оспу...
— А може...
— Так нет бумаг?
— Бумаг у нас, надо говорить прямо, нету!
— Ну, так ничего и нельзя делать!
— Ничего?
— Ничего нельзя!..

Таков был большею частию ответ всех, кто понимал дело или хотел понять его. Всякий раз распоясовцы после таких расспросов становились грустнее и всё больше и больше чувствовали железную силу незнания и бессилие разорвать эту паутину «сроков», «просрочек», «апелляций», «кассаций», «скопий». Спасибо, большое спасибо прохожим богомольцам, отставным солдатам и прочему захожему люду, тоже, как и распоясовцы, не понимавшему в этом деле ровно ничего. Те всегда говорили, что их дело верное, что повернуть его можно как угодно, что стоит только дойти куда выше, а там только черкнут и сразу перевернут всю округу. Солдаты особенно ярко представляли возможность успеха. Они сами бывали в Петербурге и видели всё и знают, «а что ежели становой там что-нибудь, так в Петербурге становые продаются по грошу пара!» Точно сахар, вести эти расплывались по сердцу распоясовцев... Однажды Мирон Петров, распоясовский мужик, ездивший к Троице-Сергию, привез подобную же весточку и от питерских ходоков, которых он, впрочем, не знал, а слыхал, что на станции одному купцу кто-то сказывал, что вышло распоясовским «в пользу», а купец все это рассказал Мирону, да и купец-то какой-то незнакомый...

«Должно, добер купец-то!» — думали распоясовцы.

Но покуда шли эти расспросы, рассказы, покуда распоясовские мужики медленно шли и перевозились по этапу домой, сроки все были пропущены окончательно и безвозвратно, и при наступлении осени уездный исправник, явившийся в деревню на тройке собственных лошадей, с колокольчиком и бубенцами, очень коротко и просто объявил, что с завтрашнего дня распоясовцы должны переселяться.

Он прочел им все бумаги, которые когда бы и куда бы то ни было подавали распоясовцы, прочел решение по этим бумагам, прочел решение по бумагам петербургских ходоков и повторил, что после всего этого разговаривать нечего. Если же, прибавил он, распоясовцы попрежнему будут упорствовать, то переселение будет сделано полицией на их счет, что рабочих теперь — сколько угодно, потому что — осень.

Распоясовцы ничего не понимали.

Исправник растолковал им опять дело с начала и до конца; они все-таки не могли понять ничего.

И в третий раз было все им разъяснено и доказано. И в третий раз они не понимали и не верили.

Очнулись они только тогда, когда им предложили подписать что-то. Тут они опять увидели «фальшь» и подписать отказались.

И опять три раза было, как по пальцам, рассказано все дело, и опять предложено подписаться, и опять они не тронулись с места и «согласу» не дали.

Составлен был третий протокол, и третий распоясовский мужик отвез его, погоняя лошадь, куда следует.

Предложение «подписать», напоминавшее распоясовцам два таких же «фальшивых» предложения, и изворотливость, с которой они отстояли «свои права» и не подписали их, на некоторое время было оживило их и воскресило некоторую надежду, что еще будут добрые новости, что вот-вот придут петербургские ходоки, что вот-вот приедут какие-нибудь «особенные» чиновники и повернут все дело по-свойски. Но на следующий день, с восходом солнца, восемьдесят человек народу, собранного со всех окрестных деревень, пришло в Распоясово.

— Вы что, ребята? Здорово! — спрашивали распоясовцы.

— Здравствуйте! Да вот нанялись...

— На пересел, вишь, сгоняли...

— Али это нас разорять пришли?

— По делам так, что вроде как — вас!

— Ни-ча-во!

— Нам что же? Восемь гривен в день!.. Суди сам!

— Цена хорошая!..

— Наше дело, сами знаете, чай...

— Так-то так! По восьми гривен?..

— По восьми...

— Шабаш, значит!..

Это событие сразу разрушило все распоясовские надежды. В довершение беды скоро вслед за рабочими приехал исправник и подтвердил, что рабочие наняты на счет распоясовцев, и если поэтому распоясовцы добровольно не исполнят того, что следует им исполнить, то рабочие сейчас же приступят к делу.

Минута была тяжелая для распоясовцев. Надежды и мечты были разрушены окончательно; они ничего не могли сообразить в виду очевидности их неудачи, и, вместо того чтобы негодовать, шуметь и буйствовать, чего так ожидал исправник, они совершенно ослабли духом, отчаялись, впали в глубоко-упорную апатию. «Помереть!» — было единственным желанием почти всех распоясовцев, а фразою: «нам легче помереть» — они отвечали на новые бесконечные доказательства безрассудности их упорства и окончательно проиграли дело.

Истощив все усилия в борьбе с этим окаменелым состоянием народа, исправник скомандовал наконец:

— Ломай!

Рабочие принялись за дело.

Три недели шла ломка распоясовских дворов; три недели над деревней стояла пыль густым облаком от развороченной соломы крыш, разломанных печей; три недели от Распоясова тянулись возы с бревнами, с рамами, с досками от крыш, с оторванными дверями и проч. и проч. Исправник ходил весь черный от пыли и еле таскал ноги от усталости. Он совершенно охрип, так много было работы.

Распоясовцы молча, словно каменные статуи, смотрели на это разрушение. Они действительно как бы окаменели, ничего не ели, не слыхали и не видали.

— Прими ребенка-то, сумасшедшая! — кричал исправник распоясовской бабе. — Ведь убьет! Дура этакая! видишь, стропило падает!..

Баба стоит и не слышит, и только бог спас ребенка: стропило упало рядом с ним.

— Ишь! — буркнул распоясовец, глядя, как бревно проносилось над ребенком.

В другом месте никто не тронулся с места, когда среди разрушающегося дома раздался раздирающий женский крик. Оказалось, что там лежала беременная женщина в последних муках...

— Православные! — обращались рабочие к распоясовцам: — помогите старичка снять с печи, что вы столбами-то стоите? Дьяволы этакие!

И на это приглашение никто не отвечал: всем было «все равно», все были словно каменные.

Чрез три недели Распоясово представляло такой вид: груды содранной с крыш соломы валялись на тех местах, где прежде были дома, амбары, сараи; от домов остались завалинки, от погребов — ямы, от сараев кое-где торчали столбы. И среди этих груд соломы без призора бродила скотина, тщетно взывая к какому-нибудь вниманию хозяина; в этой же соломе возились дети и спали родители, не раздеваясь и не переменяя белья и одежды с первого же дня разорения деревни. Что они ели? отвечать трудно; хлеба они не сеяли и не собирали. На берегу реки кое-где виднелись вырытые в земле печи, по временам дымившиеся, около которых возились женщины.

Распоясовцы не шли на новые места и держались попрежнему убеждения, что «лучше помереть».

Настали осенние дожди... Распоясовцы сказали себе:

— Ну, робя, тепериче чистая приходит наша смерть! Отдавай, ребята, богу душу... Помирай!

И все-таки не шли с старых мест. Вместе с больными ребятами мокли они в мокрой соломе, в ямах, оставшихся после погребов и выломанных печей.

И действительно стали помирать...

Наконец всех их отдали под суд.

IV

Пропустивший «сроки» распоясовец ослаб духом совершенно; он очевидно потерял все; он очевидно не знал, в чем дело, был дурак, невежа, и это сознание своей глупости отозвалось в характере распоясовцев полным презрением друг к другу. Они, как собаки, грызлись и вредили друг другу на новых местах; всякому было отвратительно видеть в другом набитого дурака, который, из-за своего невежества и дурости, разорился сам, да и других разорил. Поэтому при следствии «об упорстве и неисполнении и т. д.» — они валили всё друг на друга: валили на Пармена, на всех, кто первый кричал: «постоим за свои животы», «подымай, ребята, своими животами», и на всех, кто «первый» отдавал эти животы...

Закончив долголетнюю историю своего терпения и бедности сознанием своей глупости, ничтожества, такого ничтожества, которое может быть во всякое время выкинуто вон как сор, распоясовец чувствовал внутри себя полный разгром, разврат и стал пропивать все, что осталось, стал воровать, изнаглел до того, что прямо подходил к проезжему купцу и говорил:

— Ну что ж, купец, давай на чаек-то?

— За что?

— А за разговор. Мало тебе этого? Вынимай-ка желтую-то бумажку!

И вот в такую-то минуту нравственного падения, грозившего потопить распоясовца в море самой крайней нищеты, однажды по осени, в самое трудное для распоясовцев время, когда приходилось вносить недоимки, в маленькой тележке, запряженной добрым меринком, появился Иван Кузьмич, вместе с управляющим. Они, очевидно, объезжали и осматривали «округу». Меринок шел свободно и весело по дороге, Иван Кузьмич просто и прямо оценивал: «что чего стоит», и скоро стало известно, что «купец снял» у барина «все» — и лес дремучий, и реки, и поля, все — все до нитки. Скоро новораспоясовцы узнали, что и их Иван Кузьмич «тоже снял», всех до единого: «полтина в сутки пешему и рубль конному»; «кто хочет *по этой цене* идти на станцию за пятнадцать верст принять оттуда паровик — иди».

Такова была прокламация Ивана Кузьмича к народу.

«*Человек-полтина*» — вот суть теории, принесенной им в распоясовскую среду. Тут не предполагалось никаких рассуждений о том, что — наше, что — ваше. Насчет каких бы то ни было «правов» тут разговору быть уже не могло. Просто: хочешь полтину — иди, не хочешь — не надо. Все это потерявшему внутренний смысл распоясовцу было как нельзя лучше по душе: у него после полного нравственного разгрома оставались целыми руки, ноги, мускулы и желудок. Иван Кузьмич только того и требовал, назначив желудку полтинник в сутки и самое главное — водку.

— Повезем, ребята, — говорили его приказчики, скликая распоясовский народ: — повезем *одной водкой!*

— Дай вам бог за это!.. — кричали распоясовцы.

— Насчет водки не робей: сколько хошь пей, только дело делай.

— У нас вот как дело закипит — ключом!

И действительно скоро закипело дело.

Тысячепудовое чудовище, наконец, приехало из Москвы на станцию железной дороги и, окруженное массою распоясовского народа, тронулось оживлять мертвую округу. Широко разинуло оно свою нелепую железную пасть, как бы грозясь поглотить всю эту благодать, которая открывалась перед нею, всю эту рвань, которая копошилась вокруг нее. Медленно и грозно двигается оно вперед. То затрещит и рухнет под ним гнилой мост, то застрянет оно на крутом подъеме. Визг кнутьев по ободранным, обезумевшим от усталости лошаденкам, оранье обезумевших от водки распоясовцев, оранье хриплое и изо всех кишок, оранье, переполненное ругательствами, бранью, песнями, целою тучей висит над этим чудовищем, и оно кой-как вылезает из ямы и идет дальше. То вдруг, на крутом повороте, когда разойдутся и лошади и люди и с гиканьем мчат его вперед, оно вдруг свернется на бок и растянется на пашне, раздавив под собой и дядю Егора, и дядю Пахома, да Микишку, да Андрюшку... Долго лежит тут душегубец-чудовище, ожидая судебного следователя и следствия, и полчище распоясовцев долго, несколько дней подряд пьянствует,

ругается друг с другом... Много разбитых в драке во время этого продолжительного безделья лиц, совершенно черных шишек у глаз, запекшейся крови на висках видно в то время, когда чудище снова трогается вперед, и снова выбиваются из сил лошаденки, хлещут кнуты и пьяное оранье наполняет воздух.

Кое-как этот «человек-полтина» дотащил чудовище до места, до быстрой речки, пробегавшей в лесу, которого теперь почти уже не было... Масса распоясовцев, превращенных уже в «полтинники», сводила его самым усердным образом, превращая в сажени, в срубы и т. д. С треском валились деревья, громко разносились песни, звон пил и стук топоров, и вечером, когда все это замолкало, начинал гудеть и дрожать от плясу, брани и драки выстроенный Иваном Кузьмичом из этого же лесу кабак.

— Голова только наш Кузьмич, братцы! — охмелев, бурчал распоясовец. — И-и башка!

— Довольно чисто поворачивает делами, надо сказать прямо — себе имеет пользу, да и нашему брату способно.

— Хлеб дает бедному, во-от! — прибавлял третий.

— Ав-вось, не помрем, налей-ко еще стаканчик!

— Во-ота! Еще то ли будет! Сказывают, взрывать все хочет начисто... Деревянный камень какой-то есть... Наливай!

— Эх, ребята, попьем, погуляем!.. Денежки-то вот они... Нового чекану, по старинному счету два рубля... Наливай, наливай, друг!

— Уж и мне, старухе, стаканчик, пожалуй что, придется с вами, с молодцами, выкушать... И у нас Кузьмичовы есть деньги, три пятака, пожалуй что полтина — чего ж и не погреться старухе?

— Пей, старуха! у Кузьмича денег много!.. Пойдем деревянный камень рыть, всё воротим. Наливай!

И действительно, после того как исчез лес, Иван Кузьмич напал на камень и стал рыться за ним в глубь земли, таскать его оттуда и продавать до тех пор, покуда не вытаскал весь и покуда вырытые им пещеры не обвалились и не задавили несколько десятков человек. Тогда оказалось, что и железа в этих местах видимо-невидимо! Иван Кузьмич принялся за железо. Рыл, вывозил

и продавал, а деньги возил в банк и получал книжки чеков.

Вот что мы знаем об этих книжках, которые он почти каждый год привозил с собою из города. Много ли впитали они в себя добра? Об этом пусть судит читатель.

V

...Иван Кузьмич только вечером того дня, когда получил в городе последнюю из своих книжек, доехал до своего местопребывания, в распоясовскую округу. Ярко горели окна фабрики, где дымил и свистал чудовище-паровик. Шумела мельница, стучали толчея и крахмальный завод. Иван Кузьмич все скупал, все молол, толок и продавал. Тысячи народу копошились на фабрике, на заводе. Сюда была согнана вся распоясовская округа — по рублю, по полтиннику, по четвертаку, и даже самые маленькие мальчики и девочки могли зарабатывать по гривеннику в день, занимаясь щипаньем корпии, которую доставляли из больниц в гною и крови и которая шла на бумажный завод. Все было поставлено к делу и оценено.

Иван Кузьмич жил в центре этого поселка, в маленьком домике, с окнами на все четыре стороны, из которых было видно все, что ни делалось вокруг него.

Когда он вошел в свой домик, в комнате было жарко натоплено, и на столе уже кипел самовар. Он не был женат, но прислуга у него была ловкая, знающая, с кем имеет дело.

Иван Кузьмич напился чаю. Пил он его долго, часа три, расспрашивал про то, что было без него. Все, оказалось, обстояло благополучно...

По окончании чаю Иван Кузьмич прилег.

Все было, кажется, хорошо, а чего-то — это Иван Кузьмич чувствовал постоянно — как будто ему и недоставало. Несколько раз мысли его останавливались на женитьбе. Но, подумав хорошенько, он находил, что это — чистая глупость... Поэтому-то и теперь он решился отделаться от скуки так, как отделывался обыкновенно.

— Иван! — сказал он как-то серьезно.

Явился лакей.

— Что на толчее?

— На толчее ноне плохо, Иван Кузьмич.
— Как плохо?
— Всего две бабы, и то старухи... Вот на мельнице — есть.
— Кто такая?
— Андронова — из Больших Озер.
— Ну, хорошо...
— Муж с ей...
— Сунь ему зеленую!

Лакей с улыбкой вышел вон и отправился на мельницу.

Все это еще недавно была вещь вполне невозможная. Но после того как человек стал цениться в рубль, в полтинник — и полтинник и рубль стали всё!

— Иди-иди, любезная!.. Торопись, матушка! Потаскай-ка вот этакую пасть с собой — узнаешь, каково они сладки, платки-то красные да мелочь-серебро...

Так говорила какая-то женщина с ребенком на руках, проходившая мимо дома Ивана Кузьмича в то время, когда вслед за его лакеем бегом вбегала по ступеням крыльца какая-то женщина.

— О дуры, дуры набитые! — вздыхая, говорила женщина с ребенком. — Одной есть нечего, а тут и другое горло таскай... Чай, он отцом-то не хочет быть...

Слово «он» относилось к Ивану Кузьмичу. Ребенок апатично смотрел через плечо матери куда-то вдаль.

Что ждет его?

Никаких золотых нарядов, которые сулила своему сыну размечтавшаяся крестьянка, фабричная женщина сулить не может; она знает, что цена ее мальчонке долгое время будет гривенник, потом двугривенный и так до рубля, а уж дальше ничего, ничего не будет! Сама она про себя знает, что цена ей ничтожная, что хватает только кормиться... Что же она скажет своему мальчишке? Что же может выйти из него кроме человека, который нужен в делах Ивана Кузьмича — как сила, как дрова, как тряпки?..



2. НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

I

Для полной последовательности в изложении истории распоясовского кармана, с древнейших времен до настоящего времени, необходимо было бы, тотчас за рассказом о появлении в распоясовских палестинах Ивана Кузьмича с его теорией оборотов капитала, начать рассказ о появлении в тех же местах новой питательной железнодорожной ветви, так как «Иваны Кузьмичи» и «питательные ветви» составляют между собою неразрывный союз и друг без друга решительно не могли бы существовать. Иван Кузьмич потому только находит выгоду рубить, копать, рыть, пилить и вообще опустошать распоясовское добро, что железная питательная ветвь тотчас же, в мгновение ока, может за тридевять земель унести все это выкопанное, расколотое, распиленное, поваленное на землю и вывернутое с корнем из земли... Точно так же и новая питательная ветвь потому только не занесена сугробами, что с каждым днем растет количество Иванов Кузьмичей, а стало быть, и количество нарубленного, вырытого, распиленного, словом, количество опустошаемого, или, говоря газетным языком, «количество грузов». Не будь дороги, Иван Кузьмич не стал бы рубить и рыть: куда бы он девался со всем этим добром?.. Не будь Ивана Кузьмича, что бы взяла железная дорога с распоясовского населения, у которого нет почти ничего, кроме белого, довольно кислого квасу? Неразрывность связи питательных ветвей и Иванов Кузьмичей подкрепляется еще и тем обстоятельством, что как одни, так и другие одинаково развивают в распоясовском населении

вкус получать *за все* чистыми деньгами: «чистыми деньгами» платит Иван Кузьмич за эти дремучие леса, каменные горы, за все эти «недра земли»; за «чистые деньги» тащит он все эти недра при посредстве, конечно, все тех же распоясовских обывателей на железную дорогу, а дорога, нагрузив добычу Ивана Кузьмича в свои новые вагоны, немедленно уносит ее за тридевять земель, оставляя распоясовским обывателям за нагрузку увезенного добра ни много ни мало — *по восьми гривен с тысячи пудов*, конечно, «чистыми деньгами» и, конечно, по взаимному соглашению.

Несмотря на крайне юмористический, хотя и вполне действительный размер вышеупомянутой цифры, тот факт, что распоясовский обыватель так или иначе получает «за все», им самим утраченное, восемь гривен серебром барыша чистыми деньгами, этот факт сам по себе уже достаточен для того, чтобы тотчас же со всею обстоятельностью исследовать цели, средства и результаты, имеющие быть от появления в глухих местах новорожденных питательных ветвей. Но, при всем нашем желании теперь же сосредоточиться на этом новом, продолжающем и развивающем теории Ивана Кузьмича явлении, мы не делаем этого сию минуту потому, во-первых, что боимся слишком долго останавливать внимание читателя на одном и том же и притом таком непривлекательном предмете, как мужицкий карман, — на предмете, сухость и тягость которого еще более увеличивались бы развитием такой трагической подробности, как физиология питательной ветви, а во-вторых, потому, что питательная ветвь, несмотря на свои молодые годы, уже успела ознаменовать себя такими яркими проявлениями, которые невольно охлаждают охоту умиляться перед шестнадцатью пятаками, оставляемыми ею распоясовскому мужику, и невольно заставляют подумать о другом. Чтобы не ходить далеко за такими неловкими проявлениями, упомянем хотя бы о том плачевном факте с этими же шестнадцатью пятаками, по которому оказывается, что, выдавая их распоясовцу чистыми деньгами чрез посредство какого-нибудь начальника станции, питательная ветвь совершенно иными путями, словно и не она, а кто-то другой, извлекает эти шестнадцать пятаков (пятаком больше, пятаком меньше, — не все ли равно?) в бездон-

ную пропасть своего трехмиллионного бюджета... Факт печальный, но действительный. В ту самую минуту, когда распоясовец, превращенный Иваном Кузьмичом в истинного Лира и затем вновь возвращенный в мужическое звание восемью гривнами, в ту самую минуту, когда этот не король Лир, а Лир-мужик стал было уверять себя, что «вот, мол... *по крайности все же деньги*», — в эту-то минуту к нему явился трехмиллионный бюджет питательной ветви и потребовал заплатить за него полмиллиона рублей гарантии... Оказывалось, что, несмотря на все старания Иванов Кузьмичей опустошить отечество, дорога не может покрыть расходов, не может заплатить процентов на те кучи денег, которые нахватали там и сям, приготовляясь обогащаться и обогащать... Трехмиллионный бюджет громко ропщет на распоясовца за то, что он ничего не производит, а умеет торговать только своими «готовыми недрами», которые слишком дешевы и постоянно требуют пониженного тарифа... Оказывалось кроме того, что не понижать тарифа на эти недра невозможно, так как все, что имел бюджет в виду, кроме распоясовских недр, точно так же обмануло его, и обмануло самым жестоким образом: мука гречневая, мука пшеничная, пеклеванная, ржаная — словом, все сорта всевозможной муки, на бесчисленное количество грузов которой рассчитывала ветвь, эта бессовестная мука не поехала по ветви... совсем не поехала... На всех парах разлетевшись к той избенке на берегу Волги, где проживала эта мука, красноглазый локомотив новой питательной ветви увидел, что у той же избенки уже светятся десятки красных глаз других локомотивов от других питательных ветвей, приехавшие к избенке тоже за этой мукой. «Где тут пеклеванная? Где тут пшеничная? Где мука ржаная?..» — орали красноглазые кулаки, а из избенки слышался кашель, и какой-то больной голос едва слышно отвечал: «Как-кая там мука-а!.. Самим нечего... кха-кха... всё дочиста обобрали... кха-а!.. Нету ничаво!..» Как ни орали, как звонко ни гаркали локомотивы питательных ветвей, а должны были убедиться, что нет муки, что какая была, та уж уехала... Посвистал, посвистал и наш красноглазый покупатель, да и поплелся назад, таща за собою в бюджет весьма основательный и тоже «чистый» убыток... То же, что и с мукой, случилось и со

всем прочим, что должно было ехать по нашей ветви... Должно было, кроме муки, ехать семя льняное, семя конопляное, семя горчичное, семя сорочинское — и не поехало. «Какое тут семя-а... — отвечали с кашлем из избенки на Волге. — Ступайте отседа... Ну вас... кха!..» Должен был ехать копченый балык, мороженый берш, белорыбица, белуга, лососина, стерлядь... Должны были тучей нестись сухая вобла, окунь, осетер, сазан малосольный и сухой, сельдь иностранная и русская семга, севрюга, сом, малосольная сопа, жерех, судак, тарань, чехонь, шемая... Должны были — и не поехали! Частью потому, что уж были увезены давным-давно, частью, как, например, вобла сухая, по невежеству: эта неповоротливая тварь прямо объявила, что не поедет в заграничное путешествие, потому, мол, что непригоже копеечной даме объявляться за границей в рубль серебром. «У господ иностранцев, поди, какие свои есть!..» И снова улеглась на берегу Волги вместе с бурлаками, продолжая свою копеечную торговлю и не обращая внимания на то, что трехмиллионный бюджет твердил ей о совершенно готовом и притом пониженном до крайности тарифе на ее перевозку. «Ну уж, что уж!..» — бормотала тупоумная вобла. И бюджет остался ни с чем. Соображая все эти несчастия бюджета, распоясовец решительно не знал, чем помочь барину: все, что было, увез этот самый барин вместе с Иваном Кузьмичом; прежде были, правда, соленые огурцы, но с тех пор, как прошла чугунка, и солить не на что стало, потому что нет уже заработка извозом. Кроме восьми гривен, которые, дай бог здоровья, дал вот этот самый трехмиллионный барин, у распоясовца не было почти ничего. Эти-то восемь гривен и потребовал барин, прося «честью». Распоясовец знал, что может последовать за выражением: «честью тебе говорю», — и сказал поэтому: «Н-ну, бог с вами... получай!» Отдал деньги и ушел.

Такой по малой мере неджентльменский поступок бюджета новой питательной ветви сам по себе настолько ярок и весок, что, и не вдаваясь в особенные подробности, можно уж иметь общее понятие о достоинствах такого нового явления глухих мест, как железная дорога... И вот, принимая во внимание как смысл этого нового явления, так и смысл всего, что до него происходило

в распоясовских местах, невольно устаешь, утомляешься от непомерно однообразной сути и старых и новых форм распоясовской жизни и думаешь — кто же те, кто по каплям выпивает эту реку бюджетов, сливающуюся из бесчисленных распоясовских ручейков? Как и чем живут те, кто не рубит, не возит, не пилит, не глупит, как распоясовский мужик, но для которых на потребу идет распоясовский труд, глупость — всё!.. Счастливы ли, довольны ли эти люди, стоящие у готового, у настоящих «чистых» денег, эти истинные неплательщики, хотя и не недоимщики?

Эти невольно родившиеся вопросы заставляют нас покинуть распоясовский карман, покинуть деревню, перенестись в город и обратить внимание уже не на карман, а вообще на состояние духа городского жителя, так как всякий город, даже такой крошечный, какой предстоит нам видеть, непременно стоит и держится потому, что через него идет ручеек из общего широкого и глубокого бюджета, и так как, живя на готовое, городской бюджетный человек блюдет несомненно какие-нибудь высшие духовные интересы...

В этих-то видах мы и приглашаем читателя, забыв все беды и радости распоясовцев, последовать за нами в современный губернский город и хоть мельком взглянуть, что у него на душе?

II

Физиономия современного губернского города, как снаружи, так и внутри, — это нечто такое, что сразу, с одного дня, расслабляет нервную систему и сразу, с одного дня, делает жизнь какою-то досадною путаницею. Путаница явлений, поражающая ваш глаз, наравне с путаницею явлений, поражающей ваш ум, лишает физиономию современного города всякого образа и подобия, образуя вместо какой бы то ни было физиономии нечто неуклюжее, разношерстное, какую-то кучу, свалку явлений, не имеющих друг с другом никакой связи и, несмотря на это, делающих бесплодные усилия ужиться вместе...

Старинный тарантас, запряженный пятериком мухортых лошаденок, как нельзя лучше подходил к глубине

той лужи, в которой он обыкновенно застревал и из которой, тоже обыкновенно, вытаскивали его народом; все это вместе, то есть тарантас, лужи, люди с дубинами, как нельзя лучше подходило к широкому постоялому двору, густо застланному мягким навозом и широко распахнувшему свои тесовые ворота выбравшимся из беды путешественникам. Трактир, грязный, темный, как угол, заплетенный паутиной, трактир этот, помещавшийся в верхнем этаже постоялого двора, как нельзя лучше подходил к толстому купцу, пришедшему поговорить с худеньким приказным по кляузному делу, а к обоим вместе как нельзя лучше подходила под стать трактирная машина, гудевшая «Лучинушку» и заглушавшая кляузные разговоры... А в хороший морозный день какую удивительную гармонию представлял обыватель, весело несущий за ногу живого поросенка или гуся и, несмотря на пронзительный вопль животного (которое чует, что люди его сейчас съедят), не упускающий случая приторговывать все встречное и поперечное, — какую гармонию представлял этот обыватель вместе с хрюканьем и ораньем, со скрипом замороженного снега и с веселым буханьем в большой соборный колокол по случаю парадного дня?.. Гармония во всем этом была полная. Тряпье, дикость, невежество, хрюканье и проч. и проч. — все это было пригнано и прилажено все к тому же невежеству, тряпью, хрюканью и дикости и, стало быть, не могло не только поражать вашего глаза, но даже ни на волос не обижало его...

Теперь не то.

Гармония подлинного тряпья нарушена пришествием решительно несовместных с ним явлений. Из превосходного вагона железной дороги пассажир вылезает прямо в лужи грязи, грязи непроходимой, из которой никто не придет вас вынуть, потому что машина прошла в таком месте, где отроду не было ни народу, ни дорог... Ощущение гибели, беспомощности вдруг овладевает вами нежданно-негаданно, и с первого же шага нежданность явлений и ощущений уж не покидает вас: в новом суде изо дня в день тянется перед глазами слушателей одна и та же до мелочей однообразная повесть о крайнем убожестве, об убийстве спьяну, о краже спьяну, о краже с голоду, — повесть о круглой голи, о какой-то малень-

кой, зеленой копейке, а обстановка этой копейки стоит рубля; на сцену ставят дело о несчастнейшей, беднейшей, забитейшей женщине, которая не помнит, как родила где-то в хлеву ребенка, не помнит, живой он был или мертвый, а только умеет реветь, ничего не в силах будучи сообразить, а на обстановку этого несчастия идет ничуть не меньше, чем на постановку «Аиды» и «Африканки».

Прежняя, старинная грязь и лужи, прежние гнилые заборы с нищими на углу, поющими «подайте христа ради!»,— а над головой нищей, на том же углу, «Парижская жизнь», оперетка, изуродованные куплеты которой заглушаются буханьем в колокол у Никитья, где завтра престол... *Вдруг*, нежданно-негаданно, налетит по железной дороге Рубинштейн, Давыдов... *Вдруг* забежит волк и перекусает возвращающихся с концерта меломанов... Лохмотья, до последней степени расстроенные нервы, волк, Рубинштейн, венская карета и первобытная мостовая, мигрень и тик рядом с простым угаром, все это проходит одно за другим, желая представить из себя нечто общее, нечто переплетенное в одну книгу под одним общим заглавием «Губернский город такой-то», и нисколько не достигает чего-нибудь подобного, а только поражает, заставляя на каждом шагу спрашивать себя: зачем и откуда взялась венская карета в этой луже? Почему не просто соленый огурец, а какой-то соленый конкомбр? Зачем Рубинштейн? Зачем волк? Зачем «Парижская жизнь»?.. Зачем железная дорога?..

Словом — полная неизменность первобытных условий, при которых по городу свободно могут бегать волки, при которых даже и состоятельный человек считает долгом по крайней мере раз в месяц угореть так, что его «вытаскивают» замертво, — полная неизменность условий, при которых вполне возможны и законны сугробы, лохмотья и т. д., и в то же время несомненное присутствие или напор в среду этих условий — мигреней, венских карет, опереток, громадных окладов, расстроенных нервов и множества других новостей, решительно не подходящих к старому, но смешанных с ним какою-то неведомою и невидимою силою, — делает эту смесь, эту толкучку явлений досадною до последней степени. В самом деле, что должна перенести ваша мысль, если разговор о литературе, который вы сейчас вели в весьма просвещенном

обществе, сменяется темною, как могила, улицею, по которой вам приходится идти, думая только о спасении себя от луж, собак, а то и прямо от волков? Нормальна ли будет ваша мысль, если грустные впечатления горемычнейшего процесса, виденного в суде, — непременно должны быть либо просто забыты, либо изглажены впечатлениями разных маркиз и виконтов, бог знает как переведенных с французского, возвратившихся из ободранного елового Булонского леса, которых вы видите на театре?.. Крайняя разнородность, полная разорванность явлений, которых невольно должна касаться ваша мысль в продолжение хотя одного дня, к вечеру этого дня истомляет вас, расслабляет. Приходится неожиданно думать о неожиданных вещах и неожиданно прекращать случайно начатую мысль ради чего-нибудь также неожиданного, а в результате — нуль, скука, досадная зевота...

Вот в резких, грубых чертах тоскливая, искаженная физиономия современного, реформированного губернского города. Потребность уйти из него, которая начинает мелькать у вас очень скоро после знакомства с этой приятной физиономией, оказывается потребностью весьма распространенною, конечно, под весьма разнообразными формами. Одни просто готовы бежать куда глаза глядят, другие только сегодня «не знают, куда деться», а завтра, может, и денутся куда-нибудь, третьи вообще «чувствуют неудовольствие». Кой-кто из всей этой массы народа, чувствующей досадное иго и бремя досадной действительности, не задумывается долго и уходит; но неизмеримое большинство живет, ежеминутно чувствуя неудовлетворение.

И вот, почему-нибудь оставшись среди этой досадной путаницы жизни, оставшись надолго, начинаешь мало-помалу покойнее всматриваться в нее, изучать ее ввиду того, что не один ты влачишь это иго и бремя, а тысячи и десятки тысяч, и, благодаря этому, совершенно теряешь всякую возможность досадовать на какую бы то ни было неожиданность, прибавляющую к существующим нелепицам нелепицу новую, теряешь эту способность потому, что приходишь к такому убеждению: да ведь это — все не здесь делается; ведь это все — только отраженные движения нервной системы, мозговые центры которой не

здесь. Оказывается, что здешний местный мозг почти парализован, почти не действует, а если и действует, то очень слабо, едва-едва. Оказывается, что явления здешней жизни — «явления» в буквальном смысле, потому что буквально «являются» сюда и перевертывают все вверх дном, не давая здешнему мозгу опомниться, приучив его молчать, обессилив и обескровив его.

Ниже мы фактами новейшей истории постараемся показать, как внезапность, случайность явлений нашей досадной жизни, так и влияние этой случайности, пришлости явлений на состояние мысли и расположение духа местного бюджетного потребителя. Теперь же прежде всего необходимо сказать два слова в подтверждение сказанного вообще о случайности появления новин в наших местах. Для того чтобы убедиться в этой случайности, лучше всего посмотреть на местного «жителя», на коренника, на потомка тех коренников, тех подлинных «жителей», которые насидели место, называемое теперь «город такой-то», которые застроили его этими домиками в три окна, этими церквами, этими базарами, которые горели и погорали дотла и все-таки опять выстраивались на насиженном месте. Каков же этот потомок, каков этот теперешний коренник, фундамент города, житель или, что — то же, «предполагаемый на будущий год доход с недвижимых имуществ», каков-то он, этот недвижимый человек? Оказывается, что этот недвижимый человек как две капли воды такой же самый, как и его предок... Чего-чего не перебывало с древнейших времен до настоящих дней на том месте, которое насидел доисторический коренник, а он хоть бы на булавочную головку изменил суть своей жизни. Чем жил предок, откуда брал он силу чуть не ежегодно строиться вновь, ежегодно погорая от собственного самовара, — определить нет возможности; точно так же нет никакой возможности определить, чем живет, откуда берет силу жить и теперешний житель, населяющий эти бесконечные трех- и четырехоконные каменные и полукаменные дома; но точь-в-точь, как и предок, он погорает от собственного самовара и точь-в-точь, как предок, — неведомо как, — умеет выстроиться. Подлинный житель непостижим без собственного дома. Дом и житель — это то же, что мышь и нора; житель потому не просто человек, а, так сказать, — человеко-дом;

и в этом виде и смысле он — две капли воды тот же самый человеко-дом, как и его доисторический предок.

Идут мимо него реформы, оперетки — а он все бухает да бухает у Никитья к ранней и поздней, к первому, ко второму и третьему звону. Среди бездонных луж, устроенных этим самым жителем, появляются венские кареты, и в каретах сидят в высшей степени расстроенные нервы, а житель, не обращая на эти нервы никакого внимания, продолжает терзать их хрюком и ревом своих базарных площадей и по-старинному тащит поросенка за заднюю ногу, ни капли не расстраивая своих доисторических нервов его воплем. Мимо него идут линии железных дорог, открывающие ему ворота на дороги всего света, а он все-таки продолжает ездить в одну только Оптину пустынь. Придут вместо железных дорог аэростаты — и он все-таки и на аэростате поедет в ту же Оптину пустынь или уж (благо скоро ходит) съездит к Троице-Сергию, потому давно (лет тридцать) собирался. Во имя чего он дубасит у Никитья, толкается на базаре, горит и строится — я не знаю, точно так же как не знаю, почему мышь проявляет себя только в прогрызании дыр, но что мышь и житель одинаково непоколебимо тверды в упомянутых проявлениях, это я вижу ясно. Чем же объяснить такую удивительную непоколебимость нравов человеко-дома, если не тем, что почти ни одно из «явлений» последних дней не началось в его норе, а прилетало, являлось со стороны? В нору жителя доходил только звук, свет явления, «ноне пошло» вот то-то, говорил он и на том оканчивал связь с тем, что «пошло»... «Пошло земство», «пошел шиньон», «пошли банки», «пошла стуколка»... Кое-что — например, шиньон, необходимость билета на железную дорогу — он удерживал у себя; но принимая шиньон, он все-таки отправлял в нем свою дочь к тому же самому Никитью, куда ходила и бабушка, хоть и без шиньона, а по железной дороге, как уже сказано,— ездит все в ту же Оптину пустынь.

При этом необходимо упомянуть, что и принятие таких вещей, как шиньон и билет, всегда обходилось ему необыкновенно дорого. Так, прежде нежели он научился брать билеты, у него было и долго тянулось дело по оскорблению начальника станции словами. Он пять раз подходил к кассе и спрашивал билет в Оптину пустынь,

пять раз ему говорили, что нет такой станции, пять раз он отвечал на это, что «как же, мол, Иван-то Петрович ездил?» — «Проходите, проходите!» — говорил ему жандарм, и пять раз житель влезал за перила и вылезал из них без всякого результата. Так как прежде, до чугунки, все ездили в Оптину пустынь весьма благополучно и так как Иван Петрович ездил туда же по чугунке, то отказывать в билете — это значит просто желать взять взятку. — «Это вы, я вижу, господин, помазаться захотели, что, мол, в Оптину пустынь нельзя... видно, и тут с нашего брата норовите слизать...» — в шестой раз продравшись к кассе, с полною уверенностию заявил житель. «Что-о-о-о?» — загремело на это из глубины кассовой будочки, и загремело именно таким голосом, после которого непременно должен следовать протокол: так и вышло. Дело это, тянувшееся полтора года, стало жителю в копейку, но научило его брать билеты в Оптину пустынь. «Ты у меня спроси, — говорил он какому-нибудь юному жителю: — как, например, по нонешнему времени в Оптину-то пустынь ездят, так я тебе могу объяснить это... Оно у меня вот где сидит, следовательно, я знаю, как билеты берутся... вот!»... А шиньон? Тут ревела, не день, не два, а два-три года кряду, целая масса девиц, изнывающих в душных жителевых норах, жен и матерей, понимающих, что по нонешнему времени нельзя «без этого», бабушек и прабабушек, тронувшихся рыданиями внучек, и т. д. И только после нескольких лет этого рева, просьб и рыданий, возобновлявшихся аккуратно перед каждой всенощной и обедней, житель, который все время упирался единственно только потому, что все новое, приходящее со стороны, неприятно ему, наконец разрешает купить шиньон, прибавляя так, ни к селу ни к городу:

— Да смотри у меня! Ежели чуть что — из дому выгоню. Хоть околей на улице — не пущу!

Но принимая кое-что из нового, он суть дела оставляет всегда прежнею, как уже это и было показано на истории с билетом и шиньоном, и принимает это «кое-что» после продолжительного самоистязания, воплей семьи, расходов по делу и т. д. Все же остальное новое, что не подходит так близко к его основным убеждениям, как подошел шиньон и билет на железную дорогу,

все являлось к нему в виде повесток, просовываемых в его нору каким-то серым рукавом и требующих 1 р., 2 р., 5 р., и т. д., только оплачивалось и оплачивается им, причем житель кряхтит, чешется и под конец все-таки платит. Оплаченные таким образом новости как будто бы осуществляются в действительности, но в нравственном мире коренного жителя — от них ни тепло, ни холодно. Верит он в сущности все-таки только в то, во что верил его древнейший предок.

III

Таков коренной, фундаментальный житель города. Притерпевшись ко всевозможным переменам, закалившись, с одной стороны, в уверенности, что появление «этих несчастий» неизбежно (всякий, даже и ни в чем не виноватый из жителей уверен, что от сумы да от тюрьмы — отказываться нельзя,) с другой стороны — в том, что оно, это явление перемен, не от нас и «нам не требуется», житель хоть и кряхтит, хоть и платит, но основы, то есть пироги, храмовые праздники, пожары и т. п., завещанные ему предками, узаконяют в его собственных глазах его существование. Веря в эти основы, он чувствует некоторое тепло близ них, имеет на белом свете некоторый уют. Выстроившись, отправившись благополучно к Троице-Сергию, житель может иметь в своей норе минуты истинного счастия, особливо когда уверен, что ближе будущего года гореть ему не придется, что вороты заперты, собаки спущены, что около кровати старшей дочери, свернувшись клубочком под шубкой на полу, лежит старая бабушка и всю ночь, не показывая виду, не спускает с своей внучки глаз. В такие минуты, когда житель вполне уверен, что в такой поздний час не придут с повесткой, что не влезет вор, что господь сохранит от пожара, что дочка замуж пойдет по-божески, в такие минуты житель может быть вполне счастлив. На душе его в такие минуты тихо, тепло; тихо и тепло в такие минуты в его спальне, в его перине, и весело от ровного тихого света лампадки.

Но каково тому, кто не глупит, как распоясовский мужик, каково тому, кто не сеет, не жнет, не рубит и не опустошает, кто не терпит, как коренной житель, от но-

вых времен и от пожаров, но кто поставлен к этим временам для того, чтобы «делать их», кому заплачено чистыми деньгами и сказано: «не хлопочи ни о чем, а думай, делай и получай за это!» — каково-то на душе у этого человека, лишенного совершенно того уюта душевного, который есть у «жителя», который поставлен вне условий, заставляющих распоясовского мужика, получившего восемь гривен, успокаивать себя фразой: «по крайности — деньги»? Каково-то состояние духа этого подлинного неплательщика (иные называют этот сорт людей интеллигенцией, в данном случае — провинциальной) ввиду все той же случайности появления новых дел, к которым ставят его и за которые ему так хорошо платят?..

Без всякого преувеличения можно сказать, что состояние духа лучшего экземпляра современного провинциального интеллигентного неплательщика поистине ужасное. Именно ужас этого душевного состояния и заставил нас оторваться на время от распоясовских интересов. Чтобы это определение не показалось читателю голословным, мы постараемся разобрать, хотя в общих чертах, элементы, из которых слагается это определение, а так как корень и источник положения, определяемого в конце концов словом «ужасный», все-таки та же «случайность», то прежде всего нам необходимо взять какое-нибудь явление, случайность которого не может подлежать сомнению и ясна для всех.

Возьмем поэтому такое явление, как железная дорога. Не подлежит никакому сомнению, что город, о котором идет речь, никоим образом не мог иметь надобности в этом новом явлении. Погорая ежегодно, он был беден, как бедна была вся округа. Поэтому на предложение еще только проектированной дороги войти городу с нею в какие-то соглашения и сделать в ее пользу какие-то уступки город отвечал прямым отказом. Он знал свои средства и находил, что соглашаться ему «не расчет». В чем другом, а в этом деле можно поверить опытности жителя, и, стало быть, если, несмотря на этот отказ, дорога все-таки явилась в наших местах, то появление ее можно смело считать вполне неожиданным, случившимся вопреки местным надобностям и экономическим возможностям. Но так или иначе мысль, родившаяся

в какой-то посторонней голове, родившаяся из каких-то до нас ни на волос не касавшихся расчетов, приведена в исполнение: локомотивы свистят, поезды приходят и отходят. Факт совершился, и волей-неволей приходится подчиниться ему.

Кряхтя и почесываясь, город принужден строить шоссе к станции железной дороги, которая, после отказа в соглашении, выстроилась где-то необычайно не у места. Прошла дорога и стала возить все дешевле, чем на лошадях; лошадиная езда стала невозможностью, и хотя то, что город и округа возили на лошадях в старину, с проходом дороги не могло увеличиться, но неволя заставляет и для этих маленьких грузов строить шоссе, потому что возить людей и товар по таким местам, где отроду не было никаких дорог, не представляется никакой возможности; и вот из доходов города выламывается нежданно-негаданно куш в сто пятьдесят тысяч рублей. В расходах, кое-как удовлетворявшихся местными средствами, образуется новый, на который еще вчера никто не рассчитывал и который нечем покрыть, так как и прежние едва-едва удовлетворялись. Местное самоуправление, выломив из своих доходов такой куш, вдруг съеживается в удовлетворении самых настоятельных потребностей, только что пробужденных другими, тоже большей частью случайно вторгнувшимися в жизнь явлениями. Положено поэтому закрыть христорождественское училище, отложить до будущего года проект о водопроводе, уменьшить, сократить, отклонить, отложить. В деятельности городского самоуправления, предположим даже такого, которое одушевлено самыми благими намерениями, внезапное исчезновение такой кучи денег, какая пошла на мостовую, сразу делает прореху, и люди, даже самые лучшие, стоящие впереди этой прорехи, неизбежно должны сознавать ее, чувствовать, что дело их — не дело, а так — вокруг чего-то толкотня, и что покуда не заполнится чем-нибудь эта прореха, все остальные потребности города, еще вчера крайне настоятельные, должны удовлетворяться только обиняками, могут поддерживаться только в переписке, на бумаге, замазываться и размазываться особенно искусно придуманным для выражения несуществующих вещей языком...

Так отзывается внезапность явления железной дороги на хозяйстве города. На хозяйстве «округи» она отзывается появлением Ивана Кузьмича. До появления дороги у жителя округи, у распоясовского обывателя, было очень мало; все, что у него было, он весьма удобно увозил в город на продажу на своих дровнишках. С появлением дороги размер его имущества не увеличился. Распоясовскому обывателю от нее ни тепло, ни холодно, но Ивану Кузьмичу от нее тепло несомненно. От нее тепло хищнику, тепло человеку, имеющему что-нибудь. Иван Кузьмич, благодаря новому пути, является в глушь и берет то, что есть. У обывателя очень мало; Иван Кузьмич берет у помещика, берет леса, камни, словом — недра, то есть безжалостно расстраивает благосостояние распоясовца, уничтожая, покупая и увозя такие вещи, потеря которых невознаградима. Неудивительно поэтому, если на будущую сессию окружного суда число дел о краже значительно увеличится.

Таким образом, кроме городского самоуправления, прореха, благодаря внезапности явления, должна обнаружиться на другой же день по проходе железной дороги еще в двух новых инстанциях. Она, во-первых, обнаружится во всей громадной организации новой железной дороги со всеми бесчисленными ее службами, отделениями и конторами и, во-вторых, задевает отчасти деятельность учреждения, повидимому вовсе к дороге неприкосновенного, именно — нового суда.

До появления Ивана Кузьмича громадная, требующая трехмиллионных расходов организация дороги не делает ровно-таки ничего. Телеграфы ее гудят: «нет, нет, нет...» В отчетах и ведомостях, над которыми сидит не одна сотня народу, проставляется, пишется, докладывается о том, что грузов не было и нет, и весь этот хор, стоящий три миллиона рублей, на разные голоса, разными почерками поет и пишет: «ноль, ноль, ноль; нет, и нет, и нет — и ничего, и ничего, и ничего, не было, не было, не было», — квакают, кудахтают и стонут по конторам, по отделениям и т. п. Тут уж не просто прорехи — тут прямо пустое место, дыра бездонная, вокруг которой стоит масса неплательщиков и получает «за это» чистыми деньгами.

В таком положении находится «дело» до появления Ивана Кузьмича. С появлением же этого оживителя глухих местностей дорога начинает работать: «лес, лес, лес», — начинают гудеть телеграфы... «Лес, лес, лес», — проставляют и записывают в ведомостях, в отчетах, в книгах и бумагах... «Лес, лес, лес», — бежит по всей линии, наполняет все вагоны до тех пор, пока вдруг не прекратится этот «груз» под топором Ляпунова Ивана Кузьмича и не побежит по всей линии из-под его лопаты уголь или камень. То, что дорога с появлением Ивана Кузьмича «начала работать», это не подлежит никакому сомнению, так как уже известно, что, благодаря этой работе дороги, у распоясовского обывателя появилось одно время до восьмидесяти копеек серебром чистыми деньгами; но несмотря на несомненность «работы», едва ли такая работа может связать с собою интеллигентные силы неплательщиков, так как если, благодаря Ивану Кузьмичу, и нельзя уже назвать ее дела пустым местом, то язвою и раною не назвать невозможно.

Кроме всего этого, внезапный толчок нового явления отдается даже и в таком месте, которое, повидимому, не имеет с этим внезапным явлением никакой связи, в новом суде. Кража бревна, кража овчины, кража двух кулей ржи, кража подпояски, кража, кража, кража — бесконечным потоком тянется на скамью подсудимых... Распоясовский обыватель начинает занимать в острогах и на скамье подсудимых видное место. Его хватают, везут, содержат в тюрьмах, кормят, допрашивают, делают очные ставки, говорят речи; для его оправдания и обвинения толчется и получает деньги целая толпа народу, пишущего, разъезжающего по казенной надобности, сочиняющего бумаги, речи. Но и тут, в этом постороннем новому явлению месте, не оказалось ли, благодаря этому явлению, пустого места, чего-то ненужного, чего-то такого, о чем не стоило бы ни хлопотать, ни писать, ни говорить речей, так как все дело ясно, как дважды два: пришла чугунка, приехал Иван Кузьмич, все вырубил, выкопал, даже украсть стало негде, ну вот и все... Господа присяжные говорят, правда: «нет, не виновен», но ведь они зато и не стоят бюджету ни копейки. Все же, что стоит денег, чувствует, что, говоря об этом бревне, утащенном распоясовцем, об этом взломе и прочих распоясовских

преступлениях, оно не имеет под собою реальной почвы, не ощущает действительного дела, по крайней мере большею частию не ощущает его, а что-то пустое, хлопотливое, что-то совершенно не серьезное, не «настоящее» ощущается и тут, среди всей дорого стоящей обстановки, с которою это, якобы серьезное, совершается.

Итак, вот каким образом в самых общих чертах отзывается внезапность того или другого нового явления, на этот раз — внезапное явление новой железной дороги. В трех пунктах новых дел оно отозвалось появлением пустого места, чего-то такого, чего нечем наполнить; оно пустым местом отозвалось в городском самоуправлении, образовало новое пустое и даже больное место в виде всей организации новой дороги и внесло хлопотливые и дорогие пустяки в серьезное дело суда. Только в общих чертах, только на единичном случае внезапного нововведения показали мы результаты этой внезапности, результаты, происходящие тотчас, на другой день после того, как невозможное почему-то стало возможным. Но если мы предположим, что и кроме новой питательной ветви почти все явления жизни нашего городка имеют тот же характер неожиданности в своем появлении, что все они, появляясь неожиданно, нарушают существовавший до них обиход, то будет понятно, почему вокруг новых дел не чувствуется особенной жизни, а, напротив, в каждом таком явлении замечается какая-то дыра, образовавшаяся от того, что нашу провинциальную шкуру принялись тянуть в разные стороны, да и разорвали в двадцати местах. Не явись чугунка — не пришлось бы строить шоссе, полтораста тысяч пошли бы на другое, христорождественская школа существовала бы, приготовила бы лишний десяток грамотных. Иван Кузьмич не приехал бы к нам с своими капиталами, и распоясовские леса хотя кое-как грели бы распоясовского обывателя, а быть может, случилось бы и так, что, нуждаясь в деньгах, барин и сам бы вошел в сделку с этими обывателями. Не было бы пустых дел в суде, не было бы такого, как теперь, очень часто совершенно непроизводительного расхода на тюрьмы. Но дорога, на зло всем возможностям, прилетела и все перевернула вверх дном. Благодаря ей является шоссе и закрывается христорождественская школа, где учился десяток беднейших мальчишек; бла-

годаря ей является Иван Кузьмич, платит за распоясовские леса чистыми деньгами; деньги эти являются в город, и в ту самую минуту, когда закрывается христорождественская школа, — открывается театр с оперетками, и в то же время окружный суд наполняется ворами, укравшими у Ивана Кузьмича бревно. Обилие «каких-то» денег от проданных лесов и от денег, которые тратит организация нового явления, помогая Ивану Кузьмичу, начинает бить запахом денег в нос обывателям, и вот батюшка, лицо духовное, прекращает у себя маленькую школу, ибо за ту комнату, в которой она помещается, теперь можно получить втрое против того, что давала школа при ежедневном труде в ней.

Мы бы никогда не кончили с этой путаницей барышей и убытков, если бы стали подробно разбирать, что и как происходит в провинциальной жизни от неожиданности вторгающихся в нее явлений. Работа эта трудна, а у нас нет достаточно досуга, чтобы заняться ею с подобающею ей тщательностию, но как бы ни было велико количество сцепляющихся с неожиданностию явлений фактов, общий их смысл — нарушение распорядков в местном кармане и, главное, — мышлении. К какому бы новому либо старому явлению мы ни подошли, в сущности его всегда будет прореха, недостает чего-то или окажется хвачено через край... Там чувствуется что-то ненужное, там прямо невозможное, а в ином месте — просто чорт знает что, вообще же все как будто не настоящее, растопыренная нищета, уголовная бедность и т. д. Отдать таким полуделам, таким «как будто бы» делам свою душу, кровь, мозг, ум, словом, все — нет никакой возможности. Сегодня я отдаюсь делу всей душой, а завтра нагрянет такое явление, которое бог знает как далеко отшвырнет меня от этого дела; возможность такого явления отнимает охоту отдаваться всей душой. Таким образом, мысль интеллигентного неплательщика и простое, здоровое, совестливое ея развитие во всем этом решительно ни при чем, так что вообще распоясовский обыватель решительно не может, да и не должен завидовать интеллигентному неплательщику; дела, за которые этот неплательщик получает готовые денежки, — в сущности не дела, а какие-то рубища, которым надобно придавать благоприличный вид, какая-то толкотня около

и вокруг почти пустых мест с обязательством придавать им вид возделанных полей; на мой взгляд, куда не сладка таким путем достающаяся копейка!.. Тратить всю жизнь *невзаправду*, уставать от хлопот вокруг пустого места — да этакой муки не вознаградить никакими деньгами...

Но в истории состояния духа интеллигентного неплательщика это горе, происходящее от отсутствия связи его совести с тем делом, к которому он приставлен, — это еще только цветочки, ягодки будут впереди! Самая глубокая беда для него еще не в этом, а в том — отчего интеллигентный неплательщик, невзирая на то, что он не получает взамен жалованья ничего, кроме горького сознания, что «уходят» года, все-таки стоит у этих полупустых или пустых мест? Почему он, зная, что уголовное дело о пропаже у Ивана Кузьмича двух овчин произведено в сущности самим Иваном Кузьмичом, все-таки бурчит что-то для проформы против распоясовского обывателя и бурчит, скучая, целые годы? Какая сила держит этого неплательщика около дела, где нет ровно ничего, кроме «не было», и «нет», и «не будет»? Какая сила подавляет его негодование на это дело о «не было», на эту бесплодную потерю дней и годов, которые — он отлично это знает — никогда не воротятся к нему? Вообще же кто и что превратило его в интеллигентный гвоздь, который вбивает на известное место посторонняя рука и который оказывается способным держать все, что эта посторонняя рука на него ни повесит? О, глядя на этот гвоздь, глядя на то, как, интеллигентно ворча что-то, он все-таки продолжает крепко сидеть там, где его вбили, негодование, боль, скорбь, гнев и слезы задушили бы, замучили бы сразу человека, рожденного вне случайностей нашей жизни; но мы, рожденные тут, в самом центре пустого места, не умеем ни плакать, ни негодовать столь глубоко, тем более что у нас есть и ключ к этому явлению.

Этот ключ — все тот же случай.

IV

Нам приходится таким образом перейти к явлениям, которые происходят во внутреннем мире интеллигентного неплательщика; при этом прежде всего необходимо сказать два слова о том, что бесконечный ряд предшество-

вавших случайностей сумел воспитать, довести до степени породы значительный класс более или менее мелких неплательщиков, которые ни по натуре, ни по умственному развитию *не могут,* в буквальном смысле слова, делать никаких дел, кроме дел, составляющих голое, пустое место. Возня вокруг «ничего» в этих редких экземплярах, служение пустому месту возведено в настоящее дело, в такое дело, на которое уходят все движения души, вся страсть... Белое поле бумаги, на которой надобно с осторожностию мухи ползать пером, чтобы в растопыренных выражениях не сказать большей частью ровно ничего, это поле бумаги, белой и сыроватой, производит на такие организации впечатление почти женской, девственной красоты... Стальное перо почти сладострастно впивается в это белое тело, бережет его, дрожит за него... С каким захватывающим дух восторгом взлетает это перо вверх, чтобы, секунду подержавшись на вершине заглавной буквы, вдруг сорваться и торчмя головой ринуться смелым, даже отчаянным завитком вниз, в бездну, в эту белую бездну чистого листа «министерской» писчей бумаги! Положительно можно сказать, что эти редкие экземпляры, рожденные в самой средине всевозможных кружащихся вокруг пустого места обиняков, в такие минуты живут настоящею жизнию, и именно тут, близ этой бумаги, от душного воздуха этих гнилых обиняков, бьется их сердце, волнуется кровь, человек оживает, унывает, грустит, вообще — живет.

Этот удивительный экземпляр, выработанный условиями жизни исключительно на пользу пустых мест, — экземпляр редкий и без примеси пьянства, мелкой алчности и какой-то грязи во всех других своих чисто личных и действительно живых отношениях встречается очень редко. Но и в чистом виде, без малейших признаков чего-либо живого, он тоже есть, и в таком виде ему положительно нет цены. Грустно вымолвить, а нельзя утаить, что в этом олицетворении обиняка нуждаются все, даже самоновейшие учреждения. Он, этот обиняк, появившись там, где люди, чувствуя перед собою пустоту, теряются и не знают, что делать с ней, чем ее наполнить, вдруг, в мгновение ока, вносит в эту пустоту всеми желаемую атмосферу дела, хлопот и забот. Там, где все дела переделывались в полчаса и затем оставалось несколько ча-

сов, которые приходилось убивать кое-как, кой-чем, — там с появлением обиняка вдруг начинает нехватать целых суток для того, чтобы исполнить хоть часть дел, и становится не стыдно получать жалованье. Непритворность и страстность этого обиняка необычайно сильно действуют на всех, невольно покоряя своею искренностью, как вообще покоряет человека все подлинно искреннее. Кто, кроме обиняка, может так искусно балансировать над бездонной дырой, открывающейся перед всяким живым человеком, балансировать, «отклонять», «отклоняться», «обходить», «откладывать», «умалчивать», «заслушивать» и т. д.? Только он, один он в силах из «ничего» создать «заседание», да не одно, а пять, десять, исписать по этому случаю вороха бумаг, взбудоражить или по крайней мере сцепить в кучу не один десяток человек, изложить в тысяче пунктов то, чего бы никто не заметил, даже пристально рассматривая на собственной своей ладони... Нет никакой возможности исчислить всю необычайную пригодность для пустых дел этого чистейшего экземпляра обиняка, равно как нет возможности с точностью и ярко представить внешний и внутренний вид этого экземпляра — и то и другое до бесконечности неуловимо... Это — дух, невидимо присутствующий во всех новых и старых делах обиняковото содержания.

Такие цельные экземпляры необыкновенно дороги и редки; редки оттого, что для выработки такого экземпляра необходимо несколько поколений, на которых бы случайности жизни, отнимающие веру во все живое, действовали бы с неумолимою настойчивостью, в одном и том же смертоносном направлении, более или менее продолжительное время. А такая систематичность выдается на долю немногих и есть тоже случай; поэтому-то чистый тип обиняка хотя и одушевляет собою все пустые места, но к числу интеллигентных неплательщиков причислен быть не может. «Без меня там сядут. Я один работаю за всех!» — говорит такой экземпляр обиняка где-нибудь на именинном пироге под хмельком, и говорит сущую правду, потому что он один живет и дышит и искренно предан всем этим обиняковым делам; но потому-то именно, что он искренен в своем пустом деле, он и не принадлежит к интеллигенции, ибо неискренность —

вообще удел интеллигентного неплательщика. Да, наконец, несмотря на то, что он все невидимо наполняет и движет, уж одно то обстоятельство, что он почти всегда получает от бюджета медный грош, крупицу, — уж это выделяет его из полчища неплательщиков, удел которых, кроме неискренности, также и способность съедать очень много... Повторяем, это дух, олицетворение озабоченной серьезностью лжи, а не интеллигентный неплательщик, лгущий только из-за денег.

Грустно положение человека, у которого бьет седина и который, содрогаясь, что «ушли годы», и вспоминая их, эти безвозвратно исчезнувшие годы, к ужасу своему видит, что ему нельзя отстать от этого «обиняка», к которому его принесла река случайностей жизни. Нельзя потому, что тут по крайней мере «верный» кусок хлеба, именно хлеба, пропитания... То, что с ним случилось, отняло у него охоту ценить свою мысль, свои симпатии, отучило его даже слушаться своей натуры, того, что без его ведома прирождено ему... Тихий и кроткий, он «попал» в разряд «озлобленных». Неожиданность! Когда его наказывали, он неожиданно чувствовал себя хорошо; когда его прощали, это было его наказанием. Смолоду это весело и чудно́. Жизнь выделывает такие неожиданности, сталкивая с хорошим там, где должно бы быть дурное, и наоборот, ставя в положения, в которые ни за что бы не попал, если бы распоряжался сам, и т. д. Но эта комедия случайностей, с той минуты, когда неразборчивая, грубая рука ее начинает рвать живое тело (тоже по недоразумению), с этой минуты шутовская комедия превращается в глубокую драму. Сила случая, дающая себя знать так больно, ясно доказывает свои громадные размеры, заставляет жаться от нее подальше, беречься, чтобы сильная и бестолково действующая рука ее не достала, не дохватила. И вот человек съеживается, забивается в угол. И, весь израненный, говорит себе: «по крайней мере верный кусок хлеба», — и становится к пустому, иной раз и не совсем чистому делу.

Все это яркие продукты случая — явления крупные, видные, но и вся остальная бюджетная братия, если и не подвержена таким заботливым попечениям случая, изведала его власть на бесчисленных мелочах. Тысячи систем воспитания и образования, пережитые с детства и всякий

раз обязательно связанные с куском (большим или меньшим — все равно), уже в ранней юности ослабили, если не совсем умертвили мысль, приучив человека только к страху перед таким будущим, в котором могут и не дать этого куска хлеба. Затем, если, несмотря на эти способы превратить человека в автомата, ему по врожденной силе мысли удалось сохранить в нее веру и в последующие годы, то заботливая рука случая не замедлит и здесь показать свою власть, вырвав из рук его любимую книгу, или понесет его по волнам таких случайностей, о которых уже говорено выше и которые все-таки приводят к страху потерять кусок хлеба (большой или маленький — опять-таки все равно).

Мы не говорим о тех из числа бюджетных неплательщиков, которые чуть не с детства знают уже, что́ «верно» в этой земной юдоли, и хотя прямо тоже не принадлежат действительно к интеллигентным неплательщикам, но сами несомненно причисляют себя к ним и уже во всяком случае могут действительно назваться неплательщиками. Мы не говорим о них потому, что слово *«рот»* вполне достаточно для того, чтобы определить и их личные взгляды и их отношения к тем новым или старым делам, благодаря которым этот рот постоянно и плотно набит... Но, увы, и подлинный интеллигентный неплательщик, мы должны это сказать скрепя сердце, тоже связан с своим делом тоже только одним ртом... К длинному, большому бюджету он несет только свой рот...

Теперь, подведя всему сказанному итог, потрудитесь представить себе состояние духа наилучшего интеллигентного неплательщика. Дела, которые он делает, не связываются (если, конечно, привычка не возьмет свое) с его мыслью надлежащим образом плотно и крепко; отдать на служение им силу души — нельзя: завтра может вломиться такое явление, которое сразу высадит целый угол только что с любовью начатого здания; возиться над разбросанными осколками и щепками невозможно: послезавтра может нагрянуть новое, даже и отрадное явление, которое опять-таки, втиснувшись внезапно и не туда, куда надо бы, расшвыряет и щепки... Дело, превращенное в прореху, требует медленного утомительного штопанья, толченья вокруг полупустяков, вокруг слов, хотя бы и громких, но пустых... И у таких-то пустых дел стоит

человек, у которого точно такие же дырья и прорехи сделаны уж в самой душе; у которого мысль отвыкла совать свой нос на сторону, словом — у которого случай все помял, все испугал, на все прикрикнул, и прикрикнул основательно. Ослабленный и испуганный внутри себя, интеллигентный неплательщик стоит у расслабленного дела, знает это, видит, как это пусто и пошло, каждую минуту чувствует если не всю пошлость положения, то уж всю его холодную пустоту, и стоит потому, что «по крайней мере» — верный кусок хлеба!.. Жить в постоянной атмосфере «*не настоящего*», «*не заправского*», дышать постоянно воздухом «неискренности» — и все потому, что только при таких условиях неплательщику дается возможность жить, — это чистое мучение!..

Предоставляю читателю самому соединить воедино сотни индивидуумов, хотя и разнохарактерных, но несомненно зараженных одинаковым недугом неискренности, и представить себе, что за жизнь, что за взаимные отношения могут сложиться из всего этого... Чтобы недалеко ходить за результатами такой жизни, спросите любого из интеллигентных неплательщиков, и он вам скажет, в откровенную минуту, что это — мученье, что это — ужас что такое, только не жизнь. «Но ведь так жить действительно нельзя!» — скажет читатель. Было бы действительно невозможно в таком положении просуществовать и дня, если бы в неплательщике и кругом него все было опустошаемо систематически. Но благодаря тому же случаю иное в делах и лицах каким-то чудом остается нетронутым, живым, обманывает глаз... Велико ли в самом деле обилие сил русской души, велика ли их живучесть, только присутствие и существование их несомненно почти в каждой, как бы грубо ни расшатанной душе неплательщика и изумительно по своей стойкости, по своему уменью съежиться до последней степени и все-таки жить, хоть урывками, но жадно вглядываясь в белый свет... Книга — вот прибежище всего съежившегося, притаившегося, но вполне живого в неплательщике... Боже милосердый, как жаден он до книг! Чего-чего не поглотил он на своем веку, и, несмотря на бездну проглоченного, мозг его до сей поры голоден, как будто бы ничего и не ел никогда, и все просит и все просит еще... Книга, чтение — единственное прибежище и отрада, но

только отрада, и отрада, увы, весьма бесплодная!.. Чего-чего только не перенес, не испытал благодаря непрерывному чтению этот мозг! Но не имея возможности, даже утратив отчасти самую мысль о возможности куда-нибудь нести то, что перенес, в чем убедился этот мозг, он привык наслаждаться мыслью сам для себя, он привык и приучил себя к ощущению чтения и — что делать — превратился в какую-то бездонную прорву, в которую можно валить томы, вороха напечатанных мыслей и которая все-таки будет пуста... Пишите, валите туда написанное всеми перьями, существующими на белом свете, — все мало; давай еще нового, а дела он все-таки будет делать пустые и верить искренно в одно — хлеб насущный. Нет, незавидное, бедовое положение интеллигентного неплательщика! Удивительно, как он живет еще. Но что особенно грустно среди всего этого, так это — дети!

Распоясовец! Мужик! Дай ты этим ребятишкам, этим подрастающим неплательщикам, дай ты им своих сказочек, простых деревенских песенок! Повесели ты их цветочками, и зверьками, и зайками... Пошути, побалуйся с ними! Ведь они чахнут в этом воздухе неискренности, утайки, неправды, а главное — в этой дорогой пустоте!.. Спаси их твоей простою правдой, дай дохнуть свежего, здорового воздуха, услышать прямое слово, — ведь они будут глубоко несчастны и глубоко гадки без тебя, без твоего правдивого и горького опыта, без твоей искренней, забывающей худое, шутки.

V

Так изо дня в день и из года в год тянется унылая, пустая, скучная и нищенски пестрая неплательщичья жизнь. Довольно значительным количеством интеллигентных ртов съедается довольно значительное количество бюджетных цифр, а в результате — «словно корова лизнула языком». В этой атмосфере «не настоящего», «не заправского» нет минуты веселья, нет здоровья, нет дела, нет сознания простого покоя... Всякого что-то точит, вертит в душе, особливо когда этот всякий остался один сам с собой и улучил минутку, когда может если не лгать прямо, то хоть не вывихивать себя, что почти составляет

всеобщую привычку... Лучшее, задушевнейшее желание большинства неплательщиков — уйти друг от друга, и, несмотря на это, завтра, напившись утром чаю, все желающее разбежаться вновь сцепляется в тесный хоровод вокруг пустого места и вновь продолжает почти бесплодную толчею, вырабатывая или, вернее, «вылыгая» себе хлеб. Какая-то непроглядная, жалкая бестолковщина, что-то тягучее и крайне больное непрерывно тянется в этой жизни изо дня в день (если не считать моментов, которые веселы даже и для птиц и мух, — любовные дела и проч.), пронизывая воздух, которым приходится дышать, и душным туманом застилая будущее... Бывают моменты, когда одновременно в разных концах неплательщичьего мира чувствуется полное удушье... вот, вот, кажется, дальше нет возможности выносить... И вдруг как молния блеснет: «Слышали? Варенька-то!.. Ведь застрелилась?.. Как? что такое? Неужели?..» И точно могучим ударом могучего кулака ударит та весть по расслабленной неплательщичьей душе... «Стало быть, и вправду душно и трудно!» — думает она... «Вправду, вправду!..» — говорит совесть, отвыкнувшая признавать за правдой какой-нибудь существенный смысл. И все, что уцелело в этой душе хорошего, все выйдет на божий свет. Боже, как ревет иной закоснелый неплательщик в такие минуты!.. Как он много начинает видеть и страшиться — хотя к пустому месту все-таки продолжает ходить аккуратно каждый день в половине двенадцатого утра и, скрепя свое действительно больное сердце, все-таки усердно трудится до пяти часов вечера ради своего рта, трудится над отвиливанием от «насущных вопросов»... А туман, духота мало-помалу опять сгущаются кругом... Опять тянутся скучные и серые дни... тянутся, тянутся, и вдруг опять как гром грянет, где-нибудь не вытерпит и прорвется «сущая правда»... От этих неожиданных появлений сущей правды не застраховано решительно ни одно из тех гнезд, где заседают вокруг пустого места обремененные жалованием неплательщики.

3. ХОЧЕШЬ-НЕ-ХОЧЕШЬ

I

Заговорив с читателем о некоторых как бы случайных проявлениях «сущей правды» среди насыщенной всевозможною тяготою современной действительности, я возымел намерение остановиться на этих проявлениях поподробнее и с этою целью, как и всегда, обратился за материалом к единственному моему источнику — моей памятной книжке. И что же? Несмотря на то, что книжка эта представляет собою самую беспорядочную кучу разных заметок, вырезок, выписок, набранных случайно и на лету, кое-где и кое-как, записанных тоже как пришлось и чем пришлось (один раз даже шпилькой, а раза два спичкой),— несмотря на все это, то есть на беспорядочность и отрывочность всего попавшего в мою книжку, вся эта безалаберная куча в конце концов убеждает меня, что в проявлениях того, что я позволил себе назвать «сущей правдой», не только нет ничего случайного, но, напротив, — и именно в настоящее время, — повсюду обнаруживается усиленная жажда ее, этой самой сущей правды, что именно теперь, когда романиста начинает заменять зоолог, когда патентованные сердцеведцы находят возможным определить самые трудные минуты в жизни современного человека выражением «просто свинство», когда — в подтверждение доведенных до такой простоты взглядов на человеческую породу ежедневная действительность то и дело выдвигает факты, как нельзя лучше подтверждающие, что человек действительно — зверь, животное, достойное только холодного изучения зоолога, именно в такую-то минуту это доказанное и вы-

ясненное животное никогда не болело так *сердцем,* как теперь. Безалаберная и растрепанная книжонка моя необыкновенно упорно старается доказать мне, что именно *это* и есть новое, настоящее, то есть заправское в настоящее время; что человек если и не изжил в себе зверя, то во всяком случае узнал, что, действуя только во имя *себя,* во имя *своей* берлоги, *своей* породы, *своей* силы, захватывая для себя — кулаком, мечом, хитросплетенным законом — все, что подходило ему под руку, и разгоняя направо и налево все, что ему мешало, он хотя и достиг полной независимости в своей берлоге, но оказался один-одинешенек, потерял смысл и интерес жизни и почуял, что для того, чтобы ощущать жизнь, ему надо волей-неволей выползти из этой берлоги, идти к тем «другим», которых он разогнал от себя и которых согнул перед собою в три погибели; дать место в своем сердце новому ощущению — любви к этим «всем», «другим»... Почуял, что это необходимо сделать волей-неволей, что без этого он — нищий с пустою, хотя и золотою сумой и что без этого жизнь — не жизнь, а только *доживание* века, начинающееся с самого дня рождения.

Такими чертами можно определить современную болезнь звериного сердца, впрочем только там, где возможны самые характерные и резкие проявления этой болезни, а именно — на западе Европы. В странах, где человек-зверь для собственного своего благополучия сумел проделать все, что зверю проделать возможно, где этот человек не церемонился, именно только во имя своих личных удобств, сотни лет губить целые поколения, не поморщив бровью, — здесь явления нищего с золотой сумой начинают обнаруживаться хотя и не столь повсеместно, но зато с поразительной ясностью. Потомок древнего рода, сотни лет воевавшего во имя одного только права личного благополучия своей породы, этот потомок в наши дни, получив в свои молодые руки плоды долгой и упорной борьбы своих предков, делаясь обладателем накопленных ими богатств, угодий, покоя, полной возможности собственного счастия, вдруг обнаруживает отсутствие аппетитов, завещанных предками, чувствует кругом себя пустоту и бессодержательность жизни в раззолоченной берлоге и не видит другого исхода для своего жаждущего жизни сердца, как уйти из этой берлоги,

проникнуться сильными, долгими, ежедневными страданиями других. Факты такого рода во всей поучительной чистоте встречаются на Западе, среди наиотборнейших человеческих пород; правда, они еще довольно редки, но зато неизбежность их повторения делает эти редкие факты в высшей степени поучительными и весьма ясно рисующими будущее.

На Руси факты заболевания сердца «сущею правдою» встречаются не только не реже, чем там, у заправских зверей, но напротив, как утверждает все та же растрепанная книжонка, — составляют почти всеобщее явление; захватывают почти сплошь весь неплательщичий мир, да и к плательщикам иной раз перебираются. Но при таком сплошном заболевании движение во имя сущей правды в общем не имеет у нас той чистоты, ясности, естественности, какую имеют факты подобного заболевания на Западе, — а постоянно или по крайней мере очень и очень часто заключает в себе подмесь совершенно не идущих к сущности движения осложнений, подмесь иной раз просто скверную или просто смешную... Такие червоточины в движениях отечественной мысли происходят, разумеется, всё от того же «случая», о котором уже было обстоятельно говорено в предыдущем очерке и который не только властвует над отечественным карманом, но распоряжается и совестью. Сегодня вдруг, неожиданно, делается не только возможным, но прямо обязательным то, что еще вчера считалось не только необязательным, а прямо невозможным, противозаконным. Таким образом оказывается, что как бы ни было хорошо это ставшее возможным нынче и невозможное вчера — в самый день появления его на белый свет в нем уже есть червоточина — принудительность, запрещая вчера, оно сегодня начинает гнать к тому же, вчера запрещенному; появляясь внезапно, оно застигает постоянно врасплох даже друзей своих, и потому над всем этим внезапно поднятым народом постоянно висит «хочешь-не́-хочешь». Стало быть, именно во «внезапности» разного рода возможностей лежит причина как того что всякая хорошая и дурная возможность сразу захватывает громадную уйму народа, так и того, что народ этот, вообще *погоняемый* к новой возможности, в большинстве вовсе не приготовлен к ней, не нуждается в ней

и плетется за нею хочешь-не-хочешь; широкое и большое, по количеству захваченного народа, движение осложняется присутствием множества ненужных элементов и вообще не имеет той естественности, неизбежности, чистоты, какими отличаются подобные же, хотя и редкие явления на Западе.

В настоящей «болезни русского сердца» — болезни, составляющей самую видную черту нашего времени, — главную существенную роль играет, разумеется, отмена крепостного права, то есть отмена целой крепостной философской системы. Для огромного большинства русских людей на другой день по освобождении крестьян оказалось необходимым ввести в собственное сознание такие понятия, которые вчера еще были совершенно ненужны, а сегодня сделались необходимы. Оказывалось необходимым дать место в своем сознании идее равноправности, идее, которая вчера была преступлением; оказывалось необходимым признать неизбежность труда, допустить вмешательство правды в человеческие отношения. Понятия равноправности, труда внезапно и неожиданно вторглись в сознание громадных масс народа, предстали перед помещиком, перед портным, который шил на помещика, перед ямщиком, возившим в город, перед хозяином постоялого двора, перед трактирным служителем, угождавшим барину, перед чиновником, хлопотавшим за него в судах, перед женой чиновника, его сыновьями, дочерями и т. д. и т. д. — до бесконечности. И весь этот народ, еще вчера не знавший о существовании этих новостей, сегодня должен был знать, что эти новости и суть «настоящие», а та философия, которою он жил, — не заправская, не настоящая... И вот является неисчислимая масса народа, обязанная «думать» об этом неожиданном новом и жить во имя этих новых понятий, обязанная непременно носить их с собою каждый день и каждый час... Ясно, что это народ — больной «сердцем», непременно больной, потому что в общем над всей этой кучей висит неизбывное «хочешь-не-хочешь».

Большого художника, с большим сердцем ожидает полчище народу, заболевшего новою, светлою мыслью, народа немощного, изувеченного и двигающегося волей-неволей по новой дороге и несомненно к свету. Сколько тут фигур, прямо легших пластом, отказавшихся идти

вперед; сколько тут умирающих и жалобно воющих на каждом шагу, сколько бодрых, смелых, настоящих, сколько злых, оскаливших от злости зубы! И все это — рвущееся с пути, разбешенное, немощное, все это рвется с дороги только потому, что это — новая дорога, новая мысль, и злится только потому, что не может или не хочет помириться с новою мыслью. Словом — все это скопище терзается или радуется и смело идет вперед потому только, что над всем тяготеет одна и та же болезнь сердца, боль вторгнувшейся в это сердце правды, убивающая и мучащая одних и наполняющая душу других несокрушимою силою. Минута, ожидающая сильный и могучий талант, который, несомненно, должен родиться среди такой массы глубоких сердечных страданий.

Так именно осмеливается разглагольствовать моя растрепанная подруга, записная книжонка, и, не претендуя на самомалейшую возможность даже попробовать рисовать эту удивительную картину, тем не менее по силе возможности всегда готова представить сценку, заметку или случайно встреченный факт. Указывает она, например, на такое очень часто повторяющееся явление: общественный деятель. Человек, долгие годы работавший над тем, чтобы в душное время полнейшей засухи достать хоть капельку свежей воды, рывшийся до нее сквозь каменные слои, называющиеся «нельзя, не смей»; проникавший за нею сквозь сыпучие пески, называющиеся «не надо, не нужно, на что нам»; человек, наконец добившийся этой капли воды с неимоверными трудами, накачивавший ее своим маленьким поршнем из своего маленького насоса, — что значит, что этот человек вдруг начинает роптать на тех, для кого он работал и кого поил, роптать и браниться именно тогда, когда с такими трудами добытая им живая вода делается всеобщим достоянием?.. А между тем такой факт встречается поминутно, и нельзя ничем другим объяснить его, кроме вышесказанной внезапности появления живой воды. Вчера человек в поте лица добывал каплю этой воды, да и этой капли было много, а сегодня, благодаря позволению, воды нахлынуло столько, что и насос вылетает с корнем, и поршень начинает упираться от ее напора, и сам общественный труженик унесен, как щепка, этим

вдруг нахлынувшим всюду потоком. И вот, погибая, он вопиет против губящей его стихии, которую сам же всю жизнь вызывал на божий свет. Факт очень частый и ничем другим не объяснимый.

Указав на факты, подтверждающие именно внезапность пришествия новых идей, памятная книжка в подтверждение того, что эта внезапность захватывает *всех*, и притом врасплох, также представляет аргументы по силе возможности. В то время как нахлынувшие волны уносят, как щепку, действительного и много потрудившегося работника, заставляя его роптать на то, что от всей его деятельности не осталось и праху, тут же рядом с ним этот же поток несет по тому же самому направлению толпы не только не работников, не только не деятелей, но, очевидно, людей приневоленных: кто не знает этого визгу о собственном ничтожестве, этого воя о собственной немощи, ежеминутно оглашающих дни наши то там, то сям? Книжонка может привести множество примеров, из которых явствует, что человек, гонимый новым временем, ничего не издает, кроме визгу, ничего не делает, кроме именно «самого старого», и, ознаменовывая каждый приневоленный шаг разного рода скверностями, ни на минуту не перестает оплакивать эти скверности, сокрушаться о них, продолжая делать их ежеминутно и ежеминутно о них визжать... Как попал бы сюда, на эту новую дорогу, этот совершеннейший обломок старого, если бы его неожиданно, «хочешь-не-хочешь», не унесло сюда?

Если всякому знакомы эти визжащие фигуры, приводимые моей книжонкой в пример всеобщности движения, то точно так же должны быть знакомы и фигуры другого рода, подтверждающие то же положение: это — фигуры людей, знающих, что время уносит их по настоящей дороге, и с страшною силою воли заглушающих в себе все, что в натуре их, в их привычках, в воспитании есть враждебного этому новому пути. Книжонка указывает на множество типов людей немолодых, которые вяжут в себе старое по рукам и по ногам, чтобы служить новому, хотя обыкновенно служат недолго, потому что постоянная война с самим собой разрушает тело и мозг. Работники, взявшиеся за работу потому, что некому, потому, что *надо* стоять на этой работе кому-

нибудь, ставшие на работу потому, что *нельзя* не работать, нельзя не служить делу, для которого еще нет настоящих работников, такие работники — довольно-таки приметные фигуры в этом громадном движении к свету. И, к счастию, в такого рода людях на русской земле нет недостатка. Книжонка указывает на кротких, как агнцы, людей, людей, неспособных обидеть мухи, которые, однако, являлись перед публикой, например в печати, чуть не кровопийцами, и являлись потому только, что *надо* было являться такими, потому что настоящих не являлось. Книжонка указывает на множество людей, заглушавших в себе кротость для необходимой в данную минуту вражды со злом; заглушавших в себе отвращение для необходимой теперь именно потому-то и потому-то любви... Все это, конечно, не первый сорт, не первый нумер, но все это говорит о появлении новой мысли врасплох, говорит и о силе и неотразимости этой мысли, заставляющей людей переламывать, уничтожать в себе врожденное несочувствие к ней...

Эту движущуюся по новому пути толпу людей, большею частью вовлеченных туда невольно, неожиданно, хочешь-не-хочешь, книжонка заканчивает указанием, с одной стороны — на типы, все понимающие и ничего не могущие, с другой— на типы, ровно ничего не понимающие, но *подавленные всем вообще*. На одном из составляющих книжонку лоскутов значится следующее: «*В настоящее время очень дорог человек, с которым можно свободно молчать*, то есть думать не разговаривая, и притом так, чтобы молчаливый гость не просто молчал, а тоже постоянно бы думал, но не говорил, так как разговор при таком положении дела всегда оказывается чистым вздором и только конфузит обоих». Не знаю, по какому именно случаю записаны эти слова и кем именно произнесены они, только фигуры людей, в полном смысле *глубокомысленно молчащих*, мне очень коротко знакомы. Не раз встречался мне человек пожилой, много думавший, видевший много, знающий все, что выдумано мыслью относительно будущего, знающий все, что выдумано тою же мыслью относительно невозможности этого будущего, сознающий, как все это верно и глубоко, и ежеминутно убеждающийся, что из всего этого, как ни кинь—все клин. Я встречал людей, молча обедающих друг

с другом часа два-три, молча идущих по улице целые версты и знающих, что они *обо многом* молчат в это время, даже как бы разговаривающих молча. Такой тип — всегда старик, у которого жизнь прожита, а остался один голый ум. Благодаря кой-какому достатку сидит он где-нибудь в своей квартире у окна, или тихо идет по улице, или чужим толчется на чужой стороне и все молчит, и целые томы можно бы написать о том, «о чем он молчит».

А вот другой, совершенно ничего уже не умеющий сообразить, но *всем* подавленный человек. В прошлом году зимой явился в Париж мещанин Б—в, приказчик чайного магазина. Как добрался он сюда — решительно непонятно; ни на каком языке он не говорил ни одного слова, кроме русского. Это был молодой человек самой ординарной наружности приказчика, довольно чисто выбритый, по-гостинодворски одетый, очень кроткий, непьющий и на вид вовсе не больной, хоть и задумчивый. Зачем он явился в Париж? Он хорошенько не мог объяснить, хотя, кажется, желал бы сказать многое, но, очевидно, не мог... Не объяснив ничего относительно появления своего в Париже, он обыкновенно замолкал, смотрел в землю, тер ладони и вдруг скороговоркой произносил: «Больше ничего... застрелюсь!» В гостинице, где он остановился, смерти его ждали со дня на день, и все ходили беспрестанно в его нумер. Пришел и я. Я начал разговаривать с ним о чайном деле: долго ли он служил, сколько получал жалованья, выгодное ли это дело? Б—в говорил, отвечая на мои вопросы вполне определенно и ясно. Он даже увлекся и с жаром принялся расписывать, какие штуки употребляются для подделки чаю, как лучше всего обанкрутиться и т. д. Он оживился, и ни единой капельки какой-нибудь болезни не было заметно ни в его глазах, ни в его лице. Невозможно было представить себе, чтобы у этого, так всецело поглощенного своею торговою специальностью, человека была хоть тень мысли о самоубийстве. Но на беду господин (тоже русский), бывший в то же время со мной, совершенно неожиданно прервал разговор, сказав: «Нет, вы спросите-ка, отчего он застрелиться-то хочет!» Вопрос этот был сделан, очевидно, в шутку, но Б—в вдруг изменился. «Ну уж и стреляться!» — сказал я. «Ничего не поделаешь!» — как бы в отчаянии произнес, изменив-

шись в лице, бедный Б—в и стал объяснять, почему именно ничего не поделаешь... Найти в этих объяснениях какой-нибудь смысл или хоть чуть-чуть понять — не было никакой возможности. Если бы удалось стенографически записать все, что он говорил, и потом тщательно все перечитать и передумать, то и тогда едва ли бы получились какие-нибудь мало-мальски удовлетворительные результаты... Вот примерно, как он говорил и что именно: «Потому, такая линия... Что ж делать!.. (Молчание.) Одного платья сколько было — панталонов одних летних шесть пар, у Корпуса... да что! Тьфу... Неужели из-за этого?.. Господи помилуй! вот уж стоит!.. тьфу! (Молчание.) Нет! а есть над человеком перст — вот что!.. Теперь я приказчиком, все хорошо... Приглашали к Пеструхину на Невский на семьдесят пять рублей... и с удовольствием принимали, — сам не захотел!.. потому что... да что! Места̀! Вот уж наплевать-то!.. (Молчание.) Изволили бывать в Академии художеств? Ну, так там есть одна картина... представлено, как страждет невинная девица в молодом своем возрасте и как невинно... Ну, не стоит и говорить... Перст! Нет, тут особая штука... У меня это все нарисовано на плане... (Плана он не показал, а сказал: все особенное.) А то места̀, панталоны!.. Господи, очисти живота от всего от этого... Одно осталось — музыка, оркестр, серьезная игра!.. Послушать и помереть — вот! (Молчание.) А вот что правды нет ни капли — так уж это с тем возьмите! Перст!.. Ловки, очень ловки они!.. Боже сохрани, какая канитель!.. Вы только посудите одно: был я на цветочной выставке и вижу растение, фиалку... И думаю: столь удивительно хорошо, столь премудро, или, напротив того, возьмем человека, положим, хоть меня: прихожу к хозяину: «позвольте получить за два месяца...» да нет, нет — тут болтать нечего! Что пустое разговаривать... Послушаю музыки и с богом — на тот свет!» Вот примерно как и в каких выражениях этот бедный человек объяснял причину необходимого для него самоубийства. Слушая его, я ничего не понимал, но не мог не видеть, что в его бедной голове толпилось многое множество нежданных, негаданных мыслей, целой тучей нахлынувших в его бедную, слабую голову, искалеченную узкой специальностью. Какой случай внес в его сознание эти совершенно для

него неперевэримые мысли — я не знаю; очень может быть, что это была какая-нибудь практическая неудача, рана, нанесенная мелкому самолюбию; но что мучения его были серьезны и ничего «просто свинского» не заключали — это можно видеть и из его бессвязного разговора и из факта его действительного самоубийства. Б—в застрелился осенью того же года в Павловске. О смерти его напечатано в дневнике происшествий всех русских газет за сентябрь месяц прошлого года.

Около этих четырех-пяти главных фигур — труженика мысли, погибающего в общем стремительном потоке движения и ропщущего на него; человека, уныло воющего, оплакивающего свои несовершенства и ежеминутно эти несовершенства предъявляющего; того, который ломает в себе все не идущее к задаче, считаемой им за подлинное дело; того, кто молчит и думает, не видя для себя никакого исхода; и, наконец, того, кто не умеет думать, а прямо поражен, задавлен и разбит всем полчищем нахлынувших на его бедную голову мыслей, — около этих главных фигур группируется бесчисленное множество разновидностей, в которых не трудно узнать при некоторой внимательности черты, сходствующие с вышеприведенными, особенно заметными типами. Один не воет вслух, воет внутри себя; другой хотя и чувствует, что его несет, сорвало, но не показывает виду, а притворяется, будто даже очень рад, хотя и тот и другой в сущности испытывают точно то же, что и те, которые воплями и ропотом, не церемонясь, оглашают каждый шаг, делаемый ими на новом пути. Все это — как разновидности, так и главные представители разновидностей — все это составляет ту массу идущего по новому пути народа, который загнан на этот путь неожиданно ставшими необходимостию идеями простоты и правды. Все это идет страдая и болтая, упираясь и падая на пути, негодуя и злясь. Все это попалось в лапы новым идеям и, хочешь-не-хочешь, своими глубокими страданиями, своим глубоким негодованием свидетельствует о том, что эти новые идеи, эти новые потребности сердца пришли, вот тут где-то, и идут всё ближе и ближе. Можно *на них* лаять, можно *от них* рваться, можно *их* опровергать, можно на них просто плевать, притворяться, что не видишь,

можно просто не видать их; но лаять, негодовать, бежать, опровергать, словом, проделывать все вышеизображенное «без них» — никак уж невозможно.

II

Все эти толпы больных, страдающих, стонущих и проклинающих, на которые указывает памятная книжка в подтверждение вывода, что настоящее время более всего страдает «сердцем», весь этот трудно занемогший народ не составляет, однако ж, еще главного в общей картине этого необыкновенного нравственного движения, которое к тому же большею частью насильно втянуло его в себя. Вся беда этого народа заключается почти только в борьбе с самим собою, с собственными ненужными, мешающими освеженному сознанию старыми привычками. Несомненная трудность этой борьбы, громадность массы народа, захваченного ею, могут свидетельствовать только о том, что в сознание русского человека вошло нечто большое, небывалое, что это небывалое — сильно и велико. Но ни громадность захваченной небывалым толпы, ни самые размеры страданий не могут убедительно доказать наблюдателю, что «новое и небывалое» — явление вовсе не случайное, а напротив — неизбежное. Поэтому все муки и хлопоты, свалившиеся на случайно захваченного в движение неплательщика, состоят как бы в отвиливании, в придумывании разных штук, чтобы как-нибудь обойти, дать другое направление уносящему его потоку. Мысль его постоянно работает над всевозможными средствами, которые бы облегчили ему эту борьбу, он постоянно норовит что-то где-то устроить, учредить, сделать сначала то, а лет через пятьсот это, тогда как все дело и вся беда заключается в нем самом, и не позже, как сию минуту, и время требует переделки не на стороне где-то, не в каком-то чужом углу, а тут, в сердце самого неплательщика, куда с такою настойчивостью пробирается идея хотя бы «полнейшей простоты и правды» в человеческих отношениях. А эта идея действительно идет, вырастает сама собою и уже имеет в своей власти число сердец, ничуть не меньшее числа случайно занемогших и захваченных движением

невольно. Памятная книжка дает немало указаний и на таких людей, у которых уже нет никакой нравственной связи ни с чем прошлым, у которых ни капли нет себя для себя, у которых есть только одно: невозможность существовать, не глядя действительности в лицо прямо и смело и не повинуясь одной только сущей правде. Это — не специалисты новых идей и новых дел, знающие доподлинно, что и к чему; нет, это — простые, очень часто необразованные люди, стоящие на новом пути почти одиноко; но люди, которые могут чувствовать только совершенно правдиво и только повинуясь владеющей их сердцем правде, которые идут... куда? я не знаю. В появлении их на свет нет никакой случайности, нет никаких посторонних влияний; напротив, это — продукт самый чистый и самый последовательный недавнего прошлого, продукт, явившийся именно там, где прошлое особенно блистало своими наинепривлекательнейшими сторонами.

Беру из моей книжки наудачу небольшой отрывок, записанный со слов одного русского человека, лет под тридцать, встреченного мною за границей года два тому назад.

III

«...Вы вот всё не верите, думаете, что это только так, одна либеральная праздность, нежелание делать какое-нибудь простое, но серьезное дело... Уж наверное (я знаю, это я тысячи раз слышал) вы думаете, что так вот, болтаясь да разговаривая разные разности, я просто-напросто живу, ничего не делая, на чужой счет — и все... И знаете, ведь так думают иной раз очень добрые люди... «Врешь, каналья» — и все тут... Или так еще: «нахватался верхушек, прочел книжонку — и задрал нос... ну, и натурально, пошли эти разные идолослужения и все такое...» Главное, допекают нашего брата деньгами: «А деньги откуда ты берешь? Попробовал бы ты, говорит, зарабатывать так, как я; повозился бы ты с этой канителью, да тогда бы и разговаривал». Что отвечать на это, кроме того, что *не могу* я так, как вы, зарабатывать, что *не могу* жить так, как вы; потому просто, что нет у меня таких забот, таких огорчений, ради которых я бы так испугался жизни, что взял бы да и подал про-

шение к какому-нибудь православному жиду. Мне ничего не нужно. Но именно этому-то и не верят, да и вы не верите... Еще вот как иные называют: «новомодное дармоедство», а один делопроизводитель по коммерческой части на какой-то железной дороге, где нет никакой коммерции, так тот вот как ощетинился: «Вы, говорит, все равно что странники прежнего времени: придет, напустит на всех туману, получит даяние — и марш; а тут сиди да отрабатывай своим хребтом»... Очень все это натурально... Я только хочу сказать, что я именно и могу только, как вот делопроизводитель сказал, туман пускать... Если бы *я мог* не пускать его, я бы, разумеется, где-нибудь на железной дороге очень обстоятельно доказывал отправителю, что, облив его рожь керосином, я доставил ему только удовольствие и что не только мне за это платить ему не приходится, но, напротив, еще он обязан мне внести уйму рублей. В том-то и горе, а может, и счастье, что не могу! Очень уж крепко сидит во мне эта жажда туман распускать! А то бы почему окладами не побаловаться — самое любезное дело! И знаете ли: кто, какого рода человек воспитал меня таким образом? Отъявленный казнокрад, человек, вся жизнь которого, почти вплоть до самой минуты, когда нежданно-негаданно он сделал для меня добро, была длинным безобразием, исполненным всякой самой отвратительной скверности старых порядков... мой отец... Такова именно была жизнь моего отца... Лет до тринадцати я совершенно не знал его... Смутно помню какую-то фигуру, пьяную, на городском извозчике догоняющую наш возок, в котором я и мать ехали в деревню. Помню что-то небритое, осклабившееся в окне возка, что-то очень грубо говорившее с матерью; помню, что я ревел и что мать велела во всю мочь погонять лошадей... Не могу забыть какого-то зверского рева, несшегося вслед за мчавшимся возком: пьяный городской извозчик и пьяная фигура — оба ревели и гнались, не щадя ни лошади, ни своих глоток. Рев этот, эта неистовая скачка возка, эти комья снегу, врывающиеся в окна возка и бьющие меня, мать и няньку по голове, врезались в моей памяти навсегда, как нечто ужасное, а главное, что это — отец... Представление об отце у меня с этих пор постоянно соединялось с этим ревом, с чем-то таким, от чего у меня замирало сердце...

К этому неизгладимому впечатлению чего-то ужасного и нехорошего, по мере того как я вырастал, присоединялись новые, уже осмысленные причины ненависти к нему; постоянно я видел перед собой фигуру моей матери, окруженную фигурами разных добрых старушек, которые только и делали, что жалели ее... Моя мать никогда не жаловалась — она была безропотна... Она сохла и чахла в молчаливом сознании своего несчастия, всей трудности жизни. Несомненно, она искренно страдала, но я потом расскажу кое-что о мотивах к этим страданиям; теперь же — что долгие годы жалоб, раздававшихся вокруг моей матери и подтверждаемых ее вздохами и действительными страданиями, привели меня, мальчика лет десяти—одиннадцати, к таким мыслям: вырасту большой, наживу много-много денег, куплю маме большое имение; она будет ездить в каретах, и предводительша не посмеет перед нею пикнуть. Такие мысли я увозил с собой из деревни в город, в гимназию; такие мысли руководили мною на школьной скамье, и с ними я опять возвращался домой... Все меня тогда хвалили в доме у матери, все мне говорили: «не сын, а ангел, утешение растет матери, примерный мальчик...» Примерным меня называло начальство. Помню, что я действительно всей душой страдал за обиды и несчастия моей матери...

Я забыл сказать, что она жила в деревне, в собственном небольшом имении, верстах в сорока от губернского города, в котором я находился в гимназическом пансионе. Мне некогда было быть ребенком, проказить, шутить; у меня было дело, серьезная обязанность — счастье матушки... Серьезнее меня не было во всем пансионе ни одного ребенка. Я не только серьезно был занят своею мыслью, но умел уже ненавидеть тех, кто мешал мне отдаваться моей цели, и имел врагов, как настоящий деятель, упорно идущий к своей цели... Я научился понимать людей, познакомился с их побуждениями, взглядами, научился презирать и жалеть, словом — узнавал жизнь; но руководитель мой в этих наблюдениях, побудительная причина к ним была «матушка», «много, много денег» и «утру нос предводительше».

Переносил я обид и неприятностей много, много передумал, перечувствовал и тринадцати лет мог уже иной

раз дать матери моей хороший практический совет. Приезжая в деревню, я уж не мог не страдать страданиями хозяина, настоящего деревенского хозяина, уж меня тянуло входить во все.

...Вот в такую-то минуту моего развития, однажды, когда я приехал на праздник домой, — дело было за две недели до рождества, — случилось со мною такое происшествие.

Озабоченный горестями матушки по хозяйству, я на другой же день по приезде, ранехонько чем свет, вскочил с постели и намеревался отправиться разведывать о разных хозяйственных упущениях. Чтобы никого не беспокоить в доме, я зашел умыться в людскую. Как теперь помню, висит на веревке в грязных и мокрых сенях рукомойник; торопливо плещу я в лицо холодною водою; около меня стоит старый-престарый кучер Филипп, с полотенцем в руках, и слышу я сквозь плеск воды, словно бы он всхлипывает. Поднял я голову, гляжу — плачет.

— О чем ты?

Только замотал головой и залился.

Я изумился. У меня уж мелькнуло было: «не штуки ли тут?» (я уж знал, что на них не надо смотреть, не надо класть пальца в рот и т. д.); но слезы у такого древнего старца тотчас отогнали эти негодные мысли, и я опять спросил его:

— Да что ж такое? О чем ты плачешь?..

— Глянь-ко вон на плетень-то... — промолвил он, указав на сенную дверь, и сжал запрыгавшие от волнения губы, точно старая старуха.

Глянул я в сенную дверь, вижу: плетень, половина его обвалилась; около плетня валяется полузанесенное снегом колесо; недалеко стоит бочка, за плетнем плетется какой-то старичок, должно быть больной, еле передвигая ноги по размякшему снегу и хватаясь за плетень старческой рукой. Пристально смотрел я, почти вытараща глаза, и на старичка, и на плетень, и на колесо и все-таки не понимал: о чем плачет Филипп и о чем тут возможно плакать?

— Что ж там? — проговорил я в полном недоумении.

— Да ведь родитель это твой! — с сильным порывом глубокого чувства завопил старик: — Отец ведь твой...

— Кто?

— Да во-от нищий-то этот... Вот пробирается. Господи, царица небесная...

Тут я действительно остолбенел.

— Как?.. Этот?.. Отец? — бессвязно шептал я, весь как бы скованный, как холод вдруг сковывает воду, и оцепенело глядел на нищего старика.

— Он, батюшка, он!.. — шептал Филипп.

И вдруг во всем моем окаменелом теле, по всем жилам (буквально «по всем» — я это чувствовал и никогда не забуду) пробежало что-то ужасно острое и, главное, горячее (не жгучее, а именно горячее, как кипяток), жаром ударило в голову, и заревел-заревел я!.. Из-под моей ранней практичности, из-под моей озабоченности хозяйственными делами вдруг вырвался ребенок; как солнышко из-за туч, выскочило, ярко пылая, простое детское сердце. Так, как был, с мокрым лицом, повалился я на какой-то мешок с угольем и ревел. Я чувствовал ужасную жалость и ужасную вину. Чем виноват — я еще не знал, но сознание моей необыкновенной виновности я очень хорошо помню.

— Второй год, родимый ты мой, ведь он здеся-тко!..— шептал Филипп. — Маменьке-то, христа ради, не донеси... Господи, помилуй!.. Как не скажешь-то? Смотреть-то жалость одна! какой человек-то!.. Истинно, что божий человек родитель твой — право слово... И знати и духу-то нет прежнего... что стало!.. Маменьке-то не болтай, ради христа... Пуще всего, чтобы ты не знал, всем наказано... Не в примету чтоб, тихим манером надобно повидаться... вот как... А не болтай... а повидаться — повидайся... родной ведь отец, сам ты посуди... ох... и на что и сказал-то!..

Каждое слово Филиппа наполняло меня чем-то совершенно новым, что, однако ж, увеличивало мои слезы каждую минуту, и помню, что мне необыкновенно хотелось плакать... И гимназия, и мать, и товарищи, и мои заботы, и хозяйские хлопоты, и отец *тот*, который лез в возок, и отец *этот* — все это проходило беспорядочною толпою в моем мозгу и гнало потоки слез... Что-то простое и теплое принесла эта сцена в мою душу, которую до этой минуты все приучало ожесточаться, хотя тоже во имя любви...

— И не рад, что сказал-то! — хлопая себя по бедрам, шептал Филипп тревожно. — Ну, придут... увидят... Ах,

дурак старый, дырявый мешок... Хоть в другое место пошел бы, все бы не так... барчук! а барчук! Ах, и дела только... Ну, сем, в сарай бы пошел... Право, в сарай-то способней... Митрофан Петрович! барчук!.. У-эхма-а!..

Как уж я очутился в сарае — не помню. Должно быть, Филипп просто взял меня за руку и привел туда.

— Ну вот так-то лучше будет, — сказал он и стал ожидать уже молча окончания моих слез.

Не буду рассказывать, как моя мать и ее приятельницы заахали, увидав мои опухшие глаза; как они приняли это за простуду, уложили меня в постель, принялись лечить и т. д. Кроме величайшей тоски, я не испытывал ничего от всего этого, но терпел, ожидая дня, когда увижу отца, и придумывал всевозможные планы, чтобы достигнуть этого свидания. Две недели, однако, пришлось мне проболеть ожиданием этого свидания, потому что две недели продержали меня дома, не выпуская из комнаты. Наконец на праздниках, перед новым годом, я так настоятельно заявил о своем здоровье, что мне уж не пытались возражать.

Прежде всего я отправился, конечно, разыскивать Филиппа, чтобы вместе с ним придумать случай выехать из нашей деревни; дело в том, что отец жил в деревеньке, версты за две от нашей, в семье одного дворового человека. Скоро предлог был отыскан: в хозяйстве оказался недохват какого-то продукта, не то веревок, не то дегтю, — и надо было ехать за ними в большое торговое село Покровское. Покровское лежало совершенно в противоположной стороне от той деревни, где жил мой отец, но мы решили, закупив в Покровском что было нужно, не мешкая ехать назад, а затем, свернув с дороги, объехать нашу усадьбу и хоть на короткое время, но непременно завернуть к отцу.

Все было сделано так, как мы придумали. Всю дорогу — и в Покровское и обратно, продолжавшуюся добрых пять или шесть часов, — я ни минуты не был спокоен: предчувствие какого-то переворота, имеющего совершиться в моей жизни, держало меня в постоянно напряженном состоянии... Филипп, сидевший в санях рядом со мной, постоянно говорил про отца: от него я узнал, какой это был зверь «карахтерный» в молодости, как он маменьку обижал, как он маменьку бро-

сил, имея большие деньги, где-то прокутил их, пришел в деревню весь в долгах; но маменька его не приняли, а только дали на дорогу в город; как потом, спустя много лет, он опять явился, но уж совсем другим: тихим, робким, без всяких признаков буйного духа, и уже попросил у маменьки только помочи в съестном продукте, сам обещался не касаться ни до нее, ни до имения, а стал жить «по-христиански», то есть по-мужицки, с мужиками, у старых своих дворовых людей; живет как простой мужик, лапти тачает, зимой ребятишек учит, а летом работает, когда в силах, и лечит... Филипп особенно восхвалял его дар лечить и приводил бесчисленные примеры удивительных исцелений; говорил он, что отец принес от святых мест какую-то книгу, в которой сказано «все», и вот эта-то книга особенно помогает ему в его врачебном искусстве... Из рассказов Филиппа я убедился, что отец мой пользуется в народе славою человека, обладающего громадными сведениями, чуть ли не такими, какими обладает только колдун. Филипп даже и этот эпитет попробовал было приложить к моему отцу, но спохватился... «И-и! как это можно!.. только дураки и болтают так-то... «колдун, колдун»... знамо, по глупости, а прямо сказать — божественный человек... всё с молитвой, всё с крестом... Нешто так колдун может?.. Тот все с черным словом... Опять же у святых мест был, да и опять собирается... Не может этого быть!» Разговоры и рассуждения Филиппа не прекращались до самого въезда в деревеньку, где жил отец...

Были сумерки... По деревенской улице, загроможденной сугробами, носились тучи и столбы мелкого промерзлого снегу... Был мороз и ветер... Огня в деревне не было нигде. Там и сям на снегу чернели кучки ребятишек с ледянкой или санками, и в перемежках ветра слышались их спорящие голоса... Я все это помню как нельзя лучше. Не забуду минуты, когда сани по рыхлым сугробам стали подъезжать к длинному в шесть окон дому. Как нарочно, в эту минуту ветер совершенно упал, стало невозмутимо тихо; неслышно ступала лошадь по глубокому снегу, не слышно было полозьев — дом стоял темный и молчаливый; огня в нем не было; крыльцо было заперто и занесено снегом; мы взбирались по нем, как по перине, без малейшего шума. Но в продолжение

этой минуты почти мертвой тишины сердце мое било меня в грудь, словно молотом, а кровь с каким-то свистом в ушах приливала к голове...

Вы думаете пожалуй, что я, изображая так подробно минуту, предшествовавшую моей встрече с отцом, представлю вам и родителя моего в каком-нибудь особенном виде, производящем нравственное потрясение какими-нибудь необыкновенно сильными и оригинальными свойствами своей натуры, мысли?.. Нет, ничего подобного не будет; переворот в моих взглядах начался действительно с минуты этого первого свидания с нищим отцом, но именно, может быть, и начался-то только потому, что я попал с этой минуты в среду самых простых людей; все тут было так голо, просто и ясно, что никоим образом не могло произвести так называемого потрясающего впечатления. Было только впечатление новой для меня простоты — и больше ничего.

Филипп долго грохотал кольцом в сенную дверь, прежде нежели заскрипела дверь и какой-то женский голос спросил:

— Кто там?

— Отвори-кось, Марья Андреевна, свои... Филипп...

— О... сейчас, дай башмаки надеть...

— Ладно. Поторапливайся...

— Сейчас, сейчас...

Скоро действительно послышались в сенях торопливые шаги; засов стукнул, и перед нами, сколько можно было разобрать в темноте, очутилась высокая пожилая женщина в шубейке на плечах.

— С кем бог принес?

— Дома, что ль, Петр-то Василич! — задыхаясь и волнуясь чуть ли не более меня, произнес Филипп.

— Ишь спит... Недужает поясницей.

— Взбуди-кось... Сынок яво...

— Ох, батюшки родимые! Неужто Митрофан-то Петрович?

— Я...

— Ох, отцы наши... Как же это?

— Взбуди, ничего... Время-то на счету, потревожь, ничего...

— Ох... что ж это?.. Надо взбудить. Подожди-кось, я пойду...

Волнение обуяло и эту женщину. Помню, что в темных сенях, где мы ждали, отворялись двери то направо, то налево, выходили какие-то люди... Кто-то кого-то звал, торопливо шел куда-то... Словом, помню какую-то вдруг поднявшуюся суматоху, показавшуюся мне необычайно долгой, покуда, наконец, меня не позвал со свечкой в руке какой-то старичок, весь в слезах, весь в лихорадке и растерянный до последней степени...

Это и был мой отец.

Между нами произошла не встреча, а, прямо сказать, свалка: обхватывал он меня и за шею, и подмышку к нему как-то попадала моя голова, и он то целовал мой затылок, то уши мои сжимал и тянул голову кверху, и ронял теплые слезы и на лицо мое, и на шею, и на затылок... Всхлипыванья раздавались во всех углах сеней, но никто почти не произносил ни слова... Отец только шевелил губами, но ничего произнести не мог.

Не помню, как уже мы очутились в комнате, то есть в большой, довольно ветхой избе, разделенной перегородкою на три части. В комнате у отца был длинный и узенький стол из двух тесин, стол, очевидно, для учеников, потому что весь был изрезан и исписан разными рожами и каракулями; по бокам его стояли две длинные лавки, в углу самодельная кровать, то есть такие же тесины, приколоченные одним концом прямо к стене и подпертые с другого бока двумя чурками. На такой кровати валялся полушубок, а в головах — большая, уж вовсе не деревенская подушка; впоследствии я узнал, что подушка эта принадлежала женщине, отворявшей нам дверь.

В эту комнатку мы вошли целой гурьбой: отец, я, Филипп, парень какой-то, какие-то ребятишки, женщина в шубейке и еще несколько женщин и мужчин — все это были сожители отца, поднятые из темных углов большого дома нашим неожиданным приездом. Чтобы отношения моего отца к этой крестьянской семье были ясны, я теперь же скажу о них то, что узнал только впоследствии. Дом и хозяйство принадлежали брату той женщины, которая нам отворяла. Брат этот, звали его Никифор, будучи крепостным, сумел чем-то угодить господам, был отпущен на волю, перебрался на житье в город и долгое время жил в извозчиках — хозяином.

Ему постоянно везло счастье; постоянно «утрафлял» на хороших господ — словом, умел наживать деньгу, которую и посылал старикам и братьям в деревню. Старики выстроились, и дом их считался самым богатым, покуда шел этот приток денег из города и покуда старики крепко держали в руках домашние порядки. С освобождением крестьян и смертию стариков порядок домашний поослаб. Старший брат, извозчик, воротившись из города, поотвык от деревенского хозяйства, а главное, вожжаясь с «хорошими господами», и сам поиспортился, поразвратился, любил выпить и любил побуянить, как глава; другие братья стали делиться, и теперь весь дом держался почти только старшей сестрой, женщиной (она не была замужем) с характером (ее звали почему-то раскольницей), много натерпевшейся в крепостном праве и сохранившей к нему глубокую ненависть... Кажется, в те дни, когда мой отец был тоже в числе хороших для извозчика, ее брата, господ, было что-то у него с нею... Сужу так по ее сильной к нему привязанности, постоянному заступничеству за отца перед всеми, кто посмел бы сказать хоть шутливое слово относительно его теперешнего положения. Ненависть ее к прошлому постоянно поддерживала ее уважение к настоящему положению отца, и она всегда стояла за него горой, если иной раз ее брат, бывший извозчик, которому отец немало в свои хорошие дни переплатил денег (извозчик — тот самый, на котором отец догонял нас с матерью когда-то), в пьяном виде затевал с ним какую-нибудь историю, всегда имевшую оттенок насмешки над господами, которым вот теперь и мужичку стало надо поклониться и уголка попросить. Впрочем, такие насмешки были не особенно часты; в трезвом виде Никифор не мог не поминать отца добром; заработал он с него много, да и вообще весь дом, все крестьянство, знавши историю отца, не могло не ценить и действительно ценило, как я впоследствии убедился, его решимость покарать свое прошлое такой жизнью. Все обитатели Никифорова дома, соседи и крестьяне соседних деревень, все почти с благоговением рассказывали про ту минуту, когда отец мой, когда-то бывший барином, живший во всю барскую спесь, пришел с котомкой за плечами простым странником к простому мужику и сказал:

— Ну, Никифор, корми, брат, меня!.. Буду помогать, покуда сила есть, приказывай, а туда (то есть к матери и опять «в господа») — я уж не пойду...

— Ведь чего это стоит! — говорил всякий, знавший эту историю...

Всякий знал, как трудно каяться, тем паче — барину... В доме, таким образом, жили: Никифор, его сестра Марья Андреевна и мой отец в одной половине, а в другой стороне — старуха бабка и средний брат с женой и детьми... При доме был работник и работница, какая-то дальняя Никифору родня, солдатка.

Вот вся эта компания и явилась в каморку отца за перегородку; все стояли толпой, ожидая, что́ будет происходить между нами. Все были очень тронуты, а маленькие дети, так те прямо были испуганы и не ведали, что такое творится?.. Но ничего особенного не произошло. Отец держал меня у себя на коленях, что мне было очень неловко: я был ведь уж большой, а отец чуть не нянчил меня, как маленького ребенка. Он гладил меня по голове, плакал и поминутно шептал: «Ну, слава богу... слава тебе, господи... И не чаял!.. И в мыслях-то не было увидать, а уж ныло сердце, уж ныло... Ну, слава тебе, господи!.. Спасибо... Спасибо, Филиппушка!..» Я был очень смущен тем, что вдруг обратился в маленького ребенка, которому расточаются такие безумные ласки; но все-таки, несмотря на смущение, мне удалось подробно разглядеть отца. Глаза его прежде всего обратили мое внимание: это были глаза человека, у которого угас оживлявший их когда-то огонь; это были бледные, тусклые, необыкновенно наивные, почти детские глаза. Тогда мне показалось, что он не в «полном разуме» — так уж я привык считать «полным разумом» взгляд, в котором «надо» угадывать что-нибудь, который сейчас же дает знать, что о тебе думают так-то и так-то, и заставляет настораживаться, заставляет отвечать таким же означающим что-нибудь взглядом, ходить с той масти, которою ходят к тебе... Тут же был именно детский взгляд, взгляд «неполного ума», оставляющий тебя совершенно свободным, не поднимающий в тебе никакой жажды пойти с той или другой карты, потому что и игры-то тут никакой нет: просто смотрит на тебя человек, слушает тебя, веря каждому слову, понимая то, что понятно, и

не слыша вовсе того, что непонятно, и отвечает так же просто на то, что слышал и понял, отвечает так, как понял. Такой взгляд меня конфузил; я был уж развит настолько, что уж умел «дать заметить» или «не дать»; словом, уж приучил себя к достаточному количеству разных приемов лжи и уменью сохранить среди них свою цель. У отца этого не было. Оно уже пропало. Мне было неловко этого простого взгляда и стыдно за мое уменье понимать «не простые».

Стоило раз взглянуть в эти глаза, чтобы у меня на веки веков исчезло воспоминание о том ужасном отце, который гнался за нами когда-то. Добродушный взгляд, худенький короткий полушубок, какой носят солдаты, борода почти вся седая, голова почти голая и какое-то измождение всего тела этого старика поселяли сразу необыкновенную жалость. Так и хотелось увести его отсюда, из этой неуютной длинной комнаты, с лубочными картинами и тараканами, с этим народом, совершенно чужим для меня в ту пору... Эта мысль — увести его домой, уговорить мать помириться, сильно овладела мною; но среди моих напряженных мечтаний о том, как сделать, произошел разговор, который заставил меня призадуматься над необходимостью и благодетельностью этой меры.

Продолжая ласкать меня, отец, не осушавши глаз, спросил наконец:

— Мать-то знает ли?

— Ни-ни, боже мой! — не дав ответить мне, убедительнейшим шопотом произнес Филипп. — Ни-ни-ни, сохрани бог...

— Ну и слава богу... Уж потаись от нее, брат, — прибавил отец, обращаясь ко мне.

— Как можно! — сказала Марья, — да тогда она нас со свету сживет... и-и-и...

— Ну что там, — продолжал отец: — чего сживать... У нее своя часть, у меня своя... Я вины моей не таю перед нею, а что только мешаться не хочу... Будет!..

— Живого места не оставит, — продолжала Марья: — уж нам довольно известен ейный характер... Слава богу...

Не без значительной ненависти были произнесены эти слова; но отец, казалось, не слышал и продолжал:

— Ничего, как есть ничего-то мне не надо. И за то

благодарен, что теперь-то дает, — слава богу! Больше мне ничего не нужно! Довольно пожадничал на своем веку... будет!..

— Пожадничал, да покаялся! — прибавила Марья значительно.

— Это пуще всего! — присовокупил Филипп: — это у бога за самое первое сочтено...

— И пожалуйста уж, — продолжал отец, — и ты-то не разжалобься! Ей-богу, ей-ей тебе говорю, ничего не надо... И не пойду я туда никогда... Я было уж совсем ото всего от этого отвык... Да и есть, что отвык уж. И трогать-то вас не мечтал... Тебя только иной раз поглядишь... Видывал я тебя-то!..

— И-и, матушки, что слез-то бывает! — проговорила Марья. — Как увидит где случаем — и плачет... Нажгут они его там, говорит: — пуще собаки сделают...

— Ну будет, Марья, эко нашла об чем...

— С чего ж не сказать? там уж и так, надо быть, напето ему про тебя..

— Уж да-алл-жно быть! — протянул сразу весь хор.

— Да и надобно, а как ты думаешь? — обратился к хору отец: — хвалить, что ли, меня надо?..

— Уж что за худое хвалить!

— А что уж, хотел все это оставить, прекратить, — продолжал отец прерванную речь свою, — вот и наказываюсь... Как же я могу в эвтакую жизнь хоть бы и сына родного сбивать? Мне-то она по сердцу, а другому и совсем не годится, — зачем? Другому-то, может, и каяться не в чем, так как же я его силком-то возьму?.. Так и отрезал. Не стану вам, мол, мешать — только и вы мне уж дайте хоть последний конец жизни по совести пожить... И бога ради — и не хлопочите, и в уме не имей обо мне, — прибавил отец, опять обращаясь ко мне, — и даже, перед богом говорю, и вспомнить-то боюсь, ну-ка да опять в господскую шкуру попасть — и подумать-то об этом страшуся... Там — все мало, все недохват, все надо больше... Все забудешь, точно пустыня кругом тебя, — только и глядишь, нет ли где чего тебе подходящего... Я уж это знаю — о-ох, как знаю... маменька твоя — не в осуждение говорю: мне ли кого судить? а нельзя утаить — препугливая женщина... Есть, друг ты мой, этакие женщины, что окромя страха жить на

белом свете — ничего у них нету: точно вот завтра гибнешь... Я помню, как я женился на матери-то на твоей; так что ж, братец ты мой? Чуть не на другой день после свадьбы ровно бы чего испугалась, ровно бы вот сделала грех какой! Страсть как пуглива была до жизни!.. Так ей все представлялось, словно бы среди лютых зверей живешь: раскрадут, растащат, разворуют, пустят по миру, обидят, подведут, и видимо-невидимо всего этого представлялось ей... веселого лица и в первый день-то не видал — перед богом! Кажется, так поглядеть — никакой беды нет нигде, и сама она видит, что нет, — так ведь такой характер пугливый, начнет за десять лет вперед убытки высчитывать, да так высчитает, что только сердце замрет, думаешь: ну, пропал... «Что ты за людьми не смотришь? вот у соседей сожгли хлеб, и у тебя подожгут; чем будешь жить, чем отдашь? — такой-то не подождет, имение отнимет, пустит по миру, куда денешься? Отец уж не даст, на тетку не рассчитывай...» То есть страсть что высчитывает... слушаешь, слушаешь, просто даже ощетинишься — думаешь: нет, проклятые, не дамся я вам в обман, и пойдешь обделывать дела! Там подряд схватишь, обдуешь (что уж церемониться), там что еще подвернется — уж не разбираешь! Сосед подвернется — соседа, мужик — мужика; со всех, что под руку попадет, цапаешь... потому — страсть! кроме страху жить на свете, ничего нет, — ну, и свирепствуешь... Такая уж была у ней душа пугливая: все на нее идет, идет ее обижать! Ну, молод был, жалко: нахватаешь на службах, на местах, на подрядах — успокоишь... Только чуть-чуть затихло, а уж в голове опять у нее начинается какая-нибудь новая страсть: гляди — уж на тридцать, а то и на сорок лет беду раскидывает вперед... И опять перепугаешься... А там устанешь, очнешься, думаешь: да за что ж это, господи? Зачем я народ-то обижаю? что я за зверь? И так станет скверно, так горько — и пустишь по ветру все, что натащил...

Сдержанный радостный смех слышался в толпе зрителей...

— Начнет душа-то оттаивать — и пошло! Ну уж тут... и вспоминать страшно! И слава тебе, царю небесному создателю, вразумил меня господь! Отшиб он у меня эту жадность, этот страх жить на белом свете... Чего мне

надо? Вон поп мне за лечение подарил валенцы — вот мне и тепло всю зиму... Сейчас вот Мишутку азбуке выучил — вот у меня кошелка яиц — и сыт я... Чего мне? За что мне лютовать с белым светом? Из-за чего зверствовать?.. Что лучше: ударить пса палкой или хлеба ему дать?.. Господи батюшка! да изведи же меня из этого омута! Вот господь и помог мне... И ничего-то, ничего-то мне не надо... Ходи ко мне, погляди, как простые люди живут, — и ты ведь тож случаем в непростых-то, — а к себе не зови... нет, сохрани бог!.. Там сейчас ожесточишься... лапти сними — купи сапоги, шубу, съезди к тому-то... И-и-и пошло... Весь вывернешься, как змей, в одну неделю... Нет, нет, нет, нет... У меня вот тут ребятишки, больные... вот лечебник, я с ним добра сделаю много... У меня вот шляпа поярковая, коровьим составом я ее вымазал, запек в печи — она у меня на двести лет, а там, в ваших-то местах, отдай пять да десять... да неведомо сколько другого причиндалу потребуется хоть бы к одной к одёже... Не надо этого... Стыдно! Вот ребятишки иной раз листа бумаги ждут по полугоду, а я буду в лорнет смотреть?

Все захохотали...

— Нет, нет, — продолжал отец... — Я хочу просто. «Ожесточилося сердце ваше!» — вот что сказано в писании... И верно... Я знаю, что говорю. Я всю жадность эту перепробовал: дай волю — конца ей нет, этой жадности... а зачем?.. Нет, Митрофанушка, уж ты меня не выдай, не жалобься, не жалей... Право, мне хорошо... Думаешь — что бы доброго сделать... а ведь там это трудно!.. Одной зависти сколько... Да что... И вспоминать-то не хочется... Расскажи-ка ты, хорошо ли учишься-то?.. Чему учат-то вас? Марья? что же ты? авось самоварчик надо...

Марья точно проснулась вдруг, да и все точно очнулись.

— И что ж это я, матушки мои? — спохватилась Марья Андреевна и тотчас подняла суматоху с самоваром. Народ, понявший, что «самое любопытное» кончилось, понемногу отхлынул. Остались вместе только я с отцом, да Филипп, да парнишка лет тринадцати. Я что-то разговаривал про гимназию, меня слушали прилежно; но я видел, что меня не понимали и что все,

что я говорю, вовсе тут не нужно и не интересно. Отец, как я понял, просто наслаждался тем, что видел меня, что слышал мой голос, но едва ли находил что-нибудь интересное в моих словах. Филипп, усевшись к столу и положив на него локти, только щурился и, наконец, не вытерпел:

— Эко наук-то у вас, в емназии... Что уж, на что так-то! Больно много... Право, ей-богу...

Отец только покрутил головой.

— Нет, — перебил он Филиппа: — у нас вот с Мишуткой всё недостатки... Вот теперича гражданской печати нужна книжка, а ее нету...

— Какую книгу вам надо? я привезу, — сказал я...

— Да какую-нибудь историческую, русскую бы историю, ежели есть... Нам из старых, если случится, мы не брезгуем... Ходил я в городе по книжным лавкам — руб да два — меньше нет, хоть ты вот что...

— Я вам привезу, каких хотите.

— Ты уж давай какие ненужные. А мы за тебя бога помолим с Мишуткой...

Мишутка, тринадцатилетний паренек, находившийся в этой же комнате, весь вспыхнул, даже вспотел от известия о книгах, которые я обещал прислать... А я почувствовал, глядя на эту радость, что-то сильное в сердце — вот я могу сделать так, что обрадую, осчастливлю... Скверным манером пробудилась во мне мысль быть полезным другим — а уж пробудилась, и за то я благодарю этого обрадовавшегося Мишутку.

— Азбучков, — продолжал между тем отец, — грифельков бы, ох, бы нам хорошо тоже... да где! Уж только бы мать не догадалась, избави бог — и так как-нибудь... Тут одна девчонка, Марфутка, семилетняя, ух, зла учиться-то! ну — бедность! Все углем учится на стене — вон посмотри...

Я поглядел: вся стена была измазана углем.

— Нету! — как-то беспомощно произнес отец: — что будешь делать!.. Бедность! И уголь-то еще дадут ли... Намедни вот Марья и то закричала на нее: «что ты тут все таскаешь? не напасешься»... Вот как у нас насчет этого...

Отец засмеялся. Я был удивлен...

— Иде ж взять-то!.. Мать-то, чай, сама по миру ходит? — предположил Филипп.

— А то что ж? о каких тут грифелях думать?.. Что у меня есть — даю, а уж чего нет — ну, не взыщи... Вот священных историй тоже беспременно бы надо...

— Я привезу непременно, — сказал я, чувствуя, что меня с каждой минутой захватывает жажда помогать и делать что-нибудь доброе в деле, совершенно для меня чужом; этого до сих пор я еще не испытывал и потому так же радостно вспотел от нового ощущения, как и Мишутка.

— Ох,— сказал отец, вздохнув: — много, много надо... И ничего-то нет... Ну, зато уж, — вдруг необыкновенно радостно воскликнул он: — уж и разжился я штучкой одной... Погляди-кось, какая штука-то!

Он проворно вскочил с лавки, еще проворнее побежал к кровати, вытащил оттуда сундучок, долго рылся в нем и вытащил, наконец, что-то в бумаге.

— Вот! — сказал он с торжеством.

Бережно развертывал он бумагу; все столпились вокруг отца и с величайшим любопытством смотрели — что там будет; в бумаге оказалась завернутая машинка чинить перья, штука для меня очень простая, давно знакомая; но не так смотрели на нее все другие зрители, начиная с отца. Когда он рассказывал, как надо эту машинку употреблять; когда он показал, как скоро она чинит, — неподдельный и неописуемый восторг охватил всех.

— Ведь это — что! — весь сияя, говорил отец: — ведь я сколько хошь накатаю им перьев-то? Дуй, ребята, не робей...

— Штучка!.. Ну, так уж — ах!.. Что выдумают! — говорил Филипп в восторге...

— А то, братец ты мой, бьешься, бьешься с перочинным-то ножиком — смерть. Семь человек, семь перьев, да руки-то трясутся, да мозоли, что ни хватишь — да и расколол... То ли дело — это?

— Уж чего же лучше! — сказал Филипп, радуясь за отца.

Не перескажешь всего, что творилось в этот вечер моего первого свидания с отцом. Разговор, попавший раз на тему нужд, недостатков, уж ни разу не имел случая

коснуться чего-нибудь другого; так было много всего, чего надо и чего нет, чего негде взять, чего не дадут. Глаза мои точно впервые открылись на такие вещи, которые я видел мильоны мильонов раз и которые теперь под этот почти спокойный, почти хладнокровный разговор о них отца и Филиппа представились мне совершенно в ином виде. Сколько раз я видел босоногого мальчишку, деревенского полураздетого ребенка, и ни разу до сей минуты у меня не мелькнула мысль о том, что ребенку хорошо бы быть одетым. Проезжая в тарантасе мимо таких разутых и раздетых ребят, я обыкновенно не чувствовал ровно ничего, мне не приходило в голову никакой мысли, в сердце не являлось никакого ощущения, точно полуголый мальчик — такое же нормальное явление, как обросший шерстью баран или покрытая перьями курица. И баран и курица никогда и ни в ком не возбуждали, надеюсь, желания улучшить их костюм: именно так вот и деревенская голь не производила на меня никакого впечатления... Теперь же какое-нибудь словечко отца о том, что, мол, дай бог здоровья писарю, подарил Ваське опорки, производило на меня необычайное впечатление. Оказывалось, что не подари писарь опорков — Васька всю бы зиму просидел дома и не мог бы ходить учиться грамоте, потому что он — сирота: нет у него ни отца, ни матери, и живет — где день, где ночь. «Тоже — человек!» — во время разговора о Ваське сказал совершенно просто Филипп и проткнул мое сердце, точно иглой, ужасом за «человека», который не может выйти учиться, потому что нет сапог, потому что некому дать их. *«У самих нет!»* — «Где ж взять-то?» — «Кабы кто дал бы».— «Так и дадут — как же!..» — «Иной бьется, бьется». — «Уж и бьется же только». — «Бился, бился, братец ты мой», и т. д. и т. д. Этими фразами, точно бисером, усеивался всякий без исключения рассказ, выходивший из уст отца, Филиппа или кого-нибудь из других крестьян, участвовавших в нашем разговоре, и касавшийся совершенно новой для меня среды. Не могу в точности передать, какого рода разговор происходил у нас за самоваром, который наконец-таки пожаловал на исписанный учениками-ребятами стол, сопровождаемый вновь целым полчищем народа, норовившего при случае повеселить чайком и себя. Помню, что во время чаепития

разговор принял отчасти шутливое направление и по временам, и довольно часто, прерывался смехом; но шутки и смех не занимали меня. Думая о слышанном, я только удивлялся, как они могут еще смеяться, и не понимал ни смеха, ни шуток.

Уговорились мы с отцом видеться еще раз, именно при отъезде моем после Крещенья в гимназию; я обещал опять заехать к нему. На прощанье были повторены просьбы насчет «перушков», «азбучек», «священных историев», «да ежели, *паче чаяния* (выражение одного крестьянина, присутствовавшего при разговоре), сапоги старые попадутся или шапка, то уж не пожалеть и их...» Все это я обещал непременно доставить и уехал с кучею обязательств, совершенно новых для меня — новых по своему внутреннему, незнакомому до сих пор для меня, смыслу: обязательства эти были у меня перед другими, перед чужими; обязательства во имя чужих нужд, чужих потребностей!.. Несказанно благодарен я отцу за эту новую для меня задачу.

Скажу еще раз: в отце моем не было ничего необыкновенного, выдающегося; образования у него не было никакого: учил он по-старому — по псалтырю; не было у него и широкого понимания ни своей прошлой жизни, ни теперешней, простой и трудовой. Очень может быть, что он просто выбрал эту жизнь как лучшее, что оставалось ему делать. Может быть, скрыться, так сказать, в народе его побудил страх быть на виду, где его могли всегда заметить, что неудобно было в то обличительное время, тем более что прошлое отца небезупречно. Что бы ни загнало его в среду бедных, босых и темных людей — я несказанно благодарен за то, что, благодаря ему, благодаря тому, что он — мой отец, я, пойдя к нему, пришел к новому для меня миру, к новым для меня интересам, которые дали мне живую мысль, а стало быть, и жизнь. Помню, что, возвращаясь от него домой, я чувствовал, что кругом меня точно стало просторнее, шире и что во мне сразу прибавилось и росту и силы. И в самом деле, съеженный до настоящей минуты на несчастиях моих, потому что несчастия матери были нераздельны с моим существованием, — съеженный на этом маленьком местечке личного горя (оно теперь и горем-то мне почти не казалось) недоброжелательством, невнима-

нием к этому горю всего белого света, я начинал уже ожесточаться против жизни, начинал убеждаться, что жизнь — борьба, и притом довольно беспощадная. И вот после одного вечера, проведенного в кругу крестьян, я неожиданно узнал, что могу делать бездну добра, что желание добра увеличивает силы в сотни раз более, чем то, что отец назвал «жадностью». Я впервые ощутил удовольствие отделаться от этого ужасного бремени: «себя», «своих» бед и несчастий, забыв их в общем горе, в жадности общего блага.

Влачить всю жизнь этот ничтожный и маленький, но бьющий по ногам при каждом шаге груз своего благополучия или «своих» бед — что это за каторжная работа! Путаться в этих тонких нитях, чтобы связать себя ими по рукам и по ногам, чтобы замучиться в борьбе с этими ничтожными, но крепко связывающими путами, или разорвать их, бросить навсегда и идти свободным навстречу всему, на что отзовутся самые лучшие струны сердца, — эти две дороги, эти два рода предстоящей борьбы как нельзя яснее выступили передо мною среди занесенной снегом ухабистой дороги, по которой я возвращался домой, плотно закутавшись в воротник шубы. Вьюга была на дворе. Мерзлый снег тучами носился по белым полям и знобил ноги.

«Дай бог здоровья писарю!» — помимо моей воли сказалось во мне, так как, тоже помимо моей воли, вспомнились мне голые ноги Васютки.

А от Васюткиных ног мысль пошла опять перебирать все, что было прежде и что случилось теперь, и опять я благодарил и благодарил отца.

Нестерпимую какую-то духоту, даже тесноту ощущал я в течение тех дней, которые пришлось пробыть мне дома до отъезда в город после праздников. Я не говорил о том, что видел отца, потому главным образом, что, кроме глубокой обиды, я ничего бы не сделал всем обитателям нашего дома, начиная с матери и кончая последней приживалкой, если бы объявил, что теперь у меня на душе. Но зато тем тяжелее было мне самому; с каждым днем для меня делались все невыносимее и невыносимее эти тоскующие речи нашего дома, это кропотливое подбирание одно к одному ничтожнейших собственных несчастий, доходившее иной раз до высочайшей степени ме-

лочности... «Второй день, голубчик мой, — говорила, например, с глубокой тоской пожилая тетка моей матери,— второй день ем без всякого аппетита!» И все, слышавшие об этом горе, вздыхали и если не сочувствовали, то уж непременно охали и принимались высчитывать собственные свои несчастия, еще более ничтожные... «Хоть бы раз, — думалось мне, — хоть бы на минуту кто-нибудь из них подумал о чем-нибудь другом, перестал рыться в собственном желудке и поглядел или подумал о несчастиях чужого человека, да не только об несчастиях, а хоть бы вообще-то о чем-нибудь, кроме себя». Колорит уныния и грусти лежал на всех обитателях нашего дома, благодаря, конечно, несчастиям матери. От нее все зависели, и все вторили ей, и хотя я очень хорошо знал, что она действительно страдает, хотя я и жалел ее, но не мог не видеть, что всякое слово мое о бесплодности ропота на всех и вся, ропота, не дающего утешения и совершенно несправедливого ввиду бездны бездн еще более сильных страданий, чем наши, — всякое такое слово может только рассердить ее, сделать хуже, злей и, стало быть, кроме страданий, ей же ничего не принесет. Тяжело было мне молчать, но говорить я не мог. Я уже видел перед собою какую-то другую дорогу; чуял, что рано ли, поздно ли и я и мать расстанемся непонятыми друг другом, с камнем на сердце — но расстанемся...

С таким-то камнем на сердце и уехал я в город, в гимназию. Не буду рассказывать второго свидания с отцом — оно было долгое и положительно уже деловое; раз попав в новый для меня мир, кричащий самому поверхностному наблюдателю о своих нуждах, я во второе посещение отца уже не только слушал, а сам расспрашивал его и узнавал вещи, которые у всех перед глазами и на которые всякий смотрит и, однако, никто не видит... В этот раз я уж забегал вперед желаниям отца и всех окружающих; если отец просил десять азбучек, то мне тотчас представлялись сотни домов, где живут сотни детей, которым надобны, стало быть, не десятки, а сотни азбучек... «Надо-то надо, да где ж взять? — говорил отец. — Эдак, пожалуй, если все то, что нужно, давать, — так и без рубахи пойдешь!» Отец, как видите, не отвык ценить свою рубаху; повторяю, в нем не было ничего необыкновенного. Но на меня эта фраза производила иное впечат-

ление. Мне виделось, что снятие своей собственной рубахи — прямой вывод из слышанного и виденного мною. «Как же мать?» — с ужасом думал я... И, каюсь, отгонял эту мысль: мне было жаль мать, я любил ее...

В гимназию я возвратился совсем другим человеком. Любовь к матери, двигавшая меня до сих пор, заставлявшая меня прокладывать себе дорогу между людьми, с тем чтобы потом отмстить этим людям, была отравлена, пожалуй даже разрублена тяжелым ударом чужих несчастий, внезапно, неожиданно вторгнувшихся в мое понимание, — несчастий, с которыми меня связывал отец, человек, так ли, сяк ли живший в среде людей, обуреваемых этими бедами, по мере сил старавшийся искупить помощью и пособием этим людям все бесконечные вины своего прошлого, все преступления своей прошлой жадности, как говорил он. Между этими двумя привязанностями, к матери и к отцу, которые с каждым днем стали поглощать меня все сильнее и сильнее, с каждым днем становилось все меньше и меньше места для мысли о чем-нибудь, не касавшемся того или другого. Учителя были удивлены, увидав, что я совсем перестал учиться; и действительно, наука гимназическая вдруг потеряла для меня всякое значение и смысл. Зачем, в самом деле, писать мне сочинение на тему хотя бы о пользе химии? Матери я этим не помогу, потому что ее беда — в пожирающем ее эгоизме; не помогу и нуждам отца и его новых друзей, потому что там прямо нужны сапоги, потому что там Мишутка не ходит в школу оттого, что он — босой, а на дворе — мороз и снег. В этих смыслах оказалась малополезною, как выражался наш законоучитель, и география и всякая другая наука... Сторонились они и расступались в разные стороны пред выраставшею во мне потребностию идти заступаться, жертвовать, радовать, чтобы радоваться самому, — потребностью, пробужденной примером отца и постоянно им же поддерживаемой. Да и дальнейшим развитием во мне не только потребности, а прямо необходимости жить для «чужих» я тоже обязан отцу. Не проходило недели, чтобы ко мне на гимназическую квартиру не являлись от него посланные. То являлись за бумагой, за перьями, то просили написать письмо, а потом прямо пошли обращаться с делами, с тяжбами, как к какому-нибудь адвокату. У меня с каждым днем

прибывало таких, нисколько меня лично не касавшихся дел, и с каждым днем я более и более входил в самую суть условий русской жизни потому, что в то время, когда мои товарищи — впоследствии сделавшиеся адвокатами или хорошими железнодорожными деятелями — продолжали заниматься гимназическими науками, я разыскивал какое-нибудь пропащее дело о земле, толковал с чиновниками, подавая прошения, — словом, уже вступил на так называемое поприще жизни. Я не мог отказать ни в одной просьбе, я не мог сказать: «поди спроси там-то», потому что знал, что «там» не ответят, что «там» запутают только... Если бы я даже просто из одного приличия исполнил все эти получаемые мною через отца поручения, то и тогда мне предстояло увидеть бездну таких вещей, которых бы не разрешила ни одна из бесчисленных гимназических наук. Но я делал не из приличия: во мне говорил молодой задор, превращавшийся понемногу в задачу всей жизни, — задор, дававший возможность чувствовать глубже, сильнее, служа другим.

Скоро, однако, положение мое стало с каждым днем усложняться и становиться тяжелее. Иной раз, позабыв и про гимназию и про горе матери и весь поглощенный исходом какого-нибудь предпринятого при моем содействии дела, я не без тревоги вдруг ощущал, что иду по какой-то неведомой, нетореной дороге. В такие минуты я вдруг видел, что уж очень-очень далеко отбился от старого пути, что уж мне трудно, если бы я и хотел, бросить все и опять стать прилежным учеником... Убеждаясь в этом, я убеждался и в том, что рано ли, поздно ли мать будет знать эту перемену, происшедшую во мне, будет знать все в мельчайших подробностях и, стало быть, будет страдать не вдвое, и не втрое, а в тысячи раз сильнее против прежнего. В моем сношении с отцом она увидит измену, предательство; она будет думать, что, сойдясь с человеком, который загубил ей жизнь, я предал ее, разрушив все ее надежды на меня в будущем, — надежды, которыми она только и жила, — оставив ее беспомощною, покинутою, одну-одинешеньку... Все это непременно должно было случиться, — я знаю это наверное; знал даже, что это случится не больше, как через несколько недель, когда я извещу ее, что не перешел в следующий класс, и представлю свидетельство, испещренное единицами.

С другой стороны, в такие же минуты размышления собственно о себе передо мною являлась и фигура отца, то в виде безобразного кутилы, то в виде простого больного человека, который в дымной и темной избе чинит дрожащими руками перо для крестьянской девочки. Представлялся весь этот народ, окружавший отца, все эти простые, темные люди, все эти сети, в которых путает его и темнота и всякая случайность... И мне так же страшно становилось — изменить этим людям, как страшно было изменить матери. Как бы мог я сказать отцу или посланному от него крестьянину, что «нет, мол, теперь мне не время заниматься вами — я сам занят!» Сделать этого я положительно не мог. Я знал, что я нужен тут, что «никто» не поможет, не пойдет и не сделает «так» и «просто», как именно и надо этим людям. Я знал также, что и матери своей я тоже не могу сказать: «некогда мне хлопотать о нашем благополучии, потому что у меня есть вот какие дела». И там и тут подобными ответами я бы делал явную жестокость, прямо бросал бы людей на произвол судьбы... С другой стороны, меня также иной раз (а потом все чаще и чаще) стала знобить (буквально) мысль о том, да что же я могу сделать один пятнадцатилетний мальчик, если, завязав глаза и поверив только тому, «что надо», стану открыто на ту или другую сторону? Чувствовал я, что мои усилия — капля в море, и чувствовал это с каждым днем все ощутительнее. Не было у меня ни товарищей, ни поддержки, ниоткуда и ни в чем. Я даже почти ничего не читал до настоящей минуты; я стал думать о задачах действительности не по книгам, а по самой действительности, в которой мне некому было указать, что к чему, где начало, где конец, вообще — откуда что идет? Необходимость думать об этом, то есть «откуда что», надвигалась на меня поистине неумолимо. Она выходила из моего трудного положения меж двух огней, из желания как-нибудь облегчить себя, уяснить себе, что никому измены я не сделаю, если стану открыто туда или сюда, — желания, которое частенько посещало меня, как реакция после размышлений о видимой безвыходности моего положения. «Чем же меньше Аксютки и Михайлы страдает моя мать?» — думалось мне в такие минуты. И я принимался высчитывать и сравнивать ее страдания и страдания Михайлы и нахо-

дил, что они одинаково сильны, что они одинаково требуют заботливой руки, и тут мысль моя стремилась к пониманию именно самой сути всего этого запутанного положения людей, стремилась с страшными мучениями, измаивала меня почти без всякого результата. Нужна была книга — я не знал еще этого, не знал еще людей, которые измаялись на том же прежде меня.

Необходимость, благодаря поручениям, получаемым через отца, делать какое-нибудь не хитрое, но хлопотливое дело, идти купить или идти узнать в суде, в конторе и т. д., отвлекала меня от угнетавших мою голову мыслей, но зато, опять вернувшись к ним, я чувствовал себя еще хуже и еще трудней, чем прежде.

И так пошло с каждым днем все сложней, все тяжелее. Временами я решительно терял голову — как мне быть, что делать, что думать? Не знаю, чем бы кончился этот хаос моего душевного состояния, если бы сама жизнь не позаботилась вынести меня из него. Пожираемый разными соображениями и размышлениями, лежал я однажды на своей городской квартире, в доме мещанки Семиглазовой, как вдруг отворилась дверь, и я увидал матушку. В жизнь не забуду ее ужасного лица.

— Ты подружился с отцом?— было первым ее словом.

Я не мог ничего ответить. Я был испуган за мать, понимал всю глубину страданий, которую испытывает она от моей измены, и только всей душой желал, чтобы *она-то* сумела выбраться из этого неожиданного для нее положения; я был весь поглощен ее несчастием и не мог увеличивать его, сказав «*да*, подружился», потому что и без того она была, очевидно, разбита вся.

Словно каменный, ничего не чувствуя и готовый покориться всему, подставил я голову под удары этой давно, впрочем, жданной грозы. Рыдания, прерываемые бранью, доказательствами моей безжалостности, доказательствами очень вескими, — рыдания, переполненные зубным скрежетом на отца, на его долгие тиранства, измены, рыдания на пропащую собственную жизнь— все это я покорно принял на свою голову. Я страдал в это время едва ли не сильнее матери, потому что даже не мог говорить, не мог думать... Рассказывать подробно об этой сцене, то есть об этих рыданиях, продолжавшихся не час, не два, а две недели кряду, не покидавших мать ни дома, ни на улице,

ни днем, ни ночью и с каждой минутой осложнявшихся новыми сведениями о моей преступности, — я решительно не в состоянии. Глаза матери не пересыхали ни на одну минуту: то она узнавала, что я бросил гимназию, и градом слез оплакивала мое будущее, да не сегодняшнее только, а самое далекое; я уверен, что даже та пора, когда я буду с седыми волосами, и та была оплакана ею... А за известием о том, что я бросил учиться, смотришь, идет известие о том, что я хлопотал в суде против человека, который, как на грех, был самый лучший друг матери, был благодетелем нашим, без которого она теперь не имела бы куска хлеба, а я, ее сын, ходил бы без сапог. Наоборот, люди, за которых я хлопотал, были постоянные враги матери, воры, поджигатели, мошенники, грубые невежи... Отец, приютившийся в кругу этих людей, казался истинным злодеем, хитрецом, систематически подстраивающим против матери всевозможные гадости. С ее точки зрения, измена моя была поистине ужасна. Я сам видел это и не мог шевельнуться, подавленный ее горем...

Рыдая и проклиная, матушка с каким-то лихорадочным жаром принялась исправлять наделанные мною беды. Она спасала свою веру в меня, свою цель жизни и так глубоко жаждала своего спасения, что я вполне подчинился этой жажде. Не помню и не знаю, каким образом случилось, что я мог ходить с матушкой по учителям, к директору, к инспектору и просить у всех извинения, прощения. Не помню также, как мог я решиться идти не только к моему гимназическому начальству, но и к тем благодетелям-помещикам, против которых настраивали меня отцовские дела. Знаю только, что все это я проделал, покоряясь почти истерическому состоянию матери.

Опомнился я на квартире у учителя математики, оказавшегося моим хозяином и начальником. Матушка поместила меня на все каникулы, с тем чтобы он не спускал с меня глаз и с тем чтобы я мог воротить утраченный мною год. Предполагалось, что целое лето я буду учиться, догонять своих товарищей, предполагалось, что я под хорошим надзором не буду продолжать связываться с отцом и его приятелями. Учитель, который взял с матери хорошие деньги, действительно добросовестно принялся за

меня. Не покладаючи рук, работал он со мною и, не смыкаючи глаз, наблюдал за каждым моим шагом; связь моя с отцовской компанией действительно была прервана: я не видел уж ни посланных, ни ходоков, не получал ни поручений, ни писем. Но зато тем сильнее стало просыпаться во мне сознание, что я — изменник, и уж на этот раз — настоящий изменник... Этой мысли я уж не мог заглушить в себе никакими науками. Волей-неволей я узнал целый неведомый для меня мир людей и положений — и вот теперь покинул его на произвол случая, силу которого над этим миром я уже знал... Я несомненно был предателем.

Сознание это росло во мне с каждым днем все сильнее и ощущалось мною все больней и больней. С каждым днем все яснее казалась мне моя глубокая вина перед этими людьми. Кроме меня, я знал это, у них *никого* нет... *никого.*

Мне так глубоко было трудно в эти минуты, что я (решительно уж не помню, каким путем) пришел к необходимости пить... Кухарка доставляла мне водку *на свои*: она видела, что на мне лица нет, и по опыту знала, что рюмка помогает... От одной рюмки я неимоверно быстро перешел к бутылке, к штофу, к драке и т. д. Это случилось необыкновенно быстро, то есть сегодня, положим, я выпил первую рюмку, украдучи, а завтра я уж одолел целую бутылку и лез к учителю с кулаками.

Немедленно приехала мать и поселилась в городе. Этот приезд и ежедневные свидания с матерью связали меня по рукам и по ногам. Я знал, что не выдержи я хотя один раз — я убью ее своим поведением тут же на месте... Я мучился молча, связанный по рукам и по ногам неизбежностью смерти моей матери в том случае, если я дам волю съедавшей меня тоске... Голова моя в эту пору была точно пустая тыква, но зато вся боль, вся мука сосредоточилась в сердце, и тот мир, которому я изменил из страха погубить мать, стал с каждым днем принимать все более и более пленительные образы... Иной раз эта деревенька, занесенная снегом, все эти босоногие мальчишки, ходоки с сосульками на бородах — все это мне стало представляться обетованною землею... Этою мыслью я только и жил...

Очень может быть, что мысль эта, раз успокоив меня, то есть ослабив силу тоски и сознания виновности, продолжала бы успокаивать меня все больше и больше и наконец, при скверности моей натуры (я узнал это, когда думал *обо всем*), просто бы сделалась средством отделываться от насущного дела. Очень может быть, что, суля себе журавля в небе, я бы полегоньку проникнулся сознанием необходимости похлопотать сначала и о самом себе, то есть сначала запастись, а потом уже и расходовать, умело, дельно... Но случилось нечто другое, что ни на минуту не дало мне успокоиться.

Неожиданно скончался мой отец. Узнал я о его смерти в самый разгар жажды искупить мою вину и в самый сильный момент сознания этой вины.

— Сходите проститься с вашим родителем, — сказал мне однажды осенью мой гувернер, учитель математики.

Я остолбенел.

— Он тут лежит в части... в полицейской больнице...

Я не понимал, как мог отец очутиться в полиции.

— Ваша матушка, — продолжал учитель, — позволили вам сходить... отдать последний долг... Что же нейдете? Это тут за углом.

У меня мелькнула мысль, что я убил отца... Я весь похолодел от нее и только тогда очнулся, когда учитель повторил мне:

— Торопитесь: его могут схоронить без вас...

Опрометью побежал я в полицейскую больницу. Там отца уже не было; оказалось, что его перевезли в церковь при городской больнице.

В простом сосновом гробу, в сером больничном халате лежал мой отец, покрытый большим куском белой холстины. Я приподнял холстину и увидал его лицо — глубокое страдание замерло на нем. Я увидал измучившегося человека и зарыдал... В одно мгновение мне представилась вся его жизнь: кутежи и неправедная нажива денег, распутство, разврат, и эта черта глубокого страдания, которая вот теперь лежала на его лице, как результат, как итог всей жизни, мгновенно отняла от всего дурного и скверного, что вспомнилось мне, именно этот дурной и скверный оттенок и представила все в виде невольной необходимости, почти даже в виде страдания...

От дурного прошлого я перенесся мыслью к последним годам его жизни, вспомнил его нищету, его фигуру, плетущуюся с палкой в лаптях по грязи, а главное — его истинно детскую радость, когда ему удалось добыть машинку чинить перья. Мне представилось его засиявшее радостью лицо, когда я сказал, что привезу азбучку, и я почувствовал, что понес в отце великую утрату. «Только было человек добился до уголка, где стал чувствовать себя хорошо, где нашлось ему по силам дело, где ему явилась возможность делать добро, которое он, быть может, желал делать всю жизнь, но не делал потому, что жил в кругу людей, требовавших от него совсем другого,— и в эту-то минуту пришлось расстаться с жизнью». Страдальческие черты лица как бы говорили все это. Я смотрел на них и плакал о том, что я покинул этого бедного человека, это дитя — так мне казался невинен и чист отец — в самую дорогую для него минуту, в минуту, когда он только что было начинал жить сердцем и сознанием.

Сторож попросил меня уйти из церкви, объявив, что похороны будут завтра. Тут же, рядом с отцовым гробом, стояло еще несколько гробов других покойников, которых должны были отпевать вместе: все эти бедняги лежали в простых, кое-как сколоченных гробах; все без исключения с измученными лицами, говорившими о том, как трудно жить на белом свете... Я находил в ту минуту, что ничего не может быть прекраснее этих изуродованных болезнию лиц.

Укор в измене отцу жестоко мучил меня. Вот этот самый дорогой для меня человек унес в могилу с собою горькое сознание моей измены — измены родного сына, которого он любил всей душой, я это знал... Мне так хотелось умереть в эту минуту!

Я вышел из больничных ворот и поплелся, сам не зная куда... и неожиданно наткнулся на тротуаре подле больницы на Филиппа.

— Митрофан Петрович! Отец ты наш родной! — возопил старик: — Петр-то Василич никак помер, друг ты мой горький!

— Помер, брат... — сказал я.

— Матушка, пресвятая царица небесная!.. И что ж это они сделали? Ведь извели они его...

— Кто извел? — вдруг припомнил я неожиданность смерти отца почему-то в городе и почему-то в полиции.

— Да уж кому-нибудь надо было... Ведь он под судом был...

— Как под судом?

— Да маменька-то твоя, как разведала все, — и зачала против него... Чтобы духу то есть его не было... И стали через докторов действовать, что, мол, фальшивым лечением занимается и народ травит... Уж тут была беда несосветимая: и обыскивали-то, и дозналися, что Иван Кузьмич от его лечения умер, и еще врач один донес, что, мол, травой какой-то отец твой его опаивал, чуть было не уморил, — ну вот и взяли его в острог, либо в часть, — дело пошло... Ну знать кто-нибудь тут и подсудобил ему...

Впоследствии я узнал, что подозрения Филиппа не имели никакого основания.

Образ отца вырастал в моем воображении уже прямо в виде мученика. Он делался для меня святыней, и я чувствовал, что он где-то тут, что он пристально смотрит на меня и как будто ждет увидеть, что длинная вереница его страданий не останется без результата...

Филипп рассказал мне кроме того, что та же участь, то есть преследование, постигла и всех тех крестьян, которых отец посылал с просьбами ко мне и за которых я хлопотал по судам. Даже бабу, сестру извозчика, и ту таскали почему-то к допросу и два дня продержали в части: полагали добиться от нее чего-то насчет расколу, так как ее с давних пор считали на деревне раскольницей, хотя и неизвестно почему. О себе Филипп рассказал, что он уж давно не живет у нас в кучерах: маменька отказали. Говорил он, что живет теперь где день, где ночь: сегодня сыт, а завтра — что бог даст...

Спрашивается, за что разогнали это гнездо?

Совершенно покойным и серьезным воротился я вместе с Филиппом на мою квартиру к учителю и объявил, что оставляю гимназию, еду в деревню и намерен сделать это завтра же. Я так категорически заявил мою волю, что никто и не подумал мне противоречить.

Похоронив на другой день отца, я унес с собою светлый образ погибшего доброго человека, унес его радость к доброму делу, унес обязанность искупить мою измену ему — и с этим запасом в душе воротился в деревню. Я сказал матушке, что не поеду более; она не противоречила, потому что чуяла, что меня заставляют это делать неотразимые доводы. Со смертью отца в матери с каждым днем исчезала причина чувствовать себя обиженной, а вместе с тем исчезало и то, что ее держало на свете... Быть может, и она под конец жизни поняла, что не была права перед отцом; быть может, вспоминая и думая, она и сама задумалась о бестолковщине жизни. Во всяком случае она со дня моего приезда затосковала, стала задумываться, худеть, чахнуть, а через год и скончалась.

Я остался один. За год перед этим я успел еще ближе познакомиться с семьей, где жил мой отец, и со всеми знавшими его. Воспоминания о нем в крестьянской среде принимали с каждым днем какой-то легендарный оттенок. Если бы я не имел на душе ничего, кроме своекорыстия, то и тогда обязан бы был, хоть из приличия, непременно походить на отца, продолжать его доброе дело, чтобы пользоваться сочувствием и любовью...»

На этом Митрофан Петрович окончил свой рассказ.



4. НА СТАРОМ ПЕПЕЛИЩЕ

I

— Был на почте?

— Сейчас бегал.

— Ну что же?

— Да ничего нету.

— Да ты бы попросил хорошенько посмотреть!

— Да я уж просил; нет, говорят, ничего нету...

Такой разговор происходил у меня с служителем одной из гостиниц губернского города N, где меня задержало ожидание необходимых писем и бумаг, происходил раз по пяти и более в сутки, а суток этих прошло уже немало: протянулась бесплодно уж целая неделя, и пошла тянуться другая. С каждым разом появления в моем нумере бегавшего на почту Тимофея (он действительно *бегал*, и даже без шапки) становились всё неприятнее, тяжелее, потому что по всей его фигуре, по невольному движению его рук, готовых при самом входе в комнату растопыриться врозь, выражая неудачу, я уже догадывался, что он принес все то же «нет», «ничего, говорят, не было». Я чувствовал, что в делах моих произошло то, что знатоки условий русской жизни и судеб, которые, благодаря им, испытывает всякий русский «расчет», называют словом *«заколодило»*. Все до сих пор шло как по маслу, было принято во внимание и соображено, кажется, все, что надо для успеха дела, дело пошло — и вдруг от какой-то неведомой вам причины (которая окажется только впоследствии, и окажется всегда чепухою) все стало, замерло — и замерло самым бессмысленным образом, прекратилось вопреки всем смыслам; непременно

нужно уведомление, дорог каждый час, каждая минута — и нет уведомления; нужно и должно произойти свидание — свидание, необходимое не столько для меня, сколько для того, кто должен видеться со мной, — и нет этого свидания. Дело, задуманное давным-давно — стоящее и сил и денег, расшатывается, валится, а вместе с тем в душе закипает неистовая злость. Впоследствии, долго спустя, оказывается, что и письмо было послано, да только не туда, куда надо, а совсем в другое место — ошибся писарь адресом; окажется, что и человек, нужный вам, сам спешил к вам на свидание, даже чуть не загнал лошадь, да вдруг встретил хорошего человека (которого сам же называет «скотиной») и заговорился, например, про охоту на зайцев, и заговорился-то как-то нечаянно, даже шубы и шапки не снял, даже валенков не снял — все спешил ехать, да так в дорожном костюме и просидел двое суток за закуской... Я чувствовал, что и в моих делах произошло непременно тоже что-нибудь вроде этого, какая-нибудь нежданная-негаданная чепуха, которая может погубить у меня не только эти две-три недели бесплодного ожидания, а может, год, может, два, — погубить так, ни за что ни про что, просто потому, что там-то забыли «совсем», там-то описались, а там «заговорился» кто-нибудь или «просидел» нечаянно, иной раз просидел все ваше будущее. Я чувствовал, что меня застигла именно эта мертвая минута, когда депеши перевираются и ходят по неделям бог знает где, когда письма идут тоже неведомо куда, когда вообще презрение к своему делу, лежащее едва ли не в корне решительно всех сортов дел, какие только ни делаются на Руси, даже для личного своего благополучия, когда это желание плюнуть на свое дело, убежать от него куда-нибудь подальше вдруг прорвется где-нибудь неряшливостью, небрежностью, забывчивостью и начнет цеплять одну на другую, забывчивость на неряшливость и так до бесконечности, в бесчисленных разнообразнейших комбинациях, покуда, с одной стороны, не заставит вас бросить все, плюнуть, а с другой — покуда все не разъяснится самым простым манером: «И забыл *совсем*, простите христа ради... Покупал шапку, *вдруг*» и т. д., — говорит виновник всей вашей гибели и так искренно целует в знак извинения, что не извинить невозможно, тем более невозможно, что

знаешь, что и сам точно так же, как и все, заговаривался о зайце, когда за плечами стояло дело, что и сам «совсем» забывал очень важные вещи... На все негодовать, иной раз уметь (русская жизнь учит) на все (решительно на все) смотреть с самой дурной точки зрения и в то же время все, самое скверное, самое дурное, прощать, бесследно забывать — такова, видно, уже участь вообще русского сердца.

Не скажу однако же, чтобы в ту минуту, о которой идет речь, я ждал чего-нибудь иного, кроме необходимых для меня вестей, или чтобы я был расположен кого-нибудь прощать или извинять за эту содеянную со мною чепуху. Напротив: помимо того, что я еще не знал, где произошла эта чепуха, эта роковая описка, тут где-нибудь подле меня или там, откуда я ждал вестей; помимо настоятельной надобности узнать, что именно и где именно случилось, были и другие обстоятельства, которые с каждым днем увеличивали раздражение нервов именно тем, что заставляли меня даже насильно принуждать себя думать об этой несчастной почте и письмах, которых я ждал, — думать в такие минуты, когда мне этого вовсе бы и не хотелось...

Беда моя была в том, что город, в котором я остановился, был мне город родной, знакомый вдоль и поперек: здесь я провел свое детство, отсюда ушел странствовать по белу свету и не бывал здесь до сей минуты, лет по малой мере пятнадцать. Беда была в том, что в эти пятнадцать лет я натерпелся на белом свете всякой напасти, настрадался, намучился вволю, по горло, и, претерпевая эти страдания «среди добрых людей», я каждую минуту не добром, скажу по совести, поминал мою родину, мои первые, казавшиеся мне счастливыми молодые годы. Тысячи тысяч раз я был бы рад бог знает что дать, чтобы забыть мое детство, мою раннюю юность; сбросить с себя эти вериги, наложенные на мои плечи любовью родины, внушившею мне жажду самого ограниченного счастия, ослабившею во мне силу мысли, силу сердца, ослабившею ради, разумеется, только того, чтобы, будучи силен и тем и другим, я не изорвался, не измучился, не истерзался, а прожил бы не волнуясь, покойно, счастливо, был бы здоров и весел. Ошиблись добрые люди, и благодаря им я измучился в тысячу раз больше, чем изму-

чился бы, если б был мыслью силен и смел, а сердцем лют. Винить в этом некого! Жизнь научила понимать этих измученных, но добрых людей, но зато жизнь эта так меня измучила, благодаря этим же добрым людям, так всего меня изожгла, что забыть эту страшную услугу добрых людей стало потребностью просто-напросто физической. При малейшей вести с родины меня всегда точно обжигало, я чувствовал самую настоящую физическую боль, как бы меня царапали раскаленным железом по телу. Не всякому под силу перенести такую боль, и я боялся думать о прошлом, чтобы не изболеть бесплодно, старался всегда гнать эти тени прошлого, чтобы не пробудить в себе того мучительно негодного для меня хлама, который с такой любовью был нанесен в мою совесть этою исстрадавшеюся, во мне одном сосредоточившею всю силу любви, родиною. За эти ласки я расплатился основательнейшими страданиями и не хотел вспоминать их, так как у меня была уже другая родина, именно — вот эти самые страдания...

Догадала меня нелегкая на один только день остановиться в этом родном городе, чтобы только взглянуть на него, получить что нужно с почты и тотчас уехать, и вот случилось совсем другое: я сижу в этом городе вторую неделю. Кругом меня тут под окнами все до мелочей мне знакомо, каждая человеческая фигура, каждое деревцо в соседнем саду, звон соборного колокола, вон та красная крыша — словом, все до последней мелочи было мне знакомо, и со всем были связаны тысячи воспоминаний, впечатлений, которые неудержимо стали воскресать в ничем не занятом воображении, а вместе с этими воспоминаниями жгучею болью отзывались впечатления, которые я вынес благодаря «счастливой» юности, проведенной в этом городе, на этих улицах. Этот двойной ряд неожиданно возникших во мне ощущений — ощущений счастия, пережитого здесь, и ощущений глубоких несчастий, которые оно дало мне, были поистине мучительны. Будь это какой-нибудь незнакомый, чужой, новый для меня город, я бы шатался от скуки по бульвару, зашел бы в суд, в театр, поговорил бы с философом-обывателем, сидящим одиноко на набережной и любующимся видом, и много бы узнал от него интересного; так ли, сяк ли, но мне было бы легче перенести это бесконечное ожидание стран-

ствующих по свету бумаг и писем. Здесь, в знакомом родном городе, я буквально боялся ступить шаг по улице, боялся выглянуть в окно; как причина, из-за чего я страдал так долго и так больно, меня пугало именно физическим ощущением боли решительно все; я боялся сам сходить на почту, потому что знал, как будет мне дурно, когда я увижу этот желтого цвета дом, эту дверь, обитую мочалками, громадного почтальона Архангельского (он жив — я видел, как он прошел по улице)... Я боялся выйти на улицу, чтобы не встретить знакомого лица, которое в детстве с любовью улыбалось мне, боялся заглянуть в ту улицу, где и до сих пор стоял наш дом, в котором я родился, боялся увидеть своими глазами гимназию, место, где служил отец, — все это было переполнено для меня такими болезненными воспоминаниями о безгранично любовной для меня лжи, так мучительно отдалось на моей душе впоследствии, что я не мог бы глядеть на все это без того, чтобы не захворать... При виде ли моих земляков, при виде ли знакомых мне местностей, домов, садов (как разрослись-то, если бы вы знали!) я бы поминутно должен был испытывать ощущение упрека, который словами можно бы было передать так: «Всё-то вы меня, господа люди, госпожи улицы и господа деревья и сады, всё-то вы меня обманывали!.. Отчего это вы ни разу не сказали мне, как вы измучились, как вы много утаили от меня вашего горя? Отчего это, государи глухие переулки, не сказали вы мне ни единого слова о том, что мне надо идти стоять за вас горой, что мне надо иметь руки железные, сердце лютое и око недреманное? Отчего вы, бедняги мои, старались всегда «укачать» меня, заговорить меня веселыми словами, когда я плакал от бессознательной тоски, говорили мне: «не думай!», вместо того чтобы разбудить, сказать: «думай, брат, за нас, потому наших сил нету больше!..» Убаюканный вами, я спокойно спал и не знал, что в темные осенние и зимние ночи, когда на дворе хлещет дождь или воет вьюга, вы поедом ели, ни в чем неповинные, друг друга и проклинали свою адскую жизнь. Зачем ничего-то этого вы мне не сказали? Зачем я не знал, что измучили вас эти ночи, измучили дни, измучили эти дома и сады, — разве я такой бы был? Разве бы я не постоял за вас, горемычные мои? А вы всё молчали, да таили, да прятали... посмо-

трите-ка, как я измучился-то, покуда узнал!..» — «Да ведь это мы любя! ведь мы всю душу-то, какова она есть... тебе», — отвечали бы мне на мой упрек все эти знакомые места, эти разросшиеся сады, знакомые звуки колоколов...

Вот это-то и было трудно, невозможно перенести... Они клали в меня всю душу, а я приду упрекать их — это нехорошо, обидно, а не упрекать невозможно... Если бы я так, просто, без всяких монологов, явился к ним, то один вид мой сразу бы измучил их. Они чутки, ужас как чутки на мучение, — и сразу бы, при одном взгляде, поняли, что их любовь не спасла меня... а это еще хуже всякого упрека.

Вот почему я решился никуда не показывать глаз из моего нумера; я даже опустил сторы в окнах и усиливался представить себе, что я не дома, не на родине, а там, в какой-то неведомой стране, где неаккуратно доходят письма, где перевирают депеши. Но, несмотря на спущенные сторы, тучи, вереницы воспоминаний так и рвутся, так и лезут в эту комнату...

Морозное утро; я еду в гимназию, еду веселый, довольный; я знаю, что мне не поставят единицы, не оставят без обеда, не тронут пальцем... Там уж позаботились, чтобы ничего этого не было... Даже так позаботились, что учителя явно несправедливо становят мне отличные отметки... Нет!

— Тимофей! — отгоняю я эти воспоминания и кричу в коридор.

Тимофей несется на всех парах и на ходу возвещает:

— Не приходила!..

— Как не приходила?..

— Да, стало быть, что не было... Сейчас бегал... говорят нету!

— Как нету?

Я говорю это, чтобы отделаться от воспоминания о том, что было в классе, в который вошел я... Воспоминания так неприятны, что я уж сам не знаю, какой еще задать Тимофею вопрос, чтобы только слушать какой-нибудь другой голос, а не тот, какой звучит во мне...

— Сабашникову, — бормочет Тимофей, — точно было письмо. Еще было этому... как его?.. Щекотуркину... толстое... Ну, а Болтушкину — так уж ах сколько оказалось пакетов — чистая страсть!

— Болтушкину?

— И Болтушкину и Животову... Что Животову, что Болтушкину — так это одно погляденья достойно... И что так много пишут?

Тимофей философствует довольно долго, и я внимательнейшим образом слушаю его. В самом деле: отчего так много получает писем этот Болтушкин? И об чем ему пишут? стараюсь сообразить я и, чтобы удержать разговорившегося Тимофея, говорю:

— И Животов тоже много получает?

— Животов? Животов писем получает целую прорву!.. Вот как я скажу...

— А Болтушкин?..

— Ну, и Болтушкин тоже хорошо... довольно деликатно ведет дело...

— Болтушкин-то?

— И Болтушкин и еще вот молодой тут есть один, Кузнецов, купец... вроде как сумасшедший; ну что добер — так уж нет его добрей, надо сказать прямо. Болтушкин что! Или тот, Семиглазов! — положим, что само собой, — ну что Кузнецов, или, опять взять, еще дьякон у нас есть Гвоздев, — ну и басище же — владыко живота моего!

Передаю речи Тимофея так, как они доходили до моего понимания; многого я не слыхал, отгоняя свои разговоры; по всей вероятности, в его речах была связь, но я этой связи уловить не мог. Я слышал что-то про дьякона, про пакеты, Кузнецов, Болтушкин, «а то вот еще скворец у меня был» — только я был очень благодарен Тимофею за его разговорчивость. Мало-помалу, благодаря ему, я начинаю ровно ничего не понимать и задумываюсь над каким-нибудь совершенно посторонним вопросом, возникшим из разговоров Тимофея, и долго после его ухода думаю или о дьяконе, о басе, или скворце и задаю себе вопрос: можно ли выучить скворца петь «Коль славен»? Тимофей говорит, что можно... Иной раз, благодаря Тимофею, подвернется такая тема, что понемногу унесешься за тридевять земель... а там устанешь и кой-как заснешь... Но и во сне постоянно меня что-то грызло, что-то ело; не письма, не бумаги, а всё те же воспоминания, тот же несправедливый упрек, закаменевший у меня в сердце, тяготил и давил меня... Просыпался я чуть

свет, больной, точно избитый, и сразу вспоминал, где я, что̀ около меня, и почти с испугом опять вопил к бедному Тимофею.

— Да ты как спрашивал-то? — вопиял я в страстном нетерпении уехать из этого мучительного места.

— Да вам спрашивал.

— Как же именно?

— Да собственно на ваше имя... Нет ли, мол, говорю... нет, говорят, нет...

— Да как же, как, мол, фамилия?

— Там в записке сказано.

— Да цела ли записка-то?

— Куда ей деться? — известно, цела.

— Нету?

— Нет, говорят, не было... Животову есть и Звереву есть, а вам нет...

И так вновь начинается мучительный день.

А на дворе июль, раскаленные, нестерпимо жаркие дни... Пыль несется на окна с пустой улицы... В нумере мухи, запах кухни... Повар неистово стучит ножом где-то очень близко и колотит им, повидимому, по чем ни попало... «По грушу, по грушу!» — долго, по крайней мере с полчаса, визжит (буквально) торговка, и этот визг опять напоминает кой-что... Стараюсь заглушить это кой-что размышлением о том, что будут делать с моим письмом, если его занесет куда-нибудь в Тифлис вместо Москвы... Удар в колокол «к вечерне»... Представляю себе, как чешет косы дьякон, бас, как он откашливается после сна и пьет квас... и опять кой-что вспоминаю... Слава богу — кто-то гаркнул, не то на дворе, не то на улице: «Что ж салме-то, черти этакие? Сидит барин — чуть живой...» — «Чорт и с барином-то со своим», — отвечает тоже неведомо откуда другой голос... Обдумываю — почему не несут салме?.. Вдруг — под окнами раздается какое-то неистовое царапанье по камням... Это плетется пьяный мужик, плетется почти без памяти. Я не глядел в окно, сторы у меня были опущены, но я твердо знал, что это именно плетется пьяный мужик; знал, как именно он плетется, и что чувствует, и как у него едва-едва что-то брезжит в голове; знал, что захмелел он так неистово не больше как от одного стаканчика, выпитого на тощий желудок без закуски, на которую мужик пожалел денег;

знал, что первый тротуарный столб, подвернувшийся ему под ногу, свалит его в канаву, откуда уж ему не будет никакой возможности выбраться... Не глядя в окно, я видел, как на этого мужика, барахтающегося и всего вымазанного грязью, бессильного, очевидно ничего не понимающего, будут смотреть и посмеиваться лавочники, приговаривать: «Так, так — ишь разукрасился как, вот так ловко! Ха-ха-ха!— совсем с головой в лужу юркнул: утка, одно слово!..» Видел, как на этого мужика смотрел из окна чиновник, только что вставший от послеобеденного сна, и знал, что этому зрителю будет скучно, когда, наконец, уведут этого мужика в часть; а уведут его непременно и бесчеловечно... Медленно подойдет городовой и, как специалист своего дела, сначала разгонит публику, наблюдающую беспомощное валянье бессильного человека в грязи, а потом приступит и к самому этому человеку... Он будет приставать к нему с расспросами, зная, что он отвечать ничего не может, потому что ничего не понимает... Будет его гнать, кричать: «ступай, ступай, нашел место!», зная, что он не может идти, не может сделать шагу; будет дергать его за руку и тем еще более ставить в беспомощное положение... «Гас-сс-спадин», — одолеет кое-как произнести безрукий, безногий, ничего не понимающий человек, как бы приглашая войти в его положение, но всякий служащий обществу русский человек считает за службу именно только необходимость не входить ни в чье положение... Его приучили думать, что слугою он будет только тогда, когда выработает в себе способность поступать против собственных соображений и против движений собственного сердца. Над мужиком поэтому не только не сжалятся, а, напротив, начнут его рвать и трепать; постановив кое-как на ноги, его вдруг поволокут что есть духу, так что непременно придется упасть снова... Вот он ударился головой об угол стены, ударился крепко, больно, так больно, что даже закряхтел... хотел поднести руку к затылку, но его рванули за руку и опять поволокли... Всю дорогу его осыпают ругательствами, всю дорогу он получает пинки... «Чего стал? Н-оо! ид-ди! нажрался, ненасытная твоя утроба!» Знал я, что так его протащат улицы две-три, что он дорогою весь изобьется об стены и об камни, что у него непременно раздерется местах в десяти рубаха, что он поте-

ряет шапку, рублевую бумажку, паспорт, за который потом расплатится еще горше... Знал, что его так толконут в темную кутузку, что он, ударившись виском о скамейку, совсем ошалеет и повалится без всякого «знаку», то есть без памяти... Очнувшись ночью, весь больной и избитый, ничего не понимая, не зная, где он, что с ним, он догадается, что у него пропали деньги, будет охать и стонать и от боли и от пропажи, будет стараться выйти из этой темноты, будет стучать в дверь, в стену, будет просить «испить», но ему никто не ответит ни единого слова... «Ох, смерть моя... Ах, ах, ох... а-а-а-ах ты, царица небесная!.. Жжет!..» — без ответа будет раздаваться в темноте кутузки всю-то, всю темную, длинную ночь...

— Тимофей, Тимофей! — кричу я опять в коридор... — Да что же это?.. Когда же наконец?

Но на этот раз даже Тимофей не оказывается в коридоре, и мне приходится оставаться одному.

II

Так прошла целая неделя, и потянулась другая... Болтушкин, Животов и Кузнецов аккуратно получали каждый день «удивленье даже» (слова Тимофея) сколько писем, а я все ничего не получал... Я стал понемногу затихать, точно опускался на дно глубокой реки, точно тонул в неизвестности и темноте сегодняшнего и завтрашнего дня. Этому помогло еще следующее обстоятельство: догадало меня попросить Тимофея сходить в книжную лавку, принести какую-нибудь книгу; он принес роман: «Похождения Рокамболя»... С большим, признаться, презрением посмотрел я на эту книгу и почти с отвращением прочел первую страницу: все до того глупо и неестественно с самой первой строки, что, казалось бы, надо просто бросить сейчас же книгу под стол, — не тут-то было. Мое неестественное состояние оторванности от окружающей действительности, мое желание забыть место, где я был теперь, и все, что с этим местом связано, заставило меня именно заинтересоваться неестественностью романа и среди полного моего душевного одиночества отдать господину Рокамболю все мои симпатии... Я понял в эти минуты, почему нелепый, ничего живого

не заключающий в себе французский роман маленьких газеток с такою жадностью читается бедным рабочим классом; более ужасного одиночества, в которое поставлен европейский рабочий, трудно себе представить; революция, уверив его, что он — не скот, а человек, все-таки до сей минуты не дала ему уюта, а оставила одного среди пустой площади и сказала: «ну, брат, теперь живи, как знаешь». Кругом него всё чужие, — и вот почему Рокамболь, сто раз умирающий, сто раз воскресающий, может заставлять грустить и радоваться одинокое сердце... Пожалуйста, господа романисты, берите краски для романов, которые пишете вы рабочему одинокому человеку, еще гуще, еще грубее тех, какие вы до сих пор брали... Одиночество человека становится все ужаснее, судьба загоняет его все в более и более темный угол, откуда не видно света, не слышно звуков жизни... Бейте же в барабаны, колотите что есть мочи в медные тарелки, старайтесь представить любовь необычайно жгучею, чтобы она в самом деле прожгла нервы, также в самом деле сожженные настоящим, заправским огнем... Не церемоньтесь поэтому, господа дешевые романисты, рисовать все, что есть хорошего в жизни, самыми аляповатыми красками, доводить черты красивого, великого до громадных размеров, чтобы нам было видно их из такой страшной дали... Пусть невинность в ваших романах не продается ни за какие деньги, пусть бедная, умирающая с голоду прачка будет в ваших произведениях настолько невероятна, что не только не согласится продать себя, а напротив, вопреки всяким смыслам, возьмет и сожжет на свечке, тут же, перед глазами ее покупателя и перед изумленными глазами читателей, банковый билет (смело пишите цифру и не церемоньтесь с сотнями тысяч и даже миллионами), который ей дают в руки и который в одну минуту может возвеличить ее. Пусть она непременно этот билет сожжет, а сама все-таки умрет с голоду... Так же невероятно и невозможно представляйте вы, господа романисты, и все другие человеческие отношения... Красота женщин должна изображаться особенно нелепо: грудь непременно должна быть роскошна до неприличия; сравнивайте ее с двумя огнедышащими горами, с геркулесовыми столпами, с египетскими пирамидами... Только такими невероятными преувеличениями вы можете забро-

шенному в безысходную тьму одиночества человеку дать приблизительное понятие о том, что другим доступно в настоящем безыскусственном виде действительной красоты... Без этих преувеличений ему нет возможности ощутить и пережить хоть что-либо подобное, нет возможности узнать ни красоты души, ни красоты форм... Грудь работящих женщин сохнет рано — и уж какие же формы после пяти, десяти лет поденной работы? И где в этой тьме кромешной найдутся такие прачки, которые бы подорожили своею невинностью за сумму и гораздо меньшую, чем сотни тысяч и миллионы?.. Если бы не являлся нелепый романист и не врал нам, темным людям, про этих прачек, про этих красавиц, не нагородил бы нам с три короба про разные какие-то добродетели необыкновенные, то, право, жизнь, то есть одна только голая действительность, сумела бы совсем отучить темных одиноких людей от самомалейшей тени представлений добродетели, красоты, невинности... Следуя этому плану, господа нелепые романисты могут быть уверены, что их Рокамболь может воскресать сто тысяч раз и всякий раз его примут с распростертыми объятиями... Он в этой тьме одиночества — друг и приятель, вокруг которого жизнь кипит ключом, как вода вокруг пароходного колеса; возможно ли с ним расстаться когда-нибудь?

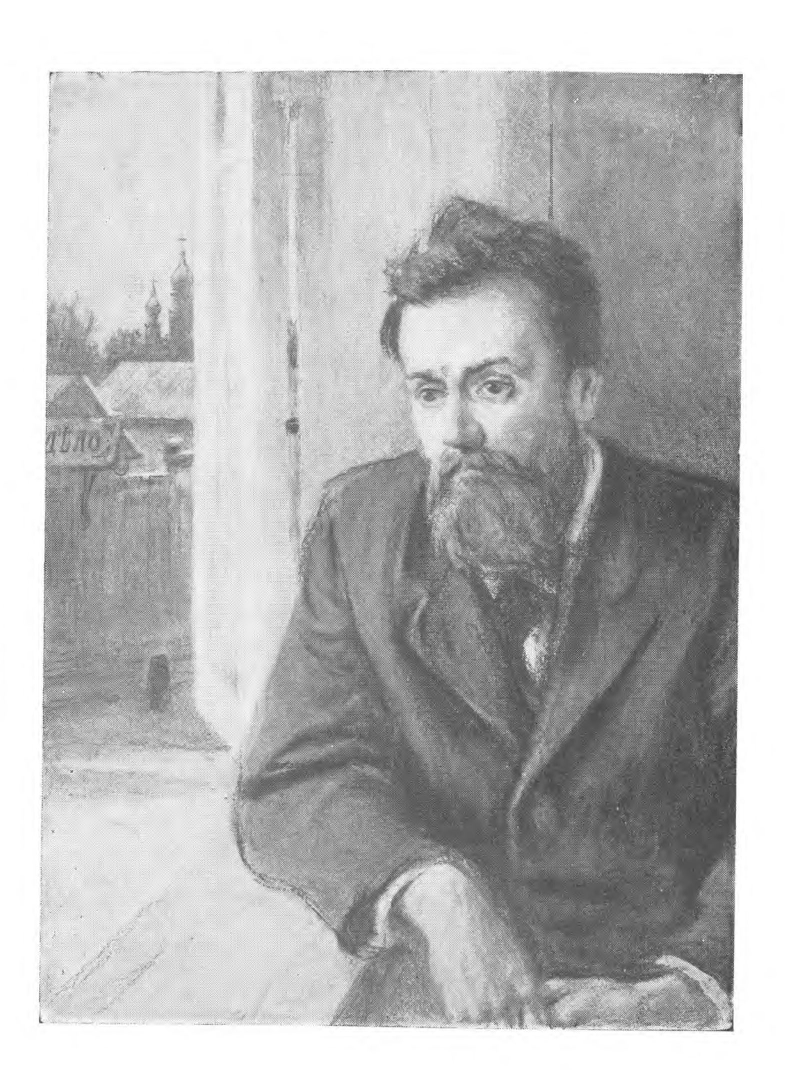
В этой невозможности я убедился на собственном опыте. Среди полного моего одиночества Рокамболь окружил меня такою чепухой и в такое короткое время, что я, сам не замечая этого, рад был принять эту чепуху за действительность (так как настоящую-то действительность я старался забыть) — и зачитался... Когда под конец третьего тома Рокамболю пришлось плохо (ему обожгли рожу порохом), я очень его жалел, и жалел потому, что боялся: ну-ко, он не переживет, и я останусь один?.. К великой моей радости, Тимофей, возвратясь из книжной лавки, подал мне продолжение, называвшееся «Воскресший Рокамболь», с пометкою том 1-й. «Э, — подумал я, обрадовавшись: — том первый! стало быть, их пойдет еще много», — и с величайшею радостию принялся за чтение... Оказалось, что рожу Рокамболю вылечили как нельзя лучше (я почувствовал уважение к науке), и он снова пошел в ход, а я с легким сердцем поплелся за ним... Но под конец третьего тома положение мое сдела-

лось весьма затруднительным... На сцене явился русский казак, ростом в полторы сажени, с кулаками по полупуду, а то по целому пуду, и я видел, что теперь Рокамболю предстоит явная смерть... Действительно, казак бросил Рокамболя в воду... Я все ждал, что он как-нибудь выплывет, но автор заставил испытать мое чувство глубокой жалости, на целом десятке страниц поддерживая эту надежду, и под конец объявил, что — не выплыл. Под этим подписано «конец». Я почувствовал, что и мне теперь — «конец». Тимофей понес книги в лавку, а я вновь должен был отдаться уж настоящей действительности, что, после столь отдаленных странствований, казалось поистине невыносимым... Что делать? думал я...

Поистине неописуемое счастие испытал я, когда Тимофей возвратился из лавки с запиской, в которой было сказано: *«Ево ище много будет, воскрещева... Как отдаст Животов, биззамедления предоставлю. Покудова посылаю журнал; Будет вторительно воскресать в пяти частях»*. Точно манна небесная была для меня эта записка. Уж как я был благодарен этому «книжному лавочнику»! Я знал его, этого придурковатого мещанина, приютившегося на базаре в маленькой лавчонке с разною мелочью (табак, спички), покупавшего у гимназистов книги и снабжавшего чтением бедный люд. Тимофей сказал мне, что этот лавочник — все тот же самый; «пьет шибко! — прибавил он, — а человек ничего...» Надо быть золотым человеком, чтобы так понять тоску читателя и предупредить его, чтобы он не скучал, что еще будет много «ево», «воскрещева»... Сколько добра сделал на своем веку этот человек, подумал я, и сколько перенес он всякого горя. Один лавочник, торгующий папиросами, у которого нанимает он уголок для своих книг, один этот лавочник вот уже лет двадцать ругает его за то, что у него нет никакой торговли, так как действительно ее нет: книгу возьмут и не отдадут; это — уж такой провинциальный закон... А он все терпит, все похлопывает пальцем по обертке «Тайн мадридского двора» — и читает о них лекцию и табачному лавочнику, и писцу с почты, и мещанину, который хочет «почитаться» чего-нибудь...

Воспоминания о книжной лавке на толкучке, о вечно красном носе ее хозяина, о его страсти к литературе и его литературных мнениях снова повернули мою мысль

на старое, на прошлое, и я, чтобы забыться, волей-неволей взялся за книгу, которую принес мне Тимофей вместе с запиской... Это был один из старых нумеров лучшего русского журнала... Все было знакомо, прочитано; один вид и формат страниц, одни названия статей сразу напоминали необычайно много, что, после Рокамболя, после полного забвения действительности, было вовсе некстати... Что-нибудь, однако же, надо было делать с этой книгой, она была у меня в руках... После Рокамболя, который меня совершенно вывихнул, перевернул вверх ногами «вся внутренняя моя», мне и тут, в этой очень дорогой книге, хотелось отыскать что-нибудь такое, что бы хоть отчасти поддерживало эту вывихнутость, что-нибудь такое, что бы не имело с действительностию никакого соответствия... И, к великому моему удовольствию, я действительно нашел в ней, именно теперь, ни с чем не соответственную страничку... «Парижские моды», — прочитал я — и обрадовался. «Вот, — подумал я, — штука, которую я никогда не читал... «Моды»! В этаком журнале!.. Это что-то, должно быть, очень интересное... «На последнем придворном балу в Тюйльери белый фай окончательно затмил собою атлас... Герцогиня де Б***, вопреки существовавшим предрассудкам, вновь ввела в употребление живые цветы и тем самым навсегда упрочила за собою авторитет изящного вкуса, наряду с своей высокой покровительницей, императрицей Евгенией, которая, несмотря на кратковременность своего царствования, уже успела далеко двинуть задержанное революцией сложное дело женского туалета... Теперь, когда крахмаленные юбки с таким позором уступают место... и когда «жокей-клуб» поражен в самое сердце ес-букетом, не место было бы задумываться над тем, что должны делать наши соотечественницы... Короче, неизбежность, помимо утреннего неглиже, практиковать также и неглиже вечернее не подлежит уже никакому сомнению. Потребность облагородить вкусы масс сознана учеными всех веков и народов, и графиня де В*** первая показала пример необходимой в этом отношении развязности, граничащей почти с античною наготою... Нельзя не отдать справедливости изящному вкусу французов, неистощимости их фантазии, и вообще нельзя не признать за этими, ныне нашими врагами...»



Статейка была написана довольно мило и так серьезно держала себя среди самых бессмысленных словоизвержений, что я мог чувствовать одно только тихое удовольствие. Неожиданно наткнувшись на фразу «ныне нашими врагами», я как бы очнулся и невольно перевернул книгу с последней страницы, где помещаются моды, на первую, чтобы взглянуть, когда именно происходили подвиги этого необычайного самоотвержения герцогини Б*** и графини В***. Перевернул книгу — и обомлел: батюшки! да ведь это — 1854 год, самый разгар войны!.. При начале книги было приложено объявление, в котором редакция говорит, что «успех превзошел все ее ожидания и из двух тысяч печатаемых экземпляров в настоящее время не осталось уже ни одного»... Две тысячи читателей на всю Россию, на шестьдесят миллионов народу, две тысячи читателей, для одной части которых нужно писать о модах (именно *нужно* писать, потому что так, ни с того ни с сего, издатель, как коммерческий человек, не станет делать этого), писать о модах в такую ужасную минуту, как война, и какая война!.. Точно варом обдало меня от одного взгляда на эту первую страничку, на это объявление; от Рокамболя не осталось следа, потому что в одно мгновение предо мною пронеслась картина тогдашнего положения русской земли вообще и моей родины в особенности, обнаруженная и то частью только, и я с ужасом вспомнил, что в то именно время, когда герцогиня Б*** делала такие смелые нововведения, толпа, то есть миллионы русских людей родились, росли и развивались в зараженной атмосфере бессознательности, точно в самом свежем воздухе... Страшный опыт один только научил эту толпу задуматься над своей совестью; помимо его, этого ужасного опыта, для всех этих бесчисленных миллионов народа, составляющих русскую землю, не было ниоткуда словечка правды о ее положении. Вот книга, духовная мать всего, что есть в этой толпе мало-мальски сознательно хорошего, эта книга, как копеечная свечка, одна только светила на всю землю. Да и той приходилось ухаживать за почтенной публикой, раздавать ей модные картинки, чуть не пряники, чтобы просунуть в глубину этих миллионов страничку, много лист, замаскированной, наглухо запутанной правды... Могла ли книга прямо и грозно назвать вещи по именам, могла ли вместо

парижских мод дать рисунки своротенных скул, говорила ли, что все вы, все эти миллионы, давно уж прогневали бога? Могла ли она сделать это? Должно быть, не могла, потому что не говорила или говорила робко, приниженно... В то время как общественная душа, душа толпы, была уж окончательно искалечена, две тысячи читателей умилялись над несчастьями помещичьего будуара... Выводя на сцену самого лучшего человека тогдашнего времени с речью о благе человечества на устах, можно было как нельзя лучше обойтись без присутствия на сцене мужика, которому, однако ж, очень бы нужно было в то время доброе слово... Даже в художественном отношении отсутствие в романе материала (пропал мужик) для приложения известных идей нисколько не вредило произведению. Автор мог держать своего героя исключительно в одной только помещичьей гостиной, мог показать его здесь во всей его широте, и читатель ни разу бы не спросил себя: почему же он не оставит этой гостиной и не пойдет по грязи в эту размоченную деревеньку, которая тут, под самым боком у этой гостиной? Так глубоко была толпа проникнута бессердечием, отвычкою от совести и любви! Откуда же сразу взять все это?..

Раз задумавшись о том, о чем до сих пор я старался не думать, я уж не мог остановиться. Тимофей с торжеством принес мне «Воскресшего Рокамболя», но я его не читал, а потребовал журналов, таких же старых, если только есть; я просил прислать все, какие есть. Лавочник прислал мне целую кучу; все это были разрозненные нумера разных изданий, начиная с шестидесятых годов... Я был рад повторить все пережитое и передуманное; запер нумер, улегся и принялся за чтение. Боже милосердный, как мучительно было мне смотреть на автора новых времен, на романиста новых людей!.. Мне было поистине страшно за него, особенно в виду только что вновь пережитого мною прошлого, страшно за «необходимость» во что бы то ни стало создавать новых, совсем-совсем новых людей. В этих людях у всей толпы действительно была самая настоятельная надобность; она, толпа, как и автор, представитель этой толпы, узнала самым обстоятельным образом, что с прошлым разорвана всякая связь, разорвана вдруг, в один прекрасный день; давайте новой жизни, новых людей, давайте самой чистой «нравствен-

ности, самых возвышенных добродетелей, самой сущей правды»... Из чего он вылепит все это?.. думал я и ужасался... Во что оденет он свои благородные желания и мысли, откуда возьмет чистую, незараженную кровь, здоровую, сильную, чуткую плоть? Но автор, несмотря на безвыходность своего положения, покоряясь общественному требованию и требованию своей совести, принялся лепить новых людей, а я с замиранием сердца смотрел на его работу... Откуда взять ему героя?.. Из народа? Беда его, что народа он совсем не знает, да и какие там герои... Из господ? — Ну уж... Из купцов? Аршинники и архиплуты... Куда ни кинь — клин. И вот надо выводить его из каких-нибудь необычайных условий... Надобно изолировать детство его от всех условий, при которых шло детство толпы (в одной повести герой рос почти между жеребятами), надобно отучить от всех привычек прежней толпы, от всех ее вкусов, обычаев, свойств, и волей-неволей автор заставляет своего любимца питаться чуть не бекасиною дробью, вместо разносолов; делает сильным — невероятно и устраивает ему обстановку необыкновенную. Купается он не как все — днем, а в полночь; не как все — идет в воду с берега, а бросается со скалы. Эти невероятные краски, преувеличения, выдумки как нельзя лучше говорили мне, в каком ужасном положении осталась от прошлого душа толпы. Каждую черту надо выдумывать, изобретать, потому что нет ее под рукою или не знаешь, где взять... Я с глубоким почтением к непомерным усилиям удовлетворить настоятельную жажду общественной совести в великом, сильном и честном — перечитывал все эти сказания о новых людях, но не мог не чувствовать, что между этими крайностями, то есть между недавним, беспримерным нравственным падением и беспримерною жаждою нового и возвышенного, есть третья черта, черта подлинного состояния общественной души, забытая авторами и старыми и новыми: эта черта — страдание. Новый автор, рисуя для пробужденной совести образцы, в которые должно бы облечься это пробуждение, но не говоря ни слова о страданиях, о борьбе с самим собою, страданиях и борьбе, которые неизбежно должны были обрушиться на всякого обессиленного нравственно человека, поставленного в необходимость быть нравственно сильным, автор делал большой промах, пре-

доставляя измученному представителю толпы биться, как рыба об лед, и давал полную возможность врагам своих идеалов во все горло хохотать над ошибками, бессилием, недомыслием человека, торопившегося перебраться с одного берега на другой, торопившегося от неправды, бессовестности уйти к совести и правде во всем...

Начинало рассветать, когда я кончил какой-то новый роман (ни один почти из таких романов не кончен, и действительно автору впору было только в общих чертах обрисовывать героя, а жить этому герою еще не было никакой возможности — стало быть, не было возможности и писать романа) — задумался об этом мучительно-нравственном состоянии толпы, последовавшем вслед за пробуждением ее мертво спавшей совести, и мгновенно передо мной пронеслась целая вереница смертей, смертей от испуга при виде подлинной сущности самого себя... Один рванулся к свету и с ужасом увидал, что он без ног, что, как бы он ни желал идти, — он не может сделать шагу... Другой вдруг, нежданно-негаданно, увидал и узнал, что вместо сердца у него — деревяшка или пустое место, а жизнь как нарочно потребовала сердца, да еще какого большого!.. Правда и совесть нежданно-негаданно, среди заматерелой бессовестности, среди прочно укрепившейся, довольной, покойной неправды, точно прикосновение свежего воздуха к трупам, — произвели разложение этих трупов, которые до сего времени почти невредимо сохранялись в лишенном воздуха месте... Толпы этих невинно убиенных совестью людей, буквально толпы, неслись в моем воображении, не прекращая своего мрачного шествия ни на минуту и не обещая конца... Да, подумал я, еще долго, бесконечно долго, еще в большом количестве поколений будут отдаваться следы вековой неправды! Долго еще состояние души его будет один подавленный, скрытый крик, прежде нежели переболит он и, очистившись в глубоком страдании, покорится тернистому пути, который ему предлежит, всем сердцем, всею душою поймет и почувствует, что этот-то путь и есть настоящий, и есть настоящая правда и жизнь...

А тени погибших друзей, товарищей, знакомых так и гнались одна за другою... Что были за лица! То измученные, то искаженные злобой... Благодаря расстроенным нервам, бессонной ночи, мучительным воспоминаниям,

навеваемым родиной, я в полусумраке начинавшегося утра стал довольно явственно различать то в том, то в другом углу комнаты мельканье и как бы легкий шорох и мельканье каких-то фигур, и даже не фигур, а просто стало мне казаться, что в комнате есть что-то или кто-то кроме меня... Раз даже почудилось мне, что в головах моей кровати о железо (кровать была железная) что-то чуть-чуть стукнуло, как стучит капель... Раз и два (я думал об одном застрелившемся товарище)... Уж не кровь ли это каплет?— мелькнуло у меня, и я проворно вскочил с постели — так мне стало жутко... Разумеется, ничего не было, но спать я уж не мог. Что бы ни было, я решился уехать, как только настанет день. Ехать было необходимо — шел десятый день моего бездействия... Я решил дождаться, пока встанет Тимофей, уложиться и, не дожидаясь больше ничего, ехать на железную дорогу...

На улице понемногу начиналось движение; я оделся, створил окно и стал смотреть на мертво спавший город. Нехотя, вяло, медленно поднимался житель: мужик, разумеется, проснулся давно и уже шел на рынок за медленно двигавшимся возом сена, стучал где-то далеко топором, подметал улицу и крестился широким крестом, заслышав удар колокола... Долго и с удовольствием смотрел я на эти молящиеся фигуры рабочего народа, появлявшиеся на перекрестках, на тротуарах... Но вот прошел чиновник с красным околышем; вслед за ним продребезжал на извозчике другой, съежившись и, как погибающий, прижавшись к портфелю, который был у него подмышкой. Прошли кучками гимназисты, гимназистки. И точно гром небесный грянул на улице — промчался к губернатору полицийместер... Иноходец в корню, пристяжная кольцом, и даже не кольцом, а как-то совсем невероятно, точно она хотела откусить у себя хвост. «Пад-ди!» — бас, как из бочки, гудел из груди кучера. Никого почти не было на улице, а при виде этой группы невольно мелькнула мысль — «раздавит!» В глубине этой группы (то есть вообще всей совокупности лошадей, полицийместера, кучера и дрожек), казалось, было скрыто (где именно — определить невозможно) нечто разрывное, какой-то динамит, который вот-вот грянет... И сразу, при одном взгляде на нее, на эту группу, исчезли впечатления просто утра, превратившегося мгно-

венно в утро губернского города, — утра, за которым потянется скучный, утомительный губернский день... Захотелось ехать как можно скорей...

Тимофей встал и стучал уже в коридоре посудой, шаркал сапожной щеткой. Я попросил его принести чаю и стал понемногу собираться; собрав с полу перечитанные ночью журналы, я связал их веревочкой, но случайно при этом заметил, что забыл их обернуть бумагой, в которую они были завернуты. Бумага эта — какой-то газетный лист — валялась скомканная на полу. «N-ский справочный листок» разглядел я и поднял его. Любопытно было поглядеть на газетку родного города, почитать, что такое пишется в ней. Нумер газеты был старый, месяца четыре тому назад, и очень изорван; тем не менее я все-таки мог узнать, что на такое-то число назначено к продаже за неплатеж бесчисленное количество имений, что на Крещение была сказана архиереем Леонтием проповедь о послушании и повиновении, что умер в уездном городе *** отставной генерал-майор Леонид Леонидович Непоколебимов, в последние дни жизни своей «всецело отдавшийся садоводству, преимущественно разведению рододендронов, что поставило его энергию лицом к лицу с неблагодарною нашею природою»; прочитал о несостоявшемся земском экстренном собрании за неприбытием гласных, о пользе разведения шелковичного червя, о бумаге из конских волос, о масле из дерева, о говядине из бумаги, о мещанине Петрове, по неизвестной причине утонувшем, о другом мещанине Иванове, по неизвестной причине избившем третьего мещанина Кузьмина, о пожаре по неизвестной причине, истребившем 125 домов, на сумму 165 677 рублей с копейками, и т. д. Множество случаев из ежедневной жизни, причина которых никому не была известна, пронеслось передо мною, благодаря листку, и я уже хотел выпустить его из рук, когда в самом верху первой страницы с оторванным углом заметил знакомую фамилию: «...жденная (должно быть, урожденная) Вера Андреевна Калашникова, 21-го года, в отсутствии мужа приняла раствор... отчаяние мужа не знает границ... Погребение на городском кладбище... причина остается неизвестною»... Батюшки! да ведь я знал Калашниковых, я знал, что в их семье (из разоренных) была девочка, Верочка... Уж не она ли?..

В одну минуту я совершенно забыл, что надо ехать, что мне больно оставаться на родине, веющей такими больными воспоминаниями, и почувствовал, напротив, непреодолимую жажду бежать именно туда, в самое гнездо этих болезненных воспоминаний, и узнать там решительно все, что *они*, несчастные, пережили... Верочка непременно должна быть та самая; ей как раз должно было быть двадцать или двадцать один год... Фамилия ее Калашникова — кто же другая? непременно это она.

— Вот еще прислал! — сказал Тимофей, являясь с новой пачкой книг в то время, как я, ничего не слыша и не понимая, торопливо одевался. — Насилу у Животова отнял — не отдавал...

— Ты не знаешь, не слыхал ли, — перебил я его: — что это за история была у вас — барышня какая-то отравилась?..

— Это зимой никак?

— Да, зимой.

— Ну как не слыхать? это тут вот, у столяра, на нашей улице. Столярова жена...

При слове «столярова жена» я было подумал: «Нет, это — не она: она была барышня»... Но Тимофей тотчас же разрушил эту надежду.

— Как не знать, весь город говорил... Вышла за столяра, за молодого... сама из благородных...

— Отчего же это? Как это случилось?

— Кто ж ее знает... Нешто это возможно знать?.. Болтали много, не упомнишь всего... Муж-то у ней попался — так неведомо что... Столарь, не столарь — так невесть что... Все мастерство-то отцовское порешил вконец... И неизвестно, где скрывается... Вот тут, в нашей улице, заведение было.

— Тут она и умерла?

— В этом самом месте. Да вон дом-то ихний. — Тимофей показал мне в окно, где именно находился этот дом. — Трактир теперь там будет.

Я посмотрел на дом. Вспомнил маленькую Верочку, какою я знал ее. Представил себе ее смерть... и грустно мне стало глядеть на дом, который отделывали, штукатурили и красили под трактир, как бы закрашивая пролитую здесь кровь... Через неделю, много через две, дом будет отделан заново. В комнатах будут бегать половые

с чайниками и чашками, ходить чиновники и купцы; будут стучать биллиардные шары, загудит машина... От Верочки, от всей ее истории, не останется ничего, никакого признака ее несчастия...

— Конечно, это божие дело! — произнес Тимофей грустно. — Уж, стало быть, не от хорошего она это.

«Да, — подумал я: — дело это действительно божие!..»

А маляр между тем продолжал бойко и проворно закрашивать старую почерневшую стену старого дома, в котором умерла Верочка. Полосы яркой желтой охры, ложась одна подле другой, все меньше и меньше оставляли места старой копоти и, казалось, вот-вот сейчас навеки погребут под собою вместе с этой копотью и божие дело Верочкиной жизни... Надо было (так мне казалось), непременно надобно было хоть что-нибудь захватить, хоть что-нибудь узнать об этой жизни, и я, не думая более ни о чем, торопливо, почти бегом направился в самое сердце старого пепелища.

III

Признаюсь, невольная дрожь чувствовалась в моих коленях, когда я с большой главной улицы города свернул в одну из боковых — ту самую, где именно и было то гнездо, на старое пепелище которого я теперь шел узнавать о Верочке. Когда-то в этой улице во множестве собственных домов жирно, неряшливо, нерасчетливо жило множество семейств, отростков одного и того же древа, корень которого, значительная в то время в губернской иерархии особа с давних пор поселилась в этой самой улице. Особа эта имела много дочерей, много сыновей; дочери выходили замуж за тех, кого особа, корень этого древа беспечальных людей, выбирала им, считала достойными; сыновья особы брали жен также по указанию родителя, и все это селилось в собственных домах, служило под сению особы, даже под ее большею частью непосредственным начальством. Пустынная когда-то часть города, в которой впервые поселился родоначальник всей группы (довольно значительной) упомянутых выше семей, мало-помалу, с выходом дочерей замуж и женитьбой сыновей, постепенно заселилась

этими семьями, обстроилась новыми домами и как бы образовала какое-то особое поселение под двойною верховною властью главы этой семьи, властию его как родоначальника, отца, и как начальника, под ведомством которого большинство зятьев и родных детей состояло на службе. Впоследствии, когда подросли внуки и внучки, семьи эти разрослись еще более, расселились по разным местам (но главным образом все-таки в этой же улице) и осложнились родственными связями с самыми разнообразными слоями общества. К этому осложнению сословного состава семьи много способствовали также и кое-какие не предусмотренные верховною властию главы семьи обстоятельства. Так, одна из дочерей, потеряв мужа, выбранного ей отцом, самовольно вышла замуж во второй раз за купца, довольно богатого, и таким образом ввела в родню элемент, близкий к простому народу... В родне этого купца было духовенство: священники, дьяконы, дьячки, которые вследствие этого брака также вошли в состав этой большой колонии. С другой стороны, семья, имевшая в числе родни купцов и дьяконов, могла похвастаться родственными связями и с значительными помещиками (большей частью вышедшими из чиновников) и с чиновниками, значительно выслужившимися... Но, несмотря на все разнообразие сословных элементов, входящих в семью, между всеми ними было одно сходство: все они уже разорвали связь с народом, из которого вышли. Велико, громадно было это семейное древо, но уже в самом начале его была червоточина, которая впоследствии должна была обнаружиться в невероятно быстром и ужасающем гниении и бесплодии. Червоточина состояла именно в оторванности от правды народной, оторванности от совокупности условий, в которых можно и должно жить русскому народу. Глава семьи также происходил из простого звания и рос в крайней бедности; натура эта была одарена сильным характером, сильною волею, которые бы много сделали, если бы им удалось быть поборниками «подлинных» народных нужд. Семейные предания говорят, что многие из этой семьи, из которой произошел глава изображаемого семейного древа, покоряясь именно этим подлинным условиям народной жизни, были простыми разбойниками среди больших дорог; многие сидели в тюрьмах и в кандалах

хаживали в Сибирь и даже участвовали в шайках Пугачева. На долю нашего героя (главы упомянутого громадного семейства) выпало другое: с молодых лет он попал в монастырь, стал любимцем настоятеля, который, заметив его способности, не оставил их втуне. Помощию своих связей архимандрит-настоятель дал ход мальчику, по своей живой натуре не подходившему к монашеской жизни (которая, однако, значительно оторвала его от понимания неприветливой действительности родной ему среды), и с шестнадцати лет определил его на какую-то незначительную гражданскую должность. Здесь «интерес казны», интерес такого отвлеченного представления, как государство, могущество, которым располагал этот интерес, начали понемногу захватывать большие природные силы молодого мальца. Он понемногу стал «влюбляться» в интересы этой могучей власти, интересы широкие, ничуть не напоминающие той действительной духоты жизни, той нищенской правды, в условиях которой ему пришлось родиться... И вот (так как его искренняя любовь к «казенному интересу» была замечена, так как она была действительная любовь) из этого мальчика мало-помалу стал вырабатываться истинный виртуоз, истинный мученик того блага, которое шло сверху...

Во имя этого блага ему ничего не стоило погубить родного отца; во имя этого блага он сам был готов идти в огонь и в воду. В руках власти это было несомненное копье, перед которым сторонилось все личное, все, что посмело бы хотя пикнуть против этого блага, или все, что бы посмело заявить о собственном взгляде на идеал этого блага... Истинно беспримерно честным служением своей идее, идее «государственной пользы», истинно бесстрашным приведением ее в исполнение он был обязан своим медленным постепенным возвышением. Исполнительность, настойчивость, точность, неустрашимость, даже жестокость какая-то во всем этом — только эти качества дали ему возможность возвыситься из ничтожества до почестей и достигнуть значительного материального обеспечения, причем он с чистой совестью мог сказать, что каждая копейка досталась ему кровью. Весь отдавшись беспрекословно служению своей идее, он бесстрашно порвал всякую связь как с горькою долей семьи, в которой родился, так и вообще с вопросами вообще личной жизни,

как своей, так и с вопросами личной жизни и убогих интересов толпы, над которою он так бесстрашно выполнял все, что повелят. Собственная семья его — жена и дети — были как бы маленьким образчиком его отношений к действительным, не государственным интересам жизни. К их не государственным, простым желаниям, к их индивидуальным стремлениям он относился поистине без пощады. Дети с раннего детства, а жена с первого дня замужества должны были отказаться от всякого права на какую-нибудь свободу, на какое-нибудь самое органическое самостоятельное желание. Ему в исполнении его обязанностей (считавшихся им священными, хотя большею частию эти обязанности ничего не заключали в себе, кроме жестокости и бесчеловечия) никто не должен был мешать ни криком, ни стуком, ни привязанностью к чему бы и к кому бы то ни было, ни характерною чертою нрава, словом — никаким бы то ни было, самым малейшим проявлением самостоятельности... У ребенка проявляется стремление к живописи, к музыке — чепуха и вздор, который надо вырвать теперь же с корнем: ребенок этот должен вырасти чиновником, таким же беспримерным и безответным, как и отец, — в этом высшая цель жизни, в этом вся заслуга человека и пред богом и пред родиной... Дочь хочет выйти замуж за человека, который ей понравился, но этот человек не служит — и браку этому не бывать: ее сам отец выдаст за того, кого он полюбил за исполнительность и за какие-нибудь другие, тоже выгодные для казенного интереса качества... И так было во всем: железною волею этого человека была раздавлена в самом корне семьи всякая живая самостоятельность, вся жизнь сердца, ума, во имя чего-то высшего действительной жизни, во имя чего-то неизмеримо далеко отстоящего от скромных требований и желаний живого человека. Личность была до того подавлена в этой семье, что в поколении внуков заметна была даже как бы боязнь чего-либо мало-мальски самостоятельного. Заметно было даже как бы предпочтение ко всему «не настоящему» (впоследствии это выражение будет разъяснено подробнее) пред подлинным и правдивым. Этому, то есть искажению индивидуальных требований человека, искажению его природных инстинктов и желаний, способствовало, кроме того, неизбежное при-

сутствие в отношениях составлявших семью лиц лжи всякого рода и всякого содержания. Корень лжи лежал в необычайном фанатизме, необычайной преданности главы семьи своим административным фантазиям. Такие фанатики хотя и были в обилии в русском обществе в дни нашего детства, но число их сравнительно с массою, прилепившейся к этим административным фантазиям только из-за куска хлеба или пирога, было почти ничтожное. Напротив, взяточничество, казнокрадство было распространено повсюду, считалось настоящим делом жизни, доходило до «аматерства». Нажива легкая и умелая поглощала плохо или почти неразвитый ум большинства неплательщичьих классов, знавших большей частью на своей близкой родне, а то и на собственном детстве, что такое нужда, что такое голодное брюхо. В наживании не было других целей, кроме этого наживания, кроме простой волчьей потребности удовлетворить аппетит, голод желудка. Большинство мужей, выбранных «главой» для своих дочерей, были именно такие люди. Бескорыстием и прочими административными добродетелями им надо было только прикрываться, чтобы заслужить любовь главы, получить его дочь, а стало быть, и протекцию и покровительство. Это был народ, добивавшийся выйти в люди и тоже разрывавший с правдою, начинавший свое освобождение прямо с отказа от своего родства с этою правдою убожества, чтобы на ее счет завоевать себе кусок хлеба, — только кусок и больше ничего. Правда, большинство из них шло на эту неправедную наживу из крайности и даже из благих побуждений: например, из желания пособить матери, выдать замуж сестру и т. д., но не ставя ни во что ту жизнь, которая станет на дороге к осуществлению этих благих желаний: так, например, женясь по расчету и губя чужую жизнь, эти люди уже вносили с собою в жизнь повреждение совести, ложь... Таким-то образом, выдавая дочерей и женя сыновей на дочерях таких же «просто жадных» людей, родоначальник семьи разводил вокруг себя поколение, в корне попорченное безнравственностью... В каждой семье было притворство, подавленность личная и личная друг перед другом ложь; зависимость от главы семьи, в одних вкорененная с детства, в других (например, в мужьях всех его дочерей) необходимая ввиду того, что глава этот — кроме

родства и начальник, заставляла эти насильственные семьи вырабатывать самое лицемерное обличье, заставляла ежеминутно лгать, притворяться и рабствовать. И поколение, которое росло в этой среде, должно было дышать ложью, привыкать лгать в каждом своем движении, помышлении, взгляде, считать уменье поступить не по правде, не по-настоящему, за уменье жить, то есть именно за правду, за настоящую задачу жизни.

Все это могло лгать, и притворяться, и изощрять свои способности в том и другом, покуда помощью этого достигалась известная желанная цель. Цель эта при подавленности личности не могла быть ничем другим, как наживой, деньгами, средствами. Нажива, материальное благополучие, в буквальном смысле этого слова, только одно и было действительно настоящее, непритворное жизненное побуждение во всей этой массе лжи, и поколение внуков непременно должно было по инстинкту угадать эту настоящую черту, всосать ее с молоком матери. Жажда грубых животных наслаждений поэтому ключом кипела в глубине этих притворно благочестивых семей. Скотские (не соврем, употребив это выражение) побуждения пробуждались в детях рано и в сильнейшей степени. Но под давлением двойного деспотизма — зависимости от власти главы семьи и зависимости от необходимости постоянно лицемерить — эти грубые, дикие животные побуждения глубоко таились на дне даже самых юных детских душ этой громадной семьи, разъедая эту душу жаждой грубого наслаждения, — душу, в которой не было уже почти возможности жаждать правды, любви к ближнему, так как все это было уже запугано в матерях и попрано примером отцов, женившихся из расчета.

С другой стороны, если нажива, пирог, кусок составляли корень и суть, которыми держались эти исполненные лжи семьи, то с исчезновением возможности наживать все это так широко разросшееся семейное древо, о котором идет речь, должно было засохнуть, сгнить, рухнуть... Так оно и было. Бедный старик, глава семьи, только под конец жизни увидел (и умер от этого), что, кроме зла, он не делал ничего... Исчезла нажива — разорвалась и притворная связь мужей и жен, отцов и детей... Всякий норовил уйти от беды, всякий чувствовал, что над ним висит божья гроза, всякий видел перед собой пустоту,

холодную, неприветливую, видел, что жизнь его загублена, что спасения ему нет... Освобождение крестьян, то есть одно только понятие об *освобождении*, сразу внесло невозможный для расслабленных семей, но великий идеал жизни — жизни, основанной на честном труде, на признании за мужиком брата: вся прошлая жизнь была именно полным, беспощаднейшим и бесцеремоннейшим нарушением этого смысла — и вот настала гибель... И в эту-то минуту явились люди, воспитанные в самой густоте неуважения чужой личности, в самых затхлых разлагающих понятиях, например, что не думать легче и лучше, чем думать, — что не работать лучше, чем работать, — что работать должен мужик, а я выросту большой, женюсь на богатой, поеду за границу и т. д. Этому-то поколению, воспитанному в образцовой школе бессовестности, пришлось лицом к лицу стоять с суровой русской действительностью...

Началась с этой минуты на Руси драма; понеслись проклятия, пошли самоубийства, отравы... Послышались и благословения.

IV

Верочка, очевидно, была не из благословляющих. Она родилась где-то тут, в этой куче семей, о которой я говорил; она дышала этим скверным, губительным воздухом, господствовавшим в семьях, — и умерла. Я твердо был уверен, что Вера Андреевна Калашникова — та самая Верочка, какую я помнил маленькой девочкой. Под впечатлением всего вспомнившегося мне о прошлом большинства русских неплательщичьих семей я почти со страхом вступил в улицу, где сосредоточивалось большинство моих воспоминаний об ужасном прошлом времени...

Улица обстроилась, ее нельзя было узнать.... Не было, как прежде, длинных заборов, не было рытвин посреди дороги. Все приняло благообразный, приличный вид. Кое-где виднелись фонарные столбы, чего прежде не было и в помине. Большинство домов были новенькие, уютные или по крайней мере казавшиеся уютными; тех прежнего времени сараев, в двенадцать окон по лице-

вому фасаду, как прежде, не было, кроме старинного хорошо мне знакомого дома главы и родоначальника всей этой улицы, который я сразу увидел издали, едва только вступил в улицу. Его длинная железная крыша, как громадная спина допотопного животного, отливала на солнце порыжелой красной краской, угнетая собою длинный деревянный корпус с дюжиною по меньшей мере одно около другого окон... Много вспомнилось мне, едва я только глянул на железную спину этого ископаемого. Мне именно крыша, спина, была видней всего — дом стоял на горе, улица шла в гору. Так много вспомнилось и перевернуло внутри, что я тотчас, сам не знаю почему, перешел на другую сторону улицы и шел, не видя уже этой крыши. Места всё были знакомые, но все другое — не то... Не было почти ни одной знакомой фамилии на дощечках вновь выстроенных домов; некоторые из прежних домов я узнавал и в новых: оказывалось, что перемена произошла оттого, что под старый дом подвели новый фундамент; но и тут фамилии владельцев были другие; чиновников, конечно, было больше всего; много было вдов чиновников и военных и очень много купцов и мещан; но ни одна фамилия не была мне знакома... Кроме фамилий, исчезли и другие знакомые мне признаки старого жилья: так, почти у всех домов были подъезды, чего прежде не было. Прежний чиновник наживался тайком, старался даже проделать дверь для приема мужиков на другую улицу и огораживался забором с гвоздями, свидетельствуя этим свою недоступность. Теперешний владелец-чиновник, напротив, выдвигал подъезд далеко вперед своего дома и большими золотыми буквами писал: «дают советы» и проч., так как не боялся наживать на законном основании и желал, чтобы всем видно было число и обилие приходящих просителей: это — реклама... Только у купеческих домов сохранился еще старый обычай строить крыльцо на дворе, потому что дела купца с крестьянином еще не настолько уяснились, чтобы можно было совершать их со всею публичностию. Купцу еще требуется двор, обнесенный забором с гвоздями, и большие сени, из которых ни в комнаты его степенства, ни к соседям не могли бы доноситься неизбежные при хорошем расчете причитанья мужика: «бога-то в тебе нет, Купидон Купидоныч!»

и т. д. Тем не менее и тут, при сохранении этого исконного обычая, были уж заметны некоторые новые черты: так, из окон одного такого купеческого дома — с заборами и цепными собаками — доносились на улицу звуки фортепьяно; нетвердые пальцы и, очевидно, непослушные руки с большой поспешностью разыгрывали нечто из «Прекрасной Елены»... Этого прежде не было. И как в глубину Африки цивилизация пробирается легче всего с помощию шарманки (читай Беккера), так с помощию Оффенбаха проберется что-нибудь (не знаю именно что) и за эти наглухо запертые ворота... Дом, в котором еще обсчитывают мужика, но уж играют Оффенбаха, несомненно весьма отличается от дома, где прежде только обсчитывали и служили молебны. Что-то новое несомненно уже есть в этом доме.

Так, походив по почти незнакомой теперь для меня улице, поглазев на незнакомые мне дома, фамилии, я, наконец, решился подойти и к самому чудовищу... Поистине как к чудовищу подходил я к этому длинному дому. Что увижу я в первое окно, с которым поровняюсь? Новые ли, незнакомые лица или какое-нибудь старое, измученное, искаженное страданием лицо?.. Знакомое лицо произвело бы на меня очень болезненное впечатление, и я предпочитал бы встретить лицо незнакомое или совсем никого не встретить, хотя мне и надо было добиться совсем другого... По счастью, роковое окно успокоило меня; гора бумаг, синих оберток с надписью «Дело» заваливала это окно почти до половины. Во втором окне — тоже бумаги и голова, наклоненная к столу: очевидно, пишет человек, и, очевидно, в этом доме помещается какая-то канцелярия, потому что фигуры людей с бумагами стали мелькать все чаще и чаще во всех двенадцати окнах... У подъезда сидели, кто на ступеньках, кто на тротуарной тумбе, несколько человек и стояло два-три извозчика... Очевидно, канцелярия. Остановившись и оглядев дом, я увидел вывеску, гласившую: «Контора движения кавказско-погибельной железной дороги», — и окончательно успокоился... На воротах не было никакой фамилии; в отворенные ворота видны были густо заросший травою двор, полузавалившийся частокол, отгораживавший сад, и необыкновенно разросшиеся деревья этого сада...

Надо было узнать, чей это дом.

— Дом-то? Хозяина, что ль?

— Да, хозяина...

— Это — госпожи Морозовой дом.

К удивлению, это и была прежняя фамилия владельца. Человек в чуйке, с седой подстриженной бородой, не замедлил объявить, что фамилия эта ему известна, и прибавил:

— Эта Морозова будет, стало быть, его сына Владимира — стало быть, Кузьмича — жена... Ей и дом-то достался...

— Девятьсот рублей получает, — прибавил другой из числа ожидавших чего-то у крыльца.

Все это были местные коренные жители; знали всю подноготную, а главное, знали, кто сколько получает — до тонкости. Не успел один заявить, что Морозова получает девятьсот рублей, как другой прибавил:

— Велики ли это деньги?.. У них ведь сколько охотников на эти деньги-то... Их нешто мало...

— Рожали не в свою голову — известное дело!

— Ну то-то и есть! — как бы обидевшись чем-то, заявил человек, начавший говорить о деньгах.

— Фамилия была большая... Много их было, фамилиев-то таких... Нонче все больше пошло так, что дом под железную отдадут, а сами на железную — служить...

Посмеялись этой остроте.

— Она, матушка (то есть железная дорога), много ихнего брата кормит. Иной так бы и сгинул с голоду — ан, глядишь, побалует что-нибудь в конторе, сто рубликов и есть...

— Нашему брату от этого баловства-то только достается... Я вон почесть год дожидаюсь арбузов... Неизвестно где...

— Да вот извольте почитать эту штучку, — вдруг оживившись и весь вспыхнув, заговорил один из разговаривавших. Очевидно, его задело за живое. Он выхватил бумагу и подал мне. В ней было сказано:

«На предписание ваше от 15 сего июля, чтобы получить мне по накладной мороженого судака, погруженного в Астрахани ноября прошлого, 187* года, то позвольте вам заметить, которая рыба имеет полную свою протухлость, и тое рыбы я принять несогласен. А что взыски-

ваете вы за провоз онные рыбы по всем дорогам, и даже загнали вагон в Прусскую землю, и там онную рыбу таскали неведомо по каким местам, покуда в полную ее скверность не превратили, то двух тысяч шести сот рублей семи гривен за этакое безобразие платить я несогласен, в том смысле, что и онная рыба сама того не стоит и тогда штуку придется продавать по восьми рублей судак, окроме потехи в эфтом не будет ничего, а за порчу взыщет начальство. Посему имею я донести об онной рыбы господину министру, об неудовлетворении меня в мерзлом судаке».

— Ей-богу, вот перед создателем, — дойду до министра, — повторял, задыхаясь, товароотправитель, покуда я читал эту бумагу. И едва я кончил одну, как тотчас являлась другая, в которой тоже вопияли против какой-то ни с чем несообразной ошибки господ служащих... Мне грозило неожиданно превратиться в судью таких дел, которые были мне совершенно неизвестны; несмотря на то, что люди эти видели, что я — человек совершенно посторонний и имею свое, не касающееся их дело, несмотря на то, что я почти не отвечал им, потому что не знал, в чем дело, они один перед другим старались излить передо мной все обиды, причиненные им железной дорогой. Я даже думаю, что именно совершенно постороннее железной дороге лицо и было то лицо, которое могло понять их и сочувствовать им по человечеству, тогда как всякий специалист железнодорожного дела, именно вследствие своей специальности, непременно будет понимать не по человечеству, то есть взыскивать за рыбу, которую надо выкинуть в помойную яму, налагать штраф за собственную свою ошибку и т. д. Ничего не понимая, я продолжал молча слушать эти излияния, когда на подъезде вдруг появилась какая-то фигура. Излияния замолкли... Просители сняли шапки. Фигура оглянула их, оглянулась на извозчика, который тотчас зашевелил вожжами, и произнесла:

— Опять вы... я говорил, что нельзя...

Сразу все просители возопили о судаках, об арбузах и т. п. Фигура надевала перчатку и говорила:

— Нельзя, господа, нельзя... я говорил вам — нельзя... Вопли усилились, и голоса воющих поднялись на два тона выше.

— Нельзя, нельзя и нельзя! — спускаясь с трех ступенек, три раза произнесла фигура. Занося ногу в пролетку, она еще раз сказала:

— Нельзя-с!

Затем, уложив портфель на коленях, прибавила:

— Невозможно-с.

И уехала.

— Ну вот и поди!..

Я чувствовал вместе с этими людьми какую-то физическую усталость от этого «нельзя». Точно все мускулы размякли у меня и нервы упали — так это «нельзя» было неминуемо и непреклонно... Вялость какая-то вместо кажущегося негодования напала на всех, и уезжавшая на извозчике фигура казалась окруженною какою-то невидимою, но ничем непреоборимою атмосферою. Просители, еще недавно горячившиеся, как осенние мухи разбрелись в разные стороны.

Покуда у нас шли эти разговоры, покуда я был судиею совершенно чуждых мне дел и интересов, цель моего прихода в область старого пепелища не покидала меня, и я продолжал припоминать лица, на которые мне указали случайные мои знакомые. Вспомнил я Владимира Кузьмича, одного из сыновей главы угасшего рода, и вспомнил его жену... Признаюсь, мало было надежды мне узнать что-нибудь путное от этой особы... Это было что-то (так помнилось мне), что-то жирное и молчаливое; было ли это существо молчаливо от забитости или от бездарности — я не помнил. Помнил я только ее портрет, написанный масляными красками и висевший рядом с портретом ее мужа в их гостиной собственного дома, и этот портрет теперь припомнился мне во всем величии царившей в нем неуклюжести и тупости... Теперь, думал я, эта женщина с тупым взглядом, молча и непрерывно рожавшая детей, которые росли кой-как, без всякого разумного присмотра, без всякого смысла, теперь эта женщина — старуха, и старуха, должно быть, не особенно понятливая... Что она может сказать мне о Верочке, о ее беде? Всю жизнь она ела, спала, рожала детей и молчала — и теперь она, вероятно, продолжает делать то же самое, благо достался дом, кусок хлеба, благо без хлопот нарожденное племя уселось на легкой службе, большом жалованье... Так казалось мне,

и я уж думал поискать кого-нибудь другого из уцелевших на старом пепелище, но выскочивший от нечего делать за ворота сторож неожиданно уничтожил мое колебание, спросив:

— Вам кого угодно?

Сказать «никого» и толкаться у ворот без всякой причины было неловко, и я должен был ответить:

— Госпожу Морозову.

— Хозяйку? Она вот тут в саду. Пожалуйте, я вас проведу.

Нечего делать — я поплелся за сторожем.

V

Мы вошли в давно знакомый сад. Помню, что здесь была беседка, где иной раз собиралась вся многочисленная семья попить чаю или пообедать, когда была хорошая погода. Помню, что была здесь баня... Теперь беседки не было, но, к удивлению моему, сад не производил впечатления заброшенного места, что я думал встретить. Вместо беседки стояли новые, только что поставленные качели; средняя дорожка, по которой мы шли, была тщательно расчищена, подметена и посыпана песком; вместо бани стоял опрятный, очевидно недавно выстроенный флигелек в четыре окна с подъездом, который был открыт... В открытые окна флигелька неслось какое-то жужжанье, оказавшееся хором учащихся детских голосов.

— Тут школа? — с изумлением спросил я.

— Школа-с, — покойно ответил сторож.

— Чья ж, кто ж ее держит?

— Сами хозяйка занимаются.

Представить себе жену Владимира Кузьмича учительницей, представить себе портрет, который только что со всею яркостью нарисовался в моем воспоминании, изменившимся мало-мальски осмысленно — воображение мое решительно не могло, и я спросил сторожа:

— Может, не сама учит-то? молодая, может, какая барышня из Морозовых?

— Какая молодая! молодых тут нету; сказываю — сама старуха, хозяйка, Анна Федоровна...

Волей-неволей приходилось поверить чуду — и действительно скоро я увидел действительное чудо.

В комнате, уставленной школьными партами, за которыми сидело десятка три детей разного возраста и пола, я застал пожилую женщину в черном платье и черном чепце, покойно, толково рассказывавшую детям какую-то, должно быть, очень интересную вещь, потому что ее слушали с напряженным вниманием. Оказалось из наших объяснений, что эта женщина-учительница и была та самая Анна Федоровна, портрет которой когда-то запечатлелся во мне своим тупоумием; перемена, какую нашел я в ней, была поразительна: ни одной черты не оставалось в ней, которая бы хоть мало-мальски напоминала памятный мне портрет. Худое, но не изношенное, а запечатленное думой лицо вовсе не напоминало того сплошного жира, который я помнил; глаза, когда-то не выражавшие ничего, кроме тупоумия, были теперь проницательны, полны жизни и вместе с тем сохранили возможность быть детски-наивными (такою детской наивной радостию они сверкнули, когда я сказал, кто я такой); и вот эта-то простота, чистота души, выражающаяся в таком наивном взгляде, когда-то, в старые времена, под толстым слоем сала и влиянием окружающего бессмыслия, должно быть, и казалась мне тупоумием. Теперь я ясно видел, что в этом человеке была чистая, благородная, хотя и исстрадавшаяся душа и что только этот огонь совести и держал ее разбитое и, очевидно, изболевшее тело... Движения ее худого, как бы съежившегося тела были болезненны, делались как бы с усилием, словно и руки и ноги при каждом движении давали ей чувствовать боль...

В соседней комнате я с полчаса ожидал ее прихода (она оканчивала урок, после которого распустила детей) и не мог надивиться удивительной перемене, происшедшей с этою женщиной. Очевидно, она перегорела в каком-то сильном, но благотворном огне, который растопил этот жир, это бессмысленное существование и на старости лет пробудил в ней и чистую детскую душу и светлую мысль, так глубоко и, казалось, навсегда зарытые под толстым слоем бессмыслия. «Но что именно сделало ее такою, какой огонь пересоздал это существо?» — думал я, дожидаясь ее прихода, и, когда она,

наконец, вошла в комнату, проворно ступая плохо повиновавшимися ногами, я не вытерпел и сказал:

— Да вы ли это, Анна Федоровна! Гляжу на вас и глазам не верю.

— И сама я не верю, друг мой... Уж извини, не буду величать тебя по отчеству, ребятишки приучили меня к простоте-то...

Говоря это, она суетилась, устраивая чай. Она отпирала шкафы, доставала варенье, сходила в соседнюю комнату и тотчас возвратилась, говоря:

— Да как же ты меня знаешь-то? Ведь, чай, не помнишь совсем?..

— Я портрет ваш помню.

— Какой это портрет?

— А масляными красками-то нарисован... Помните, у вас в гостиной...

— Будет, будет! Не говори... Помню все!.. Вместе с домом купили... Не поминай мне этого ничего... Говори о себе... Ведь и тебя-то я почти не знаю... Я знаю, что родня, а в первый раз вижу и ребенком не помню. Говори о себе — а про это оставь: слава богу, что миновало...

— А я именно про это и хотел говорить-то... Я прочел сегодня, что какая-то Калашникова...

— Верочка?.. да! да, умерла, отравилась.

— Так это действительно — та самая, маленькая Верочка?..

— Та самая, та... Ну вот, как же не перемениться-то? Хоть эта история с Верочкой — на десять лет состарит...

— Да, вы очень переменились...

— Ох!.. что я вынесла!

Слезы ручьем полились по ее худому лицу, и она так же быстро, как лились ее слезы (а лились они градом), заговорила:

— Ведь у меня муж зарезался; ведь у меня сын в Сибири, за мошенничество, ведь у меня дочери... (тут она просто захлебнулась). Ведь я вдруг, ничего не зная, ничего не понимая, попала точно под каменный дождь... Вся избита...

Анна Федоровна рыдала; я молчал, видя, что этих слез мне не остановить. Рыдания, почти истерические, продолжались несколько секунд; наконец она немного успокоилась, хотя не переставала плакать...

— Ведь пойми ты, я до этого погрома ничего не знала... Меня шестнадцати лет из купеческой семьи отдали за чиновника замуж, произвели в благородные, и я всю жизнь была точно каменная... Мне, помню, все казалось, с самого первого дня свадьбы, что это только так, что это когда-нибудь кончится... Вот точно так, как, бывало, стоишь у обедни и думаешь только о том — скоро ли кончится. И так я думала лет двадцать, покуда совсем не одурела; дети у меня рождались — и тоже я думала, что это — какие-то не настоящие дети... Я не понимала, что́ именно кончится, — глупа была, у отца в доме тоже многому не научишься... Что мы знали? Сидели за семью замками и ждали чего-то... Тут, как я в благородную-то семью попала, где ж мне было что разобрать? Двадцать лет жила как сонная... Все считали дурой, да и была-то я дура сущая... Ничего как есть не понимала; только вот, говорю, чуяла, что это кончится, «отойдет», — и отошло... Вдруг ведь это поднялось тогда; ревизии разные... Гляжу, Владимир Кузьмич руки наложил на себя... И поверишь? Только испугалась, а жалости во мне не было... Ужас какой-то на меня напал — больше ничего... Когда его похоронили, вместо слез-то весело мне, да и только: вдруг меня молодость обуяла — а уж мне было тридцать семь лет... хоть танцуй... Ночью боялась и огня не гасила, а днем — то-то веселье... Чувствую, что — грех, знаю, что во всей семье печаль, — а нет... Отстояла я какую-то тяжелую службу — и рада... Заиграла во мне молодость — и право, дай мне волю, у родных бы дочерей женихов стала отбивать... (Уж невесты были!) Уверяю тебя, я теперь чувствовала себя совершенно равной им и чужой... За ними ухаживают, а мне досадно... И непременно бы что-нибудь было такое (мало ли старух за гимназистов выходят да за молоденьких юнкеров) — непременно бы было что-нибудь такое, если бы господь не покарал во мне родительских грехов... В детях эта кара-то господня отозвалась... Как засудили моего родного сына за подделку, тут я узнала, что я — мать, и мать виноватая... (Анна Федоровна опять залилась слезами.) Приду к нему в острог-то, а он меня ругать... «дура, да подлая»... да-а-а!.. «Чему вы меня учили...» (Анна Федоровна плакала горько.) «Сами за сестриными женихами волочаетесь, пример подаете...»

Каково это? Правда ведь, все правда... Он тоже из-за какой-то бесстыдницы впутался в беду-то... Решили его в Сибирь-то — пошла я жить точно простреленная... Осталось на мне проклятие ведь... гнев, его укор... А вслед за сыном две дочери, одна за одной, подобрали что оставалось денег да в актрисы, да обе с любовниками... Да обеих любовники-то бросили... (каждая фраза Анны Федоровны перерывалась всхлипываниями, и говорила она едва слышно), да обе мне ругательные письма, да позор, да срам... да жаль-то, жаль-то как!.. Вот в каком огне-то, милый друг, горела я десять лет без умолку, вот как узналось, что лучше быть прачкой, лучше быть сапожником, лучше нищим быть... Вот, друг ты мой, как пришло нам на ум повиниться и прощения попросить... Вот как и я-то за ум взялась... Учиться ведь пришлось сначала, с азбуки... И теперь вот распущу детей-то да сама урок-то по Ушинскому твержу, покуда сил хватает... Кругом виновата, друг мой, кругом... Вот когда опомнилась старая дура (Анна Федоровна улыбнулась сквозь слезы)... Да хоть чужим-то детям скажу правду, хоть чужих-то ребятишек не загублю, как своих родных, как меня самое загубили...

Анна Федоровна была сильно взволнована этим рассказом. Расспрашивать о грустной истории Верочки мне было трудно, надо было дать успокоиться ей, утихнуть... Я спросил поэтому о доме, о других родственниках, узнал, что большинство из них кончило нехорошо, что, кроме Верочки, были и другие такие же горькие случаи в нашей родне, что от всего состояния всех семей уцелел только дом, на доходы с которого и выстроен флигель. Узнал я также из этих расспросов, что не все худо и скверно в новейшей истории остатков этой громадной когда-то семьи, — что есть и живое и хорошее. Об этом живом и хорошем я узнал, впрочем, только тогда, когда, наконец-таки, решился заговорить о Верочке...

— Как же это с Верочкой-то случилось? — произнес я в минуту раздумья, наставшего в разговоре.

— Да вот и с Верочкой — тоже, тоже — наша родительская вина...

— Что вы уж так на родителей нападаете?— произнес я: — ведь и они не весело кончили...

— Ну, друг любезный, мне, старухе, некогда разыскивать виноватого. Я знаю, что он есть, знаю, что и сама виновата... Вот ты о Верочке заговорил: подумай хорошенько: авось, виноватый-то и очень близко найдется... Ты ведь знаешь, что у старика (так она называла вышеупомянутого главу), кроме своей воли, не было закона другого никакого... Особливо женить или замуж выдавать... Как сам считал хорошим, так и делал. Таким-то вот манером отдал замуж он своих дочерей; первых трех отдавал все за дельцов, за служак, за людей скучных, тяжелых, ничего, кроме бумаг, не знавших и умевших только наживать деньгу... Так он находил нужным, так и делал... Четвертую, самую младшую дочь ожидала та же участь, то есть лет шестнадцати выйти за какой-нибудь гроб повапленный. Случилось, однако, не так: старику полюбился простой молодой малый, ничего не умевший делать, кроме как петь цыганские песни и участвовать в попойках... Это — из той кучи бесчисленной помещичьей родни, которую потом только война севастопольская облагообразила сколько-нибудь, нарядив в ополченский мундир... Ну, невозможно, невозможно сказать, зачем родились такие люди, зачем жили, какое право их было жить... не знаю!.. Да это и не люди были, право не люди... Мне все представляется, что это — какие-то человеческие животные... Вот это-то — то есть что малый был животное, просто животное, и больше ничего — и понравилось старику... (Он иной раз шутил.) Ему было весело свести этих молодых животных, молодого малого и свою молодую дочь... для собственного удовольствия... Что? тебе кажется это странным? Не веришь, как это такие постные люди обнаруживали такие непостные желания?.. Да у них и не было никаких желаний, кроме непостных, — это было то, из-за чего они лгали, разбойничали и притворялись... Старик, всю жизнь заковывавший себя в служебные обязанности, устроив (кажется, дня в три либо в неделю свадьбу сыграли) этот брак, в самом-то деле давал волю себе, сам распутничал, и, как видишь, очень неопрятно... Разумеется, насладившись этим скоромным зрелищем, старик думал взять малого в ежовые рукавицы, пристроить к месту и «сделать человека», каких он уж сделал много. Он в эту пору уж верил в свое всемогущество, в свою

силу и уменье делать людей и вообще в свою неограниченную власть — безгранично... Вышло-то не так. Молодые животные, раз отведав полной свободы, не поддались потом ежовым рукавицам. Малый, которого стали преследовать, загонять в семейное стойло, отбился от рук, в короткое время спился и умер... Верочка родилась после его смерти, спустя два месяца; вдову, ее мать, хотели опять воротить в родное гнездо, чтобы теперь уж вновь «устроить» в каком-нибудь прочном гробе, так как думали: «будет, отведала, теперь надо и притихнуть»; но это не удалось, и, почти бросив дочь, как бремя, она в очень скором времени вышла по собственному желанию за молодого купчика. Это был несчастнейший брак, и она недолго прожила. Верочка таким манером осталась сиротой и жила и росла почти без призора, среди нашей громадной семьи... У ней не было отца, не было матери, она рано узнала сиротство, рано поняла, что она — чужая в этой семье, но что без семьи ей жить нельзя... Вот теперь и считай, что дали мы этому бедному ребенку... Уж к непостному-то в ней было посеяно желание безграничное: вспомни свадьбу... Это желание непостного-то в ней уж без всякой воли ее было, и если бы она росла с первого дня рождения в монастыре или в лесу дремучем, и то сказалось бы (потом оно и сказалось)... Так было это ужасно сделано, что Верочка не могла уже считать, что в жизни есть что-нибудь выше этого... Это — раз, что мы ей дали. Потом припомни, что такое было в наших семьях?.. Я уже говорила, что мне казалось, будто *это* кончится, а Верочке и казаться уж не могло: она прямо должна была думать, что это — настоящее, то есть что всякая неправда и есть правда. Ведь у нас во всем была ложь... Отца мы не любили, а притворялись, что любим, и уважаем, и благоговеем; мужей мы не любили, а жили и повиновались потому, что они нам покупают салопы и платья, кормят и дарят, а то — потому что и бьют. Мужья наши притворялись, что служат, приносят пользу, а в сущности хлопотали только о том, как бы побольше схватить... Зачем? Чтобы пожирней, поскоромней прожить сегодня, и завтра, и до конца жизни. Бога боялись, как камня, который может свалиться с крыши и убить; боялись тьмы кромешной и иногда трепетали (трусости, самой безграничной, в нашей среде

было много места), но видя, что камень этот долго нас не разит, успокаивались, а иной раз прямо думали обмануть и бога, отслужив молебен, пожертвовав ризы... Так вот, друг ты мой, в каком омуте росло это дитя... Жить, она думала, это... как бы тебе сказать?.. Это именно значит... глотать, что ли (Анна Федоровна очень затруднялась определением, искала слов — и не могла найти)... то есть чтобы телом, даже желудком чувствовать веселье. Вот этакое... это вот и считалось самым настоящим, из-за чего надо жить... Это вот был самый корень Верочкиной души... Это — мы ведь? Или кто другой?

Я промолчал.

— А потом ложь... Любовь — это неправда, а подделка под любовь— это правда... Труд — это так только, чтоб не заметили какой-нибудь гадости, больше ничего; вся задача — увильнуть от труда, да и жизнь-то человеческая — всех перехитрить, надуть, провести и дорваться... Не умею я говорить-то, а то бы я тебе не так все объяснила... Ну вот тебе пример скажу: сесть, например, к подоконнику и барабанить по нем часа четыре, будто играешь на фортепьяно, — это очень приятно; посмотри на нее — артистка; а за настоящее фортепьяно сесть — слезы, мученье; все этому, настоящему, сопротивляется в ней... Надо работать — это выше сил ее... Это — если хочешь — лень, но самая глубочайшая, то есть природная, непобедимая... Полюбить человека и жить с ним, разделяя его труды и заботы, это — бремя, скука, тоска, мучение; легче лечь в гроб, это просто, это — правда; а вот выскочить за старика, притворяться любящей, наивной, в то же время — обманывать его на каждом шагу, вести три интриги зараз: это и интересно, и весело, и хлопотно, словом, это не просто, не правда, это-то вот по натуре ей, это-то ей и нужно, она тут пополнеет, повеселеет. Словом, из этой несчастной девочки мы выработали существо на явную гибель. Детей своих учили мы кое-как (за деньги можно было, не учась ничему, получать дипломы и что угодно), а Верочка, как сирота, которая жила то тут, то там, еще меньше знала что-нибудь. Стало быть, только действительность, только бесплодная путаница нашей жизни, пропитанное ложью влачение дней и годов, только это и учило ее. А, как сирота, она пристально присматривалась ко всему, и вот

вышел человек, который может жить только из жажды дорваться, и притом только в такой обстановке, где все — ложь, где все — неправда, выдумка... Ну, и нельзя ей было жить, потому что на эту бедную, неповинную голову гроза-то грянула уж совсем нежданно-негаданно. У нее, бедняжки, и жиру-то не было еще, как у нашего брата, про запас. Ее, друг ты мой, ведь прямо сожгло огнем...

Анна Федоровна вздохнула и с грустью прибавила:

— Да — народили мы уродов!..

— Как вы думаете, Анна Федоровна, надолго хватит этих уродов-то?..

— Не знаю, голубчик... Кажется, что надолго, а впрочем, не знаю... В России ведь до сих пор чудеса творятся воочию... Ведь и в нашей семье-то — ведь и в этом омуте — какие сокровища вдруг оказались! Не всё — несчастные Верочки... Не знаю, как это случилось, а есть... Кажется, и семья такая же гнусная, еще гнусней наших, кругом гнилушки, сор, пыль — смотришь: выходит такое диво, точно совсем новый человек, совсем новый, прямой, умный, здоровый, честный — ну, одним словом, новый как есть, то есть для нас-то, для гнилушек-то новый... Вот я про Верочку-то говорила, что гроза-то на нее нагрянула... Надо тебе сказать, что не в одной нашей только семье Верочки вырастали — нет: во всех семьях, сколько я их ни знала на своем веку, — как грянула гроза-то, везде нашлись и Верочки, совсем хорошие, совсем новые... И много таких-то... Опять скажу тебе: как они выходили из этого содома невредимыми — понять не могу, только выходили, и много их есть на Руси... Прямо из семей, в которых целыми поколениями не было ни о чем думушки, кроме как о кармане, прямо из этаких-то семей стали выходить люди вполне самоотверженные и ничуть, ни капельки о себе не думающие... Из этих омутов и болот появлялись молодые ребятки, девушки и юноши и — точно кто научил их — вдруг всё отлично понимали, принимались за работу... Да вот у нас, рядом с нами, жила одна такая семья... Сколько они на своем веку замяли, перегубили народу, что это были за тираны — пересказать невозможно... А из их семьи (очень богатые люди были) вот две дочери вышли — не надивлюсь, что за красота... Пробудешь у нас, увидишь: одна,

например, приезжает иной раз зимой в полушубке, в мужицких сапогах, силища, здоровье — живет акушеркой в деревне... Поговори-ка с ней, поузнаешь, как она занята делом, как она много знает правды, которой никто не знает, и не пишут о ней... Ни одного словечка у нее нет о себе — всё о чужом горе, чужой беде... Есть чудеса, есть, друг мой любезный...

Анна Федоровна помолчала.

— Так вот, о Верочке-то... Как грянул это гром-то, стало это все валиться, падать, резаться... А с другой стороны (что чудом-то уцелело) — стало учиться, работать, позабыло и спесь дворянскую и всякие претензии... в эту-то пору Верочке пришлось очень туго. Еще в то время не успел родиться тот веселый народ, какого теперь развелось видимо-невидимо... Посмотри-ка, теперь у нас три театра, поют французские пьесы... А пьянство-то! Слава богу, теперь есть на что попить-погулять... Жалованья какие-то явились необыкновенные, прежде и во сне таких не снилось... Деньги появились, бог их знает откуда, у людей, которым бы, кажется, и получать-то их не за что... Теперь, говорю, уже есть этот веселый и жирный омут, уж завелся он, — а тогда его не было; тогда думали, что пришлось погибать... Тогда Верочки не знали еще, что будут красные дни. Прямо приходилось идти в прачки, прямо приходилось зарабатывать тяжким трудом хлеб насущный... И иные — я уже говорила тебе — прямо и взялись за дело, точно готовились к этому, вот и Верочка пробовала было делом-то заняться, пробовала пристать к подругам, взялась за ум... Ходила к ним, вместе читали, готовились, кто в учительницы, кто в акушерки, кто в телеграфистки... Ходила и она, но ничего не вышло... Нельзя и выйти-то было ничему!.. Глупо кажется ей, скучно!.. Не верит ничему. Какая-нибудь из ее приятельниц скажет: «выучусь акушерству, буду жить в деревне, всем помогать, работать...» — Не верит... думает, что просто доктор, который лекции читает, красив — вот и бегает она, а вовсе не для ученья! Что прикажешь делать!.. Пробовала в школе заниматься — и это кажется ей притворством... Не понимает, не может понять, что оборванным, нищим ребятишкам нужна наука, что и они — люди... Просто не понимает этого!.. Учит она их, но знает, что это она делает

только из приличия (все тогда бросились учить) и что не в этом главное... Да и из мужчин много и сию минуту есть таких, которые тоже думают, что главное не в этом, а притворяются... Теперь есть такие и тогда были... Вот Верочка и сошлась с таким; он уж был женат на ее подруге (хорошая, прямая женщина), и обоим им было по вкусу это... То есть оба они знали, что все это там, «делать добро» и прочее и прочее, что все это — только так... а главное-то вовсе не то, и что без этого главного-то, то есть без обмана-то, — скука, тоска, что без этого «настоящего-то» — то есть без их отношений, основанных, как видишь, на обмане, — и жизнь не в жизнь, и давно бы пора разогнать всех этих оборванных мальчишек и прекратить всякие акушерства... Ну можешь представить, что была за связь... Припомни о том, что я тебе сказала, о том, что́ именно наши старые семьи приучали считать правдой, из-за которой стоит жить, из-за которой живут люди?.. Из этих-то людей потом и образовался тот веселый омут, который теперь вот купается в деньгах и поет французские песни... И Верочка вкусила этого веселья в самом начале... Пошло для нее, друг мой милый, не год и не два, веселье, спрятанное и темное, прикрытое плутнями, хитростями, обманами... Идет к «знакомым», а пробудет на свидании... в гостиницах, оказалось, бывала... Едет в Москву к родственнице — оказывается, была не в Москве, а в Киеве, и родила... То дрожит, как осиновый лист, то весела, как ребенок... Оказывается, хотела провести кого-нибудь — и боялась; а провела, все устроила как следует — и весела, довольна... и ведь не из корысти, не от избытка сил, которым некуда деться, — нет, сил уже не было, цены средствам она не знала... А просто потому проделывала она все это, что тут, в веселых омутах, ей попадалось все, в чем ее воспитали, чем могла она жить, а там, где работали, где страдали, где хотели жертвовать собой, ей было не по себе, скучно. Просто даже невозможно было дышать — так было скучно там... Все эти плутни, все это распутство я только потом узнала... До того ли мне было... Но и тогда я подозревала, что с Верочкой что-то творится нехорошее... И по лицу видно было, что она не чиста... Так она путалась в этом омуте не год и не два, а пожалуй, что и целых пять лет подряд... И вдруг — опомни-

лась!.. То есть вдруг ее что-то как будто осенило... Ослабло ли ее здоровье, надоела ли ей вся гадость эта — только вдруг она заскучала, задумалась и иной раз ревет ревмя... А иной зла, как бес, и рвет и мечет на всех. В эту пору она часто приходила ко мне, плакала, жаловалась на судьбу. Сделалась скромна, аккуратна — я тогда жила в большой бедности, нанимала комнату на чердаке — ухаживает, хлопочет, помогает... И вот раз объявила: «Я, говорит, выхожу замуж...» — «За кого?»— «За такого-то...»

— За столяра? — перебил я, вспомнив газетное известие.

— Да, за столяра... С давних пор у нас славилась столярная мастерская Обручева. «В прежнее время» Обручев умел нажить деньги, сделаться тузом... Но ведь ты уж знаешь, как «в прежнее время» деньги наживали... Отстать от всех и быть богатым было невозможно; надо было идти вместе со всеми; поэтому как наживал деньги чиновник, так и купец и мастеровой... То есть всё те же делались стачки и обманы на поставках, всё так же «по знакомству» с квартальным драли мастеровых в части и т. д. Был в то время один хоровод, отстать от него значило сгинуть, а чтобы не сгинуть, надо было плясать вместе с ним... Вот в числе этих счастливцев того времени был и столяр Обручев; он, простой мужик, умел понять, в чем дело, и добился своего, с настоящей мужицкой неустрашимостью... то есть если бы надо было убить человека, который мешал, он убил бы, а дело бы замазал — говорю примерно. Семья его, стало быть, была такая же, как и все, то есть так же, как и везде, царили в ней деспотизм и ложь... Когда грянула гроза, то захватила она, разумеется, и Обручева... Открылись все эти увечья, фальшивые поставки, получения денег за то, чего не делалось, не поставлялось, и т. д. Пошли дела в палатах, истории у мировых судей, ну словом — все то же самое, что и со всем хороводом... Пошло вместе с этим и в семье, то есть в совести-то семейной, крушение и разорение... «Что я с тобой, с чортом, добра видела?» — говорила старуха-жена... «Ты меня зарезала!» — вопил муж... Осторожные старшие сыновья, выученные в гимназии состоятельным отцом, уж настолько понимали новые времена, что поторопились разбежаться... Отправились

учиться и занялись заботою об устройстве своей карьеры по-новому, а отец, разоренный и в кармане и в душе, остался один отсиживать сроки в острогах по приговорам судей, пьянствовать, драться с мастеровыми и опять попадать в суд... Верочкин жених, самый младший из сыновей Обручева, один только и оставался в семье, на него-то, молоденького мальчика, и обрушилась в самом нецеремонном виде вся грязная правда его семьи. С ранней юности видел он отвратительные семейные ссоры, проявления дикого деспотизма, от которого его отца не могли отучить ни штрафы, ни мировые судьи, видел и слышал, как все это было осмеяно работниками, которых теперь уже безнаказанно нельзя было колотить чем ни попало, и вышел из него удивительный человек... У него не могло быть симпатии ни к отцу, ни к матери — он видел их в таком отвратительном виде; хохот простого рабочего человека над этими мучающимися стариками открыл ему глаза на то, что было в них дурно, и заставил понять и положение рабочего человека, над которым так долго орудовал отец... Вышло поэтому из малого что-то... да я, право, и не видывала никогда ничего такого... Отец был силач и зверь, этот мальчик — одни нервы и одна доброта, одна жалость, одно сознание виновности... У отца была жадность захватить, притянуть к себе, у этого — полное равнодушие к себе... Словом, он просто ничего не понимал *и не мог* понимать ничего такого, что не было бы самоотвержение... Отец брал — этот мог только отдавать. Отец думал, где бы взять подряд; сын только и ждал, чтобы их не было; отец не доплачивал рабочим; сын отдавал все, что у него было... Ослабевший старик Обручев, постоянно полупьяный, осмеянный и опозоренный, разубежденный так горько в своей правоте и своей задаче жизни, потерял сметку, и волю, и все... Остатками мастерской заведывал сын, жених Верочки... Если бы не старинные, отцовские знакомства, мастерской этой давно бы не было; сын вовсе не заботился о барышах, потому что это было не в его натуре... Вот с этим-то парнем, который ровно ничего этого не понимал, и познакомилась Верочка... Он был моложе ее годом или двумя. Образования у него не было никакого... (Надо сказать, — как бы в скобках прибавила Анна Федоровна, — вот что: одевался он в сюртук; это надо знать,

чтобы не думать, что Верочка могла пойти за лапотника; кроме того, у него был дом и лошадь, остаток прежнего величия...) Образования у него не было; но было больше того, что дает самая обширная начитанность, — натура, не желавшая ничего, кроме жертвы собой... Прошлого у него не было никакого: он точно родился без родителей; ничего в прошлом, какое он пережил, глядя на разгром семьи, у него путного не было; было одно такое, от чего хотелось убежать; он весь смотрел вперед, весь желал отдаться другому, чем тому, что было у него за плечами... Но где это другое, где его разыскать, как его представить, что делать с собой — он не знал этого... Читал он стихи, сам писал стихотворения, слушал, что скажет книжный лавочник на толкучке, — вот какие были у него средства понять свое положение и употребить на дело свою удивительную натуру... Вот с таким-то добрым уродом (у нас теперь и злые и добрые — всё уроды)... в клубе, кажется в клубной библиотеке, встретились... Это было именно в то время, когда Верочка впала в тоску; тут она стала читать... Разговорились о чем-то... о какой-то книге и, разумеется, о том, что делать... Верочка, сравнительно с Обручевым, была знаток дела... Она наслышалась об том, что нужно делать, и от своих подруг и в школе, да и вообще, как наблюдательный человек, она знала, что надо делать теперь, чтоб быть не хуже других, только не верила, только не могла делать-то — вот ее беда! А поговорить, растолковать — сколько угодно. Вот тут она ему — «я бы на вашем месте и то — и то...» И книги ему указала, какие читать, словом, осветила малому тьму, в которую он глядел, все его мысли привела в порядок, распутала все, чего тот не понимал... Малый влюбился в нее, отдался ей всем сердцем... Откуда что взялось, проснулась отцовская энергия, прямота...

«До женитьбы я часто видала его; по-моему, это было сокровище, золото; Верочка тоже в это время была очень хороша; под влиянием его чистоты, искренности и в ней самой как будто окрепла вера в то, что есть какая-то настоящая правда, кроме той, которой научили ее мы... Глядя на них (почти ежедневно у меня происходили их свидания и строились планы), я радовалась за Верочку и думала — авось исцелеет?.. Увы!.. Женились,

я часто бывала у них... Верочка никуда не выходила из дому и никого почти, кроме меня, не хотела видеть... Из мастерской сделали артель: все работали; даже старика-отца поставили к станку; даже громадная родня, которая ничего не делала и, ссорясь, доживала век, — и ту приладили к делу. Сделалось это до такой степени быстро, с такой удивительной энергией, что, именно благодаря ее силе, ей почти безропотно покорились и мастеровые, и родня, и сам старик. Все сделалось хорошо. Молодой муж с необыкновенной, просто необыкновенной, даже щепетильной честностью принялся за свое дело быть поверенным артели, и вот в эту минуту, когда дело сделалось, когда надо было просто делать его, Верочка заскучала... Дело оказывалось простым, не представляло никакого интереса... Скучно!»

Анна Федоровна развела руками и пристально посмотрела на меня, как бы желая удостовериться: достаточно ли я понимаю эту трагическую минуту в жизни Верочки.

Я понимал.

— Захотелось съездить в клуб... Поднялись старые дрожжи... Съездила — воротилась; муж продолжает щелкать на счетах, подводить итоги — скучно; а через неделю — просто невыносимо, потому что она видит, что муж не может свернуть с этой дороги... Простота и подлинность дела так ясны ей и так действительно жизненны, что ей нечем дышать... Ее тянет в омут... Ее тянет в омут потому, что она сознает, что, отдавшись делу, муж ничего уж не видел другого, ничего другого, кроме этого, не понимает... Беспредельной любви, которую он молча питал к ней, ей не нужно; формы этой любви так просты и так обыкновенны, что ей душно...

«Начались на моих глазах необыкновенно грустные сцены... То вдруг захочет помочь мужу, хлопочет с ним день-два, то вдруг представит себе, что она — дура, что никто этого не делает, что связалась она с идиотом, что над ней смеются, что такой-то сватался за нее и теперь женился на другой, что она несчастна, что она непременно возобновит прежнее знакомство... Все это терзало и мучило ее потихоньку от мужа, все это она в себе вымучивала или мне иной раз расскажет. И я подозреваю, что она потихоньку от мужа возобновляла старые связи, окунулась в веселые омуты... И, разумеется, ей становилось

еще хуже, потому что, отведя душу во лжи, которую она считала протестом, она встречала дома все ту же непоколебимую верность мужа и ей и делу... Эта-то преданность ей и делу и терзала ее... Тут была настоящая, всей душой, всем сердцем, преданность и верность — и даже глядеть-то на них Верочке было не по силам... Она каждую минуту должна была чувствовать, что в ней нет этого ничего... Она не могла понять, как это можно быть *просто верным* всю жизнь, как был верен ей муж... Ей надо было чего-нибудь еще к этому, какой-нибудь приправы, а приправы не было, была одна чистая, без примеси любовь... Ей никак нельзя понять, как это можно служить делу, каждый день, каждый час, служить так аккуратно и однообразно, наслаждаясь только верою в это дело. Ей нужно было что-нибудь другое, чтобы ощущать удовольствие этого дела. А ощущать его можно было только верой, чего в ней не было. К этим ощущениям мы не приучали наших детей... В этих ощущениях — все постное, все неосязаемое, а этого-то она и не могла. Она ужасно мучилась... И я думаю, что муж действительно замучил ее, заставляя ее постоянно видеть пред собою человека, непоколебимо преданного ей и делу... Постоянно видеть перед собою укор, живой и любящий к тому же, в том, чего у меня нет, да это действительно — мука. Она ее и не вынесла».

— Так вы думаете... отчего же именно она умерла?

— Я думаю, что муж просто убил ее своей искренностью... что постоянно, изо дня в день, из минуты в минуту, сохраняя ее, эту искренность, верность любви, сознание важности дела, он заставлял ее ежеминутно, изо дня в день, из часа в час, ощущать в себе именно недостаток того, что есть в нем; она, должно быть, каждую минуту чувствовала, что она — фальшивая, что она — хитрая, что она — нелюбящая. Покуда она не понимала, что с ней делается, она мучилась, протестовала, сваливала вину на то, на другое; но муж, продолжая делать все одно и то же, должно быть довел ее, наконец, до того, что она поняла, кто она и что с ней... Она поняла, что в ней нет ничего, что нужно для жизни, в которой нет лжи... Словом, поняла себя и отравилась...

— Что же с мужем?.. Неужели он не замечал ее страданий?

— Я тебе говорю, он *не мог* их видеть, не мог понимать *ничего этого*... Говорю тебе, что это был урод... Смерть жены для него была такая же неожиданность, как если бы камень упал с неба... Впрочем, об этом долго рассказывать, а я устала... Скажу только, что ему, этакому-то любящему, всё потом рассказали про жену... Нашлись добрые люди... Это я расскажу тебе на досуге... Теперь опять собираются мои ребятишки.

В классной комнате действительно возилось и смеялось несколько человек детей.

— Ведь ты зайдешь еще? — спросила Анна Федоровна. — Авось увидимся?

— Непременно!..

Я возвратился домой от Анны Федоровны, сильно подавленный впечатлением ее рассказа.

Тимофей, встретивший меня в коридоре, по обыкновению объявил о том, что он «бегал», что «ничего не было» и что лавочник прислал новых книг — «Рокамболь-сын» с запиской, что и «Отца» еще будет много... О письмах я уже давно перестал думать и о «Рокамболе» также не беспокоился...

Поглядев в окно, я увидел, что дом, где умерла Верочка, был совсем выкрашен, смотрел ново, весело, и это опять навело меня на грустные мысли... Думал я об этом страдальческом поколении, припоминал знакомые личности, гадал о будущем.

Стало темнеть; пришли сумерки, а я все скучал и думал о том же... «Не пропадут же эти страдания так, ни за что ни про что, — думал я: — сделают же они что-нибудь»...

— К вам человек пришел! — появляясь в моей комнате, объявил неожиданно Тимофей.

— Какой человек?

— Вот глядите, другой раз приходит...

— Да меня ли спрашивает-то?

— Как же, помилуйте... Нешто я не знаю?..

— Зови...

Дверь растворилась, и в комнате появился молодой купчик в новой чуйке, с припомаженными волосами. Купчик был мне совершенно незнаком.

— Вот они! — пояснил ему Тимофей, указав на меня.

— Очень приятно познакомиться! — произнес куп-

чик. — С господином Камилавкиным имею честь говорить?

— Нет, я не Камилавкин.

Купчик сделал шаг назад и обернулся к Тимофею.

— Ты что же это, любезный? — сказал он ему обиженно.

— Ты это Камилавкину письма-то спрашивал? — накинулся и я на Тимофея.

— Нешто нам можно всех упомнить?.. — оторопело пробормотал Тимофей.

Признаюсь, мы с купцом не пощадили Тимофея... Оба мы накинулись на него: купец с нравоучениями, я — с гневом и ожесточением. «Как? самые важные мне письма, и этот человек не дал себе труда узнать мою фамилию! Бегал и спрашивал писем чорт знает кому». Я припомнил, что за эту беготню я неоднократно давал ему на водку, и теперь мне казалось необыкновенною наглостию с его стороны: брать деньги и обманывать. Тимофей в молчании выслушивал эти монологи наши, но когда они стали к концу понемногу ослабевать, он вдруг вспыхнул и в свою очередь прочитал свой монолог... Вдруг он разразился о том, что за шесть рублей ему не разорваться, что на его руках двадцать нумеров, что всякий требует, что он работает из-за денег, а денег ему не очень-то щедро дают за услуги — всё только требуют; он и за письмами бегай, он и купцу угоди, и фамилии все помни — за что?.. «Слава богу, — закончил он: — авось и у нашего брата есть о чем о своем подумать... У меня вон в деревне...»

И тут он, горячась и волнуясь, стал рассказывать, что такое у него в деревне... Не говоря о том, что деревенская повесть Тимофея, сама по себе, была необыкновенно трогательна и извиняла все его промахи, одна его фраза: «авось и у нашего брата есть о чем подумать о своем», как нельзя лучше завершала все мои сегодняшние размышления. И после того как Тимофей рассказал, что такое у него в деревне, рассказал драму с овцами, с коровами, с пожарами, с родней, которая выгоняет вон родню, я увидел, что у него действительно есть такое «свое», которое ни капельки не вяжется ни с моими размышлениями, ни с интересами купца, который, быть может, очень много потерял, наткнувшись вместо Камилавкина на

меня, и прождал этого свидания целый день. Да, у них есть свое!.. Такое «свое», при котором некогда смотреть и замечать Верочкиных несчастий, некогда входить в мои интересы, заботы, огорчения или в убытки обманутого купца... Вся связь между мной, купцом и Тимофеем держится только на копейке, из-за которой Тимофей не пожалеет ног и рук, сбегает, «предоставит», «вычистит», а чтобы помнить все, да еще думать, у кого из нас какая фамилия, — извините. Думать-то Тимофей будет о «своем».

На этом размышлении окончилось мое сокрушение о судьбах отечества и о собственных своих несчастиях. Отправившись на почту тотчас после того, как мне пришлось узнать, что фамилия моя — вовсе не Камилавкин, я нашел кучу писем на мое имя, из которых узнал, что все дела сделались так, как я думал. Теперь мне можно было уехать, но так как и у меня, как и у Тимофея, было тоже о чем подумать о своем, то я и решился остаться в городе еще несколько дней, чтобы от Анны Федоровны узнать еще кое-что из нашего современного горя и радостей.

5. НЕИЗЛЕЧИМЫЙ

1. Глухой городок

...Летние месяцы прошлого года мне пришлось провести в одном маленьком уездном городке средней полосы России. Жил я у моего старого знакомого, занимавшего в этом городке должность уездного врача... Скучное это было житье... Если бы не частые поездки в уезд, которые моему приятелю по обязанностям службы приходилось делать чуть не каждую неделю, поездки, в которых и я принимал постоянное участие в качестве простого наблюдателя, — я не знаю, помянул ли бы я добром эти летние месяцы, проведенные «в гостях у друга».

Городок принадлежал к числу самых заброшенных, самых бедных и глухих провинциальных углов, в котором, кроме всех видов бедности и всех видов неразлучного с бедностью невежества — то забитого, робкого, беспомощного, то самодовольного и поэтому еще более, чем другие сорта, отвратительного, — помимо всего этого, хорошо и давно знакомого всем знающим русские захолустья, городок этот поражал всякого, даже постороннего зрителя, и поражал очень неприятно явными признаками вымирания тех ничтожных крупиц жизненной силы, которая в прежнее время давала ему хоть и «кой-какую», но все-таки возможность существовать, жить, иметь хоть и крошечные, но все-таки действительные цели, побуждавшие его, перебиваясь изо дня в день, надеяться на что-то в будущем... Новые времена сразу убили эти крошечные цели существования, оставили городок вне круга железных дорог, а следовательно, и вне принесенных ими денег, вне новых родов заработка, новых пунктов труда.

Инстинктивное сознание собственного всегдашнего бессилия подсказало городку, что ни этим новым дорогам, ни этим новым деньгам и заработкам незачем и никогда не придется идти в этакую глушь, и вследствие этого сознания все, что было побойчей, помоложе, ушло из города, покинув свои дедовские, почернелые, с переломленной пополам высокой гнилой крышей дома, и оставило в них доживать свой век тех, кто не умел жить и наживать деньги «по-новому», кто отчаялся и махнул рукой...

Городок подгнивал, разваливался, заколачивал гнилыми досками гнилые окна и двери опустевших домов и лавок и беспрестанно, ежеминутно роптал, роптал на бедность, на то, что нечем оплатить патента, что вон еще идут какие-то права, за которые «опять же отдай», что не только отдавать и получать новые права, а и кормиться не на что, что торговли нет никакой, что хорошо бы было, ежели бы господь призвал к себе и успокоил... Эти жалобы и причитанья слышались всегда и повсюду: причитал лавочник, продавая захожему солдату пучок махорки, причитал за стойкой кабатчик, наливая проезжему мужичку стаканчик вина, причитала торговка рубцами и печенкой, сидя на горячем горшке с своим товаром и чувствуя, что скоро совсем переведется на белом свете всякий покупатель... Словом, где бы ни находился уездный человек, что бы он ни делал, — стоял ли за прилавком или так дома сидел на крылечке перед отходом ко сну, — он постоянно роптал, причитал и постоянно приходил к той мысли, что ему осталось одно — с миром принять праведную кончину. Такого рода уныние проникло всюду, где прежде было относительное довольство, где по воскресеньям дымился пирог и где всегда нашлась бы новая чуйка или шалевый платок, чтобы пройтись к обедне или погулять... Что же сказать об унынии того уездного люда, у которого никогда от сотворения мира не было ни прилавка, ни пирога, ни чуйки и который всегда жил кое-как и кой-чем? Существование этого народа в данную минуту было поистине фантастическое. Нижеследующий разговор, который однажды пришлось вести мне с толпою этого уездного люда, даст читателю, я полагаю, некоторое понятие об этом сказочном существовании.

— Как же вы живете-то? — спрашивал я.

— Да бог ее знает как! — отвечали мне.

— Да как же именно?

— Да так вот именно, что кое-как...

— Толчешься будто вокруг пустого места, — объяснял более обстоятельно понимавший дело житель: — ну, ан-но бутто и пропитываемся, вроде как пропитание!..

— Покуда бог грехам терпит, то и живы! — объяснял другой, более скромно глядевший на дело обыватель.

И, должно быть, объяснение это было очень верное и правильное, потому что тотчас, как только было произнесено слово «бог», в толпе обывателей произошло значительное оживление.

— Да что же ты думаешь? — заговорило сразу несколько человек: — тут только и есть, что господь явно не покидает...

— Явно!.. — подтвердил хор.

— Послушайте-кось, православные, — живо заговорил один из этого хора: — что было со мной!.. Пришло мне дело так, что ложись да помирай... Покуда у Пастуховых дело шло, все ничего, жили кое-как, а как пошло у них на разладку, хоть вот, говорю, иди да топись... Бился-бился, туда-сюда, нет!.. Пришло помирать голодной смертью... Выскочил я, не помню и что и куда, выскочил я так-то из хибарки-то, сам не знаю, не то топиться, не то давиться, хвать...

Все притихли, потому что это «хвать» было произнесено удивительно весело и, очевидно, предвещало какое-то удивительное проявление божия милосердия.

— Хвать, братцы мои, а как есть передо мной на снегу два зайца сидят...

— То-то чудеса-то!..

— Божие произволение... господь-батюшка...

— Два?

— Как есть, братцы мои, два зайца, и сидят рядушком, не шелохнутся...

— Истинно божие, например, указание.

— Ты вот что рассуди, отчего они не шелохнутся-то, кто их держит-то, словно мне подает — «на, мол, Кузнецов, возьми их!», ты вот что раскуси!..

Многие вздохнули: так было ясно всем, что тут был бог.

— Ну, я их сгреб конечно, — закончил рассказчик, когда всеобщее умиление несколько ослабло, — и сволок к исправнику, за полтинник... Ну, и перебился.

Немедленно со всех сторон послышалось желание подтвердить собственным опытом эту явную заботу провидения о бедном народе. Очевидно, со всяким был такой или подобный этому случай, но из массы начавшихся рассказов всех заинтересовал один, в котором все были поражены очень трогательным окончанием. Уездный житель, с которым приключилось это трогательное событие, тоже, как и первый рассказчик, прежде жил «вокруг» купцов Пастуховых, а как пошли они на разладку, «стало ему так, что помирай!» Хотел он так-то раз топиться или давиться, хорошенько он этого не помнит, и сам не знает, зачем побежал к реке... И только было хотел бухнуть, вдруг что-то под ним заорало благим матом.

— Гляжу, братцы мои, гусь, зда-ар-раве-ен-ный-прездаравенный, дикий гусь!

Сдержанный гул приятного изумления пронесся между слушателями.

— Фунтов от восьми, братцы мои,— каким-то жирным басом продолжал рассказчик: — эдаким вот манером, чисто как окорок... Одно слово, верный целковый!.. Отдавил я ему ногу и крыло, глянул так-то, вижу, руб серебра, не меньше, господь мне послал.

— Восемь фунтов?.. Целковый смело!

— Дикий гусь завсегда руб.

— Цена известная!..

— И что же апосля этого случилось, братцы вы мои! — жалобно возгласил рассказчик и остановился. В публике почувствовалась ясно видимая тревога насчет этого рубля, посланного богом в виде гуся.

Все примолкли.

— Поволок я его на базар, — жалобно продолжал рассказчик, — хоть бы те вот одна душа!.. Ходил-ходил, братцы мои, нет никого, да и шабаш!.. Я к исправнику, не взял... Я к лекарю — нет дома... Я туда, я сюда, хоть вот ложись да помирай: то дома нет, то «не надо»... Что ж ты думаешь?

Последняя фраза была произнесена таким отрывистым тоном и с таким решительным ужасом в чертах лица

рассказчика, что все просто онемели, ожидая страшной развязки.

— Ведь так сам и съел гуся-то!

Загудела и зачмокала толпа, сожалея.

Так, братец ты мой, и слопал сам!

— Эко не поладилось как!

— Эх-ма-хма-хма!.. Рублик-то серебреца!..

— Так и сожрал!.. — подбавляя масла в огонь, прибавил рассказчик.

— Эх-хе-хе.

— Да жирный, пострел, какой — страсть! Так у меня все нутро и переворачивалось. Как гляну на него, не идет в горло, да и шабаш!..

— Эх-хе-хе-е!..

— Так вот все внутренности и перевертываются, как гляну... Вот какое дело... В самую коронацию было, как теперь помню, вó — какой, как поросенок!..

Словом, существование этого люда было, без всякого преувеличения, сказочное, фантастическое. «Как бог пошлет» и «коли пошлет бог!» — вот что они по сущей справедливости могли объяснить в разгадку этого существования: вдруг забежит чуть не в сени волк, ну, убьют, сдерут шкуру: слава богу, это хорошо, господь посылает, а не забежит волк, или не наступишь случайно на гуся, или не наткнешься как-нибудь, купаясь, на щуку, не поймаешь ее рукой за жабру, не продашь — тогда хоть ложись да помирай или так «кой-как» толкись вокруг «пустова» места. Уныние, предчувствие, что все дело обывателей должно кончиться только могилой, сознание, что лучше всего махнуть рукой, — такое утомительное и тяжелое состояние духа проникало всех и вся, пропитывало даже, кажется, самый воздух, которым дышал городок. Никто из скучавших и изнывавших обывателей не знал путем, отчего это вдруг не стало на свете житья; почти никто не мог бы объяснить этого, например, помощью новых путей и пунктов торговли; все только «чуяли» свою погибель, и чуяли ее тем сильнее, что на глазах всех жителей совершался въявь факт, для них весьма знаменательный. С давних, с незапамятных времен «всей округой» владел и все торговые и вообще всякие дела вел старинный основательный дом купцов Пастуховых, и вот в настоящую минуту этот-то капитальный дом,

эта древняя фамилия, которая составляла, можно сказать, всю денежную и всю действующую силу во всем уезде, фамилия, вокруг которой пропитывались сотни уездной мелкоты, которая украшала храмы божии, которая уважалась в губернии, имела медали и проч., — эта-то фамилия, этот корень древа жизни несчастного уезда, — явно, на глазах всех, изводилась вконец, вымирала... Божеское ли это было попущение, отзывались ли этим измором волку овечьи слезки, как думал иной злопамятный обыватель, или просто фамилия увидела, что в нонешнее время не так и не с такими капиталами орудуют люди, или просто от слишком долгого и прочного благополучия выродился в ней всякий ум и талант, или заела ее совесть, или все это вместе осадило и одолело ее, — только стали твориться в ней недобрые дела, от которых всем обывателям стало тяжело, уныло и тошно жить на свете... В какие-нибудь два года с Пастуховыми случилось множество бед. Во-первых, старший брат, бывший по смерти родителя главою фирмы и державший все дела на должной высоте и в строгом порядке, вдруг стал «задумываться» и сошел с ума... Его отвезли в сумасшедший дом в Москву... После него осталось двое детей, оба пожилые и холостые; но один — горький пьяница, босиком и в рубище бегает по городу с ругательствами на свою семью, а другой, какой-то полуидиот, постоянно шатается по церквам и стоит где-нибудь в углу с закрытыми глазами... Их знал город и прежде, но почему-то не придавал значения ни ругательствам пьяного, ни богомолью трезвого; теперь же, когда *вдруг ни с того, ни с другого* помешался, сошел с ума самый старший брат, глава фирмы, воротило, оба полуидиота обратили на себя всеобщее внимание, и в пьяном оранье одного, как и усердном богомолье другого стали видеть и понимать предвестие чего-то дурного... Действительно, едва успел заступить место старшего брата средний, только что женившийся в Москве на богатой и засадивший своих идиотов-племянников по конурам, как вдруг молодая скончалась, неизвестно от какой болезни, скончалась вдруг, поболев часа два-три. Тут уж на город нашел страх и уныние, тем более что эти беды прямо отразились на торговых оборотах... Они сразу уменьшились, упали:

вдовец стал с горя пьянствовать, дрался и бушевал и, наконец, не так давно найден в бане с перерезанным горлом: он сам наложил на себя руки... Дела стали; приказчики крали и разбегались, ужас и страх напал на всех жителей. Дом Пастуховых стоял мертвый, как могила, с запертыми воротами... Жители боялись пройти мимо этого дома ночью; многие из них слышали в такую пору какой-то жалобный стон, который будто бы летал вокруг дома... Главою фирмы и владетелем капиталов оставался младший брат, до такой степени напуганный предшествовавшими несчастиями, что только усилия местного духовенства и исправника могли отговорить его от поступления в монашество... Худой, бледный, трепещущий чего-то и предчувствующий что-то недоброе, отправился он, вследствие всеобщего настояния, жениться в Москву. Но напуганные московские отцы и невесты отказывали ему, сторонились его, как чумы, и только с ужасными усилиями, наконец, удалось ему выискать невесту в Коломне, в бедной семье (чего не бывало с Пастуховым), да и та поехала с мужем словно на смерть, дрожа и заливаясь слезами.

Мне пришлось быть в городке в ту самую минуту, когда ждали родов этой жены последнего представителя дома, ждали с напряженным вниманием, чуя в то же время, что опять что-то случится нехорошее. Голоса и вой вокруг дома Пастуховых слышались все чаще и чаще... Идиот-пьяница как на грех вырвался и бегал по городу, неистовствуя пуще прежнего. Это уныние, этот страх, эти смерти, похороны, этот вой вокруг дома, призывающий что-то недоброе, о котором все думают и которого все ждут, до такой степени сильно повлияли на меня, человека, повидимому, постороннего, что в короткое время пребывания нервы мои сильно расстроились, и я, наряду со всеми обывателями, стал чего-то бояться, чего-то с тревогой ждать.

Удар соборного колокола, удар протяжный и унылый, однажды ночью, сразу дал знать всему городу, что «оно», это недоброе, — случилось...

— У Пастуховых несчастие! — колотя с улицы в ставню нашей квартиры что есть мочи, кричит перепуганный голос. — Неблагополучно!.. Пожалуйте лекаря, скорея...

— Кто? С кем... господи помилуй!.. — слышатся уж голоса на улице.

Но новый удар в колокол мешал слышать ответ пастуховского посланного. Не слышно ничего, кроме:

— Неблагополучно... Очень неприятно!..

— Господи помилуй! Помилуй нас, царица небесная!

— Сам или сама?.. С кем?..

Но опять нельзя разобрать, с кем «неблагополучно». Опять удар колокола по покойнике, и ветер, хлопающий ставней, и стукотня бегущих ног, и опять где-то, не то на дворе, не то на улице, шопот и причитанье:

— Господи помилуй! Господи помилуй!

— Согрешили, грешные, пред престолом твоим, отче Макарие!

— Оох-ох-ох...

И колокол и ветер.

Такие сцены, наверное, бывали во дни падения Новгорода и Пскова. Умирала и там и тут идея, державшая город и народ...

Целую ночь я не мог сомкнуть глаз... К утру воротившийся доктор объявил, что умерла молодая жена. Роды были такие ужасные, что еще более омрачило всеобщее состояние духа. Носились слухи, что и *сам* недолго выживет.

Начался похоронный звон, толки о панихидах, выносах. Мы уехали в уезд и только там отдохнули от всего этого немного... Воротившись дня через три, я нашел в общественном состоянии духа сильный упадок... Покойницу похоронили с честью, но ясно увидели, что дому Пастуховых нечем держаться на свете... Видели, что тут совершается дело, которому не пособить никакими капиталами. Очевидно, «все пойдет прахом»... *Сам* бросил все дела и тоже стал задумываться. Наживет недолго; кому все это достанется? Приедут какие-нибудь «ахахи-блинники» из родни, заберут капитал, дом отдадут под солдат, а не то оставят размывать дождям и развевать ветрам и снегам!.. И при этой мысли жалость обывателю щемила сердце. Пастуховы так давно властвовали над ним, так давно грабили народ (как иногда осмеливался болтать иной злой язык), и так долго и неизменно хорошо все это сходило им с рук, что горожане даже полюбили ловко

обделывавший дела дом, и им жалко было, если все это изведется прахом.

— Вот она, жизнь-то человеческая! Прах, тлен!.. — Все это носилось в воздухе, в жизни городка, — и все это делало летнее пребывание мое здесь не особенно веселым...

Кроме такого похоронного настроения, господствовавшего в городке, под самым боком у нас происходило нечто еще более неприятное, чем это похоронное настроение. Мы жили в доме, который представлял собою тоже обреченное на гибель чиновничье гнездо, как на грех одаренное непомерною живучестью, волчьею жаждою куска и поставленное обстоятельствами также в необходимость погибнуть измором. Главою этого дома была какая-то старая отставная надворная советница, госпожа Антонова; ей принадлежал дом, ей принадлежали какие-то деньжонки, которые она отдавала под проценты, и вот вокруг этой женщины, пропитанной насквозь запахом жирных подачек, взяток, вообще запахом каких-то денег, падающих с неба, без трудов и хлопот, около этого центра, как около старого, гнилого пня, словно куча червей, копошилась тоже куча всякой родни, зятьев, свояков и проч. Это было действительно гнездо животных, кажется родившихся уже с открытою, приготовившеюся глотать пастью. Никогда мне не приходилось испытывать более отталкивающего, даже отвратительного впечатления от физиономий, какое внушали мне физиономии почти всех представителей этой семьи. Редко, почти никогда нельзя чувствовать продолжительное отвращение даже к самым непривлекательным, к самым неискренним физиономиям; всегда, рано ли, поздно ли, вдруг проглянет черта, которая объяснит сразу и неискренность и отвратительность, и объяснит, как по крайней мере знаю я, всегда в лучшую, в добрую сторону. Ничего подобного не удалось мне приметить в этом гнезде надворной советницы, кроме чего-то наглого, плотоядного, в полном смысле этого слова, я никогда ничего не замечал ни в одном из этих обитателей гнезда... Все это был здоровенный, плодущий народ, с лоснившимися, гладкими, как налимья кожа, лицами, с жадными глазами, толстыми подбородками и холодным взглядом (большей частью у них были черные глаза), который вдруг делался раб-

ским, сверкая радостью голодной собаки перед куском мяса, когда кто-нибудь из должников приносил проценты или когда вообще где-нибудь близко пахло деньгами... Весь этот народ, несмотря на то, что был молод, уже успел провороваться и быть под судом: так велика у них была жажда глотать, и так они были приготовлены десятками лет подьячества... Почти мальчиками, не учась, они поступали на разные должности и тотчас же принимались за свое дело. Но, должно быть, они были слишком щедро наделены инстинктами грабительства или так же, как и Пастуховы, не знали, «как это делается» в нынешнее время, — только, проглотив по куску, тотчас же и попались... Тот слишком поторопился запустить руку в кассу на какой-то станции железной дороги, этот подделал, да тоже «не как следует», вексель, а тот прямо перекусил пополам какого-то мужичонка, над которым ему была дана власть и которого он должен бы был истощать медленно, как паук муху... Словом, все они попались на первом же глотке, и, имея понятие о свойстве их натур, потрудитесь, если можете, представить, что за зрелище представляло это семейство. Аппетит у них был раздражен в высшей степени; воспитание и среда развили его в ужасных размерах; тот маленький кусок, который им удалось отведать на своем веку, был хорош и манил, тянул отведать еще, да и ко всему этому самым раздражающим образом действовало на всех постоянное созерцание пахнувшей удачным грабежом маменьки... Запах этот злил их и ссорил между собою ежеминутно, и ежеминутно они боялись пикнуть, боялись громко сказать словечко, чтобы не потерять во мнении главы этого клоповника, и шипели поэтому друг на друга, как змеи.

Иметь за стеной такое соседство, знать, что тут, за нашей спиной, копошится что-то злое и жадное, — ощущение было в высшей степени неприятное и, вместе с унылым настроением духа всего городка, делало пребывание в нем далеко не отдохновением; повторяю, нас спасали только поездки за город, в деревню, после которых можно было на некоторое время позабыть все скучные и дрянные мелочи, окружавшие нас... Но и несмотря на эти поездки, я бы не мог прожить здесь долго, если бы меня, в этом самом отвратительном гнезде госпожи

Антоновой, не заинтересовала одна личность, жизнь которой навела меня на некоторые, в конце концов очень утешительные, относительно повсюду свирепствующего уныния, размышления.

С этим субъектом я и познакомлю теперь читателя.

II. Рассказ

В один из первых дней после моего приезда в городок, когда мы, отобедав, отдыхали — один в одной, другой в другой комнате — и когда в доме, на дворе и на улице царствовала невозмутимая тишина, в пустом зале вдруг раздался голос:

— Иван Иваныч, а Иван Иваныч!

— Что вам? — отвечал мой приятель из своего кабинета.

— Да мне бы два словечка хотелось...

Говоривший, повидимому, стоял на улице или на дворе и говорил в отворенное окно.

— Что такое, какие словечки? — шлепая туфлями и направляясь к окну, говорил мой приятель. — Здравствуйте, отец дьякон! — Какие словечки?..

— Доброго здоровья!.. Да я было хотел...

— Вы вот что скажите прежде всего, — перебил его Иван Иваныч: — бросили вы пить или нет и принимаете ли железо?

— Бросаю...

— Бросаете? Прекрасно... А железо?

— Да вот я об этом и хочу с вами потолковать.

— Что же такое?

— Да вступает ли?

— Что вступает ли?

Как ни прискорбно, а надо сказать, что приятель мой, попав в такую непроходимую глушь, как этот несчастный городок, и видя постоянную бедность и невежество самые поразительные, стал чувствовать себя и по своим знаниям и по средствам неизмеримо выше всего этого люда и усвоил себе некоторую покровительственную развязность в обращении со всем этим народом. Не знаю, виноват ли он в этом.

— Что такое, — продолжал он, усаживаясь у окна: —

что такое «вступает»? Что вы тут толкуете? Куда «вступает»?

— Да железо-то... Точно ли, мол, вступает в это... как его?..

— В кровь, что ли? В организм?

— Вот-вот... в это самое... Точно ли, мол?..

— Ах, отец Аркадий, или как там вас, отец вы или кто, уж не знаю... Сколько раз я вам говорил — да! да! вступает! И именно вступает в кровь! За каким же чортом, спрашивается, я вам его прописывал? Ну, скажите ради бога, за каким чортом?

Отец дьякон кашлянул.

— Вы,— продолжал доктор, отделяя каждое слово,— вы пили, кровь у вас теперь — не кровь, а сусло... Понимаете?.. Сусло, а не кровь!..

— Позвольте, — перебил дьякон. — Господи помилуй! Да разве я об этом? Конечно, пьешь... Да нешто я об этом? Сусло! Я и сам знаю, что сусло.

— Ну так что же тут, о чем же тут разговаривать? Принимайте железо — и все!

— И, то есть, уж в самый корень вступит?

— Я не знаю, что это за корень... Вам куда надо-то?

— Да по мне бы в самую настоящую точку...

— Еще куда?.. В корень, в точку, еще куда?

— То есть чтоб в самую, например, в жилу?..

Дьякон ждал ответа.

— Знаете, что я вам скажу, отец дьякон, — довольно строгим тоном заговорил доктор. — Так говорить нельзя... Помилуйте! Да этакого разговора сам чорт не разберет... Что это значит — в самую точку? Где самая жила, а где не самая? Ведь это — просто чорт знает что такое! Что такое вы говорите?..

Дьякон и сам засмеялся.

— Чорт ее знает в самом деле, плетешь языком невесть что!..

— Ей-богу, ведь это невозможно!.. В точку да в жилу...

— Ха-ха-ха!.. — хохотал дьякон.

— Ей-богу, невозможно!..

После незначительного молчания, во время которого доктор, надо думать, смягчился, разговор возобновился вновь.

— Я вам говорю, — начал доктор спокойно и категорически: — железо вступает в кровь! раз!

— Так!

— Поправляет и укрепляет нервы!

— Два! — тоже категорически отчеканивал дьякон. — Далее?

— Да чего ж вам еще?

— А в душу?

— Что в душу?

— Да в душу-то вступает ли?

Этот вопрос снова как будто встревожил доктора.

— Знаете, батюшка, что я вам скажу... Мне кажется, что вы — большой охотник разговаривать! Вы сначала попробуйте — перестаньте пить да полечитесь, а потом и увидите, что будет с душой...

— И возобновляет?

— Нет, отец Аркадий, это невозможно! Это... Это... Так вы хотите, чтоб я вам душу возобновил, что ли? Так? Да?..

Доктор, очевидно, озлился.

— Да какой же мне, помилуйте, — тоже, повидимому, ощетинившись, заговорил дьякон, — какой мне расчет там нервы эти самые, ежели оно не попадает в самую точку?

Доктор бегал по комнате в очевидном гневе и молчал.

— Никакого мне нет расчету его пить, ежели оно только обапола болезни ходит, там, в эти в нервы в разные, а в самую, значит, суть-то — и нет!..

— Нет! Ради бога, оставьте! Я не могу. Я не могу больше разговаривать так... Делайте, что хотите.

Дьякон замолк и кашлянул. Взволнованный приятель мой, большими шагами ходивший по комнате, вдруг повернул в мою и проговорил:

— Как тебе нравится такого рода разговор? Слышал?

— Да, — отвечал я. — Кто это такой?

— Не в том дело, — перебил меня озлобленный друг, — но представь себе, какова пытка каждый божий день слушать объяснения в таком роде: «нельзя ли в самую жилу», «не пущает» и так далее. Извольте их лечить!.. У одного не пущает, у другого какой-то, изволите видеть, растет в сердце горох... Что такое? Что за чертовщина? а это — порок сердца... так в Москве сказали, — горох, говорят...

Нечего сказать, любит провинциальный деятель, поймав терпеливого слушателя, порассказать о своем самоотвержении, терпении и о множестве других достоинств, которых не видят и не ценят. Добрые четверть часа слушал я эту похвалу собственным достоинствам моего приятеля, излагаемую им в виде фактов невежества окружающих, — невежества, переносимого им вот уж пятый год и за такое ничтожное жалованье (и об этом была речь). Наконец он как будто устал, потому что остановился.

— Ты спрашивал кажется, кто это такой? — вспомнив мой вопрос, переспросил он и, принявшись возиться с своими карманными часами, заводить их, прикладывать к уху, продолжал:— это какой-то сельский дьякон. Теперь он под судом за что-то. Кажется, за пьянство — хорошенько не знаю. Когда мне с ними пускаться в откровенность? Н-ну, знаю, то есть по крайней мере слышал, что жена ушла от него и, кажется, где-то учится в родильном доме или что-то в этом роде. Потом отлично знаю, что пьянствует и поминутно лезет с разными нелепыми разговорами, с точками с разными да с жилами. Надоел он мне ужасно!

— Иван Иваныч! а Иван Иваныч! — робко послышался опять голос дьякона.

— Как? вы еще здесь? — совершенно утихнув и успокоившись, изумился доктор и пошел в залу. — Что вы тут делаете? Я думал — вы уже ушли.

— Не сердитесь бога ради, Иван Иваныч! Что ж такое! Мне надо разузнать, в чем дело...

— Я вовсе не сержусь, — мягко заговорил Иван Иваныч, — а повторяю вам, что так нельзя говорить, и всякий вам скажет то же.

— Ну, я больше не буду. Следовательно, на том дело стало — принимать?

— Что такое?

— То есть железо-то, принимать, стало быть?

— Конечно, принимать...

— Превосходно! Стало быть, так и будет. Только я вас еще хотел спросить об одном,— робко прибавил дьякон.

— Сделайте милость, спрашивайте.

— Изволите видеть, — тихо, убедительно заговорил дьякон. — Теперь вы говорите порошки там, нервы, например, органы и все этакое — ведь это физика?

— То есть как физика? Я не понимаю, что вы хотите сказать?

— То есть материя, но не дух, вот как я думаю?

— Порошки-то не дух?

— Не порошки, а, например, все прочее, весь состав?

— А-а, ну хорошо, ну материя.

— Изволите видеть... даже и в «Русском слове» не сказано прямо так, что, мол, это все одно... Ежели бы так, то взять палку — вот тебе хребет, обмотал бечевкой — нервы, еще чего-нибудь наддал — и хоть в мировые посредники выбирай: только шапку с красным околышем одеть...

— Ишь как у нас отец дьякон-то! Остроты отпускает!

— Да ей-богу, ежели так-то.

— Продолжайте! продолжайте... Н-ну материя? Ну?..

— Ну, а дух, я говорю, следовательно — часть особая, изволите видеть?

— Положим, особая. Далее?

— А далее, вот я и сомневаюсь, чтобы оно на пользу было... например, для духа...

— Это, кажется, вы опять начинаете старую песню?— перебил Иван Иваныч и, должно быть, так ясно выразил нежелание слушать эту песню, что собеседник его почти тотчас же и во всю мочь своего голоса заговорил:

— Нет! Ей-богу, нет! Иван Иваныч! Сделайте одолжение! не о порошках...

Он как будто останавливал этими торопливыми и крикливыми фразами намеревавшегося уйти доктора.

— Как не о порошках? Ведь опять договорились до того, что «вступает» и так далее?

— Перед богом, не об этом! Куплю, ей-ей куплю, сию минуту...

— Так об чем же в таком случае? Я, ей-богу, вас не понимаю.

— Два словечка! Позвольте, дайте мне досказать, я сию минуту объясню вам. Сделайте ваше одолжение!

Коротко и резко стукнул стул: доктор, очевидно, сел и решился слушать.

— Как материя, — с расстановкою и тоном отвечающего на экзамене ученика начал дьякон, — как материя имеет на свою пользу разные специи, так равно и дух их имеет...

И замолк.

— Все?

— Все.

— Очень приятно, по крайней мере коротко.

— И так как... — начал было дьякон тем же тоном.

— Да ведь все?

— Только еще полслова! Сделайте ваше одолжение! то есть чуть-чуть... И так как для тела, следовательно, есть разные порошки или там примочки, то для духа они пользы не дают. То, следовательно...

— То что то?

— То, что дух имеет свои, например...

— Примочки?

— Примочки не примочки, а тоже средства... Порошки для тела, а для духа — надо другое... Вот какое дело! Я, как перед богом, вам говорю, сейчас куплю железа этого, а для духа-то нет!..

Надоело ли доктору слушать все это, только он на этот раз не придирался к собеседнику, а довольно кротко сказал:

— Что ж такое для духа, по-вашему, надо?

— То-то и мудрено — «что»? Об этом-то и разговор.

— Ну, об этом вы посоветуетесь с кем-нибудь другим, я тут уж — пас!

— С кем же мне советоваться? Да тут во всем городе ни один человек не знает, что у него есть дух и есть тело... Им бы только жалованье получать... Мне спрашивать об этом некого...

— Ну, и я вам тоже не могу помочь.

— А чтение, например? Как вы думаете?

Доктор барабанил пальцем по подоконнику и молчал.

— Ежели, например, основательное чтение?.. Ведь, я думаю, оно восстановляет? а? как вы думаете?

— Конечно... — совершенно рассеянно отвечает доктор.

— Ей-ей? Я так и думал!.. Порошки — для тела, книги — для духа? Да, пить перестану?

— Это-то самое было бы лучшее...

— Ей-ей, перестану. Будь я проклят! Вот как! А? как вы думаете? И порошки, например, и чтение, ан, может быть, и восстановится?

— Очень может быть! — вовсе не интересуясь этим разговором и думая о чем-то другом, пробормотал доктор.

— Ей-богу? Ну, и отлично!.. Иван Иванович! будьте отцом родным! батюшка! — жалобно заговорил дьякон.

— Что такое?

— Одолжите книжечек! Сделайте милость!

— Какие есть, берите, хоть сейчас...

— Я сейчас, и железо сейчас...

— Заходите.

Скоро в комнату вошел тщедушный, худенький человек, в истасканном подряснике, и робко, на цыпочках, направился вслед за Иваном Ивановичем в его кабинет; проходя залом, он обернулся в мою сторону, и я увидел прежде всего крайне странные, не то восторженные, не то испуганные, даже сумасшедшие глаза, ярче всего выдававшиеся на худом, бледном, еще не старом лице, с жидкими длинными белокурыми волосами и маленькой бородкой, которую он постоянно щипал, пробираясь на цыпочках в кабинет. Тщедушное, робко согнувшееся тело, это больное, испуганное лицо и глаза, полные чего-то пугливого и неопределенно оживленного, производили впечатление чего-то жалкого и хилого.

— Вот все, что есть, выбирайте!.. Вам какие книги надо? — спрашивал мой приятель, когда они очутились в кабинете.

— Да мне бы пофундаментальнее.

— Ну, вот, выбирайте... Вот журнал не хотите ли?

— Нет, это все мимолетное.

— А вам надо не мимолетного? да?

— Да уж, что-нибудь по... того, поздоровей.

— Поздоровей?.. — роясь в книгах, болтал доктор: — поздоровей вам? Не хотите ли взять вот Шлоссера: это, я думаю, будет довольно здорово...

— Это что такое — Шлоссер?

— История.

— Сделайте милость, это мне в самый раз...

— Ну, так вот и берите...

— Мне бы только, Иван Иваныч, уж с самого начала... что-нибудь...

— Да вот, что тут? «Греки»... вот тут с самого начала...

— Очень вам благодарен... То есть, как вы говорите — с самого начала? С самого начала только греческая история?

— Только одна греческая... А вам что же?

— А раньше греков нет ли чего?

— Разумеется, есть. Вот история Индии... Это раньше греков.

— А еще чего не было ли раньше?

— Уж я, ей-богу, не знаю... Да зачем вам?

— Да мне бы хотелось уж, чтобы начать, например, с самого корня...

— Опять самые корни?

— Да ей-богу, Иван Иваныч, что ж мне хватать верхушки? Уж ежели поправляться, так надо как следует... Вновь... С самого, например, с кор... с корня... Что вы смеетесь? Ей-богу, право... Что ж так-то?..

— Да так, так... Только я не знаю, что ж бы такое?.. Не хотите ли «до человека»?

— Это — книга такая?

— Книга... Понимаете — до! Уж тут самый корень.

— Вот, вот, вот! — как-то даже сладострастно зашептал дьякон: — до! Это самое и есть — «до» всего еще?

— То есть до всего на свете!..

— Ну, ну, ну... Это мне и надо... С самого...

— С самого, с самого! — Нате, берите!

— Ну, дай вам бог здоровья... Сейчас примусь! Вот это мне и нужно...

— Очень рад.

— Очень вам благодарен! А то что ж мне, ей-богу, — журналы там?.. Мне уж надо все наново... Иначе что ж так-то? Уж ежели...

— Ну, ладно, ладно!

Поблагодарив и бормоча все то же, то есть, что «ежели поправляться, так надо не как-нибудь», — дьякон поспешно, с явным намерением сейчас же приняться за дело, вышел из кабинета, перебежал зало и направился к бане, держа под самым носом развернутую книгу.

— И представь себе, — заговорил приятель, вновь появляясь в моей комнате: — ведь такие разговоры у нас с ним идут чуть не каждый божий день... «А вступает ли?», «а что душа», «в душу» — чорт знает что... Часа

по два битых тиранит меня, а кончится ничем... В тот же вечер напьется и наделает разных гадостей.

— Он какой-то чудной!

— Пьет куролесит, — дела расстроены, да и жена бросила, — ну вот и хочет «все вновь»... То порошками, то книжками... Да изволите видеть, чтоб в самую жилу... в точку... Надоело. А что, не пойти ли нам погулять?

Скоро мы отправились за город и воротились очень поздно. Был душный летний вечер. Во время нашей долгой загородной прогулки меня не покидала мысль об этом бедном человеке, думающем вылечить свою душевную боль книгами и порошками. Что это за душевная рана? Что это за боль? Как? откуда нанесло ее на беднягу? Все это очень занимало меня. Я решил непременно найти случай поговорить с ним, расспросить его.

III. Вечерком в глухом уголке. — Рассказ

Два или три дня, следовавших за разговором под окном, я почти не видал дьякона. Он сидел в своей бане, должно быть прилежно занимаясь чтением сочинения «до человека», сидя до поздней ночи, и только раз или два во все эти дни, и то на минуту, подбегал к окну спальни моего приятеля, чтобы задать вопрос и уйти...

— Хелиасты, Иван Иваныч, что такое? — спрашивал он.

— Хелиасты?

— Вот тут сказано: «*так же, как тысячелетнее царство для хелиастов...*»

— То есть как же это «так же»? Надо прочесть всю фразу...

Дьякон прочел какой-то очень сложный период, спотыкаясь на каждом шагу, — точно плелся он без дороги по какому-то изрытому полю, не зная, что сзади, что впереди...

По прочтении этой фразы доктор принялся соображать, а дьякон стоял и ждал молча...

— Чорт ее знает! — наконец произнес мой приятель.— Да вы это просто пропускайте...

— Ну уж что ж это — пропуск.

— Ну, я не знаю... Читайте дальше, там будет видно...

— Гм! — сделал дьякон, помолчал и пошел.

В другой раз он поймал Иван Иваныча в ту самую минуту, когда тот совсем было ушел на практику.

— Вот, — прямо начал он, входя и держа раскрытую книгу: — *«или, почему взрослое животное лучше новорожденного?»* Почему, Иван Иваныч?

— Что такое? Какое животное?

— Вообще, тут сказано, например, так, что яйцо, например... да вот: *«или, что лучшего в новорожденном животном?..»*

— Дайте сюда книгу! Где это?

Дьякон подал книгу, указал и ждал.

Минут пять читал Иван Иваныч указанное место, перевертывая страницы и вперед и назад, и, наконец, сказал:

— Ведь я так не могу — выхватить прямо из середки и объяснить. Чорт его знает, что это такое? Так нельзя!

— Гм! — опять сделал дьякон.

— Я должен прочесть по крайней мере несколько страниц, чтобы знать... Яйцо какое-то!.. Вы придите завтра, после обеда, мы прочтем.

Дьякон помолчал, перелистовал несколько страниц и задал было еще вопрос:

— А что вот еще означает «комбинация форм»?

— Не теперь, — перебил доктор. — Я сейчас ухожу. Приходите завтра на целый вечер, мы всё это разберем.

— Ну ладно... Уж и трудно же написано!..

— Ничего, после!.. — торопясь уходить, говорил Иван Иваныч. — Приходите.

Дьякон помолчал, повертел страницы и пошел, сказав, впрочем, что придет, «непременно придет».

В назначенный для ученого разговора вечер произошло, однако, совсем не то, что должно было произойти. Отправившись по обыкновению за город, мы совершенно забыли, что «сегодня вечером» должен прийти дьякон, и спохватились только тогда, когда на дворе была почти ночь.

Спохватившись, мы торопливо пошли домой.

В комнатах нашей квартиры было темно, окна отворены, и со двора доносился какой-то шум.

Оказалось, что *«ругаются»!*

В будничной жизни глухого русского уголка нет, как мне кажется, других более тягостных минут в течение целого дня, как те, которые определяются словами «посидеть вечерком на крылечке», «отдохнуть вечерком», словом — побыть *так*, ничего не делая, несколько вечерних часов. Везде, где есть настоящая жизнь, хоть и трудная и неприглядная, в самых глухих уголках европейских больших городов, на каторжных фабриках, вечер — действительное время отдыха, потому что день — действительно время тяжелого труда, время устали, и как ни труден этот рабочий день, но вечер весел или по крайней мере тих... Совсем не то в глухом русском уголке. Притворяяся по чьему-то приказанию городом, уголок заставляет невольно притворяться все, что ни живет в нем. Притворяется начальством — исправник и все чиновное, все распоряжающееся притворяется потому, что не над чем в сущности начальствовать и нечем распоряжаться. Притворяется учитель, знающий очень хорошо, что наука его плоха и проку от нее мало, и т. д. И вот все это, не могущее по совести не сознать, что прожитый день был — «одна канитель», «помаявшись» этот день кое-как, чувствует вечерком, когда прекращается эта «тягота маяты», потребность облегчить душу от ига призрачной деятельности, призрачной жизни... Повсюду — тихо, везде заперты ворота и ставни, нигде не видно огня, и кажется, что глухой уголок спит мертвым сном. Ничуть не бывало — напротив: везде в темных спальнях, на «крылечках», куда обыватель выползал «посидеть» после ужина, идет шопотом, во имя потребности облегчить душу, сваливание душевной дряни друг на друга... «Завез в какую гибель! — шепчет молодая жена. — Да что это? Да лучше я в монастырь уйду. Али у меня женихов не было?»... «А из-за кого бьюсь? Из-за вас, чертей, все ж и бьюсь-то!.. Был бы я один, — сердито шепчет отец семейства, — так стал бы я тут торчать, в этакой пропасти?» Там, в темноте, кто-нибудь пьет и проклинает свою участь; в другом темном, как смоль, углу кто-нибудь пьет и молчит... И везде за этими запертыми ставнями, в темных душных спальнях, под темным душным небом, на крылечках уездный люд пилит друг друга,

пилит тихо, чуть слышно, как чуть слышно зудит пила, которою перепиливают человеческие кости.

Вот именно такого рода «отдохновение» происходило и на нашем дворе, где на крылечке отдыхала после ужина вся подсудимая семья госпожи Антоновой... И увы! в общем шипенье этих зверей друг на друга громче всех раздавался голос дьякона, голос, в котором не было ни тени недавнего подобострастия и робости. Напротив, нагло, грубо и до последней степени пьяно звучал он теперь, ругательствами обрушиваясь на всех и на вся.

— Что это? — заслышав знакомый голос, произнес Иван Иваныч, появляясь в моей комнате. — Пьян?

Чтоб убедиться в этом, он стал прислушиваться. Дьякон ругал госпожу Антонову и зятьев, благочинного, свою жену, книги, журналы, словом — все, в ужаснейшем, невообразимом беспорядке осаждавшее его пьяную голову...

— Акушерство! — кричал он... — Акушерство! Нет, взять бы хорошую дубину... Как-кая силоамская купель, скажите пожалуйста!.. Эх, вы-ы... акушерки!..

— Отец дьякон! — перебил его речь Иван Иваныч.— Вы что ж это? Опять?

— Да! — твердо и вызывающе отвечал дьякон.

— Отлично!

— Превосходно! А вы полагали, что дурака нашли? Перед обедом и перед ужином по порошку?.. На-ко — вот, съешь!..

Сконфузило это Ивана Иваныча. Он так и не ответил ему ни слова, а стоял и молчал.

— Эх вы-ы, — продолжал между тем дьякон, — ученые! Что ни спросишь — ничего не знаете... Какого вы чорта смыслите? Порошки... Дубье вы со всеми вашими книгами. У человека душа болит, а вы, прохво...

— Затворите окно! — сказал Иван Иваныч, очевидно совершенно разгневанный. — Пусть его! Это постоянно... А завтра опять приплетется...

Долго за запертым окном слышался голос ругавшегося дьякона... «Эх вы, акушерки-молодки...» «Порошков бы вам, ворам, принять железных, авось вы перестанете красть...» «Хелиасты поганые!» «Почитай-ко, что у Бокля сказано, — свинья!» «Ох, если б Бисмарк вас распалил!»

— Только уж больше я с ним разговаривать не буду! Нет! — говорил Иван Иваныч. — Нет, это мне надоело...

На следующий день, как того ожидал Иван Иваныч, готовившийся отделать дьякона за вчерашнее, последний не показывал глаз. Не было видно его и вечером, причем семейство Антоновой ругалось одно, собственными средствами. И только через два дня, вечером, я снова увидел его.

Он был худ, еле жив, грустен, болен. Долго сидел он молча, на приступке дверей своей бани, не отвечая ни одного слова на остроты, направленные из полчища отдыхавших на крылечке подсудимых, хотя последние, видя, что он совершенно бессилен сегодня, направили на него весь запас ненависти, которую должны бы были сегодня израсходовать друг на друга. Вследствие этого обстоятельства они были очень веселы.

— Принять бы и мне порошок! — говорил кто-то на крыльце: — авось меня из-под суда освободят...

— Что ж: попробуй. Вон отец дьякон принимает... говорит — совсем, говорит, поправляюсь...

— Да, ловко он третьего дня поправился!..

— Не ту положил препорцию... Надо бы полштоф — и порошок, полштоф — и порошок. А он полштофов-то выпил штук шесть, а порошок-то один... Вон оно и...

— Да-да-да! А то бы и ничего?

— Чего ж лучше! Вполне облегчает... Даже так, что и жена опять возвращается к мужу...

— О-о-о! Какое чудесное лекарство...

— Не веришь! Ей-богу!.. Отец дьякон! Сделайте милость, скажите... Что ежели, например, заняться чтением и, например, штофа четыре?..

Смех не дает говорить. Долго хохочут. Дьякон молчит и трет лоб.

— А что, супруга опять же к вам возвратится?

— Чего-с? — сиплым голосом спросил дьякон.

— Супруга, говорю, возвратится к вам?

— А зачем ей в этом хлеву быть, позвольте узнать?

— Вы, значит, это ее колотили, чтоб она в хлеву не была?

— Значит, из хлеву гнали по шее-то ее?

— Да замолчите ли вы, мерзавцы, наконец? — вне себя вдруг больным, надорванным голосом заговорил

дьякон, вскакивая. — Что это такое? Когда меня господь вынесет отсюда!.. Господи! Бил, бил я! Мерзавцы этакие! От этого я и боле-ен! О-о! господи! Да это — омут!

Хохот не прекращался. Омут чувствовал, что он — действительно омут, и, сознавая в себе это качество, был безжалостен.

— Колотит жену по шее, а сам болен! Какая удивительная болезнь!

— О, господи! Изверги!..

— Ха-ха-ха...

— Отец дьякон! — не вытерпел я. — Подите сюда, пожалуйста!

Участие постороннего человека сразу прекратило сцену. Омут ужасно пуглив; заслышав чей-то чужой голос, увидав чье-то постороннее вмешательство, он сразу струсил, притих и помаленьку-помаленьку стал расползаться.

— Это вы животные, — кричал дьякон, направляясь ко мне: — не понимаете, что вы — свиньи, я-то знаю!.. Вот уж именно животные... Да помилуйте, — торопливо вбегая ко мне в комнату, весь бледный и дрожащий, продолжал он: — помилуйте! Я и болен от свинства; от чего ж это я лечусь-то, как не от свинова элементу? Господи помилуй! Да не только бил, невесть что творил! Вспомню только — и моря водки мало, чтоб залить это... А они, негодные, еще разжигают...

— Отдохните, отец дьякон! Сядьте!.. — сказал я.

— О господи... Я и не поздоровался!.. Да что! Совсем пропадаю... Ей-богу... Ничего не поделаешь!

Он сел к столу, устало наклонив голову и тяжело дыша.

— Что ж такое?

— Да совести ужасть сколько надо... а душа-то у нашего брата свиная, вот и разрываешься на части!.. Это зачем я порошки требую? все для этого!.. И книжки тоже, все для того же...

— Для чего?

— Да душу-то хочу свою из свиной в человечью обратить... вот для чего!.. Ну и начнешь... Индия, обезьяны какие-то... горшки подземные... нет, не убавляет свинова элементу!.. Примешься лечиться, пьешь-пьешь, и перед обедом и после обеда, и вдруг пожелаешь сделать

гадость — ну и кончено, и все бросишь и... вон как третьего дня — напьешься и проклянешь всех... О-ох! Странное дело — совесть!.. И сколько она теперешнее время народу ест!.. Страсть!

— Как теперешнее время, а прежде?

— Прежде этого не было. Это только теперь стало.

— Будто?

— Верно вам говорю. Что такое новое время, позвольте узнать, как по-вашему?

— Говорите — вы!

— По-моему так — правда во всем, чтобы по чистой совести, вот!.. а прежнее — кривда, кривая струя... вот как... Ну и помираешь!..

— Почему же?

— Да не прям, а крив, и душа крива, и совесть — туда-сюда... и к свинству любовь...

— Будто любовь?

— А то что же! И я это все вижу и ничего сделать не могу... А отчего? От совести! Совесть проснулась в душе и, как ключ под навозной кучей, развезла эту кучу по всему двору, стало все расползаться — грязь! Умирай! И мрут, страсть как мрут...

— Отец дьякон! — перебил я его. — Не можете ли вы рассказать мне, как все это случилось с вами?

— Как случилось? — переспросил он и задумался. — То есть как совесть-то проснулась и как куча-то расползлась?

— Да! все, что было с вами!

— То есть вообще про болезнь?

— Ну да!

— Извольте! Видите, как я заболел-то... Видите, как... Надо вам сказать, что случилось это со мной годов пять тому назад. Был я в то время не таким прохвостом, как теперь, не пьяницей, не распутником, не запрещенным, был я тогда как следует быть отцу дьякону: степенно, солидно ходил в рясе, имея молодую, здоровую жену, и читал с полным удовольствием многолетия — словом, жил и во сне не видал стать пропащим человеком... Было у меня в детстве, в семинарии, когда я был мальчиком лет семнадцати, было у меня что-то грустное, тяжелое на душе, что-то как будто саднило... Тянуло меня куда-то прочь; но что-то другое, чего я еще не знал и что потом ока-

залось свиным элементом, держало и не пускало... Саднило, говорю, от этого на душе, и так даже было однажды, что купался я, схватила меня судорога, пошел я ко дну и думаю: «вот-вот этого мне... как хорошо — не жить!..» Ну вытащили. Помню, принесли меня на квартиру чуть живого — и, как на грех, в ту самую минуту приехал из деревни мой отец, тоже дьякон, старый, престарый... Как увидел я слезы его (когда он узнал, что я тонул), как представил я всю его жизнь, с пирогами, крестинами, со всеми мучениями его ни с чем не сообразной жизни, мне стало так совестно — что я хотел умереть, что и сказать не могу. И не то, чтобы жить мне захотелось или жалко стало отца, — нет: у меня только перестало саднить на душе и перестало меня тянуть куда-то, и мне представилось, когда я припомнил жизнь отца, что и мне почему-то нужно тянуть ту же лямку, что она для меня почему-то неизбежна... Мне стало покойно, и я стал тянуть эту лямку... Первым долгом женился я так, кой-как; любви тут не было никакой, а свинство было. Когда я увидал невесту — мне не понравилось ее лицо. Какая-то тень мечтаний зашевелилась у меня в голове: не такую невесту представлял я своею... Но это было не долго... «У нее дом!» — сказали мне, и мне стало легче... И стало мне легче, и пробудилось во мне что-то еще: не понравилось мне у невесты лицо, глаза, но стали нравиться мясистые плечи, шея белая и толстая... Я вам говорю уж все по чести.

— Пожалуйста...

— Уж что ж... Я даже не говорил с ней, а уж чувствовал, что могу обнять ее, и — что-то жадное приятно текло в крови... словом, свиной человек преоборол и победил... Это — первое. Второе явление свинова элементу было в посвящении в дьяконы, и тут на первом плане более важным и существенным казались мне такие вещи, как то, что мне достанется «дом» и «сад», что доход хорош, чем то, что́ налагает на меня сан, чем мои нравственные обязанности... Помню, когда посвящали меня, мне пришло в голову: «Не грех ли это? Не бессовестно ли?» Но дом, да сад, да жирный бок жены... он представлялся мне во время посвящения, в церкви... упругий, молодой бок эдакий, — и сомнения исчезли... Видите, как было мало совести-то у меня! Да у всех-то больше ли

ее было? Все, что жило тогда вокруг меня, было воспитано уважать дом, землю, деньги больше, чем правду своей души... «По крайности дом, по крайности деньги»,— говорил всякий, оправдывая какой-нибудь глубочайший проступок против своей совести. И никому это не казалось удивительным. Теперь пошло как раз навыворот... Ну, да что... буду рассказывать, как было!.. Вот как попрал я таким манером свою совесть-то, стал я жить поистине припеваючи. Правда, когда я ехал с молодой женой после посвящения в село, — случилось со мной что-то вроде прежнего: засаднило будто опять. Оглянулся я так-то на нее (сидели мы в телеге) и думаю: зачем? Хочу сказать ей что-нибудь — и вижу, что нечего... потому что совсем чужой человек со мной сидит... Хотел подумать об этом, тяжело как-то стало, страсть как тяжело, заломило во всех суставах... взял и обнял ее... и легче... Это случилось только раз... А потом, как только приехали, устроились, все пошло как по маслу. Мой начальник — отец Иван, священник — сильно успокоил меня и сразу установил меня на настоящей точке... Руб, гривенник, «бумажка» — словом, деньги во всех видах и качествах; это был его бог, это была его подлинная вера, надежда, любовь и софия-премудрость — всё! Он, отец Иван, есть не более, как кошелек, — я думаю, он и сам так представлял себя, — кошелек одушевленный. Это был кошелек, да и сам он если не считал себя кошельком, то не отказался бы от этого прозвания, а вся вселенная, все, что есть между небом и землей, все это не более, как вместилище разного рода крупных и мелких денег, которые частью должны перейти в кошелек отца Ивана. И как только какая-нибудь монета, вращавшаяся во вселенной, попадала к нему, он был счастлив и доволен, и цель его жизни поддерживалась как нельзя лучше. Любо было смотреть на его маленькие глазки, когда в руках его оказывался руб, гривенник... Он сам был маленький, грязненький, толстенький и неряшливый человек; но когда ему попадала бумажка, все грязцо и сало и масло, которыми он был пропитан и пахнул, таяло, сверкало и расплывалось от тепла душевного. Уже одна эта искренняя радость при виде денег необычайно успокоительно действовала на меня: миросозерцание делалось определенным, особливо если принять в расчет,

что разговоры отца Ивана, разговоры искренние, без сомнений и колебаний, тоже были исключительно о деньгах и действовали поэтому не менее сильно... «Вот он червь-то!» — говорил он, пряча рубль, полученный с мужиков за молебствие против червя, и, добродушно улыбаясь, звонким поворотом ключа запирал его в столик. И мне было так легко, когда я глядел на него в это время. В самом деле, что же могло выйти из всей истории о черве? Кто прав в ней? Мужики ли, которые служили молебен, или отец Иван, запиравший рубль? Разумеется, он... Я теперь ни за что, кажется, не сумею пересказать вам, как он изощрил свой ум на то, чтобы знать, видеть, где, и как, и у кого можно получить копейку... И как он был приспособлен достать ее!.. Как он извивался перед помещиком, как грустно упрекал мужика в нерадении к храму божию, как искусно притворялся перед начальством, выпрашивая пособие на учебные принадлежности, как добродушно и ядовито улыбался, запирая в столик деньги, полученные от барина, как самодовольно поглаживал бороду, когда растроганный мужик, радея к храму божию, целый день возил, например, из лесу дрова на двор к отцу Ивану. Всего не перескажешь; но по совести скажу, что этот человек с такими определенными, непоколебимыми взглядами на божий свет, как на рубль или гривенник, а главное, искренность этого взгляда произвели на меня самое успокоительное впечатление. Мало-помалу я стал терять возможность иначе смотреть на белый свет: все устроено, чтобы нам получать, и не нам одним, а всем. Тревоги этого получения — труд, а жизнь — это отдых с женой, еда, сон... Вот и все! Положение мое в денежном отношении было недурное: у жены дом и деньги; жили мы одни, потому что вдовый отец ее пошел в монастырь доживать свой век. Жажды к копейке у меня не было, да я и не нуждался в ней... Я даже мог, как бы сказать, либеральничать над теорией отца Ивана, — но что теория эта настоящая, я не мог, или перестал, сомневаться.

Стало мне очень покойно...

Любо мне было, завалившись с женой на кровать, проспать до утра, потом отправиться с требой, поесть, попить и воротиться с деньгами... Серьезно вам говорю — есть, знаете ли, жрать — было приятно. Выпьешь водки,

поешь и ляжешь... Вот какое животное... Разговаривать идешь к отцу Ивану и тут тоже хорошо проводишь время... Сидит какой-нибудь гость с загорелым лицом, с талией, перетянутой ремнем, человек, очевидно, практический (у отца Ивана знакомые всё — практичные люди), и ведет какой-нибудь разговор, ну, например, такой...

— И стал он, как полая вода, ездить на лодке по моему лугу и рыбу ловить... Думаю, ведь луг-то мой... да и вода-то, стало быть, хошь она и полая — тоже моя, ежели она на моей земле, а следовательно, и рыба ведь тоже моя... Так ли я говорю?

— Тва-ая! чистое дело, твоя! — глубоко убежденно вторит отец Иван.

— Н-ну, — продолжает собеседник: — ну, судари мои, думаю, ведь надо бы мне с него взыскать?.. За рыбу-то... Думал, думал — нет! Поймать ежели — насильство!.. Честью говорить — не даст ни копейки!.. Что же ты думаешь?

Замирали мы с отцом Иваном в такие минуты. Ожидаешь какого-то чуда, чего-то восхитительного... А восхищал нас процесс поимки рубля, который, повидимому, совершенно не дается...

— Что ж ты думаешь? Ведь придумал!..

Тут обыкновенно рассказчик останавливался, он знал, что доставляет нам удовольствие, что длить это удовольствие — вещь приятная, и приостанавливался. Вся потная от жару и от чаю, попадья наливала новые чашки, батюшка вскочил и захлопнул дверь, чтобы не мешали цыплята, и все приготовилось слушать, у всех настоящая жажда, даже в горле саднит от предстоящего удовольствия. Наконец рассказчик начинает, но не сразу.

— Думал, думал, — говорит он опять: — ничего не придумал, не выходит! так ежели взять — попадешься, а так — промахнешь!.. Что тут делать?.. Советовался там-сям... Заплатил одному адвокату три рубля... Помямлил-помямлил — путевого ничего нет... Погоди ж, думаю!

Опять перерыв, с самым напряженным ожиданием.

— Взял я... — по словечку, точно по золотому, даря нас, медленно и отчетливо говорил рассказчик: — взял я и засадил луг-то яблонями... пять яблоночек посадил...

— А-а-а... — шипит отец Иван, прищуривая глаз и догадываясь.

— И вышел у меня, — тоже шопотом, тихо-тихо и тоже прищуривая глаз, захлебывается рассказчик: — и выш-шел у меня — сад!

— Хха! — точно к студеному ручью припадая в жгучей жажде, издает отец Иван.

— Да как пришла полая-то вода, — возвышая голос с каждым следующим словом, продолжает рассказчик: — да как поехал он, судари вы мои, по лугу-то лодкой, и наткнись на дерево, да и сломай!..

Это слово рассказчик кричит, потому что это означает победу!..

— Ну, и...

Рассказчик не продолжает. Мы и так уже понимаем, в чем дело. «Ну, и...» Это значит — ну, и подал к мировому, что в фруктовом саду поломано деревьев на сумму, примерно, до полутораста рублей пятидесяти трех копеек... и т. д.

Договаривать этого нечего и незачем.

— И много ли ж? — спрашивает отец Иван.

— Пять-де-сят рубликов!..

— Барзо! — говорит отец Иван.

И смеемся мы потом за чайком довольно весело. Любо нам толковать о том, как *«он»* не хотел платить, вертелся, изворачивался, а все-таки заплатил... Любо было знать, что мало того, что заплатил, да и еще сколько денег извел — беда!.. Иной раз, верите ли? вспомнишь теперь, так просто страшно!.. Точно разбойники собрались или волки — такие у нас бывали звериные разговоры...

— Да заплатит ли? — спрашивает отец Иван.

— Запла-атит.

— Да есть ли деньги-то у *него?*

— Пятнадцать тысяч в банке!

— Справку, что ли, делал?

— А то как же? Известно, справился...

— А ну, как упрется?

— А в острог не хочешь? Ведь он — надворный советник, неужто захочет на старости лет под арестом сидеть? Отдаст!

— Много ли ты с него кладешь?

— Пятьсот!

— Ничего... Хорошо, как отдаст-то...

— Отдаст! Подведу под обух, так отдаст!.. У меня шрам-то, как ударил, посейчас цел... Отдаст!

— Дело хорошее!..

Вот таким-то родом зверинствовали мы. И говорю вам, что в это время по совести, потому что совесть-то моя оказалась свиною, по совести полагал я, что только рубль — настоящее дело; что только кусок в желудке да жена ночью рядом — настоящее удовольствие, а все остальное — *только так*... Как ни совестно, а скажу вам, что и на свои служебные обязанности я смотрел только так... Для виду, казалось мне, устроена школа, ибо чувствовалось мне, что никакой науки не надо и все это — средство только «получить со школы» что-нибудь. «Только так» разъезжает посредник и другое начальство, а что крестьянин, мужик, работал, воротил и зяб, так это мне казалось вполне законным. Я ни капельки не думал об этом, потому что мужик так был сам пропитан сознанием своих обязанностей, что не давал труда подумать о нем, особливо человеку с такими свиными наклонностями, как у меня. Я не приневоливал его давать мне свои деньги, своих кур, свои пироги, не приневоливал его служить молебен от червя; он не обижался на меня, если молебен не помогал ему. Отслужив и получив с него деньги, я в случае неудачи ничуть не чувствовал на душе укора, потому что ни разу не слышал я от мужика упрека себе в этой неудаче моей молитвы. Напротив, он, мужик, приписывал неудачу своему греху, считал себя виновным, недостойным милости божией, а я, дьякон, вместе с отцом Иваном, мы ходатайствовали за него. «Не умолили царицу небесную!» — говорил съедаемый червем крестьянин. «Да, — грустно говорил ему отец Иван, — прогневался на вас господь — и отчего? — прибавлял он. — Все оттого, что не радеете к храму божию. Ты бы вот, ежели бы, конечно, был в вас бог, взял бы да подсобил когда-нибудь отцу-то твоему духовному. Ан бы и зачлось у бога... А то вот тогда только и приходите в сознание, когда уже господь совершенно разгневается и нашлет кару». — «Это верно!» — говорит мужик. «Ну то-то и есть, поди-ка вон да перевози мне дубки из Егоркиной рощи, ан и легче будет». — «С моим удовольствием!» —

говорит мужик и действительно с великою охотою принимается возить дубки, веря, что через это он угождает богу. Поглядишь на эту непритворную охоту, желание возить дубы и ворочать камни для тебя, посредника между деревней и небом, и, право, поверишь, будто все это так и надо.

Коротко вам сказать, через пять-шесть лет и совесть и сердце мое сильно позатянулись толстым слоем равнодушия ко всему... Уважать я уже почти никого не уважал, зная, что почти все плутуют, норовят поддеть друг друга, чтобы больше захватить самому. Был доволен, что и мне отведен на земле участок и дана возможность не оставаться с пустыми руками. И более не думал ни о чем и не верил ничему, что не было простым свинством... И в такой-то девственной душе вдруг проснулась совесть... Не чистое ли это наказание божие?

IV. Учительница

— Случилось это совершенно неожиданно. Еще бы годик-другой — и на моей совести наросла бы такая кора, которой не прошибить бы никакими пулями. Но вышло иначе. Дело произошло самым простым манером. Приехала к нам в село учительница в земскую школу, госпожа Абрикосова. Фигурка из себя довольно поджарая, хлябковатая... и *из новых*. Очень это нас смешило с отцом Иваном. Привыкнув смотреть на все людские дела и помышления как на средство получить кому-нибудь с кого-нибудь рубль, мы не могли без смеха видеть того, кто думал иначе. Кроме того, всё *новое*, само по себе, нам уже казалось глупостью. У нас были примеры помещиков, затевавших в своем хозяйстве новые порядки и кончавшие разорением, при всеобщем смехе соседей и всех опытных людей. У нас были перед глазами тысячи нововведений правительственных, которые оканчивались ничем или подтверждали только нашу теорию, то есть нововведение было *только так*, а суть состояла в уменье, во имя этого нововведения, как можно больше получить пособий, прибавок, разъездных, подъемных и, наконец, награду, — конечно, если можно, денежную. *Только так*

смотрели мы и на крестьянскую школу. «Все рубликов пять дай сюда», — говорил отец Иван, определяя этими словами и цель существования школы и личные к ней отношения. Судите теперь, как было нам смешно смотреть на госпожу Абрикосову, которая на наших одеревенелых, свинцовых глазах стала добиваться чего-то от сельского общества, суетилась, бегала из угла в угол и роптала. Очевидно, она хотела произвести какое-то нововведение, а мы, глядя на то, как к ней относилось сельское общество, тоже смотревшее на ее нововведение *только так*, как оно надувало ее и сердило, могли только хохотать, сидя за чайком, и удивляться вновь прибывшей учительнице.

— Получала бы себе свои десять рублей да сидела бы смирно, — говорили мы.

— Чего еще? — говорил отец Иван. — Десять рублей — хорошие деньги!

— Еще бы!.. Задаром-то!..

— Это и я бы, пожалуй, взялся так-то... Право... да что же! — говорил отец Иван. — Всё — *«дай сюда»!*

Вот эдаким манером смотрели мы на госпожу Абрикосову. Кроме того, и из себя она, как я уже говорил, была не очень, чтобы... Так что вообще — была она у нас в полном равнодушии.

Не помню, как, когда и по какому случаю, только однажды зашел я к ней. Общество отвело ей сырую и разоренную избу; ни лавок, ни скамеек не было, ничего еще не приготовлено, хотя давно было все обещано. Застал я ее в таком виде: сидит на полу, — разостлан платок этакой, ковровый, на полу, — закутана от холоду в какие-то тряпочки, а кругом ее штук десять ребят — и мальчики и девочки. Тоже укутаны кой-чем; должно быть, это госпожа Абрикосова их укрыла, потому тряпки-то не деревенские были. Сидят они таким манером и учатся. «Что вам, говорит, угодно, отец дьякон?» — Я, мол, *так*. — «Ну извините, говорит, теперь мне некогда». И продолжает. Это меня озадачило. Все же таки, как бы там ни было, пришел человек, очевидно, в гости и этак... хороший человек, по-нашему, сейчас бы разогнал всех этих мальчишек и девчонок, сейчас самовар бы, да перед чаем по рюмочке. А тут как-то довольно сухо и этак... неприятно... Даже я заскучал от этого. Сел, сам

не знаю зачем, на пол и сижу. Сконфузился я весьма. Так ведь что ж вы думаете? Битых два часа ни словечка с гостем не сказала — все учит. Толкует, толкует, раз двадцать одно и то же повторит, да рассказывает-то все что-то непонятное. Утомился я, себя не помню. Голод стал чувствовать; захотелось закусить, водочки, селедочки, на желудке ворчит, а она все ду-ду-ду... Встать, уйти — не могу, уж очень я сконфузился от приему, а слушать устаешь, не привык долго быть без угощения! Просто смерть! Разломило всего, в боках боль, пот!.. Такая меня взяла досада на ребятишек на этих — так бы всех и разогнал по шеям. Наконец уж кое-как кончили. «Ну, говорит, идите теперь по домам, а вечером опять приходите, кто хочет, — сказку буду читать!» — «Все придем!» — закричали и стали с ней целоваться, говорят: «милая Марья Васильевна», «желанная». Точно родная семья. И это мне очень неприятно показалось, очень нехорошо. То есть хорошо-то хорошо, я вижу, что так и надо, а н-неприятно как-то... И даже как будто не в душе, а на желудке у меня стало неприятно; у меня тогда все на желудке больше обозначалось. Что-то вроде как саднит... Ушли все. «Вот теперь, говорит, пожалуйте ко мне!» Пошел. За перегородкой стол и кровать. На столе книги. Окно все в снегу. «Вот, говорит, тут я сама работаю!» — «Дурное, говорю, у вас помещение. Вы бы, говорю, сударыня, жалобу *на них* (на мужиков, конечно)». Засмеялась. Стало мне несколько легче. Оправился я, почувствовал в себе развязность, говорю: «Да, в самом деле, что *на них* смотреть?.. *Им*, говорю, смотри в зубы-то!.. Вот как приедет посредник да разузнает как следует, так и явится все. Нет, сударыня, говорю, тут без палки ничего не будет». Смеется все. А у меня еще более прибавилось развязности, и стал я в юмористическом этаком роде описывать ей, как мы Христа славим; изобразил этак ей, что вот, мол, и в нашем духовном деле нельзя без этого обойтись. Придешь к иному, отславишь — хвать, в избе никого нет: хозяин спрятался, за дверью где-нибудь стоит, вытянулся. «А, говоришь, друг любезный, ты что ж это, так-то почитаешь отца своего духовного!» — «Прости, говорит, батюшка, ей-ей ничего нет». А между прочим курица по сеням бегает, что́ уже

явный обман... Естественно — ухватишь курицу и уйдешь, только таким манером с ним и можно.

Излагаю я это все в юмористическом этаком виде, в насмешливом, веселом тоне, и вижу: таращит на меня глаза и уж не смеется. «Неужели, говорит, это правда?» — «Истинная правда», говорю, да и еще ей этаким же манером, в юмористическом же, в этаком игривом тоне, изобразил ей несколько шутливых анекдотов. Заключение вывел ей такое, что смотреть *им* в зубы — невозможно, что надо с ними не очень чтобы тонко... И вдруг, не давши мне окончить, — «батюшка, говорит, да ведь вы проповедуете прямой разбой!..» И встала вся зеленая. «Это — денной грабеж», говорит. И забегала по горнице. У меня в зобу ровно кол засел от этого. «Как разбой?» Разинул я рот и не понимаю. Главное, в совершенно шутливом и юмористическом тоне происходил рассказ, и так неприятно поразить человека, с этакою неделикатностью прямо ему, можно сказать, в морду. «Как, говорю, разбой?» — «А как же, говорит: вы проповедуете просто грабеж. Рекомендуете мне жаловаться посреднику, чтобы с них взыскать силой, — мне, которой они из последних копеек платят жалованье, когда, говорит, им приходится работать, работать на всех, платить в сотни мест, когда еще отец их духовный придет и возьмет последнюю курицу. Неужели же это не денной грабеж?» — «Как же иначе-то? Как же, каким манером, говорю, получишь за труды? Ежели человек за свои труды не получает, то каким же родом иначе? Следовательно, говорю, если описывают по приказанию начальства имущество неплательщиков — и это грабеж? Да ежели бы не этаким манером, так и вы бы, говорю, вашего жалованья, сударыня, не получили вовеки. Ежели бы, то есть, без понуждения...» — «Да неужели ж, говорит, вы думаете, что у меня руки подымутся взять с них хотя медный грош! Я сама готова отдать им все, что у меня есть, — и это жалованье и все, что я заработаю. Брать с них! с этих босых детей, с этих отцов, которые прячутся за дверь от духовного отца. Брать с них!.. Да неужели это возможно? Неужели серьезно в самом деле вы можете схватить курицу? Вы шутите, батюшка, не правда ли?..» — «К прискорбию, говорю, хватаем и кур... когда видишь уклонение...» — «От чего уклонение?» — «От вознаграж-

дения». — «За что?» — «Да за труд, сударыня, за труд...» — «Да что такое именно вы делаете, за что вам надо платить?» И опять у меня от этого вопроса стало очень неприятно, как-то даже досадно. Отчего, и сам не знаю. Даже взбесило это меня. Да в самом деле, неужели не трудно человеку встать до свету, к заутрене? Иной бы преотлично почивал с супругой, а тут из теплой-то постели да на мороз... Да с требой по холоду, да «к боли», ночью, в слякоть. Как же не брать за труды? Попробовала бы, мол, ты сама этак-то, так и узнала бы, как это кур ловят. Разозлила меня. «Как знаете, говорю, сударыня. Очень неприятно, что огорчил вас». И ушел. И так мне было неприятно. Главное, что внезапно случилось. Шел себе человек *так*, просто попить чаю, например, и вдруг ему этак... чуть не «вор»! Поплелся я от нее в этаком расстроенном положении: и так, будто стыдно, и сердишься. В очень скверном был я от этого визита состоянии. Но как только рассказал я отцу Ивану, так все и прошло — и не стыдно ничего, и опять очень весело. Отец Иван сразу разобрал это дело так: во-первых, все это — не более как *штука*. Денег она брать не будет, положим, — бывали такие примеры, но это только подвох, чтобы быть на виду, потом забрать в руку что-нибудь почище, выскочить в прогимназию и уж там зацапывать сколько хватит. Во-вторых, это — земство делает контру начальству; посредник Гамлетов сам будет платить учительнице, чтобы она отказывалась от жалованья, чтобы тем пробраться... И тут отец Иван сплел удивительный, тонкий, как кружево, план, по которому посредник, по его мнению, должен был путем разных штук пробираться к чему-то такому, где можно зацапывать сколько влезет. Наконец, уж, ей-ей, не могу вам теперь рассказать, как, на каком основании, только все мы — я, отец Иван, жена отца Ивана и моя жена, — все мы поняли и решили, что учительница — просто любовница мирового посредника. Почему? Да потому, что *из-за чего же* ему платить ей свои деньги? *Из-за чего же* ей отказываться от своего жалованья, если у ней с посредником нет стачки, помощью которой он и она вытаскивают друг друга к каким-то выгодным местам. Так тонко плутуют только преданные любовницы. На этом мы и порешили. Нам необходимо было порешить на чем-

нибудь таком, от чего бы нам было попрежнему покойно. Непременно нам хотелось и на душе и на желудке сохранить то же благополучие и ту же ясность, что была у нас всегда, и нам надо было придумать что-нибудь, чтобы неприятный факт был подлажен под наши взгляды. Подладили мы его, как сами видите, очень топорно; но для нас было и это хорошо. Правда, в ту же ночь, когда мне случалось проснуться, мне, несмотря на составленную нами насчет госпожи Абрикосовой теорию, становилось как-то неловко. Точно сон какой-то дурной видел. Припоминалась она мне в ту минуту, когда, позеленев от гнева, сказала: «да это — грабеж...» Припоминался ее горький вопрос: «да неужели вы хватаете кур?» — и другой вопрос: «да точно ли вы в самом деле дело делаете? точно ли, мол, вам надо платить?..» Становилось мне от этого как-то очень и очень тоскливо, тяжело, как будто что-то мелькало в глубине совести, что-то начинало чуть-чуть светиться там, едва обрисовывая какие-то неопределенные, безобразные фигуры. Я торопился улечься опять в постель под горячий, неподвижный, как каменная стена, бок жены и, чтобы успокоиться, задавал себе вопрос: *из-за чего же она-то?* И так как вопроса этого *я не мог*, положительно *не мог*, разрешить чем-нибудь, кроме выгоды, то и возражения госпожи Абрикосовой на мои мнения о понуждении мужиков, и ее гнев за курицу, и бескорыстие казались мне не более, как штуками. Если это — не штуки, думал я, так *из-за чего же* бьется она с утра до ночи с мальчишками и девчонками; *из-за чего* она не требует себе хорошего помещения, а зябнет в каком-то хлеву; *из-за чего* не берет жалованья?..

И вот этого-то «*из-за чего*» я тогда уже не был в состоянии понимать. Сердце-то мое уж обухло, и совесть-то попримерла... Порешив таким манером, мы с полным спокойствием продолжали смотреть на продолжение учительницею ее штук. Скоро мы даже забыли о ней, забыли и о том, из-за чего все это происходит, хотя на наших глазах штуки ее завоевывали на ее сторону все крестьянское население, хотя на наших глазах не умеющие ничего сделать без палки крестьяне устроили ей школу в новом помещении и снабдили всем необходимым. «Хитра штучка», — говорил отец Иван, и я думал то же,

то есть что хитра должно быть. В таком положении было состояние моего духа, когда случилось новое неожиданное обстоятельство, заставившее всех нас снова обратить внимание на госпожу Абрикосову...

Сплетничали мы раз как-то с отцом Иваном и с каким-то практическим гостем за чайком, и между прочим зашел разговор и об учительнице. Все мы посмеялись над ней и порядочно-таки загадили своими соображениями ее поступки...

— Да какая это Абрикосова госпожа? — спросил гость. — У нас в губернском городе был купец Абрикосов...

— Это — не тех! — сказал батюшка. — Те Абрикосовы — известные богачи, я их довольно хорошо знаю... Один из них женат на молодой, тоже богачке, дочери купца Овсяникова, Василья Иванова, известного мошенника и кулака... Это — не тех, те — богачи... Куда тем в учительницы...

— Ох, — сказал гость: — не тех ли?.. Овсяникова-то, про которую говорите, что выдана была замуж за Абрикосова, ведь она от мужа-то ушла...

— Что ж такое? Уж наверное же она ушла с любовником и с капиталом... У той капиталу тысяч пятьдесят своих... А у этой один шиш... Станет этакая госпожа да сидеть в конуре... Нет, это — не тех Абрикосовых, это — так какая-то, должно быть из проходимок.

— Ох, — говорит гость: — не та ли?.. Что-то мне чудится, что она и есть... Как звать-то ее?

— Марья Васильевна.

— Ох, что-то как будто она самая и есть!.. Ей-богу, право...

— Нет, быть не может,— говорит отец Иван.— Из-за чего ей идти в такую трущобу? Посуди сам! Или каким манером уйдет она без капиталу, кто может бросить свои деньги? Спрашивается, *из-за чего* я брошу пятьдесят тысяч и пойду к мужикам работать за десять рублей? Посуди сам! Ведь это только с ума сойдешь, так тогда разве... Да нет, не может быть... Это — не та Абрикосова, эта — так какая-нибудь из мелких...

— Так-то так, — твердил гость: — а что-то мне чудится...

— Нет, нет...

— Может, и нет... Да вот я в городе буду, поспрошу...

— Ну, вот спроси... Увидишь, что не та!..

Каково же было наше удивление, когда недели через две тот же самый гость, снова посетив нас, привез нам известие, что госпожа Абрикосова, теперешняя наша деревенская учительница, есть именно та самая Абрикосова, о которой он думал, та самая Марья Васильевна Овсяникова, дочь богача, вышедшая несколько лет тому назад замуж тоже за богатого купеческого сына Абрикосова... Мы узнали, что, пожив с мужем год или два, она ушла от него, ушла не к родителям, богатым купцам, а в какое-то чиновничье семейство, и не только не захватила с собой денег, но не взяла даже ни одной тряпки... Узнали мы, что у нее есть и деньги и дом и что все это она бросила и ушла.

— Да не может быть! — совершенно изумленный, даже побледневший от изумления, говорил батюшка. — Это что-нибудь не так... Собственный дом, говоришь?

— Двухэтажный каменный дом и лавки.

— Это невозможно! Это что-нибудь неправильно. Дом, лавки... Нет, тут штука какая-нибудь... Дом... Неужто дом?..

— Перед истинным богом... Каменный двухэтажный, лавки, например, и питейные дома...

— И не касается?..

— Ни-ни-ни, боже мой!..

— Да это — не та Абрикосова! Это ты не то...

— То, те самые!

— Да нет, не те... Из-за чего, посуди ты сам, бросить ей дом и биться из-за куска хлеба?.. Лавки! Питейные дома!.. Нет, это неправильно... Это — не та...

Несмотря на недоверие батюшки к словам гостя, последний уехал, упорно утверждая, что это — та самая Абрикосова, которая имела богача-отца, потом богача-мужа и которая, бросив теперь и богатых родителей, и богатства супруга, и доходные кабаки, сидит в бедной деревенской школе и учит бедных деревенских ребят.

— Нет! — очевидно ничего не умея сообразить, говорил отец Иван по уходе гостя. — Нет, это — не тех Абрикосовых, это не та...

И, помолчав, прибавил:

— Нет, это что-нибудь не так. Иначе из-за чего же?.. Нет, это не так...

Почти уж вполне согласный со взглядами отца Ивана на вещи, я тоже думал, что это была не та Абрикосова... Я тоже не понимал, из-за чего это можно бросить дом, деньги, лавки и сидеть в деревенской школе... Но уверенность гостя, утверждавшего, что это — именно та самая Абрикосова, невольно заставляла меня задумываться над труднейшим для меня вопросом: из-за чего?.. И опять что-то, вроде каких-то зарниц, пробегало у меня в темной ночи моей совести. Бросить дом, деньги, питейные дома, идти в бедную деревенскую избу, сидеть день и ночь в душной атмосфере, с полураздетыми ребятишками, отдавать им свое трудовое жалованье, негодовать на захват кур во время христославленья, называть это грабежом... все это вместе не один раз припомнилось мне, и стало мне думаться...

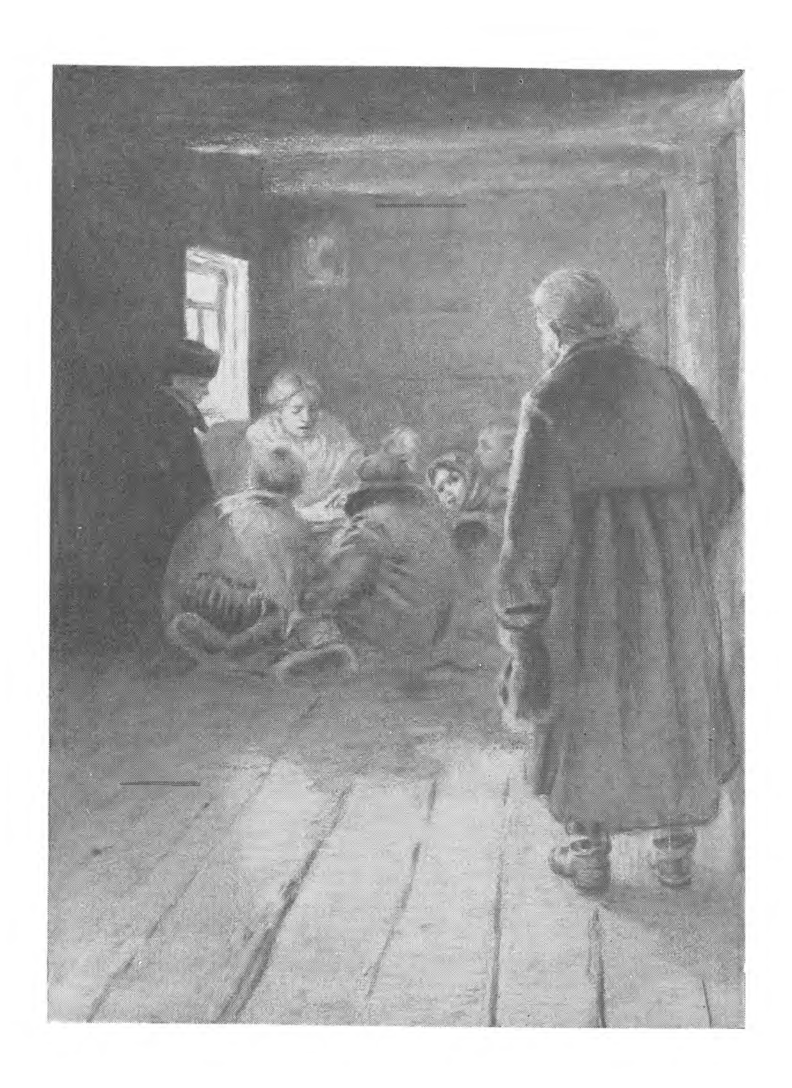
Вот с этого самого времени, должно быть, я и заболел. Стало мне думаться, что есть на свете люди, которые живут не из-за своей только выгоды, как мы с отцом Иваном, что есть что-то другое, кроме наших утроб и кошельков. Стало мне очень тяжело от этого: главная причина — думать совершенно отвык, то есть собственно и не привыкал думать-то. И уж так-то мне стало тяжело! Словно вот камни ворочаешь двадцатипудовые, когда начнешь думать, — болит все, ей-ей, и в поясницу хватает, и на желудке саднит. Так что всеми мерами ухитряешься не думать либо как-нибудь так отделаться от этого всего... Водки, например, выпьешь рюмок шесть, ну и уснешь.

Полегчало мне немного, когда отец Иван придумал еще новую историю для объяснения поведения госпожи Абрикосовой. Изобразил он это дело так, что якобы она ушла от мужа с любовником и зацепила при этом деньги. Любовник же деньги от нее, конечно, взял, а самое госпожу Абрикосову прогнал: вот она и поджала хвост на десяти рублях, ибо к мужу боится уж показать нос. По нашим свиным взглядам, объяснение это было очень, можно сказать, удовлетворительным, так что день или два, благодаря ему, я вновь как бы вошел в настоящие мои аппетиты: и на желудке стало спокойно, и ночью

спал хорошо. Но «дом, лавки» вдруг припомнились мне и всё расстроили. Припомнились они мне как-то вдруг, ночью, впросонках... «Уж ежели бы госпожа Абрикосова была распутница, то не только бы не оставила втуне собственного дома, а зацепила бы с помощью любовника и чужих домов и лавок столько, сколько бы можно было захватить...» И припомнилось мне ее лицо, худое, больное, уж вовсе не распутное; и припомнилась мне первая встреча, когда я застал ее на полу в избе, окруженную ребятами. И припомнился мне ее гнев за христославную курицу, и сразу так опять стало скверно, так скверно, что даже злость взяла меня за сердце. Разозлился я на отца Ивана за глупость, которую он сочинил, разозлился на курицу, которая заставляет силою хватать себя, разозлился на то, что вот ночь, добрые люди спят, а ты вот тут, чорт знает отчего, лежишь с вытаращенными глазами, думаешь обо всякой дряни... Встал я с кровати, выпил рюмки три водки, походил, поглядел в сени, заглянул на двор, — а на дворе кучи навозу, и в сенях кучи сору, и корыто с помоями, и грязь повсюду. В первый раз я это заметил и удивился: зачем, мол, вокруг нашего брата такая гибель навозу? Ей-ей, в первый раз подумал: — точно свиньи, мол. И еще больше огорчился... Выпил даже еще рюмки четыре — заснул и проснулся злее злого чорта... потому что пил не от удовольствия. Целый день потом я бесновался: орал на работников, на жену, придирался ко всему. И ведь что вышло-то: стал ругаться за навоз, за нечистоту; гляжу, что ни шаг, все больше и больше грязи. Платье на жене — хуже грязной тряпки. В чаю волосы попались, кровать — и не говори!.. Вижу — действительно, свиной хлев!.. А и не замечал этого, так пригрелся к навозу! А за этою грязью, гляжу, лезет другая. «Авось, мы — не господа!» — возражает мне жена, то есть насчет того, что только у господ все вылизано и вытерто, на то там и лакеи... «Авось, мы — не господа!» Эти слова показались мне столь глупыми, что жена вдруг как бы совершенно мне опротивела. Главное, что при свиной моей жизни никогда мне не было надобности ни в уме, ни во взглядах жены... Нужен был только теплый бок. А тут, как коснулся я этого предмета, например, ума, и вдруг сообразил, что в уме этом бог знает сколько всякой дряни. Одна фраза сразу при-

помнила мне всю умственную дичь и чушь, господствовавшую между нами, и я свету не взвидел от отвращения. В первый раз я жестоко поругался с женой, и она не уступила мне в уменье ответить значительным запасом всякой словесной грязи. Хорошо, что во время этой перепалки позвали служить напутственный молебен отъезжавшей за границу нашей помещице. Это меня отвлекло. А то бы я и опился бы со зла и изозлился бы вконец. На молебне я рвал и метал; отец Иван и помещица несколько раз оглядывались на меня, как я швырял кадилом чуть не по мордасам присутствовавших... Но как вы думаете, что меня усмирило? Деньги! Ощутив в руке две рублевые бумажки, я почувствовал вдруг какую-то нежность в душе. Тепло какое-то... И почти сразу опомнился. Думаю: «Что это я натворил? Из-за чего?..» И затих. И с женой помирился... Правда, воротясь я застал ее хоть и злою, но уже в чистом платье и в прибранной комнате. И на ней отозвались добром эти лавки и дом, покинутые Абрикосовой!.. Вот какое умиротворяющее влияние имели на меня материальные блага!.. На неделю или даже больше вновь освинел и успокоился я благодаря этим двум рублевым бумажкам.

Но увы, как бы я ни желал этого, совсем успокоиться и освинеть в той мере, как это было недавно, я уже не мог. Меня побуждала думать на этот раз та грязь домашняя, которую я разрыл совершенно случайно, благодаря тоске, заброшенной в мою душу небывалою потребностью понять небывалый факт. Тысячи разного рода мелочей, на которые я уже совершенно привык смотреть как на неизбежное, стали вдруг почему-то тревожить меня. «Иди, что ль, спать-то, до которого часу будешь сидеть!» — скажет мне из-за перегородки жена, и, сам не знаю отчего, станет ужасно скверно как-то... А прежде этого не бывало... Стала захватывать мою душу какая-то пустота... Какая-то слабость в теле одолела меня, зевота... Ни спать, ни есть, ни пить не хочется. Кто что ни скажет — все не так, не по мне. А как именно надобно — не знаю!.. И стало со мной с каждым днем все хуже и хуже. Раз так пришло, что думаю: «хоть почитать что-нибудь!» Надумал пойти к учительнице книжечки попросить. Кое-как собрался, пошел. Прихожу. Сидит, пишет.



«Помешал, мол?» — «Нет, говорит, успею, я устала. Давайте, говорит, пить чай...» Принялась ставить самовар, и у меня как-то хорошо стало на душе. Вижу, и она не имеет злобы. Ставила самовар и говорила: «Я, говорит, сегодня очень довольна, можно и покутить». — «Чем же так?» — спрашиваю. «А, говорит, очень много поработала; на четвертную, кажется, наработала-то; рублей, следовательно, на двадцать на пять, этак вот». — «Деньги, говорю, хорошие!» — «Я рада, говорит, что моим ребятишкам будут и книги и карты, да гостинцев немножко купим. Ах если бы, говорит, можно было еще работы достать! То-то бы мы зажили с ребятами. Чулки бы у нас, говорит, были бы, и сапоги, и рубашек бы мы нашили себе». И стала тут убиваться, что нет работы, окроме что с иностранного, да и ту, говорила, расхватывают... еле-еле ухватишь, говорит, какой клочок, и то хорошо, что знакомые есть в Москве, — присылают кой-когда хоть немножко, а то бы и совсем ничего не было. «И не знаю, как бы тогда я на ребятишек смотрела. Я бы, говорит, не вынесла их нищеты». Тем временем поспел самовар. Пьем мы чай, и говорит она: «Расскажите, говорит, отец дьякон, что-нибудь про крестьян. Вы, говорит, должны их знать». — «Да что это, говорю, сударыня, у вас за охота до всего до этого? Вы уж очень, говорю, убиваетесь». — «Ах, говорит, батюшка, по-моему, так всем, в ком есть совесть, надобно только об этом об одном и убиваться. Из-за чего же жить?» говорит. «Как из-за чего? говорю. Вот, говорю, рассказывают, не знаю, правда ли, нет ли, будто бы дом у вас каменный и лавки... и, например, нужды, следовательно, мало, собственное хозяйство». И разъясняю ей так, что и в хозяйстве хлопот довольно, окроме что с мальчишками (чуть было не брякнул «с этими, с поросятами»). Засмеялась она на эти слова и вздохнула. «Нет, говорит, батюшка, думать о своем хозяйстве, это будет чистый грех, когда...» — «Да ваш ли, говорю, дом-то?» — «Мой!» — «И лавки?» — «И лавки, говорит, и кабаки, и лабазы».— «Так что же вы, говорю, этак-то?» У меня даже под ложечкой заболело от зависти. «Как же я, говорит, могу взять чужое? Все это мой отец и отец моего мужа нажили чужими трудами, как же я могу взять для себя хоть грош?.. Ведь это — кровь и пот...» И тут загорелись

у нее глаза, и вся она ровно бы в лихорадке какой принялась объяснять... И что ж? Час по малой мере толковала она, и, ей-ей, так явно увидал я, что это правда... «Где же, говорит, у людей совесть-то после этого? А бессовестно я поступать не могу... Вот я и бросила все эти лавки...» Так верно объяснила она мне, что я не мог ни единого слова возразить ей. «А супруг, говорю, ваш?» — «А супруга, говорит, я оставила потому, что не любила его». — «Ну, говорю, а брак-то?» — «Что ж, говорит... Брак требует любви... Что ж мне делать, если я не люблю, а лгать я не могу». — «Так и ушли?» — «Так, говорит, и ушла». — «И от приданого отказались?» — «Да, от всего отказалась». — «От всего?» — «Да, все оставила мужу, лишь бы он не трогал меня. Кроме того, говорит, он наживает деньги тоже не честным трудом, и, стало быть, он — мой враг». — «Так неужели, говорю, из-за этого?» — «Да, из-за этого! Я не могу притворяться... Я не люблю мужа и ушла от него, мне страшны деньги, нажитые неправдой, — и я бросила их... Я сознаю, что всю душу надо отдать на помощь бедному, и что могу, делаю для него... Но я, говорит, почти ничего не могу сделать, а если бы вы знали, как это меня мучает...» — «То есть из-за чего же мучаетесь?» — спрашиваю. «Да мне больно смотреть на бедных, и я так мало могу сделать для них». — «Собственно из-за этого?» — «Да!.. Да вы думаете, это не стоит мук?» В первый раз у меня заныло сердце... Все, что она рассказывала, я видал сотни раз, но никогда не пришло мне в голову подумать о том, точно ли это все так должно быть... А тут она все мне вывернула наизнанку... Я сидел и слушал, точно пойманный вор, и не знаю, когда бы я ушел от нее, если бы на грех не позвали «к боли». Именно случилось это на грех. Наслушавшись ее разговоров, я чуть не заревел в мужицкой избе, где помирал старик. Вся семья ждала смерти его, с трудом делая плаксивые физиономии и думая о том, кто из наследников возьмет новые ременные вожжи, кому достанутся ульи и кто захватит гнедого жеребца. Отец Иван притворно умиленным тоном читал отходную и думал о том (я это знал как дважды два), сколько ему перепадет в руку. И, тяжело дыша, лежал труженик, всю жизнь работавший, не разгибая спины, всю жизнь прикованный

к земле цепями нужды. Хрипело у него уж в груди, и дыхание по временам почти прекращалось, остатки мысли еще не совсем угасли, и по временам старик что-то шептал. «А хомут... Ивану... — открывая полумертвые глаза, хрипел старик: — а мерина... чтоб без ссоры... без свары...» И на этом старик умер. Эта смерть, которых я видел сотни на своем веку, ударила меня ножом в сердце. Сколько умирает тружеников с мыслью о хомуте, о мерине как о чем-то глубоко дорогом, доставшемся неусыпными трудами!.. Вспомнились мне эти неусыпные труды, из которых и я, наряду с множеством другого рода охотников до готового, тоже рвал куски и на свою долю. Вспомнилось мне все это, и захватило дыхание. Даже деньги не порадовали меня. Я чувствовал тяжесть в кармане, где лежали они, хотя это были только два серебряных двугривенных. Я уныл глубоко и, сидя с отцом Иваном в телеге, всю дорогу молчал. Теперь тоска моя была уже не на желудке: я теперь уже ясно видел — *из-за чего!..* Да, милостивый государь, госпожа Абрикосова живет во имя правды, а наш брат жил во имя утробы... Это я теперь очень хорошо понял!

V. Болезнь

— ...Вот таким-то манером и настигла меня, милостивый государь, беда, мучения и болезнь... Нежданно, негаданно в освинелую мою душу вдруг влетело что-то божеское, — и стала мне чистая смерть от этого... И откуда бы этому всему взяться? Что такое эта госпожа Абрикосова? Истинно говорю вам — никогда она не представляла для меня интересу, и нехороша, и все... А вот поди ж!.. нет, уж это, надо думать, время такое настало, что совесть начала просыпаться даже и совсем в непоказанных местах... Примерно взять ежели мою душу: место тут для чистой совести весьма неудобное, — ни стать, ни сесть, а ведь пришла же! И на госпожу Абрикосову тоже как-нибудь нашло. Этаким манером, хоть как и на меня... И ее выгнало из каменных палат... Такое время... судебное...

Как бы там ни было, а засела у меня в голове мысль о правде... И стал я по ночам не спать — думать... Даже

без ужина ложился. А это в нашем свином обиходе очень много означает — не поужинавши лечь... По ночам не спишь... Чешешься беспрерывно... Что значит, например, — мысль!.. И надумал я так, — что нет во мне правды ни на единый волос... По совести ли я взялся за духовную часть?— Нету. По совести ли вступил в брак?— Нет... Исполнил ли обязанности мои как лица духовного, да и просто как человека, которому господь дал сердце и совесть, — исполнил ли, говорю, их относительно своего ближнего? — Нет и нет... Заныло, заболело мое сердце — отроду не чувствовал я такой боли. И с каждой минутой все сильней становилась эта боль, потому что думалось все дальше и больше... Рад бы, всей бы душой рад был я думать меньше, даже бы совсем не думать — еще того было бы превосходнее, — нет! Лезет вот все дальше и дальше, без всякой жалости... Что говорят — не слышу, поддакиваю, в церкви стою с кадилом как сумасшедший и не понимаю — что это у меня в руках такое медное?.. Ей-ей!.. Страсть, как я мучился в ту пору...

Долго ли шло это, коротко ли — только почти что без остановки думал я до самого корня: выходило так, что надо бросить все, дом, имущество, духовное звание, — и во вретище идти, в поте лица своего вырабатывать хлеб... Вышло это совершенно для меня явственно и обстоятельно, то есть вот как на ладони. Оставалось только взять котомку на плечо, сделать все как следует, как по мыслям, то есть, выходило,— и шабаш. Вот тут-то и проснулся во мне свиной человек... Как стал я думать, что придется мне с тачкой, например, где-нибудь на пристани возиться — тут свиной-то человек и объявился...

— Да что ты, говорит, очумел, что ли? У нас теперь дом, покой, все слава богу, — а ты бросишь все да в поденщики... — Да так смешно мне представил, что простонапросто покатился я со смеху... Ха-ха-ха!.. что я в самом деле за дурак!.. Да за что же это я спокою-то своего лишусь? И стало мне представляться, как это хорошо дома, с женой, и все прочее такое... И отец Иван вдруг представился чистый агнец (а то я его видеть не мог), и все прежнее так мне понравилось, что не расстаться — да и полно! Повеселел я так-то, аппетит получил, и уж так-то весело было мне у отца Ивана, что и сказать не могу.

Вышло таким образом, что сильна была совесть, измучила она меня в какую-нибудь неделю, а свиной человек был во мне еще сильнее ее. Так и пошло. Только я было обрадовался, что не думаю, что нету такого беспокойства, какое бывает у человека, ежели зашумит совесть; только было стал думать, что все пойдет по-старому, что пусть *это* делает кто-нибудь другой, а я, мол, отказываюсь, — а на деле-то стало выходить еще хуже да хуже... Трудней да трудней.

Не бросил я ни должности, ни семейства, как выходило по совести, и стал поэтому притворствовать. Теперь уже я знал, что поступаю бессовестно, а все-таки поступал... Стал я поэтому чувствовать себя не просто свиным человеком, а обманщиком — обманщиком и правды и кривды, — и такая завелась на душе у меня гадость, что и пересказать вам ее, право, нет никакой возможности... И с каждым часом становилось все гаже и хуже, потому что совесть стала кричать все громче и громче, да и свиной человек, тот стал наравне с совестью неистовствовать... Совесть-то меня вон куда вознесет, а свиной человек — низвергнет... Больно мне, мучительно, несказанно было больно!.. Кажется, чего бы проще — взял да и сделал бы по правде, вот как госпожа Абрикосова: не выходит по совести, — взяла и бросила все!.. Нет! Свиной человек такие мне аппетиты разожжет, что и не пошевельнешься свернуть с дороги. Совесть-то уж больно коротка. — А ведь больно, перед богом, больно было, жестоко больно... Что же делать-то? Как облегчить?.. Естественно, начинаешь извинять себя, валишь на когонибудь. Вот таким манером я и стал валить все «на соседа». Во-первых, ближе всего жена, — на нее; потом на отца Ивана, на мужиков... Но на жену, конечно, валил я больше всех. А так как чувствуешь, что виноват-то сам, что если они животные, то ты только посодействовал им быть ими, а не что-либо другое сделал, — чувствуешь это и пьешь, конечно... Вот откуда и пьянство началось. Ну, а потом меня и жена бросила. Тут уж я совсем растерялся. Надо вам сказать, что между пьянством и ругательством частенько-таки бегал я к госпоже Абрикосовой, жаловался на свою участь. Принимала она во мне участие, и так как мне очень грустно было жить на свете, то вот я к ней и хаживал... Жена ж, с которою я еже-

минутно почти ссорился, принимала это за любовь. Бесновалась и была для меня в тысячу раз хуже, чем прежде. Уж и мучил ее я — надо мне отдать честь. Все, что в самом скверно, все это я открыл в ней и за все это ругал. Впоследствии оказалось это ей на пользу; но тут как-то вышла она из всякого терпения и пришла в неистовство, грозилась жалобой архиерею и обещалась изуродовать госпожу Абрикосову собственноручно. Вражда поэтому была между нами смертная, ибо я заступался за госпожу Абрикосову, что еще более разжигало нашу взаимную ненависть. Вот раз, после хорошей схватки, супруга, не долго думая, и в самом деле явилась к госпоже Абрикосовой. Явилась она с намерением драться, но, вероятно, оробела, зато осыпала ее всякими ругательствами. Главное, разумеется, «отбиваешь мужа», и «архиерею», и этакое... Та, то есть госпожа Абрикосова, тоже взбесилась... Потому уж очень было все это несправедливо — и погнала мою жену вон... Та не пошла, а ревмя заревела. Стала жаловаться на свою участь, на меня, на мои неистовства и зверства, и госпожа Абрикосова так этими ее рассказами растрогалась, что и сама заревела и стала ее целовать и успокаивать...

С этих пор пошла между ними неразрывная дружба... Обе они отшатнулись от меня, — и остался я один со своими свинскими наклонностями да с водкой... Жена моя, которой очень много досталось от меня горя, стала даже благодарить меня за эти ругательства мои, обличения ее дикости и грубости... Это ее подготовило понимать то, что ей стала толковать госпожа Абрикосова. А как только она поняла все, то и ушла от меня... Она моложе, в ней меньше грязи, да и то, что есть, жестоко обличено мною. Вот она и ушла — учиться... Ну, тут я совсем ослабел и упал... Тяжело это даже рассказывать...

Оставаться среди общества отца Ивана и его практических знакомых — мне было не по себе, скверно... Уйти — коротка душа. Поэтому остаюсь — и лгу. Напьюсь — высказываю все и ругаюсь. А главное, после того как ушла жена, — мне еще виднее стало, что я-то не уйду, что именно не могу уйти.

Захотелось умирать...

А как только увидал я, что надо мне умирать, — тотчас страсть как захотелось мне жить. И тут я, очертя

голову, пустился во все тяжкие. За бабами, например...

Пошли доносы: в пьяном виде обругал отца Ивана, ругался в храме, бесчинничал на свадьбе с бабой... Ну и выгнали и засудили...

Под началом, в монастыре, — я отрезвел как будто, и стало мне в самом деле ясно, что либо — помирать мне, либо — все вновь. Вот я и думаю: возможно ли какими-либо манерами фундаментально излечить и душу и тело? Тело, например, восстановлять медицинскими специями, а душу — одновременно чтением?.. Как вы полагаете, не возможно ли будет этими средствами себя возобновить, дабы вновь уже жить честно и благородно?

На этом вопросе окончился рассказ дьякона. Предоставляя решение его знатокам, я, как простой наблюдатель нравов современной жизни, могу обратить внимание читателей на существование в этой глуши небывалой доселе болезни. Эта болезнь — мысль. Тихими-тихими шагами, незаметными, почти непостижимыми путями пробирается она в самые мертвые углы русской земли, залегает в самые не приготовленные к ней души. Среди, повидимому, мертвой тишины, в этом кажущемся безмолвии и сне, по песчинке, по кровинке, медленно, неслышно перестраивается на новый лад запуганная, забитая и забывшая себя русская душа, — а главное — перестраивается во имя самой строгой правды.

6. НЕ ВОСКРЕС

(Из разговоров про войну)

I

...Поезд, увозивший в Россию русских добровольцев, отошел от Базиаша на Пешт часу в десятом вечера; на дворе было темно, и шел проливной дождь; не было поэтому никакой возможности облегчить грусть-тоску чудными видами, открывающимися по обеим сторонам дороги, на Дунай, на горы, — тьма была кромешная... Волей-неволей приходилось убивать время в разговорах; но висевшее над всеми соотечественниками сознание непреложности факта возвращения на родину отбивало охоту от веселой болтовни... Всякий знал, что... «все равно» приедем в Россию. Что-то очень близко подходящее к тоске гимназиста, возвращающегося в гимназию после каникул, тяготило и возвращавшихся на родину добровольцев... Такие ли были они, когда ехали на войну! Новизна положения делала тогда всех смелыми до дерзости, веселыми до... ну хоть до безобразия, храбрыми до зверства... Геройство, храбрость, мужество, подвиги великодушия, жертвы — все это трогало сердце и воображение каждого... а теперь — поди-ко вот опять в тот самый департамент обиняков, из которого с такою радостию, месяца два-три тому назад, пошел на смерть... Изволь-ка теперь опять пожаловать в лоно супружеского счастия, к пяти малолетним соотечественникам... Поди-ко теперь опять поклонись такому-то и сякому-то и попроси его, чтоб он опять принял тебя на низший (и то дай бог) оклад!.. Русская земля припоминалась всем в виде какого-то недоразумения, чего-то не имеющего результатов, но ужасно трудного, — и вот почему поезд, наполненный доброволь-

цами, был угрюм и скучен... Не веселило его также и все то, что он во время сербского каникулярного времени узнал сам о себе... Прежде он думал, что он, русский человек, — жертва интриг, несправедливостей, притеснений, жертва людской неблагодарности, жадности, бедности, и был твердо уверен, что освободись он хоть на одну минуту от всех вышеупомянутых бед, так сейчас же, сию минуту, все увидят, как он добр, благороден, великодушен, вежлив, щедр, непоколебим и честен... А теперь вот после этого долгожданного отдыха он чувствует что-то совсем другое... «Был дан тебе отдых или нет?» — вопрошает его совесть. «Был!» — должен ответить он. «Как же ты воспользовался им?..» — «Безобразно!» — «Свинья! — говорит совесть и продолжает: — Дали тебе денег?» — «Дали». — «Много ли?» — «Очень довольно». — «Послал ли ты жене, как обещал?» — «Н-нет...» — «Куда ж ты их девал?..» — «Так...» — «Нет, — пристает совесть: — ты говори, куда именно: это — деньги кровные, это — копейки, гроши, данные на святое дело. Куда ты их девал?» — «Пропил...» — «Еще?» — «Ну... там...» — «Свинья! — еще раз утверждает совесть и опять продолжает: — Еще куда? не все ж ты «там»... оставил?..» — «Как можно! — почти вслух восклицает унылый доброволец и хочет высчитать по пальцам... — Сапоги... — припоминает он с удовольствием. — Шутка сказать — три дуката!.. Потом? Чай, сахар, табак... ну, это вздор, пустяки... а еще что, куда же я дел?..» И увы, кроме сапог, капитальных приобретений никаких нет возможности припомнить... «Неужели я все это там?..» — «Свинья!» — заключает совесть.

Унылый доброволец выпивает из горлышка бутылки несколько глотков вина и, освежившись немного, решает, что прошло, мол, — не воротишь... Но совесть не молчит и тотчас же вновь затягивает песню...

«Ты зачем ехал-то сюда? За что ты деньги-то взял?..» — «Давали! Я брал... За славян!» — «За что?» — «За... в пользу славян...» — «Это ты в пользу славян дебоширничал-то?» Ничего не может ответить доброволец, но с глубоким огорчением чувствует, что хорошо бы было, если бы его убили там... «Велика важность!» — говорит совесть. «И вправду», — решает доброволец со вздохом... и молча смотрит в темное окно, по которому льют струи проливного дождя...

— А хорошо, право хорошо жилось в Сербии!.. — произносит кто-то со вздохом...

Унылый доброволец под влиянием этих слов начинает припоминать что-то действительно хорошее, приятное... но совесть и тут осаживает его... «Смотри, смотри... вот в Россию приедешь, так там, брат...» И мечтания немедленно прекращаются... «Выпей, брат, и смотри в темное окно, да уж молчи!» — сжалившись, советует совесть. Доброволец действительно тотчас же выпивает и твердо решается ни о чем не думать. «Все одно, — решает он, — приедешь!» Некоторое время опыт не думать удается ему, то есть некоторое время он ровно ни о чем не думает, но скоро из стука колес по рельсам, из звона цепей, сцепляющих вагоны, начинает довольно явственно выделяться как бы шопот чей-то, ежеминутно повторяющий что-то вроде: «свинь-свинь-свинь...»

И доброволец волей-неволей опять начинает неприятную беседу с своей совестью.

В том отделении вагона, где пришлось сидеть пишущему эти строки, было бы, пожалуй, благодаря присутствию необычайно унылого человека, еще скучней и тоскливей, если бы присутствие двух вполне счастливых соотечественников не парализовало тоску и уныние, распространявшиеся от унылого пассажира.

Эти двое были веселы и счастливы, каждый по-своему: один только вчера выиграл в карты порядочный куш и, ухватив его, на всех парах рвался в Вену, в веселое место, расправить кости, попить, погулять на все руки, на все деньги... Его словно лихорадка какая трясла всю дорогу: так и тянуло — скорей, скорей, к веселому венскому разгулу; заснуть он не мог и хотя закрывал глаза и откидывал голову к спинке, но видно было, что он не спал, а грезил и волновался предстоящими удовольствиями, поминутно прерывая свои попытки заснуть насвистыванием мотивов из Оффенбаха... Другой довольный пассажир был доволен покойно, солидно, основательно; это был военный, не менее майора чином, плотный, здоровый человек; он возвращался к семье, был доволен, что попадает к рождеству и привезет с собою, кроме полного здоровья (ранен он не был), еще и три сербских ордена. Еще на станции, в Базиаше, объяснив всем желавшим с ним разговаривать причину своего благополучия, что вот, мол,

еду к рождеству, слава богу здоров, ордена получил все и т. д., он уж не входил ни в какие другие разговоры, а просто распространял вокруг себя своим здоровым и довольным лицом покой и благополучие... Войдя в вагон, этот счастливый человек уложил по местам свои вещи, плотно и удобно сел и, поморгав немного глазами, стал их закрывать с таким предвкушением непробудного, детски-покойного сна, что даже и неугомонный любитель венских удовольствий поддался было снотворному влиянию своего соседа и пробовал дремать.. Эти двое довольных, счастливых смягчали несколько то тягостное впечатление, которое производил третий, необычайно унылый пассажир.

Он был точно потерянный: исхудалый, щеки ввалились, нос вытянулся, взгляд казался пугливым, даже вполне испуганным, костюм плохонький, холодный не по погоде и надетый кое-как. Не желая спать, я поневоле должен был довольно часто встречаться глазами с этим унылым человеком, тем более что он сидел как раз против меня, и только после многих часов езды мог признать в нем человека, который мне отчасти знаком, которого я несколько раз в жизни уже видал, хотя и с большими, большими промежутками. Было ему теперь лет тридцать пять или около того, но не больше; несколько лет тому назад я встречал его за границей в разных городах, и главным образом в кружках русской заграничной молодежи. Долбежников (такая фамилия была у унылого пассажира) хоть и вращался в тех же кружках, но был как-то чужд всем им и всем и каждому из лиц, их составлявших. Какая-то печать уныния и тогда уже лежала на его нездоровом, худосочном лице, и что-то гложущее его душу тяжело всегда действовало во время его посещений, всегда, впрочем, кратких, торопливых и большею частью ненужных; придет торопливо, озабоченно, как будто хочет что-то сказать очень важное, но не может ничего, и вдруг как-то соскучится, раскиснет и уйдет. В руках его постоянно была какая-нибудь книга, читал он много, что-то писал, но никто его не расспрашивал о его работе, и вообще им мало интересовались. — «Был Долбежников!» — «Ну, что же?» — «Ничего... Ушел». Вот и все, что можно было сказать о нем в то время после каждого его посещения. А между тем нельзя было не за-

метить, что его что-то мучает, хотя он и не возбуждает ни в ком симпатии настолько, чтобы кто-нибудь тронулся его измученным лицом и разузнал подноготную его души, тем не менее нельзя было сомневаться в том, что он настоящим образом мучается... По некоторым отрывочным выражениям, помнившимся мне, и по характеру людей, с которыми он знался, можно было думать, что он человек убеждений крайних. Так я по крайней мере думал о нем тогда, лет пять назад, и был, признаюсь, несказанно удивлен, увидав этого самого унылого, измученного человека, месяца два тому назад, в Белграде, в костюме добровольца с длинной саблей и, что особенно поразило меня, в самом цветущем виде, без всякого подобия чему-нибудь, что бы напоминало его прежний, страдальческий вид. Долго, помню, смотрел я на него, встретив случайно в одной из белградских «кафан», вместе с толпой других саблегремящих и веселых офицеров, и не мог поверить, чтобы это был Долбежников, «тот самый». Откуда этот цвет лица, этот некоторый форс, эта развязность военного, любующегося звоном своих шпор, своей саблей?.. Несомненно было, конечно, то, что все это было «напущено» на Долбежникова обществом военных, среди которых он теперь находился, но несомненно было также и то, что и сам Долбежников значительно изменился; он поглядел на меня — тогда, при встрече в кафане, — узнал, слегка кивнул с высоты величия (ясно начертанного на всем его ликовавшем лице) и тотчас присоединился к веселой компании, которая шумно расселась вокруг круглого стола, застучала ножами, солонками, стаканами и потребовала три бутылки самого лучшего неготинского... Долбежников, к удивлению моему, также стучал ножами и стаканами и, как мне казалось, даже желал показать именно мне, как человеку, знавшему его в унылом виде и в другом обществе, что вот, мол, теперь и он стал молодцом и что ему, мол, все равно, что́ будут думать о нем в «том», в заграничном обществе... Правда, смешноват был немного этот худощавый, длинный и все-таки болезненный человек среди румяных, громкоголосых, здоровых и сильных новых своих товарищей, но сравнительно с тем, что он был, лично мне он казался вполне переродившимся, необыкновенно поздоровевшим, расцветшим, словом — человеком, переделанным «наново». Я порадовался этому,

хотя и удивился этой перемене, ввиду убеждений, которые я ему приписывал. «А! вот, — подумал я, — отчего он стонал и страдал... Ему надо было шпоры, саблю да разливанное море военной стоянки...» И, признаться, не очень радовался этой способности русского человека необычайно резко переменять свои взгляды и, глядя на пирушку Долбежникова с товарищами, невесело думал о том, что способность эта есть и не в одном Долбежникове...

Оставив Долбежникова, под влиянием этих размышлений, пировать в кафане, я ушел и до сей минуты, то есть до встречи в вагоне на возвратном пути в Россию, не видел уж его нигде. И опять он меня тут изумил: куда девался его расцвет, его бодрый дух, бодрый вид? Что скомкало его опять в комок, скомкало в тысячу раз больше, чем он был скомкан прежде, до своего расцветания? Вид его был такой убитый, измученный, жалкий, что, повторяю, если бы не те два пассажира, которые распространяли от себя покой и жажду удовольствия, так было бы просто тяжело смотреть на человека, который, казалось, вот-вот что-нибудь над собой сделает, — так ему скверно и трудно.

Задернутый синей занавеской фонарь наполнил вагон полумраком, мешая мне, вместе с переменою, происшедшею в Долбежникове, узнать его лицо; но когда я узнал, что это именно Долбежников, то мне стало его как-то ужасно жаль и захотелось разузнать наконец, что такое происходит в этом человеке, отчего он расцветает и отчего вянет. Я заговорил с ним... Он обрадовался и тотчас же сообщил мне, что он уже давно узнал меня, что он меня помнит, что он меня видал там-то и там-то, и в мельчайших подробностях припомнил те редкие минуты, когда я случайно сталкивался с ним — пять лет назад (избегая почему-то белградской встречи); припомнил тотчас же, и тоже с мельчайшими подробностями, всех прочих наших заграничных знакомых, с какой-то жадностью расспрашивал — где такой-то, что с этим, что с тем, и вдруг с каким-то страстным порывом произнес:

— Ах, какие это люди! Это именно необыкновенные люди!

— Необыкновенные? — переспросил я.

— Необычайные! — возвышая голос и широко раскрыв как бы помешанные глаза, произнес он. — Необы-

чайные, — это верно, я теперь это узнал... Все решительно они — необычайные...

— Кто же именно? — Я назвал несколько фамилий.

— Все до одного... Все, кто «там»!

— Все, кто «там»? — переспросил я. — Сколько знаю, никаких особенно крупных дел...

— Вот никаких-то дел, — перебил он меня, уж совершенно как сумасшедший, схватив за плечо: — вот именно — вот кто дел-то никаких не делает... вот все они и необыкновенные и передовые.

— И передовые?

— И передовые!.. То есть именно вот те!..

Говоря последнюю фразу, он необыкновенно волновался и положительно казался мне сумасшедшим.

— После этой войны я только их и считаю настоящими героями... Уж и в том непомерный подвиг, что они не пристают к этому свинству, как вот я пристал... Можете себе представить, ведь я убил человека... За что, скажите, пожалуйста?

Последнюю фразу он проговорил так, как будто бы совершенно не понимал случившегося с ним.

— Убили? Кого?

— Турка убил.

— Так что же? ведь вы были волонтером, военным, а ведь на войне убивают...

— За что?

— За Сербию, я полагаю, вы убили его.

Долбежников смотрел на меня во все глаза и молчал.

— За Сербию? — переспросил он.

— Я думаю — да!

— Нет, не за Сербию.

— Не за Сербию? За что же?

— За сви-ни-ну!

— Как это так?

— Да-с, за свинину...

Я сказал, что не понимаю его, и Долбежников пустился мне самым подробнейшим образом разъяснять свой взгляд на сербскую войну. Сербским купцам оказывалось нужным отделаться от торговых трактатов, которые до сих пор заключала с соседними державами Турция, как опекунша Сербии; трактаты эти были до сих пор такие,

что сербским капиталистам нельзя было дать ходу своим капиталам, нельзя было иметь фабрик, заводов, нельзя было выделывать кож... Можно было торговать сырьем, которое возвращалось в Сербию выделанным продуктом и стоило втрое дороже. Так вот теперь, говорил Долбежников, купцы хотят приобресть оружием право получать больше барышей, то есть продавать свинью, которая теперь продается только сырая, и продается крайне дешево, продавать ее копченою и получать дороже. Оружием они хотят добиться этого права, потому что при мирных переговорах — необходимы уступки вроде предоставления иностранцам права приобретения поземельной собственности, что сразу даст возможность хлынуть в Сербию иностранным капиталам, и, разумеется, местные капиталисты не устоят.

Когда он, наконец, окончил довольно длинное изложение своего взгляда на войну, то спросил:

— Ведь из-за свинины?

Действительно выходило, как будто из-за свинины вышло все дело...

— Ну, вот видите... Я... убил человека... Да сколько там убито народу!.. — с каким-то ужасом произнес он, прижав ладонь к виску, как бы от боли.

— И я, — продолжал он уж сам с собой, — смел когда-то критиковать «тех», придираться к мелочам, к вздорам... Нет, — оживленно произнес он, обращаясь ко мне: — не верьте никому, кто бы он ни был, если он скажет, что... кроме, конечно, мужика (всемирного мужика... не только русского, прошу заметить) — что есть что-нибудь лучшее...

Длинный панегирик прочитал он вслед за этими словами. Не напускное, а что-то болезненное, ненормально страстное было в его словах. Необыкновенно было странно смотреть на этого, очевидно изломанного человека, убивающегося о какой-то свинине, о турке и волнующегося страстными порывами любви к каким-то людям, которые, по его же словам, тем и пленительны, что ничего не делают. Странно было смотреть на этого больного чудака в виду детски-спокойно спавшего майора, возвращавшегося с той же самой битвы и не только не убивавшегося об убитом турке, но, напротив, получившего за то же самое ордена и чувствовавшего детское

удовольствие от этого, знавшего, что удовольствие это разделит с ним вся семья, к которой он поспеет «как раз на рождество...» Закинув голову на спинку дивана и полураскрыв рот, военное дитя спало сном невинности... Легкое дыхание, легкое, как пар, только слегка колебало кадык, едва заметный среди плотных, жирных мускулов шеи... А тут рядом сидел исхудалый, зеленый человек и, не смыкая глаз, мучился тем самым, от чего сосед его был совершенно счастлив... А оба были из той же святой Руси.

Панегирик был так длинен и запутан, что я решился прервать его и спросил:

— Вы теперь куда ж направляетесь? К ним?

— Ни-ни-ни... — как бы даже с ужасом прошептал он. — Я теперь так благоговею перед ними, что ни за что не приближусь к ним, по крайней мере на тысячу верст...

— Отчего же так? — с удивлением спросил я. — Благоговеете и не хотите видеть? Это трудно понять!

— Боюсь видеть; боюсь жить с ними... с кем бы то ни было... Не умею жить!.. Вот именно — жить не умею. Непременно выйдет какой-нибудь вздор и скука.

Я не понимал его и смотрел на него молча, думая, не скажет ли он чего потолковее.

— Я знаю, — говорил он, глядя в сторону, — я урод. Это я знаю самым прекрасным образом... Но таких уродов, как я, много... По крайней мере я, то есть лично я, видал таких уродов: не умеют жить, да и полно!.. Я сам происхожу из купцов... то есть из среды (да и все наши среды такие же), где как-то уж в крови лежит убеждение, что «мы как-нибудь обойдемся», где не живут (вспомните Островского), а как-то «бьются» об жизнь. Деньги еще кой-как держат этих людей на свете; но выньте оттуда, из любой такой семьи, деньги — все развалилось, все беззащитны, одиноки, потеряны... Я вот из такой идеально неживой семьи... Семья эта из тех, которые валятся, расползаются... Я отбился от нее больше всех... Случай ли или что другое нанесло меня на разные думы, на книги... Думы понесли меня к людям — и тут-то я и узнал, что не умею жить... Представьте себе, что вот я обдумал такое-то дело, или кто-нибудь другой обдумал, или затеяли дело, которому я сочувствую, которое люблю, считаю верным и т. д. Если только (он говорил, отделяя каждое

слово) в это дело войдет три, четыре человека таких, как я, — все пойдет к чорту, то есть не только даже обличья дела не будет, а будет непременно вздор. Совершенно детское непонимание жизни, совершенно детское неумение жить сейчас даст себя знать... Обижусь какими-нибудь пустяками, не захочу быть дружным с тем-то, потому что... ну хоть потому, что манеры мне его не нравятся... нос скверный... И так этот вздор начинает гнести меня, тяготить, начинает завладевать мною всем, что я хочу бежать... бежать... И сам я отвратителен себе, да и в другом пробужу своей мелочностью тоже дурные и мелкие черты — ну и пошло... И выйдет вздор... я так все и бегал... Я уж узнал себя... Все бегал... Меня брат, купец, назвал даже «пассажиром» за эту беготню. «Не человек ты, говорит, а пассажир». И правда... Вот и теперь я боюсь ехать туда. Я знаю: приеду и начну замечать носы... да разные вздоры, да обижаться пустяками, да отыскивать в человеке скверное... Вот еще ужасная черта!.. Сам плох и в другом, в самом лучшем, точно чтоб себя успокоить, только и ищешь вздоров, чтоб сказать себе: «да и он такое же тряпье...» Нет, нет, ни за что не поеду!.. Издали, когда меня жизнь не трогает... мне лучше...

Подошла какая-то станция. Доброволец, выигравший деньги, и мы двое (военное дитя продолжало спать) вышли из вагона и выпили по маленькой бутылочке жидкого венгерского вина. Вино не развеселило нас: Долбежникову, хотя он и поуспокоился немного, все-таки, видимо, было тяжело после безотрадных наблюдений над самим собой, а мне было тяжело смотреть на выложенные им передо мною больные внутренности... Спать не хотелось... Стали опять разговаривать.

— Как вы в Сербию-то попали? что вы там делали?.. — спросил я.

II

— Как?.. Да вот все оттого же!.. Представьте себе, каково должно быть состояние духа у человека, если этак лет пять кряду ни от себя, ни от других не выносишь ни одного доброго впечатления... Я встречаюсь с самыми лучшими людьми (теперь я знаю, что это — самые луч-

шие люди), с людьми, которых — не живя с ними... а, как я вам говорил, издали... размышляя о них — я уважал, благоговел... Но сойдясь по-людски — для простого ли разговора, для маленького ли дела — терялся!.. Позабывал даже их достоинства, позабывал их значение, потому что они были обыкновенные, живые люди... Этого уж довольно, чтобы я тотчас охладевал... начинал бы цепляться за мелочи... и так далее, не доводил бы дело до того, что и меня никто не хотел видеть, да и я был зол на всех... Ну, лет пять такой жизни измучили меня... Я переполнился наблюдениями таких вздоров (он вдруг озлился, ударил себя кулаком по коленке и воскликнул: «И отчего я только и способен наблюдать вздоры!..» — плюнул и долго молчал, тяжело дыша от гнева)... Ну и сам опротивел себе, и все мне опротивело... смерть! — Смерть в это время показалась мне таким наслаждением, таким удовольствием... буквально лакомством, что я сию минуту даже и не подберу сравнения... именно лакомством... И, разумеется, я бы покончил с собою, если бы не эта история с нехристями...

— Почему же *именно эта* история спасла вас, оставила вас живым?.. — спросил я, особенно налегнув на слова именно эта.

Именно эта, — тоже налегая на эти слова, отвечал Долбежников, — история помогла мне остаться в живых потому только, что никакой другой истории с подобным драгоценным для нашего брата свойством в ту пору не было... А свойство этой истории то, что она из глубины народа... Это значит, что народ, наконец, взялся... а раз он взялся — вывезет, будьте покойны!.. Удивительное дело! (Рассказчик остановился.) Под этими разломанными деревянными крышами, в этой глуши, холоде, бедности живут же вот какие-то идеи, спасающие общество от гибели! Чем они живут — решительно непостижимо! По двадцати, тридцати лет их буквально ничем не кормят, никто об них не заботится, не беспокоится... Живут они под сгнившими или разнесенными ветром крышами, как мужицкие клячонки, тощие, маленькие, некормленые, сущие одры... Кормят их изредка, эти одры-идеи, захожие солдаты, богомолки, кормят старой соломой, такой старой, что я вот, благородный человек, и ног-то об нее не оботру... Живет!.. Благородный человек, сотрудник дождя

и ветра, разрушающих соломенные крыши, ни на клячу, ни на крышу, ни на владельца того и другого обыкновенно не обращает никакого внимания; заполучив что ему надо, он знать не хочет, что делается там, под этими крышами, полагая должно быть, что можно танцовать, отрубив собственные свои ноги, и, разумеется, ошибается, гибнет... Отказавшись признать своими и главными интересами интересы этих крыш, этих крупинок собственной своей крови, и полагая, что он может прожить (и еще веселей), *сам* сотрудник ветров и дождей оказывается недолговечным и в двадцать лет обыкновенно успевает только расточить эту собственную кровь чорт знает на что... Щедрою рукою раздает ее актрисам, проматывает за границей, душной пылью сыплет в несметном множестве на возню с собой, одиноким в бессодержательной семье, покуда, наконец, настанет истощение... Человек обессилел, весь вывалялся в грязи, не знает, что с собой делать... «Вывози! — вопиет: — спасай!» и глядишь, мужик запрягает одра... В такую ужасную для сотрудника в разрушении крыш минуту сотрудник начинает откармливать одра уж не старой соломой, а жирной газетной трухой, и глядишь — одер отъелся в одну неделю... — «Гляди, барин! — говорит хозяин: — как бы худо не было... Лошадь у меня стоялая, дернет с места — держись только». — «Ничего, ничего, там подержут...» — «А ежели примерно мы Европию твою кишками, например, завалим человечьими, и это ничего?» — «Заваливай, — кричит сотрудник дождей: — заваливай! Только вывози!..» И откормленная газетной трухой одер-идея, напутствуемая ударами кнута, выхватила погибающего из грязи и поставила на сухое место... Кишок, разумеется, выпущено без сметы — уж об этом говорить нечего... Слава богу, что барин-то не утонул и опять вышел на дорогу... А как только вышел — и опять говорит: «Теперь ты веди своего одра куда хочешь, а я *сам* дойду...» И, разумеется, не дойдет во веки веков... Я это говорил к тому...

Рассказчик остановился и, переменив тон, сказал мне:

— Вы слышали, что я говорил?

— Слышал все.

— Ну, как вы находите?.. Правильно я... то есть по крайней мере хоть во внешнем-то отношении прилично ли я... излагаю?..

— Что ж тут неприличного?.. — не понимая, спросил я.

— Нет, я хочу знать: можно ли, слушая такую речь, подумать, что я хоть сколько-нибудь народом заинтересован?

— Без всякого сомнения...

— Ну так вот: сию минуту я именно так и думаю и действительно сокрушаюсь... А пойди я сейчас же с такими самыми мыслями в деревню — и вздор выйдет... начнут действовать на нервы дырявые лапти, грязь, ухабы — чорт знает что... Кончишь злостью и бегством... Будешь проклинать и себя и раскрытые крыши... Не понимаешь живых людей... Не умеешь быть живым... Ведь вот какая скотина! — вновь сверкнув озлившимися глазами и возвысив голос, заключил он и прибавил: — Нет, лучше я после... Надоело! такая скверность... не человек ты, а пассажир! да! именно не человек!..

Разговор возобновился через несколько часов, когда уж совсем рассвело и когда мы уже проехали Пешт... Рассказчик был спокойней и чувствовал себя гораздо бодрее, чем вчера.

— Ну, так вот — на чем я остановился? Да!.. Мужик начал вывозить... С детства воспитанная привычка, чтобы за нас делали дело другие, привычка к «прими», «подай» откликнулась во мне в эту минуту как нельзя более сильней. «Что ж, думаю, вывози, брат, и меня», — решил я, зная наверное, что, раз взявшись вывозить, одер непременно *куда-нибудь* да вывезет... Мне было теперь все равно, хоть куда-нибудь... а убьют — что ж? Я и сам хотел умереть... И вот, ввалившись в мужичьи дровни, я сразу почти совершенно успокоился... Все, что меня мучило, все, о чем я думал, читал, разговаривал, все, что меня бесило, злило, волновало в себе и других, я, раз решив, что «теперь не мое дело», — все это позабыл, точно ни разговоров, ни планов, ни беспокойств, ни мыслей беспокойных и не бывало... Обо всем этом я перестал думать, положившись на кого-то, кто теперь занялся моими делами, и с каждым днем стал чувствовать себя лучше и лучше... Тем и хороша война, что, раз произнесено это слово, миллионы людей прекращают думать.

беспокоиться, прекращают трудные попытки решать роковые вопросы, к которым привела мирная жизнь. «Война!» — Никто не отвечает за себя, за свои поступки; миллионы людей получают разрешение ни о чем не думать, ни о чем не беспокоиться; никто не взыщет, да и не может взыскать, потому — война! то есть такое положение дел, в котором никто ничего не понимает, никто ничего не рассчитывает, никто ни за что не отвечает... Словом, положение, при котором люди начинают ходить распояской, неумывкой, неодевкой... Все, что за неделю еще было напряжено, измучено, запутано, тайно страдало, ненавидело, — все выпущено этим словом «война» на волю... Купец не платит по векселям — и невиноват, не отвечает... Он может разогнать свою фабрику — и разогнанный народ не пикнет, зная, что война... Ничего не стоит в такое время вчера еще очень аккуратному человеку взять чужое, поймать чужого гуся и съесть... Кто тут будет разбирать? Война!.. Его гуси точно так же съедены неизвестно кем... Непрочный семейный союз, держащийся только общественными приличиями, распался, развалился сам собой... Разве виновата жена, что к ним в дом нахлынуло такое множество офицеров, да еще молодых, охваченных влиянием времени, в которое никто ни о чем не думает и не беспокоится ни о чем... Она слабое существо... А это, посмотрите, какие верзилы... Наконец завтра этих верзил и след простыл. К тому же и муж, освобожденный от срочных уплат, смотрит на белый свет поснисходительнее; не проходит дня, чтобы он не был под хмельком... и почти не живет дома... На улице такая гибель нового: то войска вступают, то выступают... музыка то веселая, то грустная — гремит то и дело... Гостиницы, кофейни битком набиты... Всякий говорит: нет никаких дел, все стало — «война»!.. И тратит накопленное... «Будь что будет!» — сказали себе миллионы людей и отдались случайности... Сотни и тысячи смертей, как ни странно это кажется, не только не развивают чувствительности в живых (о живых я только и говорю), но, напротив, приучают глядеть на смерть совершенно хладнокровно. Не диво становится каждому смотреть на кровь, слушать стоны, видеть оторванные руки, ноги, пробитые головы. Жизнь человеческая начинает цениться ни во что — и в человеке, еще недавно обремененном именно

человеческими-то заботами, сладко потягиваясь, просыпается звеpенок... Эта атмосфера, созданная войной, охватила меня тотчас, как только я ступил на сербскую землю. Правда, в первую минуту появления моего среди нового для меня военного общества я одно только мгновение почувствовал, что предо мной совершается что-то необыкновенно старое, заваляще, что-то такое, про что все давно забыли, потому что выросли... Одно мгновение мне показалось, что я словно начал читать Еруслана Лазаревича после книг, касающихся трудных философских и общественных вопросов. Но я это отогнал от себя; да и без моего участия военная атмосфера, окружавшая меня, сделала то же дело — очень скоро. «Не думай ни о чем»,— говорила она — и здоровье мое стало быстро улучшаться. Я стал отлично спать, потому что ни о чем не думал, — не мое дело; будет так, как будет, решал я и спал сном невинного младенца... «Ожидать приказаний» — тоже вещь для меня новая — пришлась мне по вкусу и много способствовала улучшению аппетита и поправлению здоровья. В самом деле, о чем мне беспокоиться? Как прикажут... там знают! — Не мое дело... «Завтра выступать!» Ладно, выступим... Завтра так завтра. И выступаешь, не думая, куда, зачем. Как легко, отказавшись от всего прошлого, не имея никакой тяжести на плечах, идти куда-то, по новым местам, идти к неизвестному!.. Уставать, есть, спать и ждать приказаний... Какой-то раздраженный военный, всю дорогу брюзжавший на начальство, на неполучение какого-то пособия, представлявший какие-то проекты, планы, критиковавший военные операции и т. д., до того был противен всем «порядочным» людям, в общество которых я попал, что с ним решительно никто не хотел говорить. Его определили как мелочного человека, интригана, проныру и бросили. Так была в эту пору странна для всех (по крайней мере мне так казалось) всякая попытка о чем-нибудь думать, что-нибудь объяснять, о чем-нибудь беспокоиться...

«В таком блаженном состоянии был я несколько недель сряду... Я поздоровел, пополнел, одеревенел, даже одурел, если хотите, но расцвел вполне, чувствовал себя необыкновенно здорово и весело... Словом, я совсем воскрес и жадно держался за это новое, неведомое мне состояние духа, и с каждым днем воскресение мое становилось для

меня яснее и ощутительнее. Тотчас по приезде, как я вам говорил, я почувствовал было, что вместо книг принимаюсь за чтение Еруслана Лазаревича, Гуака; но с выступлением на позицию этого ощущения не осталось и следа — все прошло, потому что я все забыл. Тут, на позиции, случай завладел мной окончательно: тут не только не нужно было о чем-нибудь думать, беспокоиться, а просто невозможно было делать что-нибудь подобное. Тут не знаешь ни дня, ни часа, в онь же хлопнут тебя пулей в голову, — и конец, стало быть, оставь всякую надежду на какой-либо смысл... Вот в это-то время я и турка убил. Приехали к нам на позицию товарищи, привезли лютой ромии, вина, жареного поросенка. Выпили, поболтали... опять выпили. (Пил я, празднуя свое воскресение, много, но пьян не был.) Стали стрелять, пробовать берданки. У одного из товарищей, помню, была очень хорошая берданочка. Так вот ее пробовали. Стали пробовать, разумеется — в людей, в турок... Убить турка — точно так же, как и турку убить серба, — ничего не значило. Для обоих было неизвестно, зачем все это делается; но оба, раз отказавшись думать, верили, что убить друг друга надо. Ну, стреляли, пили, ели поросенка... и я выпалил и убил... И у нас у одного офицера оторвало ногу — так с куском поросенка в руке и повалился... Ни то, ни другое убийство не оставило ни в ком почти никакого впечатления. Все были так искренно деревянны и искренно бессмысленны, что самое сожаление — по крайней мере мне — казалось уже фальшью. «Я тут не виноват, это не мое дело» — вот что война пробудила в каждом и чем каждый жил в эти минуты... На позиции я пробыл недели с полторы и, не помню зачем-то (кажется, по какому-то делу, что-то вроде заказа сабель или покупки каких-то веревок — что-то в этом роде), приехал в Белград. Состояние духа было превосходное. Свеже-недумающих людей было вдоволь; их радость — перестать думать и жить, веря пробудившемуся зверушке, — еще более подкрепила меня. Помню один вечерок в такой веселой компании... Хорошо, чудесно провели мы вечерок этот... Последний (с сожалением сказал рассказчик), последний веселый день моего воскресенья».

— Что ж случилось? — спросил я.

— Случилось нечто очень знаменательное... Нечто такое, что разбило, расшибло меня, мое окаменение в мелкие дребезги... Вот как это было. Часов в одиннадцать ночи вдруг пришлось нам, то есть веселой нашей компании, ехать в Землин. Поехали на лодках... Орали, конечно, песни пели, захватили вина, пили... Сцена тут с австрийскими солдатами произошла, не хотели пускать на берег, но, на счастье, у нас были русские паспорта и большая готовность вступить в открытый бой... Пропустили... Пошли мы по Землину, взбудоражили две-три гостиницы и т. д. — словом, провели время весело, то есть вполне по-свински... Наутро я, не знаю почему-то, проснулся довольно рано; в первый раз почему-то заныло у меня сердце: оттого ли, что много пил вчера, оттого ли, что погода была серая, пасмурная, только какая-то болезненная тревога зашевелилась во мне... Как-то скучно стало мне в нумере, переполненном спавшими богатырями францыль-венецианами. Я поспешно оделся и пошел пройтись. Было еще довольно рано, гостиницы были заперты, негде было достать ни вина, ни кофе. Вы были в Землине? Это — чистенький маленький городок, расположенный на низменном берегу Дуная. Узенькая низкая набережная, усыпанная черною пылью каменного угля, тянется вдоль по Дунаю почти как по нитке. Я пошел по этой набережной. Никого почти не было на ней; только на судах, стоявших у берега, видны были поднимавшиеся на работу люди. Выбрав на набережной сухое местечко, я сел, протянув по траве ноги, и стал курить и смотреть... Дунай был мутный и серый; медленно шевелил он привязанные к берегу лодки, на которых обыкновенно (пароход ходит только два раза в день) происходит сообщение с Белградом рабочего люда. Мелкий дождь, как сквозь сито, сеял беспрестанно, чуть-чуть шумел по листьям дерев, которые кой-где растут по набережной. Я сидел и, кажется, ничего не думал, просто смотрел. И вижу: на берегу, в нескольких шагах от меня, опрокинута лодка — ее чинят; один бок ее и дно заделаны новыми досками, кругом валяются стружки. Рабочие еще не приходили, и представилось мне, что под этой лодкой что-то или кто-то есть. Что-то как будто стукнуло изнутри, зашевелило стружками и затихло. «Вероятно, собака забралась туда от дождя!» — решил я и продолжал мол-

чать, курить и смотреть. Ни шороха, ни звука уж не слышно было в лодке. Так прошло более часа. Часов около семи народ вдруг повалил на пристань; я встал и пошел в кофейню, находящуюся тут же. Но не успел я выпить чашку кофе, как услыхал в отворявшуюся беспрестанно дверь какой-то пронзительный крик, доносившийся с улицы. Крик был раздирающий душу и резал по сердцу точно ножом... Я не допил кофе и вышел посмотреть, что такое. Большая толпа народу стояла около той самой лодки, под которой я слышал шорох. Я пробился сквозь ряды деревенских женщин, дам и мужчин, собиравшихся в Белград на первом пароходе, купцов, солдат и полицейских, молча столпившихся на берегу, — и увидел следующую сцену.

«Два здоровенных немца, в пиджаках на овчинном меху, в высоких сапогах, тащили из-под лодки маленького, семилетнего мальчика, отбивавшегося от них и руками и ногами. «Майко, майко!» (матушка) — кричал он, кажется, всеми своими внутренностями. Двое рабочих, простые крестьяне, помогали немцам вытащить ребенка из-под лодки, загораживая ему дорогу с противоположной стороны. Немцы делали свое дело молча, систематически, ползая на четвереньках вокруг лодки, и, наконец, одному из них удалось поймать худенькую грязную детскую ногу... Поймав ребенка за ногу, немец потащил его стремительно и вытащил тотчас же, обеими руками схватив за худенькую детскую руку, которая судорожно сжимала какой-то крошечный узелок. Другой немец также обеими руками схватил за другую руку, и — тут началась поистине ужасная сцена. Маленькое существо собрало все, что могло противопоставить силе этих двух верзил... Ни на минуту ребенок не переставал кричать, до того, что минутами у него захватывало дыхание: его старались поднять с земли; он виснул на руках, употреблял все силы, чтобы сесть; его несли, он упирался, с нечеловеческими усилиями напрягая свои худенькие ножонки, и вдруг, когда он видел, что его тащат-таки, хоть и с остановками, и волокут, он в полном отчаянии делал попытки вырваться — попытки уже совершенно бесплодные. При виде, как его худенькое тело все извивалось змеей, при виде тисков этих двух немцев, из которых нет возможности выбиться, слеза прошибла меня... Мальчик-

серб — узнал я в толпе — отдан был матерью дня три тому назад в ученье к немцу-слесарю и хотел убежать назад к матери в Белград. Под лодкой он просидел всю ночь, думал как-нибудь пробраться на пароход... В узелке он унес свою рубашку... Теперь хозяин поймал его и тащил домой, тащил, как собственную свою вещь, тащил «силою», на законном основании... «Вот война-то настоящая! — мелькнуло у меня. — Поди-ко, герой, которому ничего не стоит быть убитым и убить, не думая об этом, не отвечая за это, — поди-ко, подумай об этом мальчике, отвоюй его, заступись... Поди-ко постой — сознательно постой — за права этого человека, за права его сердца, переполненного любовью к майке, за права ребенка, которому еще нужно играть, а не задыхаться в мастерской; поди заступись, положи-ко вот тут свои кости!..» Деревянное благополучие покинуло меня... Что я делал? Что я делаю? зашумело во мне, но мальчишка не дал хлынуть скорби широким потоком в сердце, так как приковывал к себе все мое внимание. Обессилев, он как будто решился идти. Хозяин и его помощник, обрадовавшись этому, проворно пошли вперед, почти побежали... Мальчик тоже бежал... Его узел был в руках хозяина... Прошли так шагов двадцать, как вдруг малый вырвался... и понесся... Понесся — куда глядели глаза... Соскочил в канаву, в грязь... За ним бросился хозяин, помощник, полицейский, какой-то мужик... Они кричали, горланили, звали помочь... Мальчишка несся молча, закусив удила, не помня себя... Бедное маленькое существо!.. Поймали! Не буду больше говорить об этой ужасной сцене, об этом ужасном терзании ребенка, об его отчаянном крике, беспомощном сопротивлении... Сцена была в полном смысле ужасная, зверская и прямо ударила меня в сердце, сразу пробудила во мне все, что я старался забыть, о чем я хотел не думать, сказав себе: «вывози!..»

«Ты, — говорил я себе, чувствуя, что меня душат слезы, — ты, которого бесконечные, неисчислимые жертвы научили понимать беды человеческие, которому поставили великие задачи, трудные, громадные хлопоты, — как ты мог успокоиться на забвении всего, что выстрадано, вымучено для тебя?.. Жалкая, отвратительная тварь! Чтобы чувствовать себя живым, легко живущим, тебе надо поддерживать вещи, которых никто уже сознательно не счи-

тает нужными, разумными. У тебя есть задачи, полные глубокого значения, и если они владеют хоть одною каплей твоей крови, стой за них, потому что все другое — вздор, старый хлам, тряпье... Ты измучился скучать, ты измучился от продолжительных размышлений, не имеющих результата, так начинай же жить, бейся за то, о чем ты думал. Воюй за твою мысль, за движение твоего сердца, которое воспитано или по крайней мере приучено страдать за ближнего...»

«...И тут мне представилась эта новая война... В самом деле, думалось мне, если бы я вздумал защитить этого мальчишку, то есть действовать так, как говорит мой просвещенный (это слово он произнес иронически) разум, посмотрите-ко, какая масса сил, какой героизм, стоицизм, какая энергия нужна бы была мне... Истинно — поле битвы, страшнее в тысячи раз всякой свалки, в которой избивают тысячи человек в несколько минут и которая якобы кого-то освежает!..

«Положим, что я пошел бы и ударил этого немца, взял бы мальчишку и отдал матери; немец за обиду тянет меня в суд, штрафует, сажает в тюрьму. А главное — против меня является свидетельствовать родная мать ребенка; она, заливаясь слезами, скажет, что мальчик поступил к немцу по ее желанию, что она вдова, мужа убили на войне, у ней пятеро детей, — и меня посадят под арест, а мальчика опять отдадут немцу. Если я человек верный своей мысли, я отсидел срок — и вновь берусь за то же дело. Я начинаю действовать путем печати, рассуждать вообще. Представьте себе, какую гибель трудностей должен преодолеть я здесь... Издателей штрафуют, и не всякий поэтому решится напечатать... Я же не хочу, чтобы статья печаталась в искаженном или смягченном виде... После тысячи мытарств, раздраженный и взволнованный издательской трусостью, я пишу мою защиту «силою» попираемых мальчишек отдельной книгой и выпускаю в свет, истратив все, что имел. Книгу берут, уничтожают, меня приговаривают к тюрьме (предполагается, что все это за границей происходит), и делают это как раз в то время, когда у меня больна жена... Я сажусь в тюрьму, она остается без средств, болеет, умирает... Я выхожу на свободу одиноким, обнищалым, поруганным; но сил на борьбу у меня больше. Я хочу, чтобы слышали об этих

неправдах, чтобы опомнились... Ну те-ко сочтите, сколько надобно трудов, ума, хитрости, настойчивости, словом, сколько надо геройства, непоколебимости и преданности своей идее, чтобы преодолеть все это, добиться права публично, громко, в течение не более десяти минут (больше не дадут), говорить о том, из-за чего я бился... Что ж это не поле битвы? Это не война? Не герой я, если выдержу этот подвиг? А задача постоять за мальчишку разве мала, разве может она идти в сравнение с задачей завоевать право коптить сóлоно ветчину или дубить кожу?.. Мальчик разбил все мое спокойствие, все мое здоровье — все, в одну минуту... Товарищи, спавшие в нумере, были для меня невыносимы. Я просто не мог их видеть теперь. Мысль, что теперь нужно совсем иное, была мне совершенно ясна.

«Я взял лодку и один переехал в город...

«Раз сорвавшись с высоты своего благополучия, я стремительно несся в бездну тоски, горя, тяжести мысли... Все приняло в моих глазах другой вид. Мне представилось, что самый последний из самых не думающих, простонародных добровольцев наших дерется с турками не потому, чтобы ненавидел их как бусурман, а потому, что измучился совершенно другим и хватается за бусурмана потому, что не сообразит, не в силах и не может сообразить всей тяжести тяготящих ум вопросов... Недаром, думалось мне, наши пьют перед дракой водку, а турки — опиум, и лезут драть друг другу животы в пьяном виде... В трезвом — все давно уж не звери. У всех накипела на душе бездна страданий, нужды, но никто не поможет разобраться. Вам знаком, конечно, очень часто встречающийся в русской крестьянской жизни факт ожидания страшного суда? Вот сию минуту, когда я рассказываю вам свои подвиги, непременно в какой-нибудь русской глухой деревеньке бедные, робкие люди ждут страшного суда, второго пришествия, ложатся в гробы, рыдают... Завтра будут ждать в другой. Это какие-то припадки вдруг овладевающего народом глухой деревеньки отчаяния... Откуда это отчаяние? Из чего оно слагается? Мне кажется, что этот припадок есть результат обилия неразрешенных сомнений, неразъясненных мыслей, глубоко чувствуемой неправды, накоплявшихся необычайно долго, но ничем, никем не уясненных, не приголубленных... Тут

гнезда идей, гнезда глубоких душевных страданий, не распутанных, не имеющих возможности развиться... Человека вдруг охватывает ощущение какой-то глубочайшей неправды в себе, в других, во всем свете; он вдруг на одно мгновение видит узы жизни, и ему кажется, что настал конец света... Когда я представил себе, что самая глухая деревушка волнуется тем самым, чем волнуются самые первые великие умы, за что пролито столько крови и слез, мне стало просто ужасно. Не бесстыдство ли поддевать жаждущую света душу живого человека на чем-то таком, что делает его зверем! что из его жажды жить, жертвовать собой, преследовать зло — делает какую-то бессмысленную тварь, которая проткнула штыком живот другому, такому же человеку, и видит геройство в том, чтобы поднять этого человека на том же штыке да перевернуть его на нем раза четыре, чтобы все разодрать у него внутри? Нет, это — неправда, обман, ложь... Никто не хочет быть таким, никто не хочет быть зверем...

«Когда я переехал Дунай и вылез из лодки на другом берегу, у Белграда, я уже не узнавал ни других, ни самого себя. Я был раздавлен сознанием моего ничтожества перед громадностью пробужденных во мне мальчиком задач жизни и, признаться, полным негодованием, даже презрением к моим недавним приятелям. Я не мог слышать звона сабли, не мог видеть этого гарцующего молодца. Ни в чем не было смысла, все было безжалостное бессердечие и глубочайшая неправда, бессовестность и притворство...

«Разумеется, я уже больше не служил. Я снял мундир, оделся вот в это старое тряпье и стал жить только тем, что терзался собой и другими... Конечно, на меня стали смотреть как на сумасшедшего».

Рассказчик замолк.

— Ну, — помолчав, снова начал он: — вот в это время я и вспомнил *тех*...

И опять Долбежников прочитал длинный панегирик. Я приводить его не буду, скажу только, что благоговение его было так велико, что он и бездействие возводил в подвиг.

— Хоть и мыслию-то продержаться из-за мальчишки, продержаться всю жизнь — и то какое мужество, когда кругом все против тебя, даже иной раз те же самые мальчишки!..

Гензендорф — станция, с которой поезда идут в разные стороны: одни на Вену, другие на Варшаву.

— Ну, — спросил я Долбежникова: — куда же вы?

— Ей-богу, не знаю.

Вид его был необыкновенно жалок: зеленый, иззябший, испуганный, он был так одинок, так беспомощен...

— Ей-богу, не знаю, куда и деться! — прибавил он, помолчав.

Сказал он это и замолк. Молчал и я...



7. ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ

...Плохой клубный ужин был съеден, плохое клубное вино выпито; но небольшое общество, успешно совершивши и то и другое, не расходилось и продолжало сидеть за жиденьким клубным столиком.

Пять человек, сидевшие за этим столом: медицинский студент, его сестра, сельская учительница, неудавшийся и скучающий своим фраком и белым галстуком адвокат, проклинающий свою газету фельетонист и так «просто человек», служащий в банке, — все это общество испытывало по окончании ужина только Петербургу свойственное вялое утомление — результат суетливого, но ни капли не интересного дня... Вяло велись разговоры, поминутно перерываясь длинными паузами и касаясь тысячи разнохарактернейших предметов, что не только не способствовало оживлению беседы, но, напротив, делало из нее какое-то несносное, не имеющее цели бремя... Так тянулось довольно долго, когда случайно кто-то из собеседников заговорил о самоубийствах. Грустная тема эта — как ни странно это покажется — вдруг оживила разговор: в самом деле, в последние годы мания самоубийства черною тучей пронеслась над всем русским обществом, и едва ли в нем найдется кто-нибудь такой, которого бы эта беда не интересовала, помимо беды общественной, еще и с личной точки зрения. У каждого беда эта унесла кого-нибудь, с кем была близкая или дальняя связь родства, близкое или дальнее знакомство.

Оживившийся разговор пяти клубных посетителей сразу показал, что вопрос о преждевременной смерти

занимал каждого из собеседников едва ли не более всех других вопросов, которых в таком обилии касался сегодняшний вялый, скучный разговор за ужином. Оказалось, что всякий подумывал об этом деле, и подумывал не раз, и у всякого был материал, разработанный каждым на свой образец, и разработанный довольно тщательно.

Случайно подвернувшаяся тема была так всем близка и интересна, что немедленно и единогласно было потребовано еще две бутылки клубного вина, что предвещало всеобщее желание толковать, и толковать обстоятельно, то есть предвещало еще две или три бутылки в окончательном результате.

Поддерживаемый первыми бутылками разговор пошел оживленно и бойко: припоминались случаи, виденные, слышанные, приводились всевозможные объяснения: ревность, любовь, запутанные дела, оскорбленное самолюбие, и проч., и проч., и вместе с тем пытались взглянуть на дело вообще, подвести итог своим наблюдениям, своим мыслям по этому предмету.

Крайне разнообразны были общие взгляды на коренные причины эпидемии самоубийств, но то обстоятельство, что мания эта могла появиться и разрастись только в настоящее время, — это всеми признавалось единогласно. Все были согласны, что новое время русской жизни было главною причиною к тому, чтобы началось это поголовное самоизбиение, и что главная, существенная черта этого нового времени — необходимость жить своим умом, самому отвечать за самого себя, необходимость, осенившая сразу сотни тысяч народу, благодаря крепостному праву со всеми его многочисленнейшими разветвлениями, в виде всевозможных родов дармоедства и дармобытия, не имевших ни возможности, ни сил, ни уменья распознать в себе образ и подобие божие.

Фельетонист, проклинающий свою газету и свою профессию, утверждал, и притом самым настоятельным образом, что холопство, вбитое в русского человека, — главная причина и корень всех ненормальных, безобразных явлений современной действительности. Несомненно одностороннее мнение это фельетонист обставил рядом нахватанных оттуда и отсюда доказательств, из которых вышло примерно следующее: русский человек до такой степени лично уничтожен, что совершенно отвык видеть

в себе человека, то есть разумное существо, созданное, как утверждают, по образу и подобию божию, имеющее право жить, дышать, думать и поступать; он утверждал, что замордованный русский человек ценит в глубине души только жестокость, несчастие, палку; полагает кровью и плотью своею, что нечто постороннее, жестокое, трудное и, главное, мало или даже почти непонятное есть его единственные и самые подлинные жизненные руководители, его судьба, предопределение; что замордованный таким образом русский человек, поставленный новыми порядками русской жизни в необходимость обдумать собственное свое положение, должен был потеряться, так как моменты, когда надо самому за все отвечать, в настоящие дни возможны, по крайней мере относительно мелочей личной жизни; мысль эту, то есть потерю русским человеком почвы под ногами, потерю им сознания законности и цели своего существования, охватывающую его в минуты, когда над ним не гремят громы небесные, когда его «не пужают» справа и слева, — фельетонист обставил примерами, взятыми и из личных наблюдений и из фактов общественной жизни, знакомых всем слушателям по газетам. Сгруппированные им факты производили впечатление не столько, правда, глубиною и тонкостью наблюдений, сколько поспешностью, с которой г. фельетонист выбросил их, один за другим, пред заинтересованной публикой. Он указал между прочим на ту странную черту, вообще господствующую во всем русском обществе, вследствие которой оно, это общество, не замечает и совершенно не видит, не слышит таких явлений, которые стоят у него под носом сотни лет, и вдруг начинает видеть и слышать все это, как только разрешат... «Почему это, — спрашивал он, — разные комитеты обнаружили такую страстную жажду делать добро болгарским и черногорским бедным отцам и нищим детям, когда у них на глазах явлений, могущих трогать те самые струны сердца, которые пробуждаются бедствиями Болгарии, великое множество, и притом сотни лет и каждый день? Одних подкидышей в том самом городе, где живут они, сколько мерзнет на церковных папертях, в подворотнях богатых купцов, сколько мрет детей по деревням, по крестьянским избам! А какое обилие нищих шатается по городу! Каждую субботу непременно какой-нибудь благо-

детель раздает по копейке на каждого нищего, и каждую субботу можно видеть тут, под боком, какое обилие этого народа, как он жаждет копейки, как он терпелив, ожидая ее, как он зол, когда ее перехватят другие... Кто не видал, как *в кровь* дерутся из-за этой копейки? А это беспрерывное нытье за окном: «па-а-адайте... христа... ради... слепенькому... погорелому... убогому... нищему...» Ведь этот тихий стон слышит каждый из нас всю свою жизнь; ведь об этих подкидышах, об этих слепеньких и погорелых всякий из нас знает испокон веку — и что же? все это ни капли не трогает, точно так это и должно быть. Я сам, — прибавил фельетонист, — очень хорошо помню, как однажды в провинции я сам закричал даже на какого-то солдата, который охал у меня под окном в то время, когда я сидел за работой, компилируя французскую книгу о лионских работницах; я семерых послал в кухню, и этот восьмой вывел меня из терпения... Отчего вот на такие, под самым носом совершающиеся, бедствия я молчалив и терпелив? Отчего даже и на черногорцев и герцеговинцев я стал жертвовать только тогда, когда пришел квартальный и сказал: «можно!» Да потому, мне кажется, что я именно себя-то и потерял... Только чужое мне, постороннее и действует на меня — будь это приказ квартального, газетная горячая статья или книжка о лионских рабочих... Без этих посторонних приводов мое существование неподвижно, тупо и равнодушно. Собственно *я*, без палки, без указки и тумака («ну, это — уж очень!» — заметил кто-то из присутствовавших), так отношусь к явлениям жизни: вот герцеговинцев режут, вот нищие ходят, вот дети умирают на папертях и подворотнях... Я-то тут при чем?.. У меня даже мысли нет, что бы такое следовало изо всего этого... Но я делаюсь совершенно другим, когда на меня заорут: «Ты что ж это на герцеговинцев-то не жертвуешь? Ты что ж это не спасаешь погибающих детей? Ты что ж это (так и так) нищих-то развел?.. О лионских мастерских пишешь, а тут под боком люди расшибают себе лица в кровь из-за копейки серебром, из-за бутылки, выкинутой в помойную яму?.. Эй!..» Тут я вдруг очнусь, и все доброе откроется у меня во всю ширь! «Можно!» — завопию я всеми суставами и ринусь... Но и тут еще надо указать мне, куда ринуться и как... Надо с точностью научить, что пожер-

твования принимаются там-то и тем-то, все надо перечислить по пальцам, а то я постоянно буду затрудняться разными совершенно бессодержательными вопросами: например, можно ли чулки пожертвовать болгарским детям или нельзя? Хотя я очень хорошо знаю, что дети эти без чулок, что чулки им нужны и что, наконец, кроме этих чулок мне жертвовать нечего. Даже самое понятие-то слова «пожертвование», отлично мною понимаемое, я считаю настоящим, подлинным пониманием не у себя, а у тех, кто мне разрешает...»

Протест большинства присутствовавших за клубным столом лиц, усумнившихся было в действительности существования в русском человеке странной любви к палке, был заглушен все более и более разгорячавшимся фельетонистом помощью усиленной торопливости, с которою он перешел к новому ряду доказательств, не дав хорошенько разобрать и обдумать только что сказанное. Коснувшись сербской войны и объяснив эту русско-сербскую толкучку именно тем, что тут соотечественники пытались попробовать сделать дело сами, без указки и без палки, и не дав по обыкновению никому возразить, он тотчас перешел к ежедневным явлениям современной жизни и стал выхватывать одни примеры за другими. По его словам, неуменье жить без неприятностей видно повсюду. Он знал супругов, которые не могли ужиться при самых благоприятных обстоятельствах и отлично жили при неблагоприятных. Вот образцовая пара: оба добрые, умные люди, оба сошлись не из расчета, а по любви, и согласны по мысли... И что ж, скука, тоска, холод... Ни одно дело не удается, ничто впрок нейдет. Разошлись наконец. И глядишь: сошелся супруг просто с немкой Каролиной Карловной, у которой только одни потребности: иметь на руке мешок с деньгами и елико возможно больше извлекать этих денег из всего мироздания, — и все пошло как по маслу. Каролина Карловна каменной тучей своего грубейшего непонимания висит над человеком, над его развитием и умом; человек этот ропщет, но ожил, бегает по вселенной, «достает» и уж, поверьте, никогда не уйдет от этой каменной тучи. «Сам», своею охотою не уйдет. Потому что бессмысленные, нестерпимые условия, в которые попал человек, благодаря этой женщине с каменными мозгами и сердцем, он считает подлинными, заправскими,

а доброту, ум и простоту прежней привязанности считает только сном детским, из которого ничего не выйдет и с которыми страшно и холодно жить на свете. Не запряженный, пущенный на волю русский человек пропал, погиб в большинстве случаев, и единственное спасение ему — крепкие оглобли, тяжелый воз... Так привык, так заезжен. Продолжая не слушать возражения собеседников, тщетно спрашивавших: «при чем же тут самоубийство?» — автор теории любви к палке выдвинул еще новое наблюдение: именно, он сказал, что даже так называемые новые идеи и дела для многих-многих россиян важны и значительны только как бремя, как упряжка, как постоянная борьба с самим собой, постоянное мучение, испытываемое в этой борьбе, происходящей от полного разногласия всего существа субъекта с требованиями новых идей. Иной и рвется к ним, потому что исповедывание их почти для него невозможно... В подтверждение этого положения он рассказал про одну девушку, долго и безуспешно отбивавшуюся от своего истинного призвания — быть хорошей хозяйкой и матерью многочисленного семейства, забывавшей в один день все, что выдолблено ею в год, вроде экзамена на сельскую учительницу, и никогда не выучившейся понимать и различать общественные дела от необщественных. Нужно было видеть, что это была за мученица! Она едва не умерла, как вдруг вышла замуж, родила ребенка и расцвела, то есть все забыла и стала тем, чем должна была быть, влача иное, свойственное ее натуре бремя хозяйства и домоводства. Рассказал он еще и про одного мужчину, своего товарища по гимназии, который отдался новым идеям, тоже как будто с испугу и тоже потому, что в натуре и существе его именно и не было ничего нужного для того, чтоб идеи эти были живыми в живых людях. Испугавшись раз, в первые дни приезда в круг молодежи одного провинциального университета, он уж стал потом все делать с испугу и поступал во всем против собственных желаний. Женился потому, что жена решительно ему не нравилась, и потому, что именно это обстоятельство (жена была из новых) делало его причастным к тем кружкам, идеи которых были для него почти невозможны... Словом, человек этот, раз узнал, что в нем нет материала для исповедывания новых идей,

испугался самого себя и стал поступать против себя во всем.

Собеседникам показалось все это до такой степени трудно постижимым и неудобоваримым, что несколько голосов нашли нужным прервать рассказчика вопросом: «Да при чем, наконец, тут самоубийство? Зачем вы приводите таких уродов, идиотов и глупцов?» Фельетонист, очевидно хвативший в последовательности своих наблюдений через край, категорически объявил однако, что этих глупцов, этих людей, желающих ярма, так много на русской земле, что изучение странной любви к ярму можно считать достойным внимания образованного российского общества и что к самоубийствам все вышесказанное также имеет отношение довольно близкое, именно: самоубийством непременно должен кончить всякий из таких умеющих жить в ярме, как только жизнь поставит его в необходимость почерпать силу жизни в собственном желании и мысли. Такой человек в такие минуты с ужасом видит, что в нем нет источника жизни и почерпать не из чего. Умирают такие люди собственно «от испуга»... самих себя.

Этими словами, показавшимися всем похожими на правду, наблюдатель окончил изложение своих наблюдений, залпом выпил стакан вина и обещал все это разработать в своем фельетоне, прибавив:

— Вот тогда увидите...

— Нет, — перебил его медицинский студент: — я вот чего не понимаю... Я не понимаю, как можно умереть с голоду... Мне понятно, что в минуту отчаяния, испуга, как вы говорите, можно пустить пулю, принять яду, но морить себя десять, пятнадцать дней голодом, умереть от самовольного истощения — этого я не понимаю... Какой тут испуг? Вообще, я не понимаю тут ни капли...

— Болезненное состояние... — произнес было банковский чиновник...

— Я об этом не говорю; я спрашиваю только: каким путем доходят до этого состояния?..

— Тоже от испуга... — нерешительно произнесла сестра студента, сельская учительница.

Это была одна из тех много думающих, но робких девушек, которые в редких случаях, и то вспыхнув от сознания неловкости, решаются произнести свое словечко.

Обыкновенная форма разговора этих натур такая: «Мне кажется... я думаю...» Начнет она — и тотчас замолчит. «Говорите же, что вы думаете?.. Говорите пожалуйста». — «Нет, я так... Я ничего не понимаю...» — «Что за вздор! как ничего не понимаете?.. Говорите, ради бога». — «Я думаю... Нет, я дура...»

И только после многих ободрительных слов, большею частию в ту минуту, когда уж и не ждут никаких от нее объяснений, она вдруг выскажется торопливо, кратко и верно.

Так было и на этот раз. Все присутствовавшие знали, что словечко, сказанное этой девушкой, не будет пустым, и разом налегли на нее с требованием сказать, что именно она думает, когда на замечание брата о том, что ему непостижимо, кого и чего можно так испугаться, чтобы морить себя голодом, мучить самым жестоким образом, вместо того чтобы пустить пулю в лоб, она ответила обычным порядком, то есть начала словами: «мне кажется», и кончила тотчас выражением: «нет, я так... я не понимаю...» После усиленных и всеобщих настояний из этого молчаливого существа было извлечено мнение, что с голоду умирают, испугавшись — *«всех»* и *«всего...»*, то есть и себя и всего белого света: кроме этого, она сказала, что знала одного человека, который именно *так* и умер, и, повидимому неизвестно зачем, прибавила: «Он был крестьянин...»

— Ну, — перебил ее брат: — положим, это-то... уж ничего не значит...

— Нет, значит... Я знаю, что такое деревня и крестьянская жизнь... Ни для кого так не страшна действительность, как для крестьянина... В его жизни нет прикрас и снисходительности ни в чем... Все — от неба, которое хлынет градом, от земли, которая не уродит, до отца и брата, которые не пощадят его, если не будут сами пощажены, — все может раздавить его в мгновение...

— Ну, рассказывай лучше, — перебил брат. — Кто такой это твой знакомый... Рассказывай все обстоятельно...

Запинаясь и конфузясь поминутно, девушка рассказала одну очень простую историю, которую я и записал так, «как понял», не ручаясь за точность и подлинность выражений.

На Оке, в одной деревеньке, где останавливаются пароходы, на краю селения, много лет тому назад жила солдатка с маленьким сыном. Жили они у самого берега, в нищенской лачужке и в страшной бедности: ни кола, ни двора, ни куриного пера... Чем жила эта женщина? Некрасивая, худая и оборванная, ходила она на поденщину, на поденщину деревенскую, где гривенник за целый день — деньги громадные... Когда же приходили барки и заночевывали в деревеньке, в хибарке солдатки слышались гармония и песни: пели и веселились такие же, как она, нищие люди, бурлаки... Такие грехи солдатки, весьма понятные в ее положении и случавшиеся только ради ее крайней бедности, грехи, дававшие ей возможность только-только не умереть с голоду, однако ставились ей строгим деревенским крестьянством в вину и даже вредили ей в поденной работе...

Долгие годы билась она так, как рыба об лед, работая и голодая, гуляя с бурлаками и тоже голодая, и никогда не имела ни средств, ни времени ходить за своим ребенком. Рос он без всякого призора, голодный, буквально раздетый, вечно выброшенный на улицу: на улице ёрзал он, когда у матери пили и гуляли гости; на улице торчал, когда она где-нибудь мыла полы, или стирала, или работала какую-нибудь другую поденную работу. И тут и там он мешал, корявый, неуклюжий и совершенно дикий. Он мешал даже и в детской компании — его гнали прочь, потому что он всему завидовал и тянул к себе, а когда не давали, то ревел. Ни о чем никаких понятий он не имел: не было ни одного человека, который бы сказал ему слово. Всем было видно, что ни матери его, ни ему жить нечем. И вот жестокая русская действительность: ни в чьем внимании, ни в чьей заботе ни он, ни мать не занимали ни капельки места.

Никому не было жалко их, точно это — не люди, а гнилое, захудалое дерево, которому нечем жить и которое засохнет непременно. Эта жестокость имеет свои основания хотя уж в том, что всякий из крестьян живет в таких же условиях и твердо знает, как про себя, так и про других, что «если у него *ничего* нет, то *никто ничего* ему и не даст», никто ничем не поможет... Но об этом распространяться нечего долго... Словом, полное одиночество, одиночество необитаемого острова... Хуже!

Что необитаемый остров! Необходимость пищи заставляет там думать, искать, наблюдать... Тут же и мысль не смела действовать, потому что обитавшие место люди взглядами, отношением говорили, что твое, мол, положение самое беззащитное; ничего у тебя нет, ничего не будет — и дело твое пропащее вконец. Слабая, едва-едва теплившаяся надежда, что вот, мол, воротится из полка отец,— одна только и то как неосуществимый сон, мелькала иногда у матери дикого ребенка и передавалась ему также в слабой, чуть-чуть слабой степени... Он, как и все его односельцы, уже ребенком маленьким, только начинающим ходить ребенком, знал, что ему надежды нет ни на что, что ему никто ничего не даст и что сам он ничто... Голая земля под ним и голый он сам на этой земле: вот его положение, средства, надежды — всё.

Как-то на лето приехали в деревню господа, очень долго жившие за границей и в столице. Тогда только что началось вполне выясненное теперь и очень смутное в ту пору стремление слития и проч. и проч. Поденщица попала к господам на работу и, как людям чужим, посторонним, за два, за три дня работы рассказала свое горемычное житье, все в подробности... Изумились, растрогались, сжалились, набавили целый рубль, дали мальчишке старые сапоги своего сына, накормили. Тонко наблюдателен голодный народ! И мать дикаря-мальчишки увидела, что надо пользоваться добротой господ: «подай барчуку лопаточку»... «повези колясочку»... «прогони собаку, видишь — барин пужается»... — стала она поминутно твердить своему неуклюжему волчонку.

— Да ты присылай его к нам играть с Мишей! — был результат этих стараний голодной матери.

С этого дня Федор (так звали волчонка) стал ежедневным посетителем барского дома, ничего не понимая, зная только, что там ему лучше. Молча возил Федюшка колясочки, таскал песок для пирожков, отгонял собак и терпеливо ждал новых и новых приказаний, зная, что его дело — их исполнять; его кормили здесь, и он тотчас убегал домой, когда ему ласково говорили: «ну ступай, уж поздно — тебя, должно быть, мать ждет»... Федюшка хорошо знал, что это ласковое внимание к матери означало — «ты больше не нужен, Миша будет спать». Но ни капли этим не обижался, потому что и мысли не мог

допустить, чтобы он был что-нибудь значащее. Он был брошенный на улицу опорок, свалившееся с возу полено, словом — никому ни на что не нужное создание. Спасибо, что хоть кормят. Он служил за корм, за воду и ничего не понимал даже в окружавшей его обстановке барского дома: это все было чужое...

Скорей на несчастье, чем на счастье Федюшки это сознание себя чужим не только в барском доме, но вообще на всем белом свете было мало-помалу, по капельке разрушено матерью ребенка, которому Федюшка услуживал в благодарность за еду... Барыня эта была одна из тех странных матерей, которые никак не могут пользоваться тем, что дано их детям природою, тем, что в них есть и что может быть. Еще до рождения составила насчет своего будущего сына (иные прямо определяют, что у них родится сын, непременно сын, или непременно дочь, и бывают ужасно недовольны всю жизнь, если выйдет иначе) самые определенные планы: определила цвет волос, цвет глаз, походку, выговор, склад губ и длину носа; она крайне была обижена, когда, по рождении ребенка, приметы и качества его оказались вовсе не такие, о каких она фантазировала: ни волоса, ни нос, ни рот не соответствовали предначертаниям предусмотрительной матери: все было другое, других размеров, цвета и выражения... Не такой был голос, не такою оказалась походка, когда он стал ходить, словом — все не то. Это до того огорчило мать, с первого дня рождения ребенка, что она, несмотря на то, что ребенок принадлежал именно ей, никогда не могла уничтожить (да и мало об этом старалась) в себе какой-то холодной к нему отчужденности. Раз сказав себе, что «это не то, это — не тот ребенок», она не могла отделаться от этого странного мнения и ровно ничего не понимала (а впоследствии привыкла не понимать) в том, что дано было ее ребенку, и в том, что он по своей натуре совершит... Все дни этого мальчика были испещрены недоумевающими вопросами матери: «Что он делает? Что это за фантазия? Откуда это? Я не понимаю — ззач-чем? Что ты хочешь?» И в конце концов: «Ужас, что за ребенок! Я просто не знаю, в кого... на что... что такое?..» Что бы он ни сделал, что бы ни сказал, куда бы ни пошел — все выходило не так, не то, не туда, все было не так,

как предположила мать и как поступил бы ее предначертанный сын... Обыкновенно такие матери вконец задергивают своих детей и делают их своими заклятыми врагами. И в маленьком Мише вместе с забитостью уже развивались семена злости и мести.

Как ни странным это покажется, однако случилось, что Федюшка, дикий, ничего не понимающий, голодный желудок, голодный, и неуклюжий, и не развитой, выступил неожиданно в новой роли — не простого служащего господскому барчуку, не простого поденщика, таскающего, по барчукову приказу, лопаточки и тележки, — нет, он внезапно выступил как *пример* этому барчуку. Чего только не выдумает иная сообразительная мать!

Федюшка — *пример* господскому ребенку! это так же правдоподобно, как если бы седло было примером для коровы или если бы господский ребенок был примером для всех Федюшек на свете. А между тем вышло же, что Федюшка стал примером, образцом ума, изящества, словом — образцом всевозможных добродетелей. Конечно, добродетели эти приписывались ему как деревянному болвану, как кукле, которой, как говорят, бывает больно, когда ее бьют, которая будто пришла в гости и т. д. Федюшка так это понимал и долгое время смотрел на себя не иначе, как на деревяшку, когда его ставили примером какого-нибудь хорошего качества. «Посмотри, как Федюшка... Видишь, какой умный Федюшка... Как тебе не стыдно! вон Федюшка даже смеется. Правда, Федюшка, как это нехорошо? Да? Ну, вот видишь: Федюшка говорит». Бесчисленное количество таких указаний на Федюшку, на Федюшкин ум, понятливость и прочие хорошие качества последний, в качестве деревянной куклы, переносил с величайшим терпением, памятуя, что все это его не касается и что слава богу, что кормят.

Но через год, другой (господа стали жить в деревне даже по зимам) такие уверения в каких-то превосходных качествах Федюшкиной особы, по капельке, на мгновение начали протачивать его с детства обезнадеженное сердце. Однажды во время таких похвал белое, бесцветное лицо его вспыхнуло, и он, не позволявший себе сказать никогда ни одного своего слова, произнес ко всеобщему удивлению как-то необыкновенно радостно и торжественно: *«ко мне батька вот придет ишо!»* Даже

на лбу при этих словах у него загорелось красное пятно, точно звезда. Никто не мог сообразить, какая связь между мнимыми похвалами мнимым качествам деревянной куклы и необычайным восторгом этой последней ввиду того, что у нее есть какой-то батька, который *ишо вот придет*. А связь была несомненная. Федюшка, постоянно одобряемый, впрочем не раньше, как через два года этих непрерывных одобрений, стал позволять себе верить, хоть на мгновение, на один миг, что он — не совсем пропавшая тварь, что он на самом деле такой же человек, а может, еще и лучше, чем другие Федюшки... Ведь говорят же ему об этом каждую минуту?.. И вот, чтобы самому себе доказать, что он — не пропащий, он припомнил, как уже известно, единственный серьезный резон, имевшийся у них с матерью, связывавший их, хотя очень отвлеченно, с обществом живых людей и дававший хотя какое-нибудь объяснение их горемычнейшему, безнадежнейшему существованию... И вот почему он неожиданно буркнул о своем отце. Он хотел сказать, что недаром его хвалят: он ведь в самом деле настоящий, не кукольный Федюшка, к нему даже еще отец вот придет, тоже настоящий... И звезда у него во лбу загорелась оттого, что он на мгновение позволил себе узнать, что он — не кукольный Федюшка...

Повторяю, только мгновениями в сознании мальчика мелькало что-то похожее на уверенность, что он — не ничтожество, не бросовый ошметок... Да и трудно было укрепиться этой уверенности. Каждый день, исполнив амплуа «примера», Федюшка возвращался вечером в лачугу матери, в атмосферу все той же безысходной бедности, которая вынянчила его и вскормила. Каждый божий день ему представлялась необходимость убеждаться, что настоящее-то его существование — именно в этой лачуге, в этой бедности, одиночестве, а вовсе не там, где, хоть для примера, смотрят на него как на живое существо. Сознание, что он, Федюшка, — ничто, было так глубоко вкоренено в нем, так глубока была его уверенность в том, что он только для примера имеет право быть в другом мире, дышать другим образом, что даже некоторое развитие, некоторое понимание, приобретенное им в господском доме, он считал также принадлежащим не ему, а кому-то другим, чужим. Он, например, давно

уже выучил, стоя за спиной господского барчука, не только азбуку, которой того учили, но склады, знал, как надо читать, но не мог бы прочесть ни строки, ни слова, так как все в нем твердило ему: это — не твое дело, это — дело чужих людей, не таких, как ты. Не знаю, как выразить и выяснить лучше это состояние: не яснее ли будет оно, если я скажу, что Федюшка смотрел на незаметно приобретаемое им развитие как на чужую собственность! и не умел обращаться с этой собственностью... употребление которой могли знать только другие.

Но в редкие минуты, когда у него на низком маленьком лбу, закрытом редкими белыми шершавыми волосами, загоралась звезда радости, он вдруг, изумляя всех и сам изумляясь едва ли не более других, вдруг обнаруживал и узнавал, что он уж давно знает читать и что умеет прочесть слово в какой угодно книге... «Да он отлично знает читать!» — уже не как о кукле, а с явным удивлением произнесли однажды родители Миши, когда Федюшка, сам не помня и не понимая, что с ним делается, задыхаясь от радости, вдруг без ошибки промахал целую страницу и мгновенно доказал, что он в самом деле способней и умней господского Миши, что он в самом деле может на этот раз служить ему неподдельным примером. Но если бы Федюшку заставили читать самого, то есть делать свое, а не чужое дело (уметь читать — чужое дело), он бы спутался, все перезабыл, потому что самому ему суждена иная участь и на роду ему написано пресмыкаться в ничтожестве... И сознание этого постоянно бы мешало ему быть так же свободным в своем деле, как совершенно свободен он в чужом.

Однако развитие Федюшки, несмотря на его забитость, несмотря на то, что свою горемычную участь он с каждым днем мог различать яснее и яснее, шло да шло понемногу, и звезда во лбу, вопреки всяческим резонам, представляемым суровою действительностью, загоралась все чаще и чаще... Разгоралась она, несмотря даже на то, что, кроме горемычного существования, с некоторого времени на его пути стала новая беда: понемножку, с крайней деликатностью и гуманностью, ласковое обращение господ с Федюшкой начало изменяться в худую сторону... Нет ничего хуже, жесточе и неумолимей родительского сердца, раз оно тронуто за живое...

А Федюшка не раз трогал его... Уж одно то, что он выучился читать, будучи куклой, раньше, чем настоящий Миша выучил азбуку, — уж это одно как обидело барыню и барина, несмотря на то, что для барыни сын ее был не настоящий, не тот, которого она желала. Едва только Федюшка оказался в самом деле Федюшкой, а не куклой для примера, тотчас проснулось родительское сердце и тотчас ожесточилось: сначала на судьбу, которая дала вовсе не того ребенка, какого следовало (тот бы заткнул за пояс всех этих Федюшек), потом на не настоящего ребенка, который ставит мать постоянно в неприятное положение, и, наконец, на Федюшку, который бог знает зачем тут толкается и только еще более делает неприятностей и так уж огорченной матери... Потом уж по особенной логике вышло так: Федюшка только мешал, и только от Федюшки Миша и не успел в ученье...

И отец Миши и мать одинаково сознавали, в те минуты, разумеется, когда Федюшка изумлял их появлением во лбу звезды, что он тут — лишний, что он мешает... Но так как они были люди совестливые и гуманные, то и не прогнали его, а продолжали пускать в хоромы, только деликатно давая заметить, что он, Федюшка, не бог знает что такое... «Не сбивай, пожалуйста... Ты, Федя, постоянно мешаешь... Ты видишь, Миша учится, а ты стучишь... Иди на улицу стучать...» — и т. д. Понемножку, по капельке, Федюшке стали доказывать совсем другое: то есть что он — вовсе не пример, и что он — мужик и неуч, и что настоящее место его вовсе не тут... Все это, разумеется, в высшей степени деликатно...

Но что поделаешь с раз начавшей разгораться во лбу звездой! Правда, и лоб-то этот был маленький, низенький, весь заросший по краям и сверху белыми шершавыми, как солома, волосами, и звезда-то в нем разгоралась редко, светила робко, робко... А все-таки, раз начав светить, стала светить, несмотря ни на что: ни на то, что горела она в лачуге, разрушавшейся все более и более, что перед ней была непроглядная тьма будущего и что ее застилали, кроме того, холодные тучи в виде холодного господского равнодушия...

И случилось с заморенным, обреченным на явную гибель существом нечто весьма странное, хотя случающееся на Руси именно в настоящее время с великим множе-

ством простого народа... то есть он прямо от складов принялся за чтение книг, отвечающих самым настоятельным и насущным требованиям мысли... У господ не было ничего, кроме книг, которыми интересовалась тогда вся грамотная Россия. На просьбы Федюшки дать ему «книжечки почитать» барин и барыня обыкновенно говорили: «какие же тебе книжки? право, ничего нет такого!..» И давали ему первую попавшуюся под руку книгу, будь это — иностранный роман, политическая экономия или последняя книжка журнала. «На вот, — прибавляли они: — ведь не поймешь ничего...» — «Мне так!» — говорил Федя, которому действительно книжка была нужна просто так... так, как звезда не меркла во лбу... Но какую бы книгу тогдашнего времени (а господа были «следящие») они ему ни сунули, достаточно вспомнить самый тон времени, чтобы понять, что всякая тогдашняя книжка, независимо от формы, в сущности своей отвечала именно Фединому положению, говорила, хотя и робко и нежно, о его бедовом житье-бытье...

И вот к таким-то книгам Федюшка перешел прямо от складов, минуя Еруслановых Лазаревичей, псалтырь, жития святых, минуя сонники и письмовники и т. д. и т. д. В настоящее время, когда псалтырь и часослов уж не составляют главнейших оснований грамоты, грамотному простому человеку приходится прямо переходить к газете, к «Ведомости», так как существующая литература, ни лубочная, ни так называемая изящная, одинаково не могут служить пособием для дальнейшего, после новой школы, развития, а главное, не могут попадать новому грамотному в руки: лубочная литература — по своей глупости, изящная — по дороговизне и, пожалуй, некоторой ненужности: все в этой литературе посвящено чуждым интересам, иному миру, чем мир грамотного пахаря. Единственными пособниками являются газета и трактир, дающий право даром читать эту газету всякому, кто пришел выпить пару чаю. Пересмотрите дешевые газеты, попадающие в дешевые сельские трактиры, да и не одни дешевые, а дорогие и длинные современные газеты, припомните их ревностное стремление «угодить» нешироким вкусам почтеннейшей публики; припомните их вилянье, их вообще неправдивое, неискреннее, не дельное направление — и вы не без сожаления подумаете, что это — очень

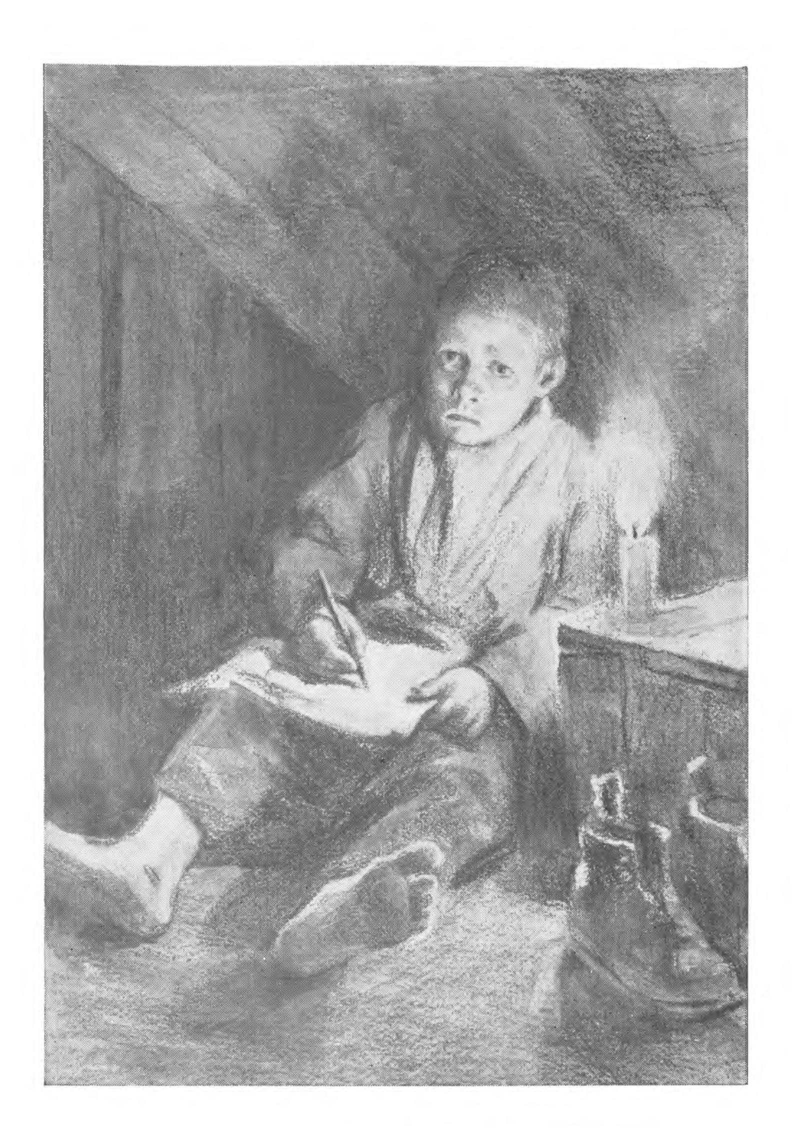
и очень плохая школа для начинающего быть грамотным народа.

Но вернемся к Федюшке. Что мог понимать он в тех книгах, которые в то время писались и которые он брал от господ? Вопрос этот весьма любопытен ввиду того, что книги того времени действительно имели влияние на тугой, неразвитой, малоспособный и забитый ум Федюшки, тем еще более любопытен, что, развиваясь на этих книгах, Федюшка ровно-таки ничего в них не понимал. Он «разбирал слова», как Петрушка, разбирал их целыми десятками, сотнями страниц, не находя между ними ни смысла, ни связи, а развивался, и именно в том самом направлении, каким книги были проникнуты. Тайна такого непостижимого умения развиваться книгой, ничего в ней не понимая, заключается в том, что развитие тут идет не помощью ума или понимания, а исключительно помощью сердца. Сердце автора подает весть сердцу не понимающего «слова» чтеца. Кто и когда из самых завзятых знатоков писания понимал не только доподлинно, а так, хоть из пятого в десятое, что такое читается в церкви, какая начетчица понимает, что такое написано в псалтыри, который она зудит по годам? Что такое написано в «Апостоле»? Никто никогда, ни один самый завзятый начетчик и грамотей крестьянского звания не мог и не может рассказать (разве что вызудивши дело дотла), о чем таком ему читают, но всякий знает, в чем дело, потому что сердцем понимает сердце автора, будь то царь Давид, апостол, сам Христос... Скрытое в глубине и массе слов чувство, руководившее автором книги, только оно и улавливается слушателями или чтецом, и, уловя его, чтец или слушатель продолжают только чувствовать в данном сердцу направлении, думая о себе. Попробуйте спросить вот этого старого старика, всхлипывающего на печке от чтения псалтыри, такого чтения, в котором никто ничего разобрать не может, потому что тут нет ни остановок, ни связи, тут разделяется пополам одно слово и произносится так, что один конец прилипает к предшествовавшему слову, а другой к последующему, — спросите этого плачущего старика: что такое растрогало его в этих, как разваленный плетень, натыканных его внуком словах? — То, что он вам ответит, будет непременно годиться в горбуновский рассказ; непременно выйдет что-нибудь вроде:

«наслежу, говорит, следов (плачет), а ты... гов... (плачет) говорит, по ним и ходи... (рыдает)». Словом, выйдет непременно какой-нибудь смешной вздор, сразу обнаруживающий, что рыдающий старик глуп, как пробка... А между тем он рыдает теми слезами, какими рыдал и царь... Сердце его так же мучается своими прегрешениями, как мучилось также своими прегрешениями и сердце пророка... Оба одинаково страдают, каждый о своем... Старику передалось только направление книги; он только почуял, что мучился человек, который писал, и простое сердце отвечало слезами...

Таким порядком читают в трактирах и газеты, не понимая ни этой «фанатизмы», не зная, что Царьград, Стамбул и Константинополь — одно и то же, не понимая, что такое пишется в романе, переведенном с французского, что такое поется в театре Буфф и в Ливадии; словом, не понимая почти никаких слов газет, еле грамотный чтец отлично-хорошо чует общее шаромыжнически-практическое и плутовски-улыбающееся сердце газеты и отвечает ему смелостью, с которою шаромыжничество возрастает в народе в значительной степени. Точно так влияли непонятные книги и на Федюшку. Рассказать прочитанное и передать своими словами он не мог, выходил всякий вздор, но сердце книги он чуял, понимал, а сердце в то время было у книги чистое и доброе... Оно было открыто именно только Федюшкину горю.

В плохо кормленном, плохо развитом, малосильном, малоспособном этом человеке, выросшем в холодной и неприветливой обстановке, — человеке, отчаявшемся в своем праве на жизнь, — зашевелилось в сердце от этих непонятных страниц непонятных книг, что-то похожее на жалость... Жалко как-то ему стало делаться все сильней с каждым днем... И мать жалко, и себя жалко, и жаль, что господа его бросят непременно, и жаль, что на него с матерью никто и глазом не взглянет... О боге, о его воле в делах человеческих он не знал; матери было недосуг, а господа тоже мало бога помнили, как вообще все господа... Не имея поэтому возможности объяснить себе своего положения указаниями провидения, Федюшка — теперь уж Федор (ему уж было четырнадцать лет, когда началось его жалостное состояние) — только убивался. Не понимая, отчего и что, он жалел, скучал и сокрушался



сердцем... Нежное что-то было пробуждено в этом засыпанном снегом горя сердце, нежное, как подснежный цветок... Эта нежность, ласковость обнаружилась по отъезде господ на матери. Уж как он старался ей помогать: и чемоданы таскал с пристани, ходил по дворам, собирал старые бутылки... Благодаря непонятным книгам, пробудившим жалость и сожаление к незаслуженным страданиям, только эта жалость и оживляла его, только она и росла в нем... Придет время — перестанут на нас рычать и сердиться соседи, перестанут бранить мать, станет он учиться и в благодарность за то, что никто не сердится на них, сам никогда не будет сердиться. «Все будут ласковы друг к другу, за копейку, за бутылку драться не будет никто... Стоит только всем быть добрым...» Так у него ныло в сердце, несмотря на то, что по отъезде господ у него даже и книг не было. Помогая матери, он и ее-то вывел из безнадежно-голодного состояния, и она стала скучать, и у нее стало мелькать: «за что это?», и она, как Федюшка, чувствовала, что это все неправильно и, должно быть, когда-нибудь переменится... «Вот придет отец!» Эта мысль после отъезда господ стала единственною мыслью их обоих; этот приход был бы, уверили себя они, началом освобождения; отец поможет им выйти из-под гнета всеобщего презрения, а они, и в особенности он, Федор, покажет тогда, как он добр, как он всякому рад. Тогда все узнают, что были к нему жестоки, несправедливы, и, раскаявшись, сделаются добры и мягки. Будет тогда всем и легко и весело. «Вот только пусть придет отец!»

С годами мысль об отце, мысль довольно фантастическая, ни на чем не основанная, стала делаться и для сына и для матери чем-то почти реальным. Потребность подняться из бездны, заставить людей оглянуться на них, заставить их раскаяться и понять, что «мы с мамкой» ни в чем не виноваты, делалась все настоятельнее и сильнее. Только приход отца, этого, по всей вероятности, сильного, справедливого человека, которого все будут уважать сразу, с первого дня, — только его приход и помощь могли помочь им выйти из беззащитного положения и добиться от людей того, чтобы они раскаялись, смягчились, сделались добрей... Бывали дни, когда и мать и сын, оба вместе, и именно сегодня, ждали прихода избавителя...

«Что-то думается мне, как бы батька твой не пришел? Что-то уж мне стало очень скучно... Право, поди, не пришел бы... Пора б прийти-то». Федюшке самому было тоже так скучно, что он ни капельки не сомневался в справедливости предположений матери и твердо был уверен, что отец придет непременно, того и гляди.

Было Федюшке шестнадцать лет, и вдруг сбылись предчувствия и надежды. Отец в самом деле пришел-таки, и пришел в ту самую минуту, когда им стало скучно, так скучно...

Пришел — и не прошло двух дней, как при всем честном народе, перед целым сходом, на площади между волостным правлением и кабаком, несчастный, измученный мальчик был жестоко выпорот по желанию своего долгожданного родителя... Два ведра вина, которые родитель не поскупился поставить миру, сделали свое дело: Федюшку выпороли на славу; дюжие руки, укрепленные сивухой, не жалели худых Федюшкиных ребер и засыпали ему в худые бока без счету... «Хорошенько! — вопияла пьяная орда: — заслуживай, ребята, Силанью Ивановичу!..»

Пусть читатель сам представит себе, что должно было произойти в душе Феди от такого неожиданного оборота дела, покуда я скажу несколько слов в объяснение того, как могло случиться такое несказанно-жестокое дело.

Воротившийся отец оказался вымуштрованным, вышколенным, хорошо откормленным бульдогом, едва ли уж умевшим понимать какие-нибудь профессии, кроме профессии вцепляться своими крепкими зубами в чье-нибудь горло. Это была одна из тех жестоких, тупых тварей, которые невесть за что готовы съесть родного отца... Верный и жестокий как пес, он был золотым человеком там, где нужно было караулить, ловить, не пускать, вообще *исполнять* какой угодно бесчеловечный приказ. Приказ, и именно трудный, жестокий, как нельзя лучше приходился по его жесто́кой, сухой, бульдожьей натуре. Эти собачьи качества, эта собачья выдержка, неумолимость и верность сделали ему хорошую карьеру на службе у богатых господ, которые не нахваливались им в то время, когда «свой брат», простой человек, загрызаемый им без всякой пощады, смотрел на него как на бешеную собаку. Несколько раз его собирались убить, стреляли в него из ружья, когда

он караулил у одного богатого помещика лес: под его хищным взглядом нельзя было унести ни одного сучка, сорвать ягоды — все видел, всех хватал, связывал, представлял куда следует и разорял иной раз дотла целые семьи крестьянские из-за этого сучка, из-за этой ягоды. Сам он был безукоризненно честен, всякий рубль, нажитый им, нажит за верную, беспощадную службу — себя он на этой службе «не жалел», бесстрашно лез в огонь и в воду, если только было ему велено. Он и домой-то не шел так долго, потому что считал бесчестным оставить *так*, без призору, то или другое врученное ему дело. Всякую службу он дослуживал до конца, до последней точки той цели, с которой его брали на службу.

Вот такой-то железный и прямой, как железная палка, человек, устав служить чужим людям, пришел домой. Не было в нем нежности никогда, а поведение его жены, сделавшееся ему ясным с первого дня прихода, еще более окаменило его каменное сердце. Она, по его мнению, не должна была бесчестить его распутством, как он не бесчестил ее. Она была бедна — да ведь и он нищим вышел из полка; однако он прожил честно, а она опозорила его на весь свет. Он всю жизнь бился для того, чтобы добыть им же, — отчего же не билась она? Живут же люди без распутства.

Начались с первой минуты свидания жестокие, зверские сцены. Разозленный и обиженный зверь вгрызался в пропащую женщину без всякого милосердия... Он и мстил этим и одновременно хотел поднять свою репутацию, сразу поставить себя среди земляков на хорошую ногу. Как ни покажется это странным, а было действительно так: солдат доказывал, что он — не кто-нибудь, а человек, знающий порядок, знающий, что значит жить честно, благородно. В одну из таких семейных драк Федюшка, изумленный и ошеломленный неожиданным появлением такого зверя, не помня себя, вцепился ему в нафабренные бакенбарды — и вот бульдог отомстил ему. Два ведра вина, как уже сказано, сделали дело. Мир выпил их и выпорол, на славу выпорол несчастного Федюшку... Солдат требовал беспощадного дранья — и мир, исполняя это требование, понимал, что этой жестокостию, обрушившеюся на жену и на сына, солдат доказывает собственное свое превосходство над их грязной и позор-

ной жизнью и поведением, доказывает, что он честен, порядочен и почтенен и что этим уж оченно высоким пониманием своей чести он даже и семью свою хочет оградить от всякой тени позора. Решительно не нахожу слов, которые бы могли с достаточною ясностью представить читателю то, что испытал Федор от этих вдруг постигнувших его жестоких, бесчеловечных неожиданностей. Он весь был раздавлен ими, сломан, скомкан в комок. Ничего не чувствуя, не понимая, он весь как бы задохнулся и окаменел...

Через час после ужасной сцены у волостного правления Федор, не зная как, очутился на одной из барок, стоявших на реке, и, трясясь всем телом, на все расспросы барочников слабым, до смерти испуганным шопотом мог произнести только: «бо-юсь!.. бо-юсь!..» К нему нельзя было в это время прикоснуться пальцем: немедленно шопот превращался в отчаянный крик. «Боюсь!» — взвизгивал он, бросаясь в сторону и расшибая голову о дрова, о что попало, точно до него дотрагивались не пальцем, а каленым железом. Как он ухитрился спрятаться на барке, я не знаю: только барочники, не зная о том, что он скрывается у них, увезли его с собою, направляясь к Нижнему. Испуганный и трепещущий, два дня без пищи просидел он в самом глухом, неприметном углу барки, покуда случайно не открыли его там. Поругав и покормив, барочники оставили мальчишку, решив: «пущай!», и не обращали уж больше на него никакого внимания. Истерический ужас, в котором мальчик очутился на барке, начал понемногу проходить, заменяясь совершенно определенным испугом перед всеми и перед всем. Все для него было страшно жестоко. Люди, весь белый свет испугали его — неизлечимо, на веки веков. Как мог он понять и объяснить себе все, что с ним случилось с первых дней детства?.. Он — комар, которого, не задумываясь и не беспокоясь, убивает всякий, кому он мешает! Но чем, кому он мешал? Он ничего не мог понять и знал одно — что неведомо почему его все хотят уничтожить, раздавить, стереть с лица земли... Нет спора, что жизнь может напугать всякого, что всякий может иной раз почувствовать ужас своего существования на белом свете, но так испугаться белого света, как испугался его Федор, едва ли приходится или приходилось кому-нибудь

другому. В нем навеки запечатлелся страх, испуг и уверенность, что ни от кого ничего он не имеет ни права, ни возможности ждать, кроме жестокости непонятной и необъяснимой.

— Что ты? Куда ты? Ай ты угорел? — окликнул Федора один барочник в то время, когда подошли уже к нижегородской пристани и ночевали там.

— Утоплюсь! — отвечал Федор.

— Ребята! глянь-ко, что малый-то вздумал!..

Несколько человек проснулось и обступило Федюшку.

— Это — что ж ты, паршивец, делаешь? а? Это ты за нашу хлеб-соль-то нас хочешь подвести под сикурс? ах ты, дурья твоя порода! — загалдели вокруг него барочники.

— Захотел топиться, шут тебя возьми, — пошел топись!

— Да не пачкай компании, к ответу не подводи.

— Мало тебе места-то, корявой дубине?

— Прогнать его, шельму, прочь!

— Пшол, пшол!

— Обыскивать его, анафему!

Стали обыскивать; оказалось, что Федор для лучшего выполнения задуманной операции наклал за пазуху под рубашку множество камней, кирпичей и туго подвязал под ними пояс. Ему казалось, что так он скорей пойдет ко дну.

Всеобщий гнев заменился смехом, а Федюшкин испуг разрешился слезами. Он объявил, что не пойдет топиться, что виноват. Просил, чтоб его не гнали, спрашивал: куда ему теперь?

— Иди в половые... ноне ярмарка стоит... еще деньги наживешь.

Какой-то добрый человек свел его в одно из бесчисленных в ярмарочное время трактирных заведений, и Федор стал половым за харчи и за доходы, какие случатся, но без жалованья. Ежеминутно чувствуя себя совершенно чужим на белом свете, чужим между всеми этими орущими, пьющими и дерущимися людьми, он решительно не замечал, что такое кругом него творится, и работал, как неустанная машина.

Так прошла вся ярмарка.

У Федора вдруг оказалось рублей тридцать денег, сумма, накопившаяся незаметно, и Федор тотчас, как только сосчитал деньги, вспомнил о матери. А как только

вспомнил о ней, так и о себе вспомнил, и в пришибленном мозгу опять замелькал какой-то светлый луч... Опять ему стало ужасно жаль... Жаль «всего этого», жаль до слез. И ревел он над своими деньгами долго-долго. Хозяин даже отобрал у него эти тридцать рублей себе под сохранение, прибавив:

— Так-то оно лучше будет, меньше будешь нюни-то разводить.

Федор, однако, и без денег нередко обливался горючими слезами; во сне он плакал каждую ночь и кричал, причиняя посетителям нумеров постоянные беспокойства; тем не менее хозяин держал его у себя и после ярмарки, дорожа его покорностью, выносливостью и бескорыстием.

Федор жил, не думая о будущем. Вновь пробудившаяся жизнь сердца сильней, чем в первый раз, овладела им... Его уже не просто брала жалость к себе и ко всему, что с ним случилось, мысль его пошла дальше: он стал понимать, что все эти насмерть испугавшие его люди — такие же испуганные, как и он, что кто-то или что-то исковеркало, изуродовало их, и ему еще жальче стало всех их, чем было жалко прежде. — Ведь надо же как-нибудь им узнать это? Как же это так? За что они бьют, губят друг друга? Ведь тут только два слова сказать — и ничего не будет. Как же можно все это оставлять так, зря? Вот примерно какие стали волновать вопросы этого некрасивого полового, подающего кипяток. Он крайне удивлялся, что как это ничего никто не скажет? отчего это не придет какой-нибудь умный человек и не растолкует?.. Что растолковать и как — этого Федор не знал... Речь, которую он предполагал в устах умного человека, имеющего прийти, в голове Федора никак в порядок не приходила. «Вы что же это, ребята? так ведь невозможно...» Эту фразу хорошего человека он слышал ясно, но дальше не знал, что будет хороший человек говорить. Дальше были только вопросы: как? зачем это? да разве это хорошо? и т. д.

От этих вопросов Федор решительно не мог отделаться и, как бы вы думали? — стал писать...

Заведение запиралось в два часа ночи; только к трем успевали убраться и вывести запоздавших гуляк, и с трех до бела света Федор, не смыкая глаз, при свете сального огарка, выводил карандашом по клочку бумаги, положен-

ному на колено, каракули печатными буквами. Писал он стихами и плакал... Не берусь передать, что это были за стихи. По всей вероятности, кроме непонятной чепухи и безграмотности, они не представляли бы никому ничего интересного. Тем не менее Федор крепко берег их и тщательно прятал в тайные места.

И с каждым днем необходимость передать бумаге накопившиеся думы овладевала Федором сильней и сильнее. А вместе с этим сами собой выросли и думы.

Не менее года просидел он на чердаке и выработал довольно смелый, довольно нелепый, но довольно понятный план: ехать с этими сочинениями и думами в столицу; тот, кто пишет книги, тот человек (так выдумал Федор) и есть тот самый хороший человек, который один только и может сделать добро. Федор знал это по себе: он писал по ночам, потому что ему было жаль людей, потому что он хотел, чтобы люди не пугали друг друга, как пугают людей бешеные собаки. Так и все, кто пишет книги. Он знал, что сочинения его плохие, что пишет он не хорошо и что даже почерк у него бог знает какой (хотя в течение года он с невероятными усилиями выучился писать по-«писаному», а не по-печатному), — все это он знал; но жизнь так страшно обошлась с ним, он так ясно видел, что она запуталась, что в ней какая-то фальшь, от которой людям нет житья, что, несмотря на все, не покидал этого плана. Он полагал, что там разберут, испугаются, когда он расскажет, и закричат на весь белый свет: «Что вы, ребята? Разве так возможно? Это, братцы, не модель! Что вы, полоумные, очумели, что ли?»

Еще через год он осуществил этот фантастический план. Как он это сделал — не знаю. Знаю, что целый год он копил пятаки и гривенники, сколотил деньги на покупку сюртука, шапки, сапогов, и жилета, и проч., и проч. и почти уродом прибыл в столицу. Корявый, маленький, пугливый, дикий, в платье, которое было сшито на чужой рост, он был и жалок, и неуклюж, и вообще ужасно странен.

В это время его и узнала рассказчица, девушка, готовившаяся тогда в сельские учительницы. Он ютился в углу меблированных комнат, работая по ночам, когда все уже спали, и приводя в порядок свои сочинения.

С полгода шуршал он своими бумагами, порядочно-

таки надоедая жильцам; наконец выступил в поход: понес рукописи в газету. Воротился он, весь сияя, и сам первый вступил в разговор с рассказчицей, рассказал ей всю свою историю и в заключение всех пересказанных несчастий радостно произнес:

— Отнес!

Так он сказал это слово, как будто невесть какое счастие случилось с ним...

— Велено прийти через неделю.

Через неделю между Федором и редактором происходил такой разговор:

— Это все — один стих? — стоя полуоборотом к Федору и тыкая в корявую рукопись пальцем, небрежно спрашивал редактор.

— Все один...

— И это он же тянется?

— Это? Он-он.

— Какой же это — стих? Разве такие бывают стихи? Это — шест, а не стих!.. Этим шестом только голубей гонять.

— Там дальше и короче есть... вот извольте...

— Неудобно, не годится.

Редактор ушел.

Глубоко был опечален несчастный поэт. Как убитый, сидел он по крайней мере целую неделю на окне в коридоре, покуда его не ободрил какой-то добрый человек, узнавший, в чем состоит его горе. Человек этот подарил ему книгу о стихосложении, и с этих пор, еще не менее, как на полгода, Федор вновь отдался своему задушевному делу. К шуму бумаги, нарушавшему сон жильцов по ночам, на этот раз присоединился какой-то непрерывный стук то ногой, то рукой: это Федор учился стопосложению, вгонял свои длинные, как шесты, строки в надлежащие границы и вытягивал, как вытягивают подошву, короткие... Как он мучился, как он трудился, как он страдал — передать нет возможности. Часто на него нападало полное отчаяние, так как перерубленные пополам и вытянутые вдвое стихи его явно утрачивали цену правды, которую он в них только и видел.

Наконец, кое-как оболванив свои произведения, он вновь пошел в редакцию и на этот раз уже с замиранием сердца ожидал рокового дня.

Через неделю, по обыкновению редакций, день наступил. Дрожа как лист, Федор отправился за ответом.

Не скрывая презрения, редактор с первого же слова почти завопил на Федора.

— Да что вы хотите? Что такое вы тут выводите? Что вам хочется сказать?

— Я...

— Что богатые богаты, бедные бедны? Да?

— Я...

— Что бедные — такие же люди, как и богатые? Так, а? Да?

— Так...

— Что несправедливо обижать, заедать? Да? Это? Потом — кисельные берега, молочные реки... Всеобщий лимонад-газес? Так?

— Я этого не писал... Я там...

— Так я вам скажу, — вне себя завопил редактор, чуть не по носу хлопая Федора его рукописью: — что, во-первых, все это давно всем надоело и без вашей белиберды, а во-вторых, за эти идеи... вы знаете — что за это?

И он прибавил внушительным шопотом таких два словечка, от которых Федор вновь ощутил приступ необычайного испуга и едва не закричал как помешанный: «боюсь!»

Отчаяние овладело бедным малым в сильнейшей степени. Он шатался по коридору меблированных комнат, никого и ничего не замечая, ничего не видя и не слыша, и только по временам, останавливаясь, как вкопанный, перед первым встречным, бормотал:

— Всем известно! Кабы всем было известно, ничего бы не было.

Или что-нибудь в таком роде:

— В тюрьму!.. Да хоть в каторгу... Известно!.. Совести-то в тебе нет!..

Чтобы мало-мальски помочь ему, успокоить его, рассказчица, со слов которой написана Федорова повесть, пыталась вступить с ним в разговоры, пыталась успокоить его тем, что не с ним одним такие неудачи, указывала ему, как умела, на больших, крупных поэтов, великих людей... Федор, не произнося ни слова, напряженно-внимательно вслушивался в ее речи — ведь ничего он этого не знал. Не знал он, что и до него писалось, — и боже мой сколько! — стихов на те же темы, что и до него были

люди, знавшие беду и желавшие помочь общему горю... Ничего он этого не знал и только ужасался, слушая эти рассказы. Когда рассказчица прочла ему два-три сильных стихотворения, касавшихся поглощавшего Федора предмета, он заревел и проговорил:

— И ничего?

— Что ничего?

— Так ничего и после этого?..

— Покуда ничего...

Федор ревел.

Чтобы успокоить его, она приводила ему еще более сильный пример неудачи, рассказала ему почти все главнейшие события истории и вместо успокоения только ужасала его и ужасала...

— И тут ничего не вышло?

— И тут... Да еще что!..

Корявый, безграмотный, измученный человек с каждым словом своей собеседницы все неотразимее убеждался, что он — ничто, мразь, ничтожество сравнительно с теми, кто и до него печалился о делах света белого. Рассказы девушки доказали ему все его бессилие, все его бесправие, всю безнадежность его существования...

Испуган он был прошлым и еще больше испугался теперь, узнав, что «покуда ничего не вышло».

Он окончательно ошалел, и все жильцы комнат думали, что он худо кончит... Как помочь ему — никто не знал. Как уверить его, что он не безграмотен, что у него есть будущее, что ужас прожитой действительности можно забыть и что есть какая-нибудь возможность сделать то, что на чердаке нижегородского трактира задумал делать Федор?

Многим было жаль его, но все молчали и ждали... Наконец дождались.

Однажды Федор неожиданно исчез с утра и воротился в два часа ночи, с шумом подкатив на извозчике. Он был жестоко пьян. Полагали, что косушка и будет прибежищем этому нескладному несчастливцу: однако вышло не так... Очнувшись, Федор стал что-то смутно припоминать, и, по мере того как память восстановляла ему прошлый день, им начинало овладевать что-то ужасное, какой-то необычайный испуг... Такого полного бессмыслия,

в которое впал несчастный, с ним никогда не было. На расспросы рассказчицы он только отвечал: «Свинья! Продал!» — «Кто, что продал?» — «Я... Все! Всех!» Потом, после новых продолжительных попыток привести его в сознание, он пробормотал: «Он мне сам сунул... в руку...» — «Что сунул? кто?» — «Да этот... злодей... надоело всем... вот...» — «Редактор, что ли?» — «Он сам сунул...» — «Что сунул-то?» — «Деньги... Я так шел... он мне ткнул... Свинья, христопродавец я...»

— Я, — говорила рассказчица, — несмотря на все старания, ничего более от него не могла добиться. Но думаю, что дело было так: шел он, должно быть, по улице и наткнулся на редактора, который так его недавно озадачил. Быть может, вид его был очень жалок, или редактор был в хорошем расположении духа, только последний мог предложить, «сунуть» ему бумажку... Почему-нибудь, очень может быть что по рассеянности, Федор взял ее,— по рассеянности и не соображая, что делает, выпил, напился... И вот теперь, очнувшись и сообразив, что сделал, ужаснулся. С его точки зрения, поступок этот в самом деле должен был казаться ужасным. Взяв деньги от человека, который объявил ему, что ему надоели все эти страдания, о которых Федор болел душою, Федор продал свое право страдать за людей, сам оказался дрянью, которая может от рюмки водки забыть двадцать лет возмутительной неправды... До этой минуты он знал, что он — ничтожество, знал, что он беззащитен на белом свете и что нет защиты у этого света ни от кого; теперь он убедился, что об этом ничтожестве и хлопотать-то не стоит... Прежде он был испуган людьми, а теперь испугался сам себя. Теперь он всего испугался и в таком испуге не замечал, что не пьет, не ест и умирает с голоду. Я думаю, это было так. Впрочем, может, и ошибаюсь...

На этом рассказчица кончила.

Третий звонок торопил клубную публику выходить из зал. Собеседники стали прощаться, унося домой невеселое впечатление.

8. ТРИ ПИСЬМА

(Из воспоминаний «безнадежного»)

I

— Вы что это пишете?

— Письмо...

— Кому это?

— Матери...

— О чем?

— Да так, обо всем.

— Уж что-то вы больно долго!..

Такие вопросы, ровно пятнадцать лет тому назад, в один скучный осенний вечер, самым недовольным тоном задавал я моему сожителю по комнате. Дело происходило в Москве, на Живодерке, в одном из несчастнейших деревянных домишек, в оборванных, грязных, нищенских комнатках которого обитало великое множество народа. В этот памятный мне вечер (почему он мне памятен, читатель узнает ниже) я был особенно расстроен и ворчлив. Не последнее место в этом состоянии духа занимало то, что из дому вот уж второй месяц мне не присылали денег, и это обстоятельство, понемногу раздражая меня напрасным ожиданием, наконец довело до значительного расстройства именно в тот унылый осенний вечер, пятнадцать лет тому назад. Все мне было противно, пошло, тоскливо и враждебно. Отвратительны были всхлипывания квартирной хозяйки, доносившиеся из кухни: эта старая дура вот уже шестой месяц, то есть все время моего пребывания в ее скверных комнатах, «разъезжается» с своим возлюбленным, хромым портным, подряд шесть месяцев они каждый день напиваются пьяны, плачут, ругаются и засыпают тут же в кухне, поникнув головами

на стол, а с утра вновь начинаются упреки, слезы, похмелье, пиво, словом — полное прощание. «Иди, иди! сделай одолжение!» — утирая нос грязным подолом, хрипела хозяйка... «И уйду! Раззорительница моя! Уй-ду!..» — «Иди, иди!» — «Уй-ду! У-у...» И это с утра до ночи, и никто не уйдет, и оба целый день пьют и в самом деле разоряются.

Так бы вот пошел и разогнал их в разные стороны... Сердила меня и эта засаленная нищенская комната, и эта кровать, на которой нельзя было повернуться мало-мальски либерально, чтобы не провалились либо ноги, либо голова; скверно действовал и этот тусклый свет низенькой лампы, и табачный дым, и холод, и низкий потолок, и дождь... Но более всего возмущал меня мой сожитель по комнате, терпеливо скрипевший пером вот уж без малого третий час и решительно, казалось, не чувствовавший, не понимавший того, что я испытывал, лежа на кровати. Когда-то, лет пять-шесть ранее этого скучного вечера на Живодерке, мы учились с этим человеком (его называли в гимназии «иностранец», так как отец его был швейцарец, хотя сам «иностранец» родился в России и от русской матери): в гимназии мы провели вместе четыре года до четвертого класса, но потом я перешел в другую гимназию, в другой город, уехал по окончании курса в Петербург в университет и, прошатавшись целый год (зиму, весну и лето), перебрался в Москву... Если читатель припомнит, какое впечатление могли произвести на провинциального гимназиста 61-й и 62-й годы, то он поймет разумеется, что, явившись после этого года «посвящения» в Москву «для продолжения моего образования», я не столько был объят желанием посещать университетские лекции, сколько стремлением — увы! в высшей степени неопределенным — стремлением к деятельности. Чтобы не вводить читателя в обман, скажу прямо, что из меня не вышло деятеля (это все будет ниже) и что, следовательно, ему нет никаких резонов рассчитывать на то, чтобы на нижеследующих страницах были воскрешены в его памяти какие-нибудь минуты тех дней. Пишущий эти мемуары не оправдал надежд на самого себя и в смысле «деятеля» ровно ничего представить не может... Но пятнадцать лет тому назад ожидания эти у меня были и, сливаясь вообще в представление о необ-

ходимости «деятельности», и притом где-то не здесь, в пошлой и мучительной глупой действительности, а где-то там, неизмеримо выше ее, заставляли меня с большим пренебрежением смотреть на мелкую людскую гомозню. «Все связи, — как я тогда был совершенно уверен, — со всем этим — я порвал». Для меня не существовало ни родителей, ни родины, ни желания выбиться в люди и для этого ходить на лекции, словом — не существовало ничего «старого», все это осуждено было в виду чего-то громадного, нового, которое принадлежит не «им», а «нам»... «Они» — пожалуй, могут высылать мне несколько денег «пока» — но и только... Так казалось мне в первые, самые ясные минуты моего пробуждения, и вот в таком-то настроении встретился я на одной из московских улиц с этим «иностранцем». Я был рад старому товарищу, рад был порассказать о чудесах, которые я видел, снисходительно пропуская мимо ушей его рассказы о гимназическом начальстве, но очень скоро оказалось, что он меня «не удовлетворяет». Правда, он также не ходил в университет, но не потому, чтобы «презирал», а потому, что у него не было денег, потому что он должен был давать уроки, посылать ежемесячно деньги матери, которая также жила уроками в том же городе, который я уж из головы выкинул... Какая-то узость цели и притом однообразие недель и дней, посвященных на ее достижение, свидетельствовали о несомненной ограниченности этого человека... Правда, не получая из дому денег и не посещая университета, я не делал ничего другого, как сопровождал этого же самого ограниченного человека по Москве в его поисках уроков, поджидал его где-нибудь в садике или просто на улице, покуда он заходил в тот или другой дом, согласно объявлению в «Полицейских ведомостях», вызывавшему учителя; правда также и то, что я был очень обязан ему за то, что он внес за меня деньги хозяйке, что я курил его табак, пил его чай, и т. д., и т. д.: но все это — и эти одолжения и это праздное мое шатание — я ставил под рубрику «*Пока*» и не придавал ни тому, ни другому особенного значения. Я не ставил себе в вину и этих праздных ежедневных прогулок по Москве, потому что в продолжение их я ни на минуту не прекращал выяснять (насколько понимал сам) мои новые взгляды, надежды и ожидания и вовсе не замечал, что

уже третий месяц «шатаюсь», да еще «по Москве». И не то чтобы несочувствие к моим разговорам и новым стремлениям обижало меня в этом «иностранце», — нет, он, напротив, ни разу не прервал меня, ни разу не поспорил со мной, скажу даже более, он, казалось, даже внимательно прислушивался к каждому моему слову; но я видел, к великому моему огорчению, что слова мои ни на волос не изменяют ни его поведения, ни его взглядов, ни желаний... Слушает, слушает, кажется, внимательно, потом неожиданно вздохнет и скажет: «ах, уроков, уроков!» — точно обдаст холодной водой. И притом каждый день одно и то же: утром чем свет — чтение «Полицейских ведомостей», трехкопеечная булка с чаем вприкуску, потом беготня по адресам, рассказы самые подробнейшие о том, кого он видел, что ему сказали, когда велели прийти, и затем описание всей этой скуки то матери, то брату, то сестре... Кажется, никакими барабанами нельзя было, хоть на единую минуту, расшевелить эту ограниченность, заставить его почувствовать всю прелесть предстоящей всему молодому деятельности. В редких случаях он иной раз вздохнет и как будто задумается, но это еще неизвестно, потому ли он вздыхает, что восчувствовал, или все потому же, что нет уроков. Глядя на эту неподвижность мысли «иностранца», я тогда же решил, что из него ничего не выйдет, «выйдет» учитель и больше ничего,— а уж это что ж за будущность и что за поприще!.. Все его знакомые, посещавшие нас, также крайне меня стесняли, так как блистали также ограниченностью: это были какие-то иностранцы портные, чуть не сапожники, служащие в каких-то конторах и т. д. Все они говорили про места, кто сколько получает, бранили хозяев, все поголовно желали прибавки на скромные суммы, рублей в пятнадцать, в десять, звали в свободное время в портерную — и только; узость их целей и желаний была ниже всякой критики. С этим народом я не находил возможности сказать ни единого слова, а между тем «иностранец», повидимому, так сжился с ними, что иной раз покидал меня, и покидал в самые патетические для меня минуты, когда мне непременно нужен был слушатель, — покидал для того, чтобы идти к какому-нибудь из этих провизоров, этих портных на свидание для разговоров о каком-то письме, полученном от родственников, или для

получения сведений насчет тех же уроков. Я уж давно подумывал разойтись с этой «утомительно-узкой» сферой взглядов, в которой мне пришлось быть благодаря «иностранцу», его приятелям и безденежью, но безденежье, а главное что-то хорошее, что я не трудился определить в ту пору, невольно как бы связывало меня с ним, даже влекло к нему... Возвращаясь домой, в тех случаях, когда я не сопровождал его, он всегда радовался совершенно по-детски, что я дома... «Ели?» — всегда был первый вопрос, который он мне задавал, входя в комнату, и всегда вслед за этим с сияющим лицом вытаскивал булку и колбасу или яйцо. Он всегда расспрашивал меня о том, что со мной было, пока он уходил, а потом уже начинал рассказывать, что делал он сам и где был. Что-то нежное, женское проглядывало в бесчисленных мелочах, и, должно быть, эта-то черта и смягчала мою к нему холодность, потому что бывали минуты, когда я, «разорвавший со всем», уже чувствовал холод одиночества... «Есть ли у вас платок?», «Есть ли табак?», «Полотенце там и мыло там!» — указывал он и спрашивал меня непременно всякий раз, когда уходил на поиски; выглянет в дверь и спросит: «все есть?» и только получив утвердительный ответ, уйдет, сказав: «ну, прощайте!», и после того еще непременно раза два второпях воротится: «если уйдете — приходите скорей!..»

И я почему-то в самом деле, уходя без него из дому, торопился прийти «поскорее», а встретившись, не мог иначе, как с нескрываемым неудовольствием, выслушивать его рассказы, как он пришел, как позвонил, кто вышел и т. д. И вот этого-то неудовольствия, как мне тогда казалось, он и не замечал во мне, весь погруженный в свои уроки и разные мелочи.

Но в тот памятный мне осенний вечер я был так раздражен всем и всеми, что ни в ком и ни в чем не мог видеть что-нибудь привлекательное. Тем более мне был ненавистен этот человек, который имеет терпение чуть ли не пять часов кряду скрипеть пером над моим ухом, не обращая внимания на то, что мне надобно откуда-нибудь слышать хоть какое-нибудь человеческое слово для того, чтобы поговорить и тем облегчить кипевшую раздражением грудь. Никогда этот человек не представлялся мне в такой степени рутинным, сухим, думающим только

о себе самом, о каком-то вздоре, который никому не нужен и никому на свете не интересен.

Так я бесновался внутренно, а он все скрипел пером и пускал клубы дыма.

— Да об чем вы можете так много писать? — не вытерпел я.

Я проговорил это громко, неожиданно и сел на кровать, приготовляясь завязать обличительный разговор. «Иностранец» покраснел, как маков цвет, и, не поднимая головы от письма, как-то жалобно улыбнулся.

— Ей-богу, — продолжал я: — вот я бы... Я бы решительно не знал, что мне писать, если б пришлось писать так много... матушке... Тут непременно надо врать что-нибудь, то есть писать то, что вовсе не интересует...

При слове «врать» жалобная, как бы извиняющаяся улыбка, лежавшая на его лице, чересчур ярко освещенном низенькой лампочкой, исчезла. Какая-то грусть легла на нем, и он с легким неудовольствием в голосе произнес:

— Как врать?.. Я думаю, вашу матушку также интересует все, что с вами делается?..

— К несчастью, то, что со мною делается, я думаю, не очень-то может ее интересовать! — язвительно произнес я, радуясь возможности освежить среди томившей меня тоски главную причину моего «особенного» положения на белом свете, то есть того, что я «со всем этим разорвал». — Ее не только не интересуют мои интересы, но, я думаю, если бы я был так же откровенен с ней, как вы с вашею матушкой, — я бы, наверное, привел ее в ужас... Я был бы источником мучений и слез... А то, что интересует ее, ни капли не занимает меня, и вот почему я бы должен был врать...

— Ну, а у меня с ней, — перебил меня «иностранец», — одни интересы.

— А!

Это «а» я произнес, как я думал, самым пренебрежительным тоном. Но в то же время я почувствовал, что я совершенно сконфужен, и не только сконфужен, а даже как будто еще и завидую этому, обуянному всяческими мелкими «интересами» и всякими пустяками, человеку... Да, я позавидовал ему и позавидовал тому, что он мог сказать такие слова, позавидовал и почувствовал еще большее раздражение и злость.

Сказав «а», я не находил ни единого слова, которое мог бы прибавить к нему; слова: «у нас с ней интересы одни» лишили меня всякой возможности подсмеиваться и иронизировать, и я, как самый плохой провинциальный актер, с самым фальшивым ироническим дрожанием в голосе, с великим трудом мог произнести после значительного молчания:

— А! — ну, это другое дело... Но все-таки уж чересчур что-то... Я не знаю...

Я чувствовал, что мне ничего не остается, как замолчать, и раздумывал, как бы совершить это неприятное дело с большею или меньшею беспечностью. И «иностранец», казалось, также понял неловкость моего положения, потому что он опять закраснелся, подергал свою бородку и несколько раз поправил свои белокурые густые, в русскую скобку обстриженные волосы и еще ниже наклонился над своей бумагой, шопотом перечитывая написанную страницу и, очевидно, стараясь показать мне, что он совершенно занят «своим» и не замечает моего неловкого положения. Несмотря на то, что я всеми силами также старался не выказать своего смущения, для чего довольно развязно подошел к столу, за которым писал «иностранец», и медленно принялся набивать папиросу, несмотря на то, что я старался удержать в себе мысль о мелочности этих «ихних» общих интересов, что я старался представить себе всю громадную разницу между тем, что волнует меня, и тем, что держит на свете «его», — я никак не мог победить в себе чувства зависти к нему, не мог почему-то не чувствовать, что он с своими мелочами прочней меня чувствует себя на белом свете, и ясно видел, что ему теплей и веселей жить, тогда как мне и холодно и даже — обидно...

Я набивал папиросу, он писал, и оба мы молчали... Неловкое было это молчание... Его прервал какой-то шум и разговоры за дверью, и вслед за тем с шумом распахнутая полупьяною хозяйкой дверь впустила в комнату двух незнакомых лиц: мужчину в енотовой шубе и даму.

— Здесь... объявляли? уроки?..

— Это к вам! — сказал я «иностранцу» и вышел в коридор, чтобы не мешать их разговору. Несмотря на сумрак, распространяемый лампой, я, идя к двери, мог

заметить, что мужчина походил на какого-то дьякона или священника — так оброс он волосами и в таком беспорядке они были. Рост его был громаден, но глаза не выражали здоровья и силы: что-то вялое, тупое и будто полупьяное виднелось в них. Сопровождавшая этого господина дама была очень маленького роста, широкоплечая и плосколицая, с плоскими белесоватыми глазами, выражавшими, однако, какую-то ненатуральную игривость... Чересчур маленькая шапочка, сидевшая как-то набекрень, и в то же время явные признаки недостатка зубов, выражавшиеся в старческом складе губ, все это производило неприятное впечатление аляповатой искусственности, какой-то вычурности, рассчитанной на очень плохие вкусы.

Едва я вышел в коридор, как тотчас же послышалась немолчная речь дамы, еще более усилившая дурное впечатление, так как голос ее звучал какой-то разбитой хрипотой... Мужчина только покашливал и молчал. Переговоры продолжались добрый час, в течение которого я то ходил по коридору, то выходил на деревянную лестницу с стеклянной галлереей.

«Что, если он кончит с ними и уедет?» — думал я, смотря сквозь разбитые, кое-как склеенные стекла галлереи, по которым лились потоки дождя, в непроницаемую тьму осеннего вечера.

И мне было жалко его, сам не знаю почему... Потому ли, что я оставался один в этой противной квартире, потому ли, что он добился своего, хоть и ничтожного дела, а я еще как будто и не начинал моего большого,— не знаю. Но когда в самом деле «иностранец» после ухода посетителей сказал мне, что он уезжает, что дело кончено, я с невольной грустью спросил его:

— Когда же?

— Завтра, непременно!

Я почувствовал, что мы надолго расстаемся, что пойдем по разным дорогам, и скоро мысль о «моей дороге» разогнала мою грусть. Да, не только разогнала, а еще заставила меня додуматься до обвинения этого же «иностранца» в том, что я столько времени ничего не делал; происходило это именно оттого, что я связался с совсем неподходящими мне людьми и оттого осовел.

— Ну, счастливой вам дороги! — сказал я уж совершенно спокойно, чувствуя в себе силу, без всяких посторонних пособий в виде булок, табаку и т. д., выдержать предстоящую мне борьбу.

— Спасибо вам, — сказал «иностранец», возившийся над чемоданом: — я вам очень, очень благодарен...

Это было сказано так искренно, что я невольно смутился.

— За что?

— Так! Очень, очень... спасибо! — затягивая веревку, бормотал он.

Вечером мы распили на прощанье не одну бутылку пива, каждый говоря «о своем» и не мешая этим друг другу, а на другой день простились.

II

С тех пор прошло пятнадцать лет. Мы, точно, шли разными дорогами — но что ж оказалось? Оказалось, что я не только не осуществил ни одной крупицы из моих обширных планов, но, напротив, в ту минуту, когда пишутся эти воспоминания, я вижу единственную возможность существования для себя — только под условием «хлопотать только о себе»; а переполненный мелочными интересами, мелкими заботами и прочими ничтожными качествами «иностранец», ни на минуту не изменяя этим качествам, этим «мелочам», делал и делает то самое дело «не для себя», о котором я мечтал в дни юности и которое теперь заменилось, как я уже сказал, желанием жить, никому и ничему не позволяя себя трогать, сознанием, что исполнение этого желания есть удовольствие, и очень, очень большое удовольствие.

Как же это могло случиться? И отчего?

Я уже сказал в начале этого рассказа, что считаю себя из совершенно бесцветных людей последнего периода русской жизни, но при всей моей неважности я если и не был «избранным», то «званым» был и вместе с целыми такими же толпами этих неизбранных начинаю новую эру русской жизни, жизни *только* на себя, только в своем углу, только под условием: «не мешай мне», а я мешать никому не буду... Я вот очень, очень рад, что сообразно

моей незначительности я все-таки имею обеспечивающее мои труды место, щелкая счетами в с-м банке губернского города N, и очень рад, что мне почти не приходится «жить». Я хожу в должность, возвращаюсь домой, ем, сплю, читаю, сижу в театре, в концерте, бываю в гостях, разговариваю о чем придется, и т. д., и т. д.; но, как ни однообразно и пошло все это, — я все-таки не перестаю во всех этих пошлых действиях и поступках чувствовать удовольствие от сознания, что все это, во-первых, не жизнь, а так что-то, что меня не трогает, и, во-вторых, что во всем этом я решительно могу не тревожить своей мысли. Существовать среди людей, смотреть на людей и сознавать, что если ты не захочешь сам, то тебя никто из них не тронет, вот в сущности в чем состоит мой теперешний идеал и, как надеюсь, идеал великого множества русских людей того же самого калибра и нравственного совершенства, как и я. Что такое влияние или направление вторгается под разными видами в русскую жизнь, в русскую мысль — в этом я не сомневаюсь, иначе я бы и не решился излагать моих размышлений по этому случаю. Нечто враждебное ко всем этим мечтаниям и опытам молодости слышится повсюду, и, главное, от тех же самых людей, которые именно и предавались этим мечтаниям всей душой. Именно у этих-то людей, у этой-то толпы, когда-то «вытолкнутой» на свет божий из тьмы, и отыскиваются доводы, доказывающие бессмыслицу, глупость, даже подлость всевозможных мечтаний; именно в этой-то толпе и вырабатывается, конечно прикрытая разными соображениями, теория «апатии»... Теория основательная, прочная и обещающая большие успехи в будущем, так как в основании ее лежит совершенно непритворное и притом продолжительное испытанное «страдание».

Ради вот только этого-то основания новой теории — «жить, по возможности не зная людей» — я и осмеливаюсь говорить о себе, о своих ничтожных мечтаниях и размышлениях... Да, и меня и всех мне подобных привел к этому безотрадному выводу опыт, переполненный всякой му́ки, всякой горечи, всяческого страха и ужаса перед самим собой, — и это главное. Я рад, что могу целое утро щелкать счетами, а вечером разговаривать с знакомыми всякий вздор, потому именно рад, что это —

вздор, что это меня «не касается», так как где бы и что бы меня ни коснулось — мне везде и все больно... Но так как и у самого труднобольного бывают минуты облегчения, просветления ума и бодрости духа, то иногда и меня посещает сознание того, какое я — ничтожество со всеми своими страданиями, со своею боязнью жизни. И то, что прожито, то, что когда-то «безрассудно думалось», начинает казаться мне куда как хорошим, чистым и умным сравнительно с теми жвачными взглядами, которые я теперь исповедую. В такие минуты все прошлое представляется мне необыкновенно завидным, и я начинаю предаваться воспоминаниям этого прошлого, припоминаю лица, события, горькие, гнусные, гнусные минуты — и все, и горькое, гнусное, и глупое, начинает казаться мне гораздо лучше того, на что я теперь смотрю, что делаю... До того лучше, что иной раз мне приходит в голову мысль: «взять да уйти!» Но эта мысль приходит только на мгновение, только на миг, так как «уйти» значит вновь вступить в жизнь, а «жить» — для меня так страшно, так мучительно, что представление о возможности нового повторения того, что я испытал уж, мгновенно прекращает всякие смелые мысли вроде «уйти», и я вновь съеживаюсь в своем углу, вновь радуюсь, что я один, что окно занесено снегом, что, несмотря на раннюю пору вечера, на улице нет уж ни единой живой души... «Слава богу, — думаю я, — я теперь один... никто меня не тронет, никого не трогаю и я...»

Но сознавая всю приятность такого положения, я никак не могу не видеть, что к нему привели меня страдания, всякий раз ярко выступающие в моем воображении, как только я задумаю что-нибудь посмелее; и я не могу не думать о них, не искать им причины, не объяснять самому себе: отчего такое обилие страдания и такой полный нуль в результате?

Когда я думаю о прошлых годах, я вспоминаю великое множество разных лиц, между которыми, однако, нет «иностранца»; но как только в сознании моем выступает роковой вопрос о том, почему я так много и так бесплодно страдал и так мало получилось в результате, образ «иностранца» тут как тут...

Кстати сказать, выводя в этом очерке «иностранца», я не имею никакой иносказательной цели. Так случилось,

что на известные мысли наводит меня эта фигура, и так случилось, что фигура эта — «иностранец», и больше никакого особенного значения она для меня не имеет, потому что на те же самые мысли мог бы меня, как увидит читатель, так же легко навести россиянин, как и «иностранец», — стоит только быть таким же, как этот последний, живым человеком... Да, он, этот мелочной, «ползком» живущий человек, оказался точно и «живым» и «человеком»... Это я теперь подлинно знаю, после того как не один раз передумал в тяжелые минуты и свою и его жизнь, а главное после последнего его письма, полученного мною на днях через какого-то крестьянина: из письма этого оказалось, что «иностранец» живет поблизости того города, где и я обрел успокоение, и что он совершает и уж совершил — не переставая быть тем, чем был, — то дело «не для себя», о котором я, смеявшийся над его мелочностью, стараюсь забыть. Какое это дело, читатель узнает, когда я буду продолжать мой рассказ об «иностранце»; теперь же я никак не могу не сказать несколько слов собственно о себе, так как близость этого когда-то осмеянного человека особенно настойчиво побуждает меня вспоминать прошлое.

Итак, отчего же?

При этом вопросе мне прежде всего припоминается описанный уже осенний вечер. Потому «прежде всего», что именно с этого вечера мы разошлись надолго по разным дорогам, а главное потому, что никогда в другое время я не чувствовал между мной и «иностранцем» такой существенной разницы во всем — во взглядах на людей и жизнь — и никогда, наконец, не была между нами так выяснена одна из главных причин этой разницы, которая привела нас к таким неожиданным результатам: меня — к нулю, его — к живому делу. «А у меня,— сказал тогда «иностранец», — интересы с семьей одни». А я еще тогда гордился, что «разорвал всякую связь»! Теперь же я нахожу корень моего поражения именно главным образом в этой разнице наших семей.

Семья «иностранца» жила на той же улице, где жила и моя семья; обе семьи были велики; мы были побогаче, они победней. Мой отец служил, его отец, да и не только отец, а и мать, и старший брат, и он сам, «иностранец», о котором идет речь, — все они давали уроки, причем

сыновья должны были и учиться, ходить в гимназию, и давать уроки, зарабатывать хлеб. У нас было не то. У нас ни мать, ни бабка, ни родственницы и родственники, ни тем более дети — никто не знал, как получаются деньги, каким трудом они достаются, откуда берется эта лошадь и т. д., и отец не только не открывал секрета, но, напротив, тщательно скрывал свою битву с жизнью за хлеб. В этой битве не мог принимать никакого участия никто из домашних, не мог, стало быть, жить сознательным участием к человеку, работающему на целый дом, а всякий только понимал, что его «кормят» и что это трудно; но как трудно — никто не знал. Не было, стало быть, главного основания для того, чтобы уважать друг друга, по разумному основанию взаимной помощи, не было развивающей понятие о жизни связи живых людей. Всякий, напротив, чувствовал нечто утомляющее именно от непонимания, почему все это делается. Скучновато было готовить обед и скучно его есть, и как будто еда, пропитание, хотя и довольно жирное, и было единственно понятным, для всех связующим звеном. Все как будто жили вместе только потому, что никому и нигде в свете нельзя было найти другого места, где бы можно быть в тепле и сытым без всяких к этому затрат труда, ума, знания, каковые тут, в этой семье, и не требовались, потому что тут были иные (всеми, впрочем, считаемые обузой), только родственные, официальные связи, а внутренней живой связи людей, сошедшихся по взаимному вкусу, даже по расчету, определяемому людьми живого общества, — этого-то и не было. Живя в такой органически некрепкой семье, можно было только получить скуку к жизни, зависть и даже ненависть к людям, которые не страшатся жизни, и приобрести очень прочное убеждение в необходимости иметь только деньги. Вот почему, когда новое место, новые люди, новые идеи и взгляды обступили меня по приезде в Петербург, мне необходимо было порвать «связь» с самым воспоминанием об этой жизни в семье. Я знаю очень хорошо, что отец не откровенничал, потому что ему было стыдно, и что он полагал, накопив денег, окружить своих детей всеми удобствами; но я знаю, что именно от этого я не понимаю и не интересуюсь живыми людьми, вообще человеком, потому что вся жизнь самого близкого мне

человека, то есть именно такого человека. от которого я и мог иметь понятие о жизни, она-то была сокрыта от меня и бесчисленных мне подобных. Теперь я вижу, что все такого же рода, как наша, семьи старались и хлопотали именно только о том, чтобы отгородиться от людей, чтобы обстроиться такими заборами, чрез которые не перелезешь, не схватишь, не достанешь, и в самом деле огораживались всеми правдами и неправдами, такими неправдами, что об них даже нельзя было знать. Самое понятие о том, что в людском обществе надобно «жить», а не только делать туда экскурсии, чтобы выхватить что-нибудь на молочишко, притащить это «что-нибудь» домой и съесть, — самое понятие это было не воспитано. Вот почему, при мало-мальском просторе, при мало-мальском знакомстве с тем, что есть в действительности, тотчас же, в один день, в один час, можно было совершенно бесследно забыть и десятки лет жизни в семье и решительно всех так называемых близких и, не понимая людей, не уважая посторонних живых существ, исповедывать теорию любви к человечеству, как это и было со мною.

Не знаю, точно ли я выразился, но именно в этом и вся беда. Не принять, не проникнуться этими идеями не было возможности, потому что в них была правда, радость и жизнь, потому что они были воздух; но приняв их, я и тысячи мне подобных позабыли, что мы не умеем жить, не умеем уважать человеческое существование, что мы, напротив, воспитаны во враждебных отношениях к человеку, к тому вот, который ходит по улице, к себе самим. В одно и то же время и самая полная, ничем не стесняемая ширь взглядов и самая широкая невнимательность к соседу, именно к тому, для которого эти широкие взгляды и нужны, с которым и надо жить этими взглядами.

Совсем не такая семья и не такая закваска была у «иностранца». Они тоже бились из-за куска хлеба, но в этом не было не только неприличной к обнародованию тайны, но, напротив, был связующий интерес, источник взаимной связи и взаимного уважения. Всякий знал про всякого, и всякий видел, что обязан работать столько же для себя, сколько и для других. Да и столкновения с посторонними людьми основывались у них не на том,

что тот или другой человек мне «подвержен» по моему месту и должности, а на том, что человек нуждается во мне, и нуждается не по какой-нибудь бумажной глупости, а потому, что в самом деле знает, что я ему могу сделать добро. В то время когда в нашей семье таинственно приобретенный достаток вел только к тупой скуке, к какому-то у всей семьи скрытому, подавленному страданию, вел (для отдохновения) ко всенощной, напоминал о смерти, напоминал о том, что хорошо бы для облегчения отслужить по всем умершим родственникам какую-нибудь грандиознейшую панихиду, словом, вел к мысли о смерти и о том, что все — суета сует и что не суета — только деньги в кармане, в это же время в семье «иностранца» жило ясное, всем понятное убеждение, что жизнь вовсе не кладбище, но что свободные часы дороги, что ими надо пользоваться и жить. Они читали, сам отец играл на скрипке; они любили цветы, животных, испытывали удовольствие водить компанию с людьми, с которыми приятно, а не только потому, что эти люди «приходятся» нам родственниками, или просто «нужны», или просто «подвержены».

И как ни мелки, как ни малы, может быть, интересы этой семьи, но в ней была «жизнь», а не «терпеж» жизни, как в семьях, подобных моей. В ней можно было узнать, как трудно достаются маленькие минуты счастья, в ней можно было познакомиться с необходимостью и удовольствием жить для ближнего, для другого, а не только для себя. Не боясь жизни и не ограничивая отношения свои к ней «захватыванием» кусков съестного и питейного, эта семья должна была отлично знать свою связь с остальным белым светом, уважать в этом белом свете все, что уважала в себе. А в нашей семье это не могло быть, так как никто по совести друг друга не уважал, да и на других смотрел тоже без уважения.

Благодаря всему этому в моем «иностранце» было именно все, что нужно для того, чтобы жить между людьми, понимая их нужды, их радости так же, как и свои, и поэтому уважая их. У меня же именно не было ничего этого, то есть не было никаких резонов уважать себя, не было уменья жить и понимать чужих людей; поэтому и оставалось, не существуя для себя, существовать для идей, отрешая их от себя. Словом, я бы мог

жить, чувствуя себя свободным и ощущая под ногами почву только в том случае, если бы мне всю жизнь пришлось стоять вне людской толкучки, фигурировать *над* нею; тогда как он, «иностранец», умел и мог жить только с ней. В отношении личной жизни я мог жить, кое-как скомкав в кучу все личные желания, симпатии и с тем же пренебрежением относясь к подобным же желаниям и симпатиям населяющих белый свет людей, лишь бы мне быть уверенным, что я исполняю нечто высшее; напротив, «иностранец» жил именно так, как лично ему казалось нужным, честным, совестливым. Из моей породы выходят «слепые» исполнители великих и малых идей, из породы «иностранца» выходят «живые люди».

Вот в этом-то и была между нами коренная разница.

III

— Пишите! — говорил я «иностранцу», расставаясь с ним.

— Непременно, непременно! вы-то пишите, ведь я бог знает куда заеду... Пишите, что думаете, что нового... о ваших делах — все!

Я обещал; но так как это были мелочь и вздор («о чем я буду писать?»), то я и забыл, конечно, свое обещание, так забыл, что когда через три месяца пришло на мое имя письмо, из самой глубины оренбургских степей, то я долго не мог догадаться, от кого бы оно могло быть?

Письмо было длинное-предлинное и так аккуратно и четко написано, вытянуто в такие правильные, прямые строчки, уставленные мелкими буквами немецкой архитектуры, что мне тотчас же припомнилась вся сухая мелочность «иностранца» и стало скучно. Но так как до появления письма мне было еще скучней, то я принялся за чтение, хотя и без должного внимания.

Вот это первое его письмо:

«Простите, что до сих пор ничего не написал вам о себе...»

— Ведь эдакое идиотство! — подумал я не без злости. — Человек уверен, что я жду не дождусь знать о нем

всевозможные подробности! Извиняется, что «о себе» меня так давно не уведомлял... Решительно кроме себя ничего не видит и не знает...

«Все время я испытывал такие незнакомые мне ощущения, видел такие удивительные вещи, что и сам не мог опомниться и сообразить, как мне быть...»

— Три строки и три раза «мне» и «сам»!

«Я уже...»

— «Я»! опять!

«Я уже думал было совершенно отказаться от места, но взятые мною вперед деньги, семьдесят пять рублей, тому препятствовали... Часть из них я из Нижнего (в Москве не успел) отправил матери в К., другую же часть...»

Но тут я пропустил, не читая, почти полстраницы; мне было ненавистно это подчинение рублю серебром в то время, когда человек готов был «уйти». Начав затем читать от точки, опять наткнулся на фразу: «И не столько деньги, сколько...» Слово «деньги» опять заставило меня пропустить еще большой кусок письма, и, только перевернув целую страницу и убедившись, что на следующей странице уже не упоминается о деньгах, я стал читать далее.

«...Прежде всего необходимо вам сказать, что я попал в самое безобразное семейство, какое только можно себе представить. Много на своем веку, давая уроки, я видал и самодуров-купцов, хотя бы, например, Псунова, вам известного, который устроил у себя на дворе гипподром и заставлял скакать на купленной в цирке лошади беременную жену; но все это не то или по крайней мере не производило на меня такого тяжелого впечатления. Эти безобразники были самодуры купцы-тузы, стало быть, специалисты всякого буйства. Семья же, в которую я попал, не принадлежит ни к тузам, ни к самодурам, но нравственное разложение в ней необыкновенное. Псунов после пьяных безобразий вытрезвлялся и опять начинал

«делать дела», наживать капитал, здесь же я не заметил не только способности делать какое-нибудь дело, но даже и соображать что-нибудь. Нееловы — помещики, обладающие тысячами десятин степей, которые, впрочем, стоят очень мало. Два года тому назад, когда русские двинулись за границу целыми стадами, из башкирских степей выехали и мои патроны, заложив все, продав все, что было покупаемо, заняв у всех, кто давал, и теперь в буквальном смысле без копейки, с громадными долгами, сделанными за границей, возвращались домой, повидимому на явную смерть. Семьдесят пять рублей, которые я от них получил, были последние деньги, если не считать небольшого количества десятков рублей, которого едва хватило на полдороги. Все это обнаружилось немедленно же по выезде из Москвы. Муж, которого вы видели и который походил на неповоротливого медведя, в мало-мальски трезвые минуты делался каким-то зверем и не мог сказать жене слова без самого страшного раздражения. Жена не только не уступала ему в ненависти, но, как мне кажется, превосходила его, стараясь даже по возможности делать ему неприятности, неприятности самые глупые, вроде того, что: «Снимите ваши сапожищи: вы мне ногу раздавите, мужик!» — «Сама ведь любишь, — отвечал обыкновенно муж, — чтоб мужчины наступали тебе...» — «Не такие балбесы, как ты...»— «То-то вот, если б поменьше с этими не-балбесами, у нас бы и было что жрать...» Во время этих разговоров муж смотрел на меня, ища поддержки и указывая наклонением головы на жену, как бы говоря: «какова штука!», а жена делала то же самое, указывая на мужа, с тою разницею, что она в эти минуты пожимала плечами и закрывала глаза, как бы говоря: «это ужас что такое...» Признаюсь вам, оба они для меня были отвратительны, так как взаимное отвращение их друг к другу было поистине беспредельно, и в особенно острые минуты они не совестились говорить при детях и при мне, постороннем человеке, такие вещи, которые заставили бы покраснеть... я не знаю кого... И что всего удивительнее, мадам неоднократно заводила речь об освобождении женщин как бы о праве — так понял я по крайней мере — подставлять свою ногу под те именно мужские сапоги, вла-

дельцы которых нравятся... «Никогда, Лиза, не выходи замуж», — советовала она своей дочери... И тут же шла речь о «подводных камнях», даже о труде, чего уж я и понять не мог, потому что привычки и его и ее, в особенности ее, были такие, что исключали всякую возможность представить себе, чтобы они могли что-нибудь делать. Чтобы вылезть из тарантаса и влезть в него, необходимо было сначала подозвать трех или четырех мужиков, и при этом возня продолжалась четверть часа, сопровождаясь бранью, пискливою и неприятною... Ни он, ни она не умели даже уложить детей спать и если делали это, то с таким раздражением, с таким тиранством, какого я не видывал нигде. Слова: «наказание! это проклятие, а не дети!» слышались при этом поминутно. Трудную обязанность ухода за детьми я должен был взять на себя, хотя дети мне также ужасно не нравились, о чем я скажу после. Деньги, бывшие у меня, были отобраны не дальше как через сутки по выезде из Москвы, так что я с большим трудом удержал при себе небольшую сумму для матери. Жажда *тратить* была у обоих пожирающая. Впрочем, он тратил более на водку и был почти постоянно пьян; она же тратила бог знает на что: даже в глухих деревнях, у маленьких деревенских лавочек, где нет ничего, кроме баранок, — и тут мы непременно останавливались: ее тянула лавка, как магнит притягивает железо. Однажды даже девочка, маленькая ее дочь, сказала ей: «Ну зачем ты покупаешь, мама? Ведь от этих пряников тошнит!» «Мама глупая!» — сказала она в другой раз, очевидно наслушавшись ругательств родителя. И хотя нельзя сказать, чтобы эти суждения был резонны в очень испорченной девочке, но они были правильны; вся эта женщина была какая-то смесь разгильдяйства и детства самого раннего, интересующегося куклами и пряниками.

«Никаких умственных способностей, даже никакой умелости думать о чем-нибудь я не замечал в них довольно долго и, признаюсь, немало удивлялся причине существования на свете подобных людей. Они оба не умели ответить ни на один детский вопрос: «отчего тучи», «отчего ветер» и т. д. Если и случалось кому-нибудь из них обмолвиться одним или двумя приблизительно справедливыми ответами на один или два детские вопроса,

то третий вопрос уже утомлял их, и всегда, решительно всегда, вместо ответа дети получали что-нибудь вроде: «отстань», «отвяжись, несносный»; «заладил: зачем? зачем? — сиди смирно и молчи...» Единственное дело, которое они делали не только легко, но с удовольствием, с истинным дарованием, как самые безукоризненные артисты, это было — лганье. Лганьем они успокаивали плачущих детей, говоря, что «вон-вон, видишь? какая летит птица...» Или: «вот сейчас приедем, там будет музыка, игрушки» и т. д. С обещаниями всевозможных подарков и удовольствий, которые должны быть «завтра», они укладывали их спать. Затем лгали поутру, когда дети не видели исполнения обещаний, и лгали целый божий день, как бы умышленно стараясь дать не настоящий ответ — иной раз самый обыкновенный, а непременно вздорный и лживый. Эта черта немало мучила меня в течение первых дней дороги: я видел, что им гораздо было легче врать самые несообразные вещи, чем говорить правдиво и выражаться точно о вещах самых обыкновенных. Но — чем дальше в лес, тем больше дров. С каждым днем талант лганья стал выказываться в них не только по отношению к детям, но в несравненно бóльших, грандиознейших размерах, убедивших меня, что в людях этих не один только сон, аппетит и лень, но есть и ум, и ум довольно острый, хотя не могущий проявляться ни в чем, кроме лганья.

«Первые признаки этой удивительной способности стали обнаруживаться с той минуты, когда на какой-то из почтовых станций у нас вышли все деньги. Не было возможности доехать не только до места, но и до ближайшего губернского города, до которого оставалось верст сто с небольшим. Как только обнаружился факт отсутствия денег, тотчас и отец, и мать, и дети даже (!) как бы соединились в какой-то общей заботе, общем старании выйти из затруднения и сосредоточились на изобретении средства к выходу из затруднительного положения. Они молчали, не говорили ни друг с другом, ни со мной ни слова. Но видно было, что у них что-то созревало... И точно... Когда мы приехали на станцию, с которой нам далее не было возможности ехать, я не узнал наших растерях и разгильдяев. Это были принцы, князья, которых надо было выносить на руках, которые были всем

недовольны, капризничали и на всех прикрикивали; относясь ко мне всю дорогу с истинно мужичьей простотой, тут вдруг стали обращаться со мной как с лакеем, придавая голосу какой-то небрежный оттенок и говоря непременно по-французски, даже при мужиках... Оказалось, что эта грубость и свинство, расточаемые ко всем (чтобы дать всем понятие о том, что это господа «хорошие, строгие»), были только фундаментом для предстоявшей постройки грандиозного вранья. За чаем (который тянулся чуть не полсуток: барыня не могла ехать, она была нездорова) шли расспросы, так, мимоходом, у смотрителя станции, у его жены, у старосты, у проезжих и т. д., повидимому, о самых ненужных пустяках; но в то же время (расспросы вел сам Неелов) как-то незаметно, благодаря этим пустякам, оказывались самые для меня невероятные вещи: оказывалось как-то, что губернатор — родной брат жены моего патрона, что жена — фрейлина двора, что в городе у моего патрона сложено 200 тысяч четвертей ржи, и бог знает что... Жена, которая лежала в другой комнате, по временам слабым, изможденным голосом привирала что-нибудь от себя, задавая какой-нибудь вопрос, вроде того, что: «Николя, спроси у него — с кем ты там говоришь — в городе ли мой брат?.. спроси просто — дома ли губернатор?..» Я сидел и не знал, что сказать, что думать; но, к удивлению своему, видел, что это наглейшее вранье производит впечатление. Что всего удивительнее, так это то, что и дети поняли тон родителей, поняли в один миг, и держали себя на той высоте положения детей богатейших родителей, которое было ловко (судя по впечатлению) создано лганьем их родителей. В разговоре с отцом и матерью они стали также употреблять французские слова, произнося их с отвратительным пришептыванием, сюсюканьем и тому подобными оскорбительными для уха и сердца приемами притворства и фальши. В конце концов я был совершенно огорошен и уничтожен; не умолкая в лганье, мой патрон неожиданно указал на меня старосте и произнес с улыбкой: «Вот везу детям француза — три тысячи счистил, бусурман...»— «Ссссс», — прошипел староста, поглядев на меня как на человека, который умеет обчищать «нашего брата русского». Я вспыхнул до корней волос от этого разговора; у меня захватило дыхание, и я не мог сказать

ни единого слова даже и тогда, когда патрон прибавил: «Ничего не поделаешь! дети... ведь им нужно выходить в люди...» — «Чего тут! Рубашку отдашь последнюю», — прибавил староста и опять поглядел на меня, но уже суровым, даже как бы враждебным взглядом и переспросил: «Француз?» — «Чистый француз...» — «Ишь ты дьявол какой... и цена-то ему двугривенный, а поди-ка — три тыщи... тьфу ты, каторжный! По нашему-то знает?» — «Н-ни одного слова!» Все это было так поразительно, так одуряюще-изумительно, так просто-нагло, что я буквально не мог раскрыть рта, не мог сообразить, что это такое, как мне быть и что делать? А когда я опомнился, понял, что все это врут обо мне, и врут самым наглым образом, — я также молчал, но молчал от страха. Я испугался. Мне стало страшно за них всех; я бы не перенес сам той сцены, которая могла бы последовать, если бы я вдруг сказал, что все это вздор, и все это врут, и что все это я понимаю. Я испугался этой сцены и боялся проронить слово. «Нельзя, батюшка! — сказал мой патрон по уходе старосты: — назвался груздем, полезай в кузов!.. Ничего не поделаешь! Уж вы молчите». Это было сказано так просто, было так им всем понятно, что я и не мог не чувствовать необходимости исполнения этого требования. Я видел, что делается дело, которого я не понимаю; понимал, что я хожу в какой-то тьме, где не знаю, что сулит следующий шаг — ровное место или яму, и должен был отдать руку проводнику, который шел впереди меня и, очевидно, знал дорогу. Но я решился тотчас по приезде в губернский город уйти; я решил отправиться в гимназию, попросить у директора уроков и остаться жить где-нибудь в маленькой квартирке, распродав из своего имущества все, что можно. Задавшись этим решением, я молчал и ждал, но считал себя уже совершенно чужим и ему, и ей, и детям; я ждал не дождался приехать поскорей в город, но все-таки не понимал, как это может случиться? Мало, что мы не имели ни копейки, мы еще наели и напили у станционного смотрителя на громадную сумму (конечно, громадную при отсутствии денег). Мне с ужасом представилась минута, когда должно было открыться, что нам нечем платить и что мы все врали и лгали. Но, к удивлению моему, все это вранье, лганье, все эти беспрестанные

требования то того, то другого, требования совершенно не нужные, сделали свое дело. И станционный смотритель, и жена, и староста, и мужики, и бабы, толпившиеся вокруг станции, поняли, что едут бестолковые, нерасчетливые господа, прихотники, что их можно обчистить, поживиться. И, благодаря этому, едва только больная madame объявила, что она не поедет на почтовых, а хочет ехать на вольных, едва она пожелала, чтобы ей отыскали вольных ямщиков — у которых такие широкие, просторные и покойные тарантасы, — как немедленно вся станционная комната была запружена этими ямщиками, наперерыв предлагавшими услуги. Толкая друг друга, они лезли на барина и кричали: «Я... меня... Василия-то!» Барин не торговался и не хотел никого обидеть; до сей поры мы ехали в одном экипаже, теперь понадобились два: один для него и больной, другой для меня с детьми. Барин взял эти два экипажа от разных владельцев. В сущности дело было в том, что, желая укрепить за собой работу, ямщики совали свои задатки, и барин взял с двух по красной бумаге, то есть по десяти рублей, тогда как возьми он оба тарантаса от одного, у него было бы в кармане не двадцать, а только десять рублей. Таким образом, неистовое лганье выручило нас из беды и, кроме того, давало деньги, которых у нас копейки не было. «Дивны дела твои, господи!» — подумал я, усаживаясь вместе с детьми в покойный, просторный тарантас... Толпа народа, провожавшая нас, весело желала счастливого пути, низко кланяясь; смотритель, староста, жена смотрителя — все говорили: «дай бог вам!» — всем хватило одной красненькой, полученной от ямщиков.

«Едва мы выехали за селение, как меня от детей позвали в экипаж господ... Ни злобы, ни ненависти, ни вражды не было у обоих ни капли. Они действовали, работали, благополучно окончили предприятие и были в самом веселом расположении духа... Извинившись передо мной и насулив мне в будущем золотые горы, которым я уж, конечно, не верил, они наперерыв друг перед другом старались расположить меня к себе, засыпали разговорами и воспоминаниями о заграничной жизни... Не могу представить, что это были за воспоминания! «Ах, Париж! — говорит мадам, хватаясь за голову от восхищения, и внезапно прибавляет, обращаясь

к мужу: — помнишь, у Вефура маленькие птички и такая поджаренная штучка... что это такое!..» — «А вино-то, а вино-то, а вино-то?.. Ах, а-ах, ах, ах...» И целый поток вин, счетов, туалетов, перемешанных с винами и едами, имен кокоток и очаровательных мужчин, перемешанных с туалетами и винами, и, наконец, сплошное и длинное признание во всевозможном распутстве. В этом они оба как бы сливались воедино, были нераздельны, великодушны друг к другу, гуманны и человечны до последней степени. В этом-то потоке воспоминаний, к удивлению моему, поминутно то он, то она произносили что-нибудь вроде: «Чувство не может быть стеснено...», «Никто не имеет права распоряжаться чужим сердцем...» и т. д., и к каждому такому изречению то он, то она присоединяли рассказ, от которого я горел со стыда... а они, прямо сказать, облизывались. Под конец они до такой степени изумили меня избытком взаимной преданности друг к другу, что я поторопился перебраться в тот экипаж, где были дети.

«Когда я подошел к детям, они о чем-то оживленно разговаривали, друг друга перекрикивая, громко смеялись, «заливаясь смехом», но, завидев меня, замолкли, сохраняя возбужденное выражение лиц. «Что же вы замолчали? разговаривайте!» — сказал я... Дети переглядывались друг с другом, хитро улыбались и молчали. «О чем вы разговаривали? расскажите мне». Некоторое время они молчали, но один из них не выдержал и торопливо проговорил: «Как мы были влюблены!..» — «Кто мы?» — «Мы все... Я, Вася, Лиза...» — «Я только раз, — сказал Вася, мальчик, как мне показалось, угрюмо-туповатый: — а Федя — пятнадцать — тридцать — миллион!» (Вася был девяти лет, но не умел ни считать, ни читать и по развитию был не больше четырехлетнего ребенка). «У мамы тоже тридцать миллионов!» — прибавил Федя (старше Васи двумя годами). «Глупый», — сказала Лиза и состроила скромное лицо. «А у самой тоже семь мальчиков!» — сказали оба мальчика... Лиза, девочка по одиннадцатому году, понимавшая больше всех детей и более всех зараженная фальшью, только было хотела сделать обиженное, презрительное лицо, как Вася, откровенный, хотя и дубоватый, торопливо заговорил, обращаясь ко мне: «А моя мама меня, раз случилось, за-

была в фиакре... Вы знаете Шарль?» — «Нет, не знаю».— «Это из контуар... Папа называл его «карамора»... Они меня и забыли... Поехали о-буа, там такой есть кафе... из маленьких рюмочек пьют... Они пили, а я захотел спать... Шарль взял и снес меня в фиакр, а потом они ушли пешком и забыли... Я проснулся у солдат. Вот так смешное». — «Смешное?» — «А как тебя домой привезли?» — напоминала Лиза. «Я у них был два дня... На третий день пришел папа... и взял... Тогда было страшно, теперь нет...» — «А папа вывалился из фиакра... — заговорил Федя: — а я сижу, испугался, плачу... Его ударила Камиль...» — «А он?» — спросил Вася. «Он упал и лежит. Потом его посадили опять и повезли, привезли в церковь — вызвали людей и стали спрашивать, где живет мосье, а папа спит... Меня тоже Алиса ударила. Я не бранился, и папа не бранился... А потом я ее ударил за бисквит...» — «А Лиза! — опять начал Вася: — так ее били, страсть как, и Пьер, и Фред, и консьержев Андре... дубина чистая, а ей нравится... Этакая вертушка!» — «Какие ты все говоришь глупости. Неприятный мальчик!.. И мама ведь упала с лестницы, помнишь? а на меня говоришь». — «Мама плакала, а ты рада. Ты говоришь: вырасту — поеду к Андре, и он тебя изобьет палкой. Уж Фред — вот чудо, как у мамы этот беленький, Антуан... до-обрый, а она его обругала... Она тогда сердилась... А папа — так тот никогда не бил... Только раз палкой ударил лакея... Помнишь? (обращался он то к Феде, то к Лизе). У обезьян... Помнишь, ибисы?..» — «Кра-а-асные!..» — «Розовые, — поправила Лиза, — и голос у них как в медный таз бить палкой.. громко звенит!» — «Нет, вот слон, — сказал Вася, — лев, бегемот; у бегемота, знаете, — голова с этот тарантас...» — «Ну, уж врешь!» — «Нет, будет, и он в воде и весь в...» — «Какой отвратительный мальчик! — скорчив неприятную гримасу, сказала Лиза: — всё у тебя на уме гадости». — «А у тебя консьержев Андрюнька-горюнька...» При этой фразе Васи все захохотали, не исключая и самого Васи. «Что же это значит: влюбиться?» — спросил я. «Целоваться! — сказал угрюмый Вася категорически... — Еще есть там штуки». — «А мама, — неожиданно произнес Федя, — ведь любит папу, она его только так бранит... он пьет... А когда его посадили в... знаешь? Она плакала...

Помнишь, мы ходили? высоко-высоко... А потом поехали все, я, мама, Федя, Лиза, пить шоколад на бульвар, а там уж «карамора» и есть... И нас всех угостили...»—«А еще мы видели,—начала Лиза,—верблюда!» Мальчики покатились со смеху. «Вот так заговорила! Говорили об одном, а она бог знает о чем... Верблюд! Умна! Очень умна!..» — «Дурак и отвращенье! — сказала Лиза со злостью. — Я скажу маме про то... помнишь?» (Это было сказано угрожающе.) «Говори! Все ты врешь. А я про тебя скажу. Что ты делала?.. Помнишь? а? Небось! Ну, говори, говори...» — «Лгунишка, гадкий мальчик!..»—«Она, знаете, что делала? (это уж Вася обращался ко мне). Я вошел в кабинет-туалет: вдруг...» — «Ни! ни! ни! ни!»— не сердясь, а лукаво улыбаясь и грозя пальцем, как колокольчик зазвенела Лиза. «То-то!» — «А ты лучше представь, как папа зовет гарсона, когда придет поздно». Вася тотчас же сделал осоловелые, пьяные глаза, искривил стан и во всю мочь, самым *толстым*, как говорят дети, голосом проревел раза три: «гарсон», с каждым разом все более и более выражая нетерпение и даже злясь... «Это он в темноте, — прибавил Вася: — так гаркнет — весь отель проснется...» — «А мама?» — подсказал Федя. «А мама совсем по-другому: «не ори, пожалуйста!» — жеманясь, кокетничая, проговорил он. — Ну можно ли так орать (это она папе) — это ужас. Дай я...» И, подняв голос до самого высшего подобия птичьему, Вася, ко всеобщей потехе, необыкновенно смешно произнес то же слово, растягивая его и стараясь придать ему самый утонченный тон, и, окончив, прибавил: «И у обоих тут... (он повертел пальцами у лба) шумит...»

«С тех пор как я твердо решился оставить их, я смотрел на них как на чужих, посторонних мне людей и не мог надивиться: ни родители, ни дети, казалось мне, не знали, да и не думали о том, зачем они существуют на свете? Эта семья была какой-то гриб, выросший на гнилой и жирной почве крепостного права; жизнь для них — грубое удовольствие, вечное отдохновение от ничегонеделания... Что ожидало их в будущем? На это я не мог дать ответа.

«Весь этот день мы, то есть семейство Нееловых, было очень весело; на следующий день, по мере приближения к городу, где предстояло расплатиться с ямщиками, вновь

все семейство сосредоточилось и притихло. Папа не был особенно хмелен и, очевидно, что-то соображал; мама тоже о чем-то крепко думала. А ямщики между тем, чем ближе к городу, тем веселей прикрикивали на лошадей, тем звончей звонили колокольчики, — и весь наш мрачный, обремененный черными мыслями поезд с свистом и гарканьем мчался в какую-то темную даль неизвестного.

«Приехали мы поздно вечером и остановились в лучшей гостинице города. Ямщикам дали рубль на чай и велели приходить завтра поутру, в девятом часу. По удалении их немедленно потребован был чай и ужин в самых широчайших размерах: вся прислуга в гостинице сбилась с ног, подавая то то, то другое. Все суетились, норовили услужить, угодить, наперерыв друг перед другом: умерло крепостное право, но не умер барин, умеющий «барствовать», и лакей, умеющий угодить барину.

«Под конец этого ужина мне стало страшно за всех их и, признаюсь, частью даже жалко. Но утром я решился объявить им о том, что оставлю место. Однако, проснувшись в девять часов, я уже не нашел ни папы, ни мамы. Мальчики в одних рубашонках и босиком выглянули ко мне из другой комнаты с веселым утренним смехом и скрылись назад, толкая и щекотя друг друга и шлепая по голому полу босыми ногами. «Они ушли!..» — отвечали мне они все трое из спальни и вновь принялись смеяться и хохотать, толкать друг друга и бросаться подушками... В коридоре, куда я вышел, чтобы попросить принести чаю, толкались два мужика, выражая на лицах напряженное ожидание и держа шапки в обеих руках, как бы приготовляясь напялить их на голову и уйти, конечно получив деньги. «Скоро ли придут господа?» — спросил я у лакея. «Ничего не изволили сказать-с... Надо быть, скоро; ямщики вон вчерашние их дожидаются... велели прийти». И, оставив поднос на столе, слуга удалился, на этот раз, как мне показалось, уже с оттенком недоверия во взгляде. Дети кой-как оделись и принялись за чай. Глядя на их шершавые, запущенные головы, их неряшливость, неразвитость, мне стало очень жаль их; но делать было нечего, надо было идти. «Я пойду, — сказал я детям, — а вы побудьте смирно. Я попрошу к вам девушку; если что будет

нужно, спросите у нее». — «Мы привыкли одни! — отвечали дети хором. — Только вы приходите скорей».

«Я взял свой небольшой саквояж, тотчас же заложил его у первого закладчика, отыскал комнату в три рубля, уговорился насчет обеда, по пятнадцати копеек за раз, и отправился к директору гимназии. Здесь мне пришлось прождать его приема до половины третьего, до тех пор, пока не кончились уроки. Причину моего появления в чужом городе я старался высказывать в более мягкой для моих патронов форме, сказал о размерах моих сведений, и директор дал мне слово похлопотать об уроках.

«Зашел я на новую квартиру, поел и отправился в гостиницу, чтоб объявить о своем решении и взять назад мои документы. Сцена, которую я застал там, ошеломила меня совершенно... Еще снизу я услыхал какой-то неистовый рев и топот и к ужасу моему узнал в этом реве голос моего патрона. Поднявшись во второй этаж, я увидел, что патрон, сильно пьяный, весь красный и неистово злой, орал, гнал вон и лез с кулаками к ямщикам, которые были окружены тесным кольцом прислуги и праздных зрителей. Все, не исключая и этих зрителей, принимали участие в галденье, сливавшемся из самых разнородных звуков. Тут было и поминутное упоминание слов: «нет, не такое время!», «коротки руки», «не имеешь права» и «правов таких нет», «какое ты имеешь право?» С другой стороны, раздавались и резко отчеканенные ругательства вроде: «баррин тоже... губернаторский племянник, шут его знает!..», и просто: «в морду тресну!..», или: «расшибу!» и т. д. Весь этот хор, увеличиваясь поминутно новыми участниками, с каждым мгновением вырастал в отношении безобразия и рева, в котором до хрипоты надсаженный голос моего патрона не умолкал ни на минуту. Я осторожно пробрался в нумер, куда тотчас же вслед за мной явился и патрон, хлопнул за собой дверью и произнес: «жалуйся!» — слово, которое он не успел договорить в коридоре... К удивлению моему (не помню, почему я тогда удивился этому), он был во фраке, белом галстуке — словом, он был одет безукоризненно, хотя и безукоризненно пьян... Он вошел в комнату до того стремительно, что едва не сбил с ног свою дочь, которая робко толкалась у двери, слушая, что делается в коридоре. «Ты что тут вертишься?» —

с тою же разъяренною хрипотою накинулся он на нее, едва произнес слово «жалуйся!» Девочка попятилась и молчала под влиянием неописанного страха. «Что ты толчешься у дверей?» — стиснув зубы, прошипел он и, наступая крошечными шагами, пальцем задел ее — и зло и больно — по виску... «Э! — э!..» — злясь все более и более и, как кажется, сам не понимая, что делает, мычал он, замахиваясь уже рукою... Вдруг раздирающий плач двух мальчиков, наблюдавших молча эту сцену, к которым немедленно присоединилась и девочка, огласил всю комнату; но это не только не остепенило его, но, напротив, точно подлило жару. «Вы что тут, кан-нальи?» — напустился он на мальчиков и с сжатыми кулаками направился к ним. Мгновенно все разбежались с визгом и ревом. «Беж-жать!..» И с этим словом патрон ринулся за ними, и скоро из другой комнаты раздался удар, за ним другой... «Папа! папа! папа! ай, ай!..» — «Молчи! молчать! не пик-нуть...» К этому требованию молчания примкнула и мать, голос которой с не меньшею злостью выкрикивал из спальни: «Сейчас замолчи! сейчас выгоню на улицу...»

«Не берусь во всех подробностях представить эту сцену; ничего более возмутительного и варварского не видал я в течение всей моей жизни. Битье, оранье, топанье, несмотря на то, что я вступился и оттаскивал несчастных детей от этих безжалостных родителей, продолжалось, как мне показалось, бесконечное количество времени. Дети, найдя во мне защитника, вцепились в меня со всех сторон, не отходили, дрожа и всхлипывая: они были избиты и исщипаны. Так мы целой неразрывной группой и сидели, не расставаясь ни на минуту, и слушали ужасную, бесстыдную брань между родителями, в которой уже раз замеченное мною в них взаимное отвращение выразилось в самых невозможных размерах... Я сидел с ребятами, чувствуя вокруг себя их колеблющиеся от нервной дрожи маленькие пальцы, и думал: «Что же я буду делать? Уйти от них?..» Но я не мог уйти, они держались за меня обеими руками, и мне было их жаль. «Остаться? Что тогда будет со мной, с сестрой, с матерью?..» Ни того, ни другого вопроса я не решил и сидел, уже не думая о себе, а только чувствовал, что детей мне бросить нельзя, что я этого сделать не могу,

что это будет злое, бессердечное дело... Так я и сидел с ними. Я молчал, и они молчали. Я их уложил спать, остался с ними в комнате, ночевал с ними, а наутро уже чувствовал, что решительно не могу уйти от них. Не потому, чтобы я полюбил их, но мне просто было ясно, что нельзя сделать этого, что, сделай я это, я уйду с сознанием злого дела на душе. Я понимал очень хорошо, что с этой семьей мне предстоит гибель, что такая же гибель ожидает и бедную мою матушку и сестру: все это я понимал как нельзя быть яснее, но какая-то новая, высшая обязанность, какая-то новая, высшая сила взяла меня в свою власть и приковывает неразрываемыми цепями к участи этих детей... Оставить их — я не могу.

«И вот я в деревне. Как добрались мы сюда, какие фортели выделывали мои патроны для того, чтобы продолжать путешествие (заем денег у архиереев, в монастырях, продажа 200 тысяч пудов несуществующего хлеба, телеграмма от министра о награде — и т. д. и т. д. до бесконечности), — этого я вам описывать не буду. Все это гнусно в высшей степени. Теперь же мы живем в холодном, растасканном, пустом доме, без денег, почти без достаточной пищи, в непрестанном ожидании полиции, которая неминуемо должна увековечить различные эпизоды нашего путешествия в виде протоколов и судебных взысканий. Ни малейших следов европейской цивилизации не заметно ни в обстановке, ни в нас самих: ходя по комнате в валенках, «сам» не снимает ни шапки, ни полушубка даже за обедом, «сама» в мужских калошах, с подвязанными щеками, с миллионами капризов и вообще в таком непривлекательном виде, что подробно я вам изображать не желаю. Ссоры и брань, угрюмые, хладнокровные, — ежедневны и ежечасны между обоими супругами. Дети не отходят от меня, осаждая тысячами вопросов, и обнаруживают при этом в себе сущих дикарей. Ни книг, ни бумаги, ни перьев в достаточном количестве нет. Вчера удалось добыть у священника целую десть — и вот я строчу вам это письмо. Завтра или вообще на днях я напишу вам еще письмо, в котором мне хочется предложить на ваше обсуждение несколько вопросов, тем более что они возникли отчасти благодаря вам. Помните, мы шли в Лефортове, я заходил по адресу «Полицейских ведомостей»? Вы тогда сказали, что

у меня на уме только я, да моя мать, да рубль? Ну так вот по этому поводу... О жалованье теперь ни патрон, ни патронесса и не говорят даже, не упоминают ни слова, да и у меня язык не повертывается сказать. Что меня ожидает, решительно не знаю; но знаю, что у меня есть значительные обязанности, которыми я не могу манкировать. Пожалуйста, ответьте на мое письмо, которое получите вслед за этим, и будьте здоровы...»

Но ни «на днях», ни через месяц, ни чрез год я не получал от моего «иностранца» никакого письма и не имею об нем вообще никаких известий. Правда, не прошло и полугода после разлуки с «иностранцем», как я сам покинул Москву, но в те месяцы, которые прошли после получения первого письма, я не раз встречался с его знакомыми, немецкими портными и т. д., и спрашивал их о нашем общем знакомом. Все они отвечали, что ничего не знают... Так я и забыл его, отдавшись течению личной моей жизни, или, вернее, моей личной каторге, — и только через два с половиною года, в одном из глухих уголков русской земли, я неожиданно получил письмо от забытого мной «иностранца». Письмо долго странствовало по русским городам и весям, все было исписано справками и измято штемпелями почтовых контор. Оно было так же длинно, так же аккуратно написано, но содержание его на первых же порах вовсе не напоминало мне того расчетливого, аккуратного, с маленькими потребностями маленького уютного сердца, каким мне казался «иностранец» в былое время. «Вот уже два года, как мы расстались, — писал он, — и сколько перемен и удивительных происшествий в моей жизни! Во-первых, я более полутора года женат на m-me Нееловой; ее муж умер через полгода...» Прочитав это, я не верил своим глазам. «Что это такое? — спрашивал я самого себя. — Женат на той особе, которую он изобразил такими красками и которая никак не могла внушить ему не только любви (я вспомнил ее вид, манеры, голос, жеманство — все, что видел в тот осенний вечер), но и уважения. Как же могло произойти это?» Письмо должно было разъяснить мне эту тайну, и я принялся за него.

IV

С величайшим недоумением принялся я за чтение письма, в котором «иностранец» извещал меня о своем невероятном браке, стараясь поскорее добраться до уяснения себе причин такого поистине неблагообразного союза.

«Пишу вам, — говорилось в письме, — об этом событии так подробно потому, что, кроме вас, у меня нет человека, который бы мог понять и беспристрастно посмотреть на этот поступок. Ни мать, ни сестра, естественно, не могут смотреть на это дело иначе, как на мою собственную гибель, и, разумеется, напиши я им подробно «обо всем», я заставлю их только плакать и уж не знать покоя... Вы не поверите, как я опечален этим для матери и сестры «несчастием», как мне нужно теперь постороннее разумное, доброе слово, не одобрение — нет, а просто словечко сочувствия. Это мне необходимо для того, чтобы оправдать в моих собственных глазах то жестокое дело, которое я сделал с матушкой, и укрепить во мне веру в трудное дело, за которое я взялся. А дело точно трудное: надо много воли, надо много терпения, терпения окаменелого, не на день, не на месяц, а на десятки лет, то есть до старости, до конца жизни... Вы пишите мне. Поддержите, будьте другом; пишите, бога ради, побольше о служении, о презрении к мелочам жизни, — мне дорого иметь теперь катехизис самопожертвования: я выдолблю его наизусть, наполню им и ум и сердце — отдам всего себя... А вы так много и так складно рассуждали на эту тему... Вы можете написать мне хорошее письмо... и вы его пишите скорее, как можно скорей... Я буду его постоянно хранить при себе, как спирт, для тех минут, когда закружится голова... А она у меня часто кружится; но покуда я еще не падал в обморок, покуда держусь на ногах и продержусь еще долго, потому что надо...

«Трудное дело это я взвалил на свои плечи все потому же, почему, думая бежать с дороги, не мог это сделать и остался, приехал в глушь, — то есть потому, что ко мне привязались покинутые, одинокие, одичалые дети. В этом все. С каждым днем по приезде в деревню я убе-

ждался, что только во мне они находят внимание к их бесчисленным детским нуждам и интересам и что только от меня зависит не погубить их. Я могу их оставить; у меня есть к этому все основания — я должен помогать матери, сестре; кроме того, я не виноват, что на свете есть тысячи взбалмошных отцов и матерей, не сознающих своих обязанностей к своим детям; наконец я, как живой человек, должен жить и для себя; мне тоже хочется больше знать, любить, хочется выработать себе некоторые удобства жизни, хочется иметь возможность оплачивать моими трудовыми деньгами такой уголок, где бы я мог отдохнуть от трудного дня, где бы мне было тепло... И, без всякого сомнения, я могу все это сделать, всего этого достигнуть. Для этого стоит только нанять лошадей за полтора целковых до города, подождать там денег от матери (на это освобождение она наверное достанет необходимую сумму) — и вновь быть свободным... Однако мог ли я это сделать? Мог ли уехать? Чтобы сделать это — я должен бы был оставить на произвол судьбы три человеческие существа, три человеческие души... Я должен был их бросить, сказав им примерно следующее: «Милые мои ребята! Я должен вас оставить, но вы на меня не сердитесь; я не виноват, что судьба послала вам таких безумных родителей, что вам грозит в будущем нищета, невежество и что единственным спутником и пособником вашим в жизни будет только громадная лень, воспитанная в вас примером ваших родителей. Не виноват я также в том, что вы ничему никогда не выучитесь, что будете праздными ртами и что, может быть, желание и привычка жить не трудясь доведут вас и до преступлений. Очень может случиться, что вот ты, Федя, в трудную минуту не задумаешься стянуть у калашника калач, у пьяного — деньги; что ты, Вася, способный, сообразительный мальчик, быть может станешь шулером, подделывателем чужих подписей, а ты, Лиза... Во всем этом, милые друзья мои, я не виноват; обвиняйте в этом ваших родителей, но меня пустите; у меня есть матушка, которой я должен помогать; я хочу жить для себя, учиться, больше знать. Посудите вы сами, за что ж я отдам вам мою жизнь? А чтобы спасти вас, чтобы оградить вас от угрожающей вам праздной, а может быть, и позорной жизни, — нужна моя жизнь,

жизнь не виноватого ни в чем человека...» Не правда ли, что я мог бы в оправдание своего удаления привести множество самых веских доводов? Ведь весь же свет живет, повинуясь правилу: «Я иду мимо твоих страданий потому, что не я причинил их тебе»; отчего ж мне-то не поступить таким же точно образом, тем более что ведь я прохожу мимо чужой беды не только во имя собственного спокойствия, но главным образом во имя спокойствия моей старухи-матери, во имя необходимости дать покой ее больным костям? Ведь эта старушка трудилась всю жизнь, ела трудовой хлеб, каждый кусок булки, каждая ленточка на ее изломанной шляпе — ведь это все добыто варварским трудом учительницы, которой нужно было всю жизнь бегать по купеческим домам и в то же время вскармливать, учить, выводить в люди троих собственных детей. Могу ли я жертвовать ею для этой семьи дармоедов, праздных ртов, людей лени, желудка и животных удовольствий?.. Моя труженица-старушка — не чета этим расхлябанным, развинченным, бессодержательным людям: она — живой, любящий человек, а это — грибы на крепостной куче, и, кроме погибели вместе с кучей, на которой они выросли, им ничего не предстоит в будущем, да и не может предстоять... Такие соображения, как видите вполне основательные, да и не соображения даже, а искренние движения сердца, исполненного глубокой любви к моей дорогой старушке, однако разбивались вдребезги при мысли о том, что точно ли «не может» выйти ничего путного? Я ясно видел, ясно как на ладони, что «не может» выйти только тогда, когда я уйду. Я видел, что я буду причиною гибели трех человеческих существ, которые только на меня и надеются, только во мне одном и чают спасение. Я видел, что, повинуясь движению собственного сердца и покидая ребят, я с минуты отъезда из деревни делаю сразу трех человек, могущих быть честными людьми, людьми праздными и вредными; эти три несчастные существа стали на моей дороге, загородили мне путь, и я должен бы был спихнуть их, отогнать от себя, чтобы открыть себе путь туда, куда мне надо... Мне так представилось это: я отрываю от себя их тоненькие ручонки, вцепившиеся в меня из страха упасть в бездну, отрываю потому, что мне тяжело от них, что я сам могу упасть вместе с ними, и вот один

за другим, плача и жалуясь, падают и без звука исчезают в темной бездне эти маленькие люди, мое иго и бремя... И тогда я, облегченный от ноши крестной, беспрепятственно продолжаю «мою» дорогу. Можно ли было сделать это? Хватило ли бы у вас, у кого хотите, духа сделать такую жестокость и что же бы была тогда моя жизнь, мои труды для спокойствия старушки-матери, если каждый миг, каждый час я должен бы был чувствовать на душе тяжесть трех смертей? А что это были бы действительно три нравственные смерти, три невинно убиенных — это я знал, видел. И вот отчего я не уехал. Не правда ли, как все это странно, удивительно? Что мне они? Чужие, не мной рожденные, не мной испорченные люди... Надо бы идти мимо, пожалеть, посочувствовать и уйти... А поглядите поближе, и окажется, что если в вас есть стыд — не уйдете, потому что «нельзя» уйти, нельзя уходить, потому что на эти-то чужие дела, несчастия, ошибки и надо отдавать свою жизнь... Ведь так? Ведь правда это? Вот вы меня тут-то и поддержите! Напишите мне об этом что-нибудь сильное, что-нибудь такое, что бы высоко поднимало душу над всем человеческим муравейником... Пришлите, если можете, мне книг о мучениках, о самоистязателях, о людях, которые не пикнут, если их жгут каленым железом, загоняют им под кожу деревянные занозы, о людях, которые умирают за других, которые за чужое благо томятся в тюрьмах десятки лет, о людях, от которых остались скелеты, прикованные к стене тюрьмы цепями... все это мне надо, все это меня укрепит, и все это умно, хорошо, все это нужно... Я ведь вам рассказал только цветочки моей теперешней жизни, то есть только мою привязанность к детям, — и вы не поймете, почему я говорю о каленом железе, до тех пор покуда я не расскажу вам других обязательств, которые я уже «должен» был принять на себя, раз у меня нехватило духа скинуть с моей дороги троих ребятишек. Вот про эти-то другие, более трудные обязательства я и поведу теперь речь.

«Шли дни за днями, и моя личная жизнь все более и более переполнялась заботами о чужих людях и о чужих интересах. Мне выяснились характеры моих тюремщиков-ребят, их желания и нужды, и мысль моя незаметно, но последовательно стала работать над этими желаниями

и нуждами. Сегодня, например, меня огорчает какая-нибудь зверская, дурная привычка в том или другом питомце, и я думаю о том, как мне выбить ее из него. Завтра я обрадован открытием необыкновенной наблюдательности в Лизе и также не могу пройти молча мимо этого открытия... А чего стоит любовь к вам детей и их взаимная ревность! Право, бывают минуты, когда стоит подумать, и подумать крепко, о равновесии их душ, не дать одному заедать другого, не дать их детской хитрости, детской практичности пользоваться моим влиянием во вред своему товарищу. Все это заботы, тревоги, все это требует наблюдения и напряженной деятельности. Как доктору надо помнить лекарство, которое он дал больному месяц тому назад, так и мне надо помнить каждое свое слово, потому что иначе меня обличат три свидетеля, которые отлично помнят каждое мое слово.

«Таких забот, таких тонких, едва заметных, но крепко опутывавших меня нитей прибавлялось с каждым днем все более и более, так как все больше и больше я и дети оставались одни, без всякого вмешательства родителей. Отец был близок к смерти, а мать, — может быть, и не из одного только приличия, — была при нем почти всегда. Неелов собственно умирал или старался умереть со дня возвращения в деревню; единственной силы, которая давала ему жизнь, — денег, — не было и не предвиделось. А без них он был пуст и холоден, и только водка держала его на ногах и поддерживала кой-какие надежды, конечно фантастические и только в пьяном виде возможные. Но месяца через три-четыре по приезде он слег, с ним сталось что-то вроде белой горячки; не бешеной и шумной, а тихой, жалобной, с робким, безмолвным выражением грусти в глазах. Необычайно жалок был он в эти минуты, жалок, как умирающее кроткое животное. Оно не понимает, почему оно прожило жизнь так, а не иначе; оно не раскаивается и не жалеет жизни, потому что наверное чует смерть... Быстроте приближения смертного часа в особенности помог местный врач, человек холостой, пожилой, давно утративший веру в науку и признававший только водку, которая его, однако, никогда не была в силах свалить с ног, хотя он употреблял ее беспрерывно. Его пациенты, купцы, чиновники, приказчики и т. д., особенно любили его за то, что он, несмотря ни на какую болезнь,

позволял все. «Вот так доктор — уж прямо сказать хароший человек! Поди-ко вот к немцу: он тебе ни рыбы, ни грибов, ни квасу, ни капусты — ни боже мой! Пост не пост — он внимания не обращает — ешь скоромное, пакости душу! Ну, этот не то! У этого «все можно», все позволяет... — А капусты можно, ваше благородие? — Можно! Жри, говорит, все, что хочешь! — Вот это так... Ну, конечно, что рублик лишний надо уж наддать за позволение, уж без этого нельзя, зато — все ведь можно, ни в чем нет остановки!» Такую же систему лечения он применил и к Неелову. Он лечил его от пьянства, давал лекарство, но сам же при каждом визите требовал водки и приглашал принять в ней участие своего пациента. «Да не вредно ли ему?» — спросит жена. «Ну, вот! с доктором-то вредно! Ведь я тут! Пей, любезный друг, не прерывай. Обрывать хуже!» — «Обрывать хуже!» — шепчет умирающий и следует совету. Визит оканчивался только по опустошении всего, что бывало в доме питейного, спиртного. Умирающий, не поднимавшийся с кровати, засыпал свинцовым тяжелым сном, румяный, с налитыми водкой щеками, доктор уезжал лечить какого-нибудь другого больного тем же самым способом. В утешение, на прощанье, он обыкновенно прибавлял что-нибудь успокоительное: «Пусть спит, это хорошо!.. Испарина... Накройте потеплее, а потом лекарство дайте... Ничего! Завтра я заеду». А завтра опять спаивал больного.

«Неелов умер после одного из таких визитов, умер во время тяжелого, пьяного сна... Похороны его раскрыли для меня новый, неведомый мир — народное пониманье, народную доброту... Кажется, чем бы, кроме худого, помянуть этого барина, который сумел все расточить, все проесть, который буквально только «проедал» — сначала души, потом выкупные свидетельства, оброки, земли и леса... Кажется, чем помянуть, как не худым, человека, который, имея в руках бездну средств, не сделал ближнему ни капли добра и только под пьяную руку давал на водку и то тоже пьяным. А между тем вышло все иначе: вся деревня не только не негодовала на него, но жалела, понимала, что этот урод-барин не мог прожить жизни как-нибудь не так, как прожил. Все жалели, что «на роду» этому человеку было написано такое праздное существование. Но праздная, бестолковая, беспутная жизнь никем

не ставилась ему в вину, как калеке или слепому не ставится в вину слепота и хромота. «Крест», «несчастье» — вот как определили они причину и смысл существования покойного барина. Не было во всей деревне ни одного мужика, ни одной бабы, ни одного подростка, который бы не пришел проститься с ним и простить его. Мне кажется даже, что они и приходили, уже простив его: так тихи и добры были их лица, так усердно они молились у гроба, как бы стараясь помочь своими молитвами этому несчастному человеку на том свете... Нечто глубоко умное и доброе было внесено толпами простого народа, приходившими на панихиды, в пустые комнаты барского дома, в которых до сей поры не жило ни одной — ни доброй, ни худой мысли... Вопросы об наследстве, об имуществе, о том, кому достанется стол, кому сани и т. д., обыкновенно целой тучей возникающие вокруг всякого мало-мальски не нищенского гроба и наполняющие, кажется, самый воздух комнаты, где лежит покойник, каким-то трудно сдерживаемым злостным и жадным раздражением, — эти мелочные вопросы были подавлены, уничтожены теми глубокими философскими и религиозными мыслями, которые вносили безмолвные толпы простых крестьян. Их усердные молитвы заставили всех задумываться над уродливою жизнью покойника, заставили думать о жизни вообще, напоминали о прощении, о невольности прегрешений — словом, заставляли думать не о санях, не о стульях и лошадях, а о чем-то высшем, хватающем за душу и развивающем ее.

«Я не знаю, сумел ли бы я и не в такое время, как три-четыре дня панихид и похорон, заставить ребят с такою серьезностью задуматься над словами и понятиями: «жизнь», «хорошая жизнь», «жизнь худая, неугодная», «доброе», «злое», как это без всяких усилий сделали крестьяне в эти короткие три-четыре дня. Ребята мои после смерти отца заметно стали серьезней, задумчивей, да и лично в моем сознании с этих пор народ стал занимать почти такое же место, как и ребята. «Не обязан ли я, — стало приходить мне в голову, — изменить отношение будущих господ к этим умным, трудящимся в поте лица людям?» Это было только начало тех идей, к осуществлению которых, как увидите впоследствии, привела сама жизнь, обстоятельства, и притом самые-самые будничные,

простые... Теперь же, в виду смерти человека, бесплодно и неумно пользовавшегося положением, мы, то есть дети, только задумывались над предстоящею нам задачею жизни, хотя уже и сознавали свое сравнительное бессилие и начинали стыдиться.

«Обстоятельства, однако, скоро рассеяли это неопределенное ощущение стыдливости за свое малосодержательное существование, потому что очень скоро представился случай думать о своих отношениях вполне определенно. По смерти отца моих ребят надо всем имением назначена была опека, и опекуном был сделан дядя покойного помещика, один из соседних владельцев. Это был в полном смысле слова делец-крепостник, не барин, а скорей кулак, человек, умеющий молотить рожь на обухе. Собственное его имение процветало, то есть он получал много доходу и не растрачивал этот доход, а копил и копил, хотя был человек вдовый и имел от покойной жены только одну дочь, девушку не менее его практическую и холодную. Народ звал их антихристами и жидоморами, господа считали примерными хозяевами. Я видел в нем несомненную любовь к труду, впрочем только к такому, в результате которого непременно получался доход, деньги. По виду это был человек громадного роста, громадной силы, с красным, с синими веснушками, лицом, маленькими веселыми глазами, с белыми тараканьими ресницами, с грузным, но крепким корпусом и тяжелой поступью. Он явился в наше имение на другой же день по назначении его в опекуны и тотчас принялся за дело, то есть с шести часов утра в разных концах деревни стал раздаваться его хриплый, перерываемый свистящим кашлем голос, грозивший, прикрикивавший, обрывавший, распекавший и т. д. Буквально целый день он пробыл на ветру и дожде в своей демикотоновой шинели, осматривая сараи, конюшни, погреба, чердаки, отдирая доски от дому и ударом топора в бревно сруба удостоверяясь в прочности постройки, определяя, сколько простоит и т. д. Вечером за чаем он тем же сиплым голосом с неподдельным негодованием разругал всех и вся: покойника, его вдову, мужиков, приказчиков, бесцеремонно указывал на глупость хозяев, на подлость подчиненных и т. д. Мы почувствовали, что это настоящий хозяин и барин, что этот человек принимается за дело «серьезно», невольно подчини-

лись его строгому на всех нас взгляду и притихли. Очень скоро и нас и мужиков он взял в ежовые рукавицы. Величайших трудов стоило вытребовать от него самое незначительное количество денег на самые необходимые нужды; но, к удивлению нашему, он сумел из имения, в котором, казалось, ничего не оставалось непроеденным, извлекать доходы в размерах поистине неожиданных. Он «приструнил» мужиков, потянул с них недоплаченные оброки, восстановил забытые обязательства, откопал и разузнал о таких участках, которые принадлежали Неелову и по нерадению последнего находились в пользовании у крестьян, завел десятки процессов о порубке, о потраве и выигрывал все до одного и притом в самые короткие сроки. В два-три месяца такого управления крестьяне оказались на законном основании почти неоплатными должниками, людьми закабаленными: на каждом, кроме долгов денежных, лежали долги рабочих дней и на ином доходили до громадной цифры 100, 150, даже и до 200. Наложив таким образом на все население медвежью лапу, опекун делал все, что хотел, и доходы полились к нему.

«И крестьяне и мы — «господский дом» — очутились в одних и тех же ежовых рукавицах, одинаково чувствовали над собою хозяйскую власть и волей-неволей сближались, входили в положение друг друга. И делалось все это, как видите, без всяких предвзятых идей насчет «сближения». Дело происходило совершенно просто: мужики стали посещать нас с жалобами, рассказывали про то, как он их разоряет, просили защиты. Защиты мы, конечно, дать не могли; напротив, мы сами жаловались мужикам на этого же самого кровопивца, но, не делая разоряемым людям добра, мы — по крайней мере я и дети — на самом деле узнавали историю того куска хлеба, который мы ели... Все эти описи имуществ и распродажи крестьянского добра, все эти моментальные решения в пользу нашу разных судов и инстанций и годовые, десятками лет тянущиеся дела, затеянные крестьянами, словом, вся эта процедура хозяйства — все это невольно, но неотразимо доказывало нам, что так жить и делать, как делали до нас хорошие и нехорошие хозяева, нельзя. Я по крайней мере, а за мной и дети не могли себе представить, не могли понять, где, в каком месте человеческого сердца может находиться источник той хозяйственной жадности, которою, например,

обладал наш опекун? Мы не понимали, совершенно не понимали, что за соображения, что за логика руководит всеми этими хорошими хозяевами в их неусыпных трудах по притеснению и озлоблению посторонних им людей? Что поддерживает в них, в этих хороших хозяевах, неутомимость во всех этих неприязненных действиях? Одним словом, и я и дети — мы одинаково недоумевали, как можно всю жизнь быть сердитым; вставая в 6 часов утра, тотчас же начинать злиться, жаловаться, притеснять для того, чтобы вечером с ругательствами выпить рюмку водки и с сознанием тяготеющей над собою неприязни сотен людей тревожно заснуть до 5 часов другого дня, чтобы и его ознаменовать такою же самою изобретательностью всяких неприятностей для ближнего. Нам так была ясна бессмысленность, глупость, а главное, пошлость такого рода отношений к людям, что мы не имели надобности ни в каких гуманных книгах, ни в каких «печатанных» доказательствах несправедливости подобных порядков. Убеждение в этом вошло в меня и в ребят так же просто и залегло в душе так же прочно, как входит в понятия ребенка убеждение в том, что зимой нужен снег, а летом цветы, что собаки не ходят в птичьих перьях, что рыба не бывает покрыта шерстью. Словом, сознание неизбежности с нашей стороны прекратить все это залегло в самую глубину чувства, родилось и стало жить без разговоров, без доказательств, без определений и разъяснений.

«Интересы, надежды и радости деревни до такой степени оказались важными и действительно правдивыми интересами, что в самом непродолжительном времени отодвинули на самый задний план все интересы нашего господского дома. Наравне со всей деревней мы сегодня ожидали сходки и с таким же нетерпением интересовались ее решением по какому-нибудь деревенскому делу; наравне со всей деревней мы желали, чтоб начатый деревней процесс против опекуна был выигран мужиками. Мы вместе с деревней тосковали накануне описи и продажи, перебирая и разбирая характеры и натуры разных кулаков, которые нахлынут завтра на мужиков, делали предположения, кому что достанется, кто что купит... Словом, мы жили тем же самым, чем жила и деревня. Благодаря ей получилась совершенно определенная цель и для наших учебных занятий. Мы стали учиться уже не

просто для того, что нужно быть грамотным и вообще нужно знать, а для того, чтобы, выучившись, сделаться мировым судьей и решать дела по справедливости; мы учились для того, чтобы поступить в адвокаты и защищать, а денег за это не брать. Лиза должна была выйти замуж за министра и сослать опекуна в Сибирь. Это были самые первообразные планы, в моих ребятах еще не угасло сознание своего привилегированного положения, и при полном сочувствии чужой беде они полагали, в качестве барчат, помогать этой беде как-то со стороны и вовсе еще не подозревали, что червь любви к ближнему, раз он стал точить сердце человеческое, насквозь проточит его и докажет, что сочувствие со стороны — не вся правда. Во всяком случае я верю, да и вы сами видите, что зародыш любви к ближнему в ребятах моих не выдуманный, не напускной, и он будет расти, хочешь не хочешь, как и всякое зерно...

«Пишу вам такое громадное подробное письмо, потому что мне надо, для самого себя надо и необходимо, объяснить крупный факт моей жизни, мой брак, а этого сделать нельзя без всех изложенных подробностей. Постараюсь, однако, рассказывать покороче. Наши отношения с госпожой Нееловой все время были самые обыкновенные отношения чужих, хоть и знакомых друг с другом людей. Так по крайней мере относился я к ней; я живу у нее для детей, живу потому, что не могу бросить их; она понимала это, не мешалась и, казалось, была очень довольна и покойна. Но «мужчина» — не семья, не любовь, а именно представление, понятие «мужчины» — играл в ее миросозерцании и жизни значительную роль: повдовев месяцев шесть-семь, она стала по временам заводить речь со мной на ту тему, что, мол, вся прошлая жизнь ее была какой-то дурной сон, а теперь вот начинается нечто новое, «новая жизнь». Выходило даже так, что теперь только и начинается собственно жизнь, а прежде было бог весть что. Рассказывала она в таких случаях о своем браке, о том, какой молоденькой девочкой выдали ее за покойного мужа, который не смотрел на нее иначе, как на молодое животное. Оказывалось, что и сам покойник не был ничем иным, как животным... Вот теперь, оставшись без этого дурного влияния дурного мужа, она только начинает жить, понимать жизнь, сознавать свои обязанности; она

с ужасом видит, что ничего не знает, ничему не училась, и не раз говорила мне, что теперь бы она охотно села за книжку вместе с своими детьми... Все это было справедливо, верно, и я бы охотно сочувствовал ей, если бы не видал, что начало «новой жизни» она связывает не столько с «книжкой», сколько с «новым» мужчиной. Она «сейчас будет другая» — так можно было понять, зная ее натуру, — но только рука об руку с другим, новым мужчиной. И это бы все ничего, но, за неимением мужчин, ни новых ни старых, в наших глухих местах, я видел, что она непрочь была пойти в путь и со мной... Однажды как-то вышло так, что она нашла предлог прийти ко мне в комнату, когда я уж собирался спать, завела речь о своей горькой доле и заплакала; потом с ней сделалась истерика, потом обморок, среди которого она, однако, могла еще сделать мне указание и слабо произнесла: «расстегните!» Я расстегнул ей платье, но почему-то придал всему этому иное толкование, которое и она, должно быть, поняла, потому что сердилась и не говорила несколько дней кряду. Ввиду всех этих обстоятельств я хотя и понимал ее положение, и прошлое и настоящее, но держался от нее в стороне, был с нею чужой; жажда личной свободы хоть в этом-то отношении как-то особенно была сильна во мне после того, как я отдался чужим интересам. Именно это-то право также в свою очередь идти с кем-нибудь рука об руку я и хранил за собой, как единственное, что осталось от моего *я*. В довершение всего она мне не нравилась, была физически мне неприятна, не говоря о несимпатичности, которою веяло от ее душевной изломанности. В самом деле, чего-чего не было пережито этим праздным существом в эти праздные и растленные годы замужества! Если бы кто-нибудь сказал мне, что обстоятельства *заставят* меня быть мужем этой женщины, что я должен буду жениться на ней, — уверяю вас, я бы только засмеялся, так это было невероятно, глупо и подло. «Уж этого-то я не сделаю никогда, что бы со мною ни случилось»... Да и я представить не мог, чтобы кто-нибудь или что-нибудь могло «отдать» меня в мужья... Ну возможно ли это, посудите сами?

«А ведь «отдали»! И опять всё те же ребята!

«И отдали так скоро, что я до сих пор еще не опомнился!.. И как все просто вышло!

«Опекун стал ухаживать за вдовой. Два или три раза он приехал «так», не по делам, разговаривал со вдовой о «постороннем», даже — представьте себе! — «о Париже». Волчье лицо его улыбалось ровно полчаса; полчаса губы у него были сдвинуты на сторону: это он желал понравиться. И как ни покажется это невероятным, а он имел успех у вдовы... Волк этот делал, конечно, «свое же дело»: он добирался до имения, желал быть полным хозяином, отчего ж не повенчаться на этой дуре, которую, конечно, он сумеет привести к одному знаменателю? И любительница идти рука об руку с первым встречным нимало не возмутилась мыслью о подобном браке. Посредники между опекуном и ею, явившиеся немедленно вслед за тем, как сам опекун обнаружил свои намерения получасовой улыбкой, сумели выставить на вид, что дети при таком хорошем хозяине будут обеспечены на всю жизнь, что сама она вновь вступит в свет, который отворачивался от нее, помня ее заграничные экскурсии, но главное, что выставлялось на вид, было то, что опекун — мужчина свежий и что, живя с ним, она попрежнему «ничего не будет знать»... Отсутствие всякой сообразительности и благоговение пред словом «мужчина» стали быстро укреплять в пустой голове моей будущей жены мысль о браке с волком... И я с ужасом увидел, что мне необходимо разрушить этот план, этот брак; но я не мог иначе этого сделать, как женившись на ней сам.

«Что я не уживусь с опекуном, когда он женится на моей теперешней жене, — это было ясно; он начнет все по-своему и прогонит меня. Что он поведет детей иначе — это также было ясно. Ясно было, что он их забросит вместе с матерью; что деревня, мужики будут разоряемы свободной рукой — также не подлежало сомнению. Как тут быть?

«Добрые семена, посеянные в сердцах моих ребят, он непременно будет «искоренять», он будет им отцом, перед которым «не смей пикнуть», он «пристроит их к месту» и покорит непокорных... Представьте себе, что может сделать такой волк с детьми, что он сделает с мужиками, с деревней, сделавшись «полным» хозяином?

«И опять мне представился случай уйти; теперь уж я бы мог уйти с полным сознанием моей невинности: я не мог давать ложной клятвы в любви... Не правда ли, как

честно и благородно! А честно оставлять на съедение трех честных людей, честно обрывать начавшее пробуждаться в них сознание любви к ближнему? Честно покидать этого ближнего, для которого на моих руках растут три добрые существа?

«Подумайте!

«Я подумал и женился. Чего мне это стоило и как случилось — я в подробности рассказывать не буду. Я женился с тем, чтобы самому быть опекуном (теперь я уж добился этого) и также быть полным хозяином в тех добрых отношениях, которые установились между мною, детьми и деревней... Но могильный холод оковал мою душу... Я зарезал себя, и меня теперь нет на свете... Когда я стоял под венцом и когда услыхал слова «расстоящая соединивый», я думал о соединении не себя с моей женой, людей видимо «расстоящих» друг от друга, а о чем-то другом — и радовался умом, хотя сам был мертв и даже зяб от внутреннего холода... Я радовался тому, что, умирая, соединяю «расстоящая» — моих ребят и деревню, в общей симпатии друг к другу, в сознании общего труда, общей жизни... В самом деле — зачем им быть «расстоящими»? Разве это справедливо? Разве не в этом вся неправда, все зло?

«А ведь они были бы «расстоящими», если б я не зарезал самого себя... Теперь этого не будет... Вот этим сознанием и живу я, и радуюсь, и веселюсь всякий раз, когда только представлю себе, сколько было бы сделано зла, если бы я пожалел самого себя...

«Не велика беда, что меня нет в живых, — зато сколько растет живого, хорошего на моей могиле...

«Однако, бога ради, бога ради, пишите...

«Ваш...

«P. S. Делаю небольшую приписку о том, каким образом пошли наши дела, когда стал опекуном я. На другой же день моего вступления в должность — имение перестало давать доход. Совершенно перестало. С Ивана Абрамова следует получить оброку 32 р., но у Ивана Абрамова всего-навсего 1 р. денег, и он должен лавочнику 8 с полтиной, а ресурсов на уплату того и другого — корова и телушка. Точно так же во всех дворах... Вместо 5 тысяч рублей, которые в течение одного года

сумел «извлечь» прежний опекун, мы теперь получаем рублей 15 в месяц, и то когда 1 р., когда полтинник... Однажды я целый вечер шлепал по грязи, просил во всех дворах тридцать копеек — «нету!» говорят. Так и воротился ни с чем... Вообще я вижу, что «хорошая доходность» имений находится в прямой связи со строгостью. Чтобы был доход, необходимо ежеминутно кому-нибудь и об чем-нибудь «жаловаться». Хорошо также и судиться — тогда урожаи получаются сам-100. Но все это, к сожалению, нам с ребятами «не подходит». Таким образом, видя невозможность, и притом самую полную, получать какие-нибудь мало-мальски определенные доходы, мы уже не фантазируем ни об адвокатуре, ни о замужестве с министром.

«Мы не можем уже и мечтать о гимназии — нет денег! Волей-неволей приходится выбирать профессии попроще».

V

«Не выдержит!» — решил я, дочитав письмо до конца, а спустя несколько дней написал «иностранцу» ответ, в котором старался доказать всю трудность и, с моей точки зрения, бесполезность жертвы, взятой им на себя. Я изложил эту мысль по возможности в самых мягких, не обидных выражениях, так как не мог не слышать, читая второе письмо, что «иностранцу» моему крепко трудно, крепко больно... Мне не хотелось делать ему еще больней. Я рассчитывал только дать ему возможность прийти в себя, очувствоваться, посмотреть на вещи здраво. Доказательства бесполезности единичных жертв, приводимые мною, были всё больше аллегорические: необходимо изменить порядки, а с ними изменятся и люди; изменять людей, не изменяя порядков, все равно что на каменистой почве сеять рожь, и т. д. Бесплодность «иностранцевой» жертвы была доказана самым явственным образом, и в конце концов я рекомендовал ему, предварительно расхвалив его душу, его сердце, — отдать себя общественному делу.

Ответа на письмо я не получил... Теперь я знаю, что «иностранец» ожидал от меня не такого письма, не такой поддержки. Теперь я знаю, что он «в самом деле» не мог

разорвать естественно возникавших в его сердце связей и привязанностей именно потому, что он был живой человек. Тогда же мне казалось, что он просто запутался, «втюрился», так как я сам не понимал еще достаточно того, что лично мне присущая легкость жертвовать «мелкими» интересами людей, с которыми сталкивает меня судьба, во имя интересов общих — есть несовершенство, неразработанность моей нервной системы, моего человеческого достоинства, а вовсе не признак высшего развития, высшего порядка моих убеждений... Я охотно бы облагодетельствовал весь род человеческий, но только под условием, чтобы он беспрекословно повиновался моим повелениям, чтобы он не пикнул, не стал со мной торговаться, желать чего-нибудь такого, что я считаю вздором... Вся русская история научила меня ни во что не ставить отдельную личность и ее мелкие человеческие интересы. Во мне самом та же история воспитала и отсутствие уважения к самому себе с моими «ничтожными» интересами и отсутствие не только уважения, но даже терпимости к тому же в других; мы привыкли сливаться в плотную массу обыкновенно разрозненных, бессодержательных атомов — только в какой-нибудь посторонней, не от нас пришедшей заботе, вроде ига, вроде войны, голода и т. д. Но как только такая подавляющая, со стороны нахлынувшая тяжесть событий переставала давить нас, переставала возбуждать в нас деятельность ума и сердца, как только мы оставались «сами по себе» — прекращался всякий интерес жить на свете, наставала пустота, тоска, самогрызение и нетерпеливое ожидание вновь какого-нибудь удара, какой-нибудь беды, тяжести, чтобы чувствовать, что, свергая ее, живешь... У таких людей, как я, еще нет нравов, нет разработки своей личности...

А между тем время все более и более идет к «человеческому образу жизни», все более требует, чтобы человек-то был хорош, чтобы личность-то берущегося за дело человека была хороша... Увы!.. подобных личностей оказывается покуда вовсе не такое количество, какое бы требовалось даже в самых скромных размерах. Откуда они возьмутся — я не знаю; но знаю наверное, что мое личное несовершенство (подобное такому же несовершенству множества моих двойников) было причиною того, что мы, начав за здравие, всеобщее здравие, кончали упо-

коем собственным своим в банках, в железнодорожных правлениях и во всякого рода учреждениях, приносящих пользу... только уж не знаю кому?

«Иностранец» был не таков, и он «выдержал» вопреки твердой уверенности моей в противном. Я и мемуары-то эти принялся писать именно потому только, что «иностранец» «выдержал» и заставил меня задуматься и о нем и о себе... Убедило меня в этом третье письмо «иностранца», полученное мною уже здесь, в г. N, на месте нового моего служения отечеству, или, вернее, наживающему деньгу купечеству.

Несколько дней назад, возвратясь из «должности» домой, я нашел коротенькую записочку на серой бумаге:

«Наш деревенский мужик, бывающий по делам в вашем банке, сообщил мне вашу фамилию, говорит: «служит». Вы ли тот самый (следует мое имя, отечество и фамилия), с которым мы когда-то жили, помните, на Живодерке? Если вы, то я очень, очень этому рад и счастлив... Как нам повидаться? В городе я бываю редко. Не приедете ли в свободный денек — посмотреть на наше житье-бытье?.. Надоест ведь сидеть в банке-то... А до нашего обиталища близко — третья станция, и от станции семь верст, деревня Залесье...

Ваш N. N.».

Как он мог попасть сюда? Чем «кончился» этот брак? Где дети? — все эти вопросы невольно возникли по прочтении этой записки, и желание видеть «иностранца» овладело мною в самой сильной степени. Я решил непременно съездить в первое же воскресенье, но не выдержал и уехал в субботу вечером.

Часов в одиннадцать ночи лошади привезли меня в бедную нищенскую деревушку, к бедному низенькому в одно окно крестьянскому дому. И деревня и домишко спали мертвым сном.

— Кто там? — на стук в дверь, низенькую и квадратную, отозвался молодой басистый голос.

Я назвал себя и произнес фамилию «иностранца».

— Здесь, здесь!.. Я его сейчас разбужу... Подождите в сенях, я вынесу свечку, а то вы тут спотыкнетесь...

Огарок осветил сени, заставленные досками, только что сделанными ящиками; вся стена, у которой стоял

верстак, была увешана разными столярными инструментами: рубанки, пилы, шершебели, навертки и т. д. Молодой парень, босиком, одетый в парусинную блузу, сонно и молодо улыбаясь, проговорил, указывая на всю обстановку сеней:

— Всё хлам!

И провел меня в избу.

«Боже мой! Это ли тот «иностранец», молодой, приличный, рассудительный, здоровый!» Я не верил глазам, увидав перед собой совершенного старика. В красной полосатой фуфайке, какие носят дворники, плотно обхватывавшей его стан, он походил на скелет, так был он худ; длинные худые ноги, худые руки, редкие волосы с сильною сединой и длинная, узкая, также с значительной сединой борода — все это говорило о том, что человек был сломлен и разбит, что прожитые им годы были мучительно трудны...

Тихим, ослабевшим, но таким же мягким, женским, как и в старые годы, голосом он говорил мне, как он рад меня видеть, как хорошо, что мы встретились; радость непритворная светилась в его добрых, простых глазах, слышалась в голосе.

— Где же ваши дети? — спросил я.

— А вот один из них, — указал он на парня, который отворял мне дверь.

— Это Федя, — прибавил он. — А Василий учительствует... Девочка Лиза учится в фельдшерских курсах... И потом — сюда...

— В земстве будет служить?

— Нет, просто будет сама... Нельзя брать неисполнимые обязанности только потому, что дают жалованье. Будет жить с нами и делать, что возможно...

— А средства?

— Ну, что дадут... Яйцо, курицу...

Федор, оставаясь попрежнему босиком, возился около самовара...

— А вы с Федей?

— А мы, вот видите... столярничаем... Есть тут крахмальный завод, мы поставляем ящики...

И затем он рассказал, как попали они сюда.

— Мы разошлись, — сказал он коротко, — с женою...

Нельзя было жить там, не было подходящих заработков... Мы продали крестьянам, что можно было, и вот я вздумал вернуться в ваши края... Отсюда ведь близко до города, где мы с вами когда-то учились... Вот мне там и посоветовал один человек арендовать лоскуток земли, — здесь земли немного, только самим хлеба, правда, хватает, но мало всего другого. Лизе надо, Василью не всегда хватает... Да и нам...

Я не решился расспрашивать его о супруге, так как в этом преждевременном старчестве, одряхлении человека брак его несомненно играл большую роль... Впоследствии я узнал, что она живет у богатых родственников. Не решился я расспрашивать «иностранца» и о том, как он находит свою теперешнюю жизнь, но не потому, чтобы находил эти вопросы нескромными для него, а потому, что не было в них надобности: в самом «иностранце», теперь походившем на старого русского крестьянина, не было никакой тени сомнения в том, что положение его могло бы быть какое-нибудь иное, чем то, в котором он находился; к этому положению привела его жизнь, его убеждения и необходимость, а как же противиться необходимости? Не было ни в нем, ни в Феде и мысли о каком-либо ином образе жизни... Глядя на эту спокойную покорность результатам, к которым привела самая жизнь, не было никакой возможности завести каких-нибудь теоретических разговоров.

Неудивительно поэтому будет, если я скажу, что после нескольких минут первого свидания, наполнявших нас оживлением и радостью, я скоро стал ощущать некоторую скуку. С большими промежутками молчания пили мы чай, говорили о мелких ежедневных трудах... и, увы! опять припомнилась мне мелочность «иностранца»! Ничего ни смешного, ни остроумного, ни громкого. Нет, все однообразно, бледно и так неинтересно, как неинтересно заказчику платья или сапогов быть долгое время в кругу портных и сапожников, долгое время слушать их портновские разговоры. Так и мне неинтересно было сидеть со столярами, потому что «иностранец» и Федя были в самом деле столяры... *только* столяры!

«Чужие мы друг другу!» — решил я. На другой день я с трудом дотянул до вечера, когда надо было уезжать...

Вся великость подвига этого человека утратилась для меня, когда я увидел те скудные формы, в которые вылился этот подвиг... «И все-таки и тут ограниченность!»— опять решил я, уезжая... Но когда на меня нападает гложущая, самобичующая тоска, я невольно опять склоняюсь пред сердцем и делами «иностранца» и стараюсь помнить только одно: «Он возвратил в трудовую массу троих человек, которые приготовлялись быть дармоедами».



9. БОЛЬНАЯ СОВЕСТЬ

I

«Не советую вам встречаться за границею с русскими»... Когда я ехал прошлый год за границу, эту назидательную фразу мне пришлось слышать от многих соотечественников, уж бывавших там и, стало быть, имевших понятие о европейской жизни. Все причины, которые приводили мне в объяснение необходимости быть в стороне от соотечественников, решительно, по моему мнению, ничего не значили; говорили: «неприятно», «скучно», «да вот увидите сами...», словом, ни одной основательной причины на мой взгляд не было, и я уехал, совершенно забыв эти советы. И что же? Впоследствии, когда я поглядел на чужие нравы, и невольно должен был вспомнить этот совет, ибо я на самом себе испытал какую-то душевную боль, что-то саднящее, какую-то наваливающуюся на душу массу — боли, желчи, тоски... всякий раз, когда только «видел» русского, даже не разговаривая с ним ни слова, и уверен, что и моя особа, тоже русская, производила на другого соотечественника то же самое ощущение...

Определить это ощущение каким-нибудь одним веским словом решительно невозможно; оно приобретается тогда только, когда длинный ряд чужеземных картин, даже самых непривлекательных, сделает с вами великое чудо: именно заставит вас выздороветь, если вы были больны; заставит вас успокоиться, если вы были обеспокоены, — словом, когда чужая сторона сделает на душе у вас хорошо... Теперь, сидя в глуши и опять заболевая понемногу какою-то мнимою болезнию, я с особенным удо-

вольствием припоминаю этот процесс, по которому на душе становится хорошо.

Ни длина и дешевизна немецких бутербродов, ни чистота немецкой прислуги, ни роскошь и дешевизна извозчиков, у которых все по таксе (какая прелесть!), человеческое достоинство которых делает то, что они едут потише, когда их просят ехать пошибче, ни газовые рожки, ни вообще какие бы то ни было таксы, цены, и проч., и проч., — ничто подобное не будет предметом нижеследующих заметок: ни одною из этих прелестей я не посмею пленять читателя. Да не только не посмею пленять именно вещами подобного сорта, а просто нахожусь в полной невозможности пленять его хоть чем-нибудь, если только он хоть мало-мальски заинтересован в современных порядках и хочет, чтобы они хоть чуть-чуть были поновей. С этой точки зрения я по совести могу сказать, что там *все хуже* нашего, ибо там всему делу корень; с этой точки зрения я даже и говорить не могу ни о чем, кроме самых-самых неприятных вещей, но в конце концов — как бы ни было дурно то, что попадается вам на глаза, — на душе будет хорошо...

В самом деле, только переехали вы границу, только было стали облизываться от дешевизны бутербродов, — хвать, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют «понятия» и которая заставляет вас сразу терять аппетит ко всем этим прелестным газовым рожкам, мостовым, «по таксе» и т. д. Палаши, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя, попадаются на каждом шагу, поминутно; тут отдают честь, здесь сменяют караул, там что-то выделывают ружьем, словно в помешательстве, а потом с гордым видом идут куда-то... В окне магазина — победитель в разных видах: пропарывает живот французу и потом, возвратившись на родину, обнимает свое семейство; бакенбарды у героев расчесаны совсем не в ту сторону, куда бы им следовало... У иных одно лицо сделано величиною в аршин (из мрамора, из металла), причем усы, как бычачьи рога, стремятся вас запороть, положить на месте. Насмотревшись на это, пойдите укрыться в портерную, но и там то же: сабли и палаши ездят по ногам, повсюду шевелятся усы, одни другим отдают честь, и все вместе вновь

пришедшему... Но существеннейшая вещь — это полное *убеждение* в своем деле, в том, что бычачьи рога вместо усов есть красота почище красоты прекрасной Елены. Спросите любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в нем сидит образцовый сознательный зверь. Проглотивши такую заграничную картину, невольно думаешь: «нет, уж этого у нас нет!» И в темноте вагона припоминается наш солдатик Кудиныч, который, прослужив двадцать пять лет богу и государю, теперь доживает век в караулке на огороде, пугая воробьев... Он тоже весь изранен, избит, много дрался и имел врагов из разных наций, а поговорите-ка с ним, враг ли он им.

— А поляки? Как?

— Поляки тоже народ ничего, народ чистый...

— Добрый?

— Поляки народ, надо сказать, народ добрый, хороший... Она, полька, ни за что тебя, например, не допустит в сапогах... например, заснуть ежели...

— Не допустит?

— Ни боже мой!.. ходи чисто! благородно!

— А черкесы? Ты дрался с черкесами?

— Эва! Мы черкеса перебили сметы нет! Довольно нам черкес известен; лучше этого народу, надо так сказать прямо, не сыщешь.

Все его враги — добрые люди, неизвестно зачем бунтуют... Всех он усмирил, и вот теперь сидит в караулке, тачает что-то, разговаривает с собачонкой и, вспоминая прошлое, говорит: «ох, грехи-грехи тяжкие!» Какое же сравнение: здесь доброта, — там свинство и зло.

Нет, у нас лучше.

Благодаря превосходно устроенным путям сообщения, не успели вы еще простыть от умилительного воспоминания о Кудиныче, как чужая земля предъявляет вам новый сюжет для размышления. Поезд остановился на какой-то маленькой станции — кажется, в Бельгии: немецкие деревеньки с зеленью и беленькими домиками, выглядывающими из нее, давно прекратились; давно уже пошли каменные глыбы с боков дороги, горы (буквально) золы, облака дыму, тысячи труб, изрыгающих дым и пламя, и исчезли всякие следы деревни; видны только фабрики и казармы для рабочих, узенькие, низкие одноэтажные здания, с крошечными окнами, маленькими дверцами,

обвешанные всякою рванью, просушивающеюся на солнце; людей стало почти не видно, они все где-то под землею, в огне и дыме... Изредка у дороги увидишь женщину-сторожа — она босиком, в рубище, изможденная и худая. Это, точно, Бельгия. Поезд останавливается ночью. Повсюду зарево пылающих горнов; вот вдали на какой-то широкой трубе, из которой вылетает белое пламя, толчется какой-то человек: черная скорченная фигурка его то подскочит к огню с каким-то шестом, то отскочит назад, очевидно от нестерпимого жару, и потом опять лезет туда... Слева, немного ниже насыпи железной дороги, расположилась фабрика, под прорванной и прогорелой железной крышей, держащейся на столбах; в огне и дыме, в тучах разлетающихся искр копошится масса рабочего народа, худого, оборванного, измученного; сколько тут детей, совершенно голых, без рубах... вот один тщедушный мальчик, без рубашки, босиком, нагнувшись головой чуть не до земли и ухватившись руками через плечо за конец длинной железной полосы, раскаленной почти до половины, тащит ее с видимым трудом, раздувая свои голые бока с отчетливо обозначившимися ребрами. Да, тут работают в поте лица, тут виден страх смерти, если только руки выпустят этот молот... Представляя себе хозяина этого ада кромешного, вы никак не сочтете его другом всех этих голых людей, — да, вы убеждаетесь, что выколотить из этого «хозяина» прибавку в копейку серебром можно только кровью, дракой, невыносимым взрывом ненависти... У нас нет ни такого дыму, ни такого огня, ни такой злобы рабочего и хозяина (говорят, будет), ни этой злости в работе... Хозяйский приказчик Куприянов, правда, ходит между рабочими и покрикивает: «поспевай, ребята, поспевай»; но потом присядет на обрубок дерева и скажет: «И история тоже, ребята, вчерашнего числа вышла со мной... Тут смеху было, боже мой... Иду это я... Федот! ты что это чешешься-то?.. Надо бы, купидончик, поспевать... Иду это я вчерась от кумы...» — и пошла история, от которой, глядишь, идет смех по всей фабрике... Под историю и «поспевать» легче. «Уж и плут только этот Куприянов, братцы, — разговаривают фабричные, — ну, одначе, человек, надо говорить прямо, — человек ничего...»

Нет, у нас лучше!

Мы в Париже. Тут уж я не знаю, каким орудием таскать массы всяческого безобразия... но чтоб уж до конца в этих сопоставлениях мое отечество являлось в лучшем против *них* виде, приведу суды. У нас суд скорый и правый, а там идет какой-то скорый и быстрый разбой, но не суд. Я говорю о версальском военном суде. Нижний этаж неряшливых солдатских казарм в Версали кое-как, на скорую руку, перегорожен досками на маленькие клетушки, совершенно такого же изящества, как деревянные, на два дня устраиваемые по случаю сельской ярмарки, «выставки водок», — и в каждой этакой клетушке заседает военный суд и печет приговоры десятками в минуту. Из-за этих перегородок (которые далеко не достигают до потолка) раздаются резкие, скорые, очевидно для проформы задаваемые вопросы, робкие ответы, преимущественно «нет», на которое не обращается никакого внимания... Посмотрите на эти лица, заседающие за красным столом, под запыленным маленьким распятием из кости над их головами, — эта такая коллекция удавов, какой, пожалуй, и в Берлине скоро не подберешь. Стоит взглянуть на этих судей, чтобы понять, что подсудимый — тщедушный мастеровой, совершенно напоминающий нашего отечественного портного, работающего «перешивку на дому», — что этот испуганный человечек с трясущимися пальцами рук, протянутых по швам (я такого именно и видел), что он вовсе даже и не подсудимый, а прямо «попался» в волчью яму. В две-три минуты допросили десять свидетелей, которые все показали, что он вполне невинен, что он не мог не держать в руках ружья, когда ему его навязывали под страхом смерти... Словом, дело такого рода, что у нас бы непременно его оправдали, и денег еще собрали бы. А тут — нет: прокурор, стуча кулаком, прямо объявляет, что он знать не хочет ничего, кроме того, что подсудимый взят с оружием. Повернув, по французскому уменью говорить, эту фразу на разные лады раз двадцать, он умолкает в большом негодовании; за прокурором встает защитник, очень изящный молодой человек в военной форме. «Ну, — думаете вы, — вот тема-то разойтись...» Ничуть не бывало. Защитник с крайним сожалением объявляет, что вина преступника так несомненна, что ему остается только просить о снисхождении: он знает, что есть мило-

сердие; — и затем совершенно спокойно садится без малейшего стыда и жалости. Не виноватый ни в чем человек был приговорен к пяти годам работ в крепостях. — Семейство разорено, и вся жизнь целого семейства пошла к чорту... Несомненно, что у нас в России никто ничего подобного не видал.

Но довольно примеров. Один мой соотечественник из простонародных, попросту русский мещанин, волею божией попавший в Париж и проживающий здесь около пятидесяти лет, — соотечественник, о котором будет сказано обстоятельно ниже, — говорил мне за верное, что здесь во Франции, особливо в Париже, «все порядки приведены в большую огромность». В доказательство того, что это правда, он весьма оригинально указал мне на статуи великих людей, расставленные по площадям европейских городов и Парижа в особенности... «Это отечество, — говорит он, — становит тому, кто ему делал добро, установлял порядки... Почему у них у всякого в руках либо палка, либо сабля, либо дубина? Потому, «не бить — добра не быть», бабушка говорила... У иного просто бумага в руках, а тоже ровно треснуть хочет... А потому — на пользу; от этого-то здесь и чистота... Одному только Нэю на Сан-Мишель поставили монумент за измену...» При таком прочном насаждении порядков можно бы было здесь представить читателю великое множество таких цветов этих порядков, которых у нас не только нет, но дай бог, чтобы и не было их; но теперь покуда довольно будет рассказать окончание последнего примера с судом, чтобы можно было видеть, отчего даже такие мерзости, как этот суд и другие, мною вышеуказанные, поучительны и чем именно они не мерзки...

Окончание истории с судом было таково:

После того как по обыкновению именем французского народа был произнесен приговор (подсудимого в это время нет в зале суда), публика, находившаяся в камере, вышла на двор, заставленный пустыми пушечными станками, и обступила растерянную жену несчастного. Публики этой было очень немного: два-три свидетеля, в том числе две женщины, семинарист-иезуит с толстомясым лицом и флегматически сложенными назади руками да два-три иностранца. Женщины ахали, советовали что-то,

жена подсудимого плакала, прочие стояли и смотрели. В это время по случаю перерыва заседания прокурор и защитник да, кажется, кто-то и из судей неправедных вышли на крыльцо курить и болтать... Зная наши отечественные добрые нравы, я подумал: «А вот сейчас эти прокуроры и судьи подойдут к несчастной и станут соболезновать ее горю... ну, хоть из приличия...» Мне потому пришло в голову, что у меня есть множество приятелей прокуроров, которые именно так поступают; эти мои приятели, они вовсе, например, не злы на мужика, который вырубил дерево и которого нужно засадить в острог; *в сущности* они душевно жалеют этого мужика, они научились любить народ, и если иной раз упекут в Сибирь, то это по обязанности, а *сами лично* они даже жалеют, дают деньги... Один из моих приятелей был даже так огорчен каким-то делом в этом роде, что мало того, что дал упеченному денег, а даже... подал прошение о переводе в другой город... Когда мне все это пришло в голову, я того и ждал, что эти звери теперь, когда заседание прервано, вдруг сделаются не-зверьми (как мои приятели) и покажут нам свои лучшие светлые стороны... «Вот сейчас», — думал я. Но они стояли и курили, заложив руки в карманы своих красных панталон. «Да что же это такое? — стало приходить мне в голову. — Неужели они даже и в перерывах заседания остаются такими же зверьми?..» Мне показалось, что на нашу группу они смотрят не с сожалением, а с каким-то веселым сарказмом в глазах... «Да неужели же они считают себя правыми?» — думал я в недоумении. И, чтобы удостовериться, сделал даже некоторое неприличие — попросил у одного из них закурить (хотя простонародный соотечественник и внушил уже мне, что французские порядки требуют, чтобы спички держать свои). Мне хотелось послушать, что такое они болтают; я нарочно возился с сигарой, склеивая ее, перевертывал другим концом, чтобы протянуть время. И что же? Один из них ругательски ругал коммунаров, а другой предложил на будущее время просто «сбривать им головы с плеч», и, сколько я мог заметить, сказал это с подлинною ненавистью... Тогда я убедился, что они действительно злы и делают так, а не иначе, именно потому, что злы.

II

Таким образом и версальский неправедный судия, и берлинский зверь, и все, кто в вышеприведенных заметках являлся дурен ли, хорош ли, — все они делают только то, к чему влекут их личные нравственные требования. Неправедный версальский судия, убивая в коммунаре ненавистную ему идею, делает это потому, что, допустив идею врага, он должен отказаться от своей, которою он живет и которую он *считает справедливою*... Зверовидный берлинец потому так охотно исповедует религию пропарывания кишок ближнего, что вследствие множества мельчайших причин, о которых можете прочитать в книжках, эта религия составляет идею его личной жизни; она ему нужна за кружкой пива, за трубкой. С своей точки зрения он может представить тысячи по его голове совершенно логических доводов, которые его совершенно оправдывают. На своем знамени в данную минуту он может написать такое словечко, которое ему дороже жизни. Вам, постороннему наблюдателю, он может показаться сумасшедшим, но он лично совершенно прав, честен пред своею совестью, живет... Ощути он за своей трубкой, за своей пивной кружкой потребность не пропарывать кишок — и на знамени надо будет писать другое слово, а старым, пожалуй, не стащишь его с места. Заберись коммунарская идея в голову, в сердце, словом, в будничный обиход версальского неправедного судии — и, пожалуй, не он будет убивать, а его.

Негодуйте, сочувствуйте — как скажет ваша совесть. Что же делает мой приятель Петров? В зале суда он упекает крестьянина Андронова за порубку дубков, в перерывах заседания сочувствует ему и дает деньги, а дома является демагогом... Что тут правда, что тут настоящее? где тут результат, кроме того, что крестьянин Андронов отправляется в острог и благодарит прокурора за пожертвование: «дай тебе бог»? Что тут живого, по совести считаемого нужным?.. Я знаю одно, что версальский жидомор чувствует себя хорошо, а Петров скучает и хочет исцелиться, подав прошение о переводе... Да и мне, помню, с этим Петровым было необыкновенно скучно.

Где больше правды, в иностранном ли фабриканте, согнувшем рабочего в дугу, или в другом моем приятеле,

недавно умершем от скуки и от чахотки, помещике Федосееве, на винокуренном заводе которого распоряжается известный уже читателю Куприянов?.. Фабрикант прямо смотрит на свою фабрику как на учреждение, которое должно дать ему деньги на жизнь, слагающуюся из потребностей весьма определенных, удовлетворение которых ему необходимо и которые он, по свойственному всем чужестранцам крайнему эгоизму, считает выше всего на свете. Он — свинья (если так да позволено мне будет благосклонным читателем выразиться), но он лично полагает, что поступает справедливо, стараясь получить из рук голого рабочего больше, а не меньше. С господином же Федосеевым происходили следующие обстоятельства: он был, во-первых, человек «добрейший, честнейший и благороднейший»; винокуренный завод он открыл, сам не зная как («решительно не понимаю, — говорил он, — как могло мне прийти в голову»!), и, как утверждал он при жизни, видеть его равнодушно не мог... Когда доходили до него слухи, что Куприянов обсчитывает и грабит, с ним делались истерики, и он иной раз сам раздавал обсчитанным рабочим деньги — по пяти, по три рубля... Каждый год он собирался закрыть завод, но не закрывал, совершенно не зная, как это случилось... Завод между тем, управляемый Куприяновым, шел кое-как, приносил кой-какой доход, который барин принимал «с омерзением» (собственное его выражение) и собственно лишь для того, чтобы поехать в Петербург послушать хорошей музыки и вообще отдохнуть от всей этой слякоти. Спрашивается теперь, что в нем, в господине Федосееве, я, посторонний человек, могу считать действительным и живым: тонкое ли понимание собственно музыки, демократические ли его идеи или идеи фабрикантские? Я полагаю, что ни на один из этих вопросов ответить невозможно утвердительно. «Жду смерти, как избавления, как манны», — сказал он мне однажды и действительно умер с большим удовольствием... И действительно на душе у него должно было происходить бог знает что. А рабочий? Согнутый головой к земле, иностранный рабочий знает, кто его согнул; несчастный, он живет злостью, которая рано ли, поздно ли разогнет его!.. Положение же Андрона, работающего на фабрике Федосеева, совершенно неопределенное. После того как Куприянов

обсчитал Андрона, а барин дал ему пять целковых, Андрон пьянствовал две недели, похваливая господ, и пропился до того, что жена Андрона сама пришла к Куприянову и просила его образумить пьяного дурака. И действительно, Андрон крайне нуждался в какой-нибудь доктрине. Очнувшись, он решительно не мог понять, он ли, Андрон, виноват, Куприянов ли виноват, или барин... Но когда оказалось, что, напротив, барин ему сделал благодеяние, то мысли его до того перепутались, что он чувствовал себя дурак дураком и, говоря по совести, был в душе очень благодарен Куприянову, когда тот его образумил. Куприянов, во-первых, дал ему хорошую пощечину, потом повторил ее раза три-четыре и оштрафовал за все прогульные дни. «Дурак я был», — думал Андрон, принимаясь за дело.

Кудиныч старый воин и добрая душа! Я часто посещаю Кудиныча (он у нас караульщиком на огороде), веду с ним разговоры и решительно жалею его... Что за существование?.. Он обыкновенно сидит в своей караулке, что-нибудь тачает, или штопает, или жует свою печеную картошку, кровью выслуженную на войне, приговаривая всякий раз: «господь напитал — никто не видал, а кто видел — не обидел...» Это — человек, который сам действительно мухи не обидит. А сколько он обидел на своем веку народу, и все народу, по его мнению, доброго, хорошего!.. «Много мы их тогда перебили... народ все чистый, ладный народ, ничего!» — скажет он иной раз, заговорив о войне и о своих подвигах; но, отделавшись от них, он почти не интересуется ими и толкует о них редко. Отдыхая теперь на спокое, он живет сам по себе — и вот, послушав раз-другой его разговоры с мальчишками, я вполне убедился, что «сам по себе» он совсем другой человек... Посмотрим, что его интересует, какими небылицами набита его голова.

— И горит, братец ты мой, — рассказывает он босоногому мальчишке, — этот самый гац без фитиля и без лучины... И как бы ты думал, откудова он идет, этот гац? — вопрошает он удивленного слушателя и, долго помолчав, почти с ужасом произносит: — Из собаки! да! Из дохлой, из падали из собачей!.. Наберут дохлятины, сейчас ее в особое место, — в варку, — ну а из варки она

уж и выфыркивает полымем... Значит, этот дух... например, жар... стало быть, эта сволочь самая...

Или рассказывает о том, что близ Ярославля один дьякон откопал мешок с тараканами; они лежали в земле тысячу лет — и живы!.. Дьякон будто бы тотчас же явился с этим мешком в собор и подал его архиерею на самом амвоне, за что вышла из Петербурга награда. Он верит, что в Киеве существует мост на двадцать верст длины, вылитый целиком из железа, что если зайцу отстрелить хвост и зарядить этим хвостом ружье, то ружье будет стрелять без промаху.

Удивление его всем этим чудесам, в которых одна «премудрость», ничуть не меньше удивления его деревенских слушателей ребят; да, он ребенок — добрый, тихий, религиозный (в молодости он намеревался поступить даже в монахи)... Но все эти личные его качества — теперь на возрасте десятилетнего ребенка. Почему же им не суждено было развиваться? Почему в видах высшей пользы они должны были замениться совершенно другими качествами... и притом какими?.. Я часто пытался разузнать, какая сила таскала его по черкесам и по венгерцам, и признаюсь, кроме слов «там, брат, не разговаривают», я почти ничего не слыхал, объясняющего дело. Один только раз, как мне показалось, он произнес магические слова своего знамени. Это была солдатская песня такого содержания:

Мы с героем — дети славы
. . . .
Есть у нас своя семейка
Невеличка и добра.
С нею жизнь для нас копейка —
Сухарь, чарка и ура!

Но когда я захотел потолковать с ним насчет этой песни, то оказалось, что он в ней понимает очень мало и сердится, так что разговор пресекся на первом слове. Прежде всего он произнес не «с героем дети славы», а с «хероим». Когда я спросил: что это значит? он насупился и отвечал уже — «херуфь»; на вопрос, что означает это слово, он еще более насупился и забурчал:

— Как что значит? Вас учили в училищах?

— Учили...

— Так вы сами, кажется, должны понимать, что и в чем и как...

— Ей-ей, не понимаю...

— А видали в церквах...

— То хоругвь...

— Ну да. Я и говорю про то... Чего ж вам тут все не к месту? Мы люди неученые... Небось, вас терли, терли мочалкой-то в науках...

Старик, очевидно, сердился, и разговор наш пресекся. Так что, по тщательном размышлении, знаменем всей его жизни должно было признать любимую его поговорку:

— Ох грехи, грехи тяжкие!..

Нет, берлинский зверь не скажет: «грехи, грехи!» А Кудиныч покорный вздыхает!

Таким образом, если счесть содержимое этих параллелей, окажется, что личная совесть любого из вышеупомянутых соотечественников как будто ровнешенько ничего не значит в великих делах, им совершаемых; она не развивает своих сил, не имея возможности питать их, и формы ее в высшей степени неопределенные, а велики или малы силы этой совести — сказать утвердительно тоже невозможно. Там, напротив, все дело в крайне малом — в эгоизме, и притом самом злейшем, — эгоизме каждой единицы, каждого сверчка, который за свой шесток (худ ли, хорош ли он, судить не мое дело) постоит крепко. Для нас этого очень мало; но ведь эта малость и делала явления, которые считают великими...

Здесь мне припоминается следующее обстоятельство.

В праздник троицы я вместе с известным уже читателю простонародным соотечественником моим отправился в церковь Парижской богоматери. Служба шла со всею торжественностью: служил парижский архиепископ, гремел орган, гудели виолончели и т. д. Но церковь мы нашли совершенно пустой; кроме небольшой кучки народу да иностранцев, шатавшихся вокруг пустых стульев и рассматривавших расписные цветные стекла, — хоть шаром покати. «Ослабела вера», — заметил мой соотечественник. И что ж? при самом выходе из церкви мы натолкнулись на следующую сцену. Солдат под хмельком, с сигарой в зубах и под руку с подругой, болтая и смеясь, расспрашивал сторожа, пускают ли теперь посмотреть церковь? Он так с сигарой и в кепи пошел

было в самый храм... Он — изволите видеть — идет «смотреть» церковь. Если бы мне пришлось видеть побольше фактов хотя такого рода, я бы мог заключить, что действительно ослабла вера, что ухо отвыкло понимать эти виолончели и хоры дискантов; но если мне будут попадаться факты вроде того, который я сию минуту приведу ниже, то я не знаю, в какой мере прочны и уверенны могут быть мои умозаключения. Года два тому назад ехал я по Волге из города С. На палубе попался купец-раскольник, которого я только что перед этим видел в том же С. во время публичных диспутов в С-ском соборе, разрешенных местным начальством. Диспут происходил между разными раскольничьими сектами и православным духовенством. Не трудно представить, что споры могли держаться на самых схоластических темах, на словах, никому не нужных уже, потерявших смысл и внутреннее содержание. Словом, кроме схоластиков-диспутантов, слушатели почти все скучали, сохраняя вид дела (черта наша). Здесь-то я встретил и купца, который тоже стоял и как будто внимал разглагольствию. Теперь мы с ним встретились опять на палубе и заговорили. Тут же на полу под одеялами, совершенно как дома, на перине лежала жена раскольника, окруженная собственной своей чайной посудой. Она слушала наши разговоры. Мы толковали о диспуте. Все, что я ни говорил, купец все подтверждал и со всем был совершенно согласен. «Ведь просто скучно», — говорил я. «Не приведи бог! — говорил купец. — Что ни слово скажут, меньше как четырехсот лет тому слову нет от роду! Заведут-заведут канитель, — упаси господи...» — «Разве дело в этих пустяках, о которых спорят», — говорил я, например, — и купец отвечал: «вестимо, уж какое тут дело», и т. д. Словом, он соглашался со всем и даже, соглашаясь, непременно приводил свой довод, более высокий, в пользу моего мнения. Эти разговоры и дорога подружили нас. «Пойдемте пить чай?» — сказал я. Купец начал мяться и поглядывать на жену и, наконец, заговорил, улыбаясь: «Так-то бы так, чайку отчего бы... да...» Оказалось, что нельзя пить из чужой посуды. «Да ведь, по совести, ведь глупость это». — «Оно так, действительно не с большого ума... ну, как-то так уж...» Помолчав и подумав, он прибавил: «Али уж мне тебя чаем напоить?» — «Ну на-

пой!» — сказал я... «Напоить-то тебя я бы вот как напоил, да опять же нельзя тебя к нашей посуде допустить...» Словом, он знал отлично, что все это вздор и глупость, все понимал и со всем был согласен и все-таки делал что-то. Так как напиться чаю вместе нам оказалось невозможным, то купец со вздохом лег к жене под одеяло и закрыл глаза — будто бы спит, а я ушел. Чему тут верить? Что тут действительно нужно человеку и что не нужно, умерло? Ни на один из этих вопросов утвердительно ответить невозможно. Только скучно.

Если с этими вопросами подойти к любому из современных явлений русской жизни и, спустившись до отдельного лица, делающего это явление, встретить в этом лице вовсе не то, что он делает (чему я приводил примеры), если убедиться к тому же, что лицо это может делать как угодно, ни в чем лично не нуждаясь и будучи на все готовым, то легко поймется томительная тоска, свирепствующая всюду, равно как и то, что причина этой тоски — не свободная, в грош не ставящаяся совесть.

III

Имея намерение со временем рассказать кое-что из мира этой больной совести, ненужной личной жизни, я должен прежде всего указать на два типа, которые припоминаются мне теперь и личная жизнь которых, словно в укор мне, совершенно свободна и чиста.

Это, во-первых, тип, руководствующийся тем, что «всё бог», и совершенно спокойно живущий среди всевозможной сумятицы. Образец такого типа мне совершенно случайно пришлось встретить за границей, именно в Париже, — я говорю о моем простонародном соотечественнике, русском мещанине N. В двадцатых годах, когда этому соотечественнику было от роду не более девятнадцати-двадцати лет, какой-то русский купец, желая завести иностранную торговлю, завез его в Париж, но промотался и умер. Соотечественник остался в чужом городе и с тех пор живет там до настоящего времени. Профессия его — показывать русским Париж; он знает, кому какой памятник, где платок Наполеона, в который тот не успел высморкаться, сколько миллионов стоит дворец и

т. д. Во время выставки он очень успевал во мнении московского купечества; если умрет в Париже русский, простонародный соотечественник непременно явится его обмывать, укладывать в гроб, читает псалтырь; кроме того, он постоянно служит сторожем при одном русском учреждении в Париже и благодаря этому, то есть тому, что учреждение это считается собственником, владельцем, в качестве представителя от этого владельца служил в национальной гвардии в течение всех крупных событий последних лет. Чего только, стало быть, ни видал и ни перенес этот честный человек, прекрасный семьянин. (Он женат на француженке и имеет уже взрослых детей, которые все пристроены к месту.) И вот под влиянием этих соображений я вступил с ним однажды в разговор; результатом этого разговора было то, что теория, основанием которой «всё бог», уяснилась мне весьма обстоятельно, ибо находилась в этом человеке в самом чистом виде. Удаленный из России довольно рано, молодым парнем, он не успел пропитаться более глубокими философскими взглядами, которыми живет и дышит, например, купец, получивший медаль, а за границей не мог по натуре усвоить чуждых взглядов, — осталось «всё бог» в самом чистом виде.

— Да как же не бог-то? — говорит он... — Зачем бы мне это надо в Париж из Курска — скажите, сделайте милость? А уж стало быть, что так богу угодно было... Или теперь: у меня есть медаль за спасение погибавших, при Луи-Филиппе получил я... А по совести говорить, разве я знаю, могу, например, объяснить, как это я спас?.. Вы видите, какой я (он намекает на свой рост; росту он небольшого): как же я мог справиться с верзилой с этаким... да что! с двумя! Видите, как было. Шел я поздно ночью через Елисейские Поля (тогда этого великолепия не было, темень). А разбойничьего народу — страсть сколько было... Иду так-то, слышу, в кустах кричит будто кто-то... Ровно мне ущемило за сердце, как брошусь — ке фет ву ля (так и так по-русски), хвать одного верзилу за шиворот, другой убежал, ну кричать: стражу! Сбежались, и тогда только я увидал, что они человека душили... Лежит человек без чувств... Я даже сам удивился... Поглядел на верзилу, обомлел даже — этакая махина, упаси господи! Потом в суд призвали свидете-

лем. «Узнаете, — говорит председатель,— этого господина (которого я спас-то)?» — «Нет-с, ваше превосходительство, не узнаю...» — «Да вы его спасли!» Тут он мне такую речь сказал, расхвалил меня: «Вы благородны, честны... у вас добрая душа — человеколюбие... Что вы хотите, деньги или медаль?» — «Ничего, говорю, ваше превосходительство, я не хочу— потому я тут ни при чем, и как тогда это случилось, не знаю... Ежели бы, говорю, теперича, вот сейчас при мне этакой верзила стал бы душить человека — ни во веки веков бы я не бросился спасать — мне, говорю, самому жизнь дорога... Стало быть, уж богу так угодно было...»

Помолчав немного и понюхав табаку, седой старичок этот, как бы в раздумье, прибавил:

— В Сену тоже бросился раз — человек тонул, вытащил... А дай мне сейчас тыщу франков — «окунись, мол» — так и трех не возьму, да и миллионов мне не надо... Стало быть, бог все... Или опять женился я — я из Курска, она из Бретани — судите теперича: чье это, как не божие, дело?

— Вы по любви женились?

— Как же мне это помнить? Этому сколько лет-то! У меня сын, милостивый государь, сорока лет, коммивояжер, мне об этом помнить нельзя было... я бился всю жизнь, всех воспитал...

— А не было скучно вам за границей?..

— Как не было скучно? Скучал... До женитьбы совершенно даже скучал; ну, а пошли дети — какая тут скука?.. Вся тут скука и окончилась... Разве мало хлопот-то? Тут норовишь для семейства, ан хвать — переворот какой-нибудь затеяли: бери ружье, стой!.. Уж как они меня, черти-французы, при Луи-Филиппе рассердили, так это забыть не могу!.. Внучка лежит больна, жена больна, а ты стой с ружьем. — Думаю, ах, чтоб вам пусто было! Что вас нелегкая поднимает?.. «Что вы, говорю, господа, всё беспокоите себя? Может быть, другим семействам от этого худо бывает... У меня вон все семейство хворает, а вы тут революцию затеваете...» Уж тогда я бесился на них шибко... Да что! бешеный народ... Ему все мало! Какого императора спихнули, безумные!..

— Какого?

— А Наполиона! Ка-к-кой император!.. Да и Луи-Филипп? Чего им еще надо?.. Вы знаете, почем была всякая провизия при Луи-то Филиппе или хоть при Наполионе?.. Спросите, мол, почем, например, стоил лук, овощ, мясо, — и что теперь? «Репюблик, репюблик», а поди-ка приценись, во что вогнали картошку?.. да!.. Нет, я так думаю, они и бога застрелют, попадись только во время! Ее-ей... Кто им худо делает? сами себе...

— А немцы?

— Да что ж немцы?.. Немцы-немцы! ругают, кричат все, а немцы во время осады сами нам пропитание доставили. Помню, сын у меня захворал, а купить нигде нет. Прошу Христом-богом хоть капусты кочан, за что хочешь — нету ничего, нигде... А немцы дали; целый воз дозволили пропустить в город. И очень хорошо бы было некоторым семействам, ежели бы как следует рассортировать, а они что же? Французы-то? Налетели на воз с капустой, растрепали все, расхватали по листочку, никому ничего... Немцы всей душой хотели...

— Да! — заключил мой соотечественник... — Эти перевороты мне въехали довольно!.. Как зачуешь, что «что-нибудь» начинается...

— А как вы это узнаете?

— Как узнаешь? Чуешь!.. То же все как будто, а понюхаешь кругом — и нет, что-то есть... Порохом пахнет, народ начинает беситься... Ведь народ этот ничего, только с бесиной... Словно как найдет на него что... Уж я этого довольно нагляделся, теперь уж, брат, меня не оставишь без провизии, как при Луи-Филиппе или при Шарле-дис... Как, говорю, зачуешь — сию же минуту капустки, репки, огурчиков — всего припасу, пали! шут с тобой!

Так он откровенничает только с соотечественником — с французами же держит себя «по-ихнему», притворяется развязным, поддакивает — словом, представляет барина. Иной раз, желая вдуматься хорошенько в тамошние порядки, посмотреть на них не с точки зрения больной внучки и дороговизны картошки, он попробует высказать что-то, но на втором же слове остановится, махнет рукой и скажет:

— Огромность это все... По крайности, слава богу, жив-здоров, и за то слава тебе господи!

Вот каков мой простонародный парижский соотечественник. Сколько есть таких соотечественников, но еще больше есть другого сорта типов, которые живут, повидимому, тоже во имя «всё бог», с тою только разницею, что формула эта переиначивается в такую: «бог не выдаст, свинья не съест». Здесь под именем свиньи подразумевается весь род людской, среди которого живешь и с которым приходится делать дела. Парижский соотечественник — зверок тихий, смирный, волокущий в свое гнездышко по щепочке, по перышку, «что бог дает»; тогда как тип последнего сорта обязан вырвать у свиней то, что ему потребуется. Знал я на своем веку одну бабу-крестьянку. Она пришла в Петербург из Пинеги, потому что в Пинеге стало нечего есть. Это была грубая черномазая женщина высокого роста. В Петербурге она отъелась скоро, и так как «есть» — до сего времени составляло все, что ее держало на белом свете, то житье ей стало в Питере плохое. Она жила у немки в меблированных комнатах, била посуду, ибо что такое посуда и зачем? Спала как мертвая и огрызалась, когда ее будили. Не могла упомнить фамилии того или другого жильца, не могла выучиться узнавать, который час. В церковь она никогда не ходила, потому что это ей было не нужно. Словом, это было создание, способное покуда только есть. За разгильдяйство ее колотили жестоко, но это ей было нипочем: она даже улыбалась, видя, как немка дует на руку, онемевшую от удара по каменному плечу Марьи. Иной раз она вдруг заскучает, сидит, плачет.

— Что с тобой? — спросят ее.

— Хлеб у нас, пожалуй, хорош уродился...

— Ну так что же?

— Девки замуж идут...

Но вот в жизни ее случился переворот, именуемый любовью, хотя здесь это слово неуместно. Прислуга меблированных комнат утащила ее однажды на иллюминацию, а с иллюминации Марья возвратилась уже утром, и дня через два ее нельзя было узнать. В этом она сходна с парижским соотечественником, у которого скука прекратилась, как только пошли дети. Марья, почувствовав, что она будет мать, тоже как будто сразу скинула с себя лень и дурь и принялась обеими руками тянуть кусок из пасти свиньи, то есть всех, кто ей ни попадался. И фамилии

жильцов она узнала, и знала, что у кого есть, и часы вдруг стала узнавать, и узнала, кто добр, кто зол из жильцов... «Теперь еще четвертый час, — стала она шептать, — господин Федоров приходят в пятом», — и она смело входит к г-ну Федорову в нумер; запустила руку в сахарницу, взяла сахару, отсыпала чаю; галстук валяется — и галстук взяла, спрятала... Или вот другой господин, «простой», подгулял с приятелями — и уж Марья тут; как, оказывается, тонко понимает она этого «простого» господина! «Сестра четвертый месяц в больнице... сумасшедшая... маленькая девочка у ней осталась, пить-есть нечего... Что на себе было, отдала...» — жалобно причитает она. И барин все вынимает мелочь, все вынимает... «А кум ей голову прошиб, да еще говорит: убью...» А барин все вынимает, и Марья примечает, где водится у барина эта мелочь, и когда барин спит, обыщет этот карман. Она стала изворотлива, как кошка; куда она прятала что тащила — никто никогда не находил. Отец будущего ребенка попробовал было ее разыскать и повидаться, но так как и он из числа свиней, которым надо не дать возможности съесть, то через десять минут и у него куда-то делся платок, в одном уголке которого был завязан рубль. С тех пор этот человек и глаз не показывал, что, конечно, еще более укрепило Марью в том, что «все свиньи». И вот она стала родить, — тащить с правого и виноватого, перешивать и одевать ребят... Как она обращается с детьми? Любит, бьет и пичкает **всем**, что попало под руку, что нашлось «у господ». Когда отвозят ребенка в деревню, она плачет и потом удваивает свою хищническую деятельность...

Да, здоровый, настоящий человек и Марья, — а страшновато. Ну а затем начинается великое море болезней и печалей ненормально живущего духа!

IV

После трехмесячного шатанья в чужой стороне, преимущественно в Париже, в один вечер, вместо того чтобы по обыкновению идти куда-нибудь и что-нибудь видеть, мне захотелось в первый раз остаться дома, ибо в первый раз я почувствовал, что «пора собираться домой»... Чужим в этой чужой жизни я чувствовал себя

давно, постоянно: в театре, на улице, в танцующей на общественном балу толпе, — словом, везде ощущалась полная невозможность быть так, как они, не притворившись... А что уже притворяться! Мне захотелось уехать, и не потому, чтобы мне надоела «правда», о которой я только что говорил и которая живет во всем, что видишь, и делает живым все, что держится ею; я почувствовал потребность уехать именно из боязни утратить это хорошее впечатление правды явлений, так как самые явления, «ягодки» существующего на белом свете порядка — иной раз весьма непривлекательные — здесь и подавно непривлекательны, потому что они «настоящие»... Настоящее стремление верить только в копейку; настоящий разврат, настоящая безысходная бедность и другие продукты современных порядков без особенного труда бросаются здесь в глаза на каждом шагу. «Кроме Наполеона четвертого — никто не будет! — говорит знакомый мне сапожник (извините, что примеры всё простонародные) и показывает на пальцах четыре. — Вот! больше никого». — «А такой-то принц?» Сапожник молча черкает пальцем по горлу. «А этот?» Сапожник повторяет тот же жест снимания с плеч головы... «Да почему же именно Наполеон?» — «Потому что при Наполеоне я имел пять тысяч франков доходу...» — «Больше ничего?» — «Чего вы хотите? Больше ничего (показывает опять четыре пальца). Вот! — и больше никто!» А вот другой простолюдин, попросту мужик заграничный (опять извините!), он живет одиннадцать лет в Париже и — поверит ли кто? — не знает, где Нотр-Дам, Булонский лес... он даже не разбирает, что будет — республика ли или империя: ему бы только получать аккуратно, что ему следует, аккуратно класть в банк и лелеять мечту о собственном отеле в провинции, чтобы получать и класть. Кроме лестницы с нумерами по бокам, откуда он получает франки, кроме метлы, щетки, сапог, тазов и рукомойников, он не знает ничего — и совершенно весел на этой лестнице. Жестами решает он все вопросы, посторонние копейке. — Что такое любовь? — Жест простой и ясный. — Что такое женщина? — Опять жест, и т. д. Он так верит, что, кроме копейки, все остальное вздор, так спокоен за свою философию, что на его довольное и веселое лицо завидно смотреть. А настоящий, основательный, до последнего слова,

до последней точки доведенный разврат и неразлучный с ним разлагающий «запах» денег, золота, запах, которого я никогда не ощущал, например, на Невском... А бедность, которая тут же, в двух шагах от залитых золотом бульваров и кафе, — бедность, которая угрюмо «терпит» свою долю, словно в насмешку обставленную какими-то якобы удобствами... Бедность эта терпит какой-то якобы обед в кафе, освещенном газом, пьет какое-то якобы вино, такого же самого цвета и названия, что и у президента республики; будто бы весело проводит вечера, часы отдыха на пятикопеечных балах, танцуя с своими дамами, которые будто бы одеты совершенно прилично, хоть иной раз при хорошем взмахе юбки кверху оказывается, что, кроме ботинок да того, что надето сверху, — все остальное в отсутствии. Сколько нужно этому бедняку иметь уменья притворяться, что он не замечает, как его якобы подруга того и гляди уйдет за золотом каких-то пьяных франтов, явившихся на пятикопеечном балу с целью охоты на «дичь» женского пола. Как мало этой дичи, однако! Все обстрелено и видало виды, все чувствует большой аппетит к чужому золоту... Да, цветов и ягод современного порядка много, и любоваться ими долгое время решительно невозможно, вот почему я и почувствовал, что пора собираться домой, и, не откладывая дела в долгий ящик, собрался чуть ли не на следующий день и уехал...

Много хорошего и дурного видел я в чужом городе и равно благодарен ему как за то, так и за другое, да, даже и за другое, потому что если я человек, действительно любящий человека, то, видя перед собою «настоящее» положение дела, я могу еще более укрепить мою любовь, верить, что она нужна... И, кроме того, что значат эти бесчисленные следы пуль, которыми прострелены зеркальные стекла, исцарапаны фасады дворцов, церквей, изборождены монументы, арки?.. Глядя на эти бесчисленные белые кружки с темным ободком дыма кругом, невольно представляешь себе, что в этих улицах и переулках находилась какая-то беснующаяся, сумасшедшая толпа, которая хотела, повидимому, разбросать, спихнуть, разрушить все, что есть кругом. Чем виноваты, например, эти каменные триумфальные ворота, на которых изображены аллегорические фигуры царей, голых воинов, игрушечного вида и задора лошади, колесницы и т. д. Чем

виноваты эти ничтожные воротцы? А между тем они сплошь, сверху донизу, исщелканы пулями, отбившими носы у древних царей, хвосты у лошадей и т. д. Очевидно, что здесь бился и метался какой-то обезумевший человек, и этот-то человек — тот самый, который задохнулся от крепкого букета вышеупомянутых цветов... Тут, в толпе этих сумасшедших, вышедших из терпения, был, наверное, и лакей, которому надоела метла и лестница, тут и камелия, которая могла бы и хотела быть матерью, сестрой, женой и которая зла на порядки, не давшие ей ни того, ни другого, ни третьего... Тут был, наверно, и бедняк, которому надоели якобы обеды, якобы жены, якобы семья и который мстил за невозможность иметь это в настоящем виде и смысле, мстил как сумасшедший, ломая и разрушая все, что ни попадется под руку...

Глядя на эти пули, невольно думаешь и убеждаешься, что всему этому, пораженному старыми порядками, вконец ими испорченному народу жить так дальше нельзя, что ему не только скучно так, как скучно вам, постороннему зрителю, — а просто нельзя, невозможно дольше жить, и, веря в правду явления, вы надеетесь, что действительно *так* продолжаться дольше не может... Уезжая, я думал, что все будет лучше, правдивей, умней... Как же не благодарить за это чужую сторону!.. С этим хорошим ощущением я возвращаюсь назад и дня через два снова вижу Петербург...

В тот же вечер в беседе с приятелями я слышу и от соотечественника моего тоже, что «так жить нельзя». Картину он нарисовал при этом раздирающую; материалу для того, чтобы нарисовать картину раздирающую, у приятеля были полны руки. Но потом как-то так вышло, что в тот же вечер тот же самый приятель мой нарисовал и другую картину, умилительную, с блестящим будущим, ибо и для этой картины материалу тоже у него оказалось в руках довольно много. И обе картины были как будто справедливы... И вот, с легкой руки этого приятеля — пошли мне встречаться коммунары с возможностью довольствоваться и философией копейки серебром, пошли ретрограды, думающие в глубине души, что им бы следовало быть либералами, и либералы, которые, быть может, в сущности и не либералы... Потянулось, словом, что-то вроде ни да ни нет, ни два ни полтора, ни тпру ни ну...

Стало мне скучно.

Поехал я в деревню к приятелю. Здесь, правда, есть кое-что «настоящее», поучиться кое-чему можно, но и сюда уже проникает нравственное «ни да ни нет»... Встретил я здесь пьяного мужика, возвращавшегося с бабой из соседнего села. Баба не давала ему денег на водку; он пристал ко мне и, чтобы угодить, прочитал мне апостол (очень искусно) собственного сочинения, смотря в ладони, как в книгу, — но такого содержания, что баба ушла прочь, плюнув и обругав мужа «безбожником» и проклятым. И действительно, мужик был безбожник, если только чтение (которого я привести не могу) — собственное его изобретение... Ему все трын-трава до такой степени, что я долгое время не мог опомниться и не замечал, что он уже давно ждет «награды». «Станови, что ли, — говорил мужик. — Али не уважил? Хошь пива... Ей-ей, последние ноне отдал попу, нечем охмелиться...» — «Зачем попу?» — «Да ведь надо молитву дать этому щенку (у бабы был на руках ребенок) — али нет? Кажется, мы хрещеные... Поставь, барин!.. будет тебе!.. Я тебе еще такую ли скажу!..»

Пожил я в деревне, показалось мне, что будто бы я заболел, — и вот поехал я будто бы лечиться на одни русские минеральные воды. Здесь в первый же день за общим обедом в гостинице попался бравый мужчина с нафабренными по-военному усами и баками и как-то невзначай проболтался о том, что он послан на минеральные воды одним отделением одной канцелярии для... «изучения народного быта»... Потом, после обеда, я собственными ушами слышал, как этот господин, желая изгладить не совсем удовлетворительное впечатление, произведенное на умы публики этим известием, отвел в угол одного молодого человека и, держа его за пуговицу, говорил: «Согласитесь сами, что ежели бы это было и так, то есть ежели бы ваше предположение было справедливо, — согласитесь, что гораздо лучше, если это гнусное (и по-моему совершенно справедливо!) дело будет находиться в руках честного человека... Согласитесь, что это так». Но молодой человек, повидимому, не высказывал согласия, по всей вероятности полагая, что гораздо бы было лучше, если бы гнусным занимался гнусный, а честный брался только за честное... «В сущности, — пояснил

бравый мужчина, — я сам глубоко презираю ту печальную необходимость... но...» и т. д.

Стал я лечиться, а факты из области «ни да ни нет» всё не прекращались...

V

Из ближайшего уездного города приехал тоже лечиться на воды один монах из благородных; он вел себя солидно, носил окладистую бороду и уединялся от публики с книгой, когда в саду играла музыка. Через два или три месяца он должен был постричься окончательно. (Прислуга его называла «неокончательный» монах.) Нам пришлось жить в одной гостинице; нумера наши были рядом, и потому будущий иеромонах часто заходил ко мне. Разговор шел о духовных предметах; монах рассказывал процесс будущего пострижения, довольно подробно и обстоятельно, мешая его с такими взглядами и мнениями, которые среди духовных разговоров звучали как-то странно... «Не могу жаловаться, — говорил он между прочим, — я пошел довольно хорошо по духовной части... В военной мне не повезло...» — «Вы были в военной?» — «Как же! я два с половиной года служил офицером в —ском пехотном полку принца Карла... Сами знаете, что за жизнь армейскому офицеру... Вознаграждения — грош... а... да, наконец, если бы была протекция... тогда другое дело... я бы, конечно, может быть, и не пошел бы... Но теперь по духовной части у меня есть рука довольно сильная... Настоятель меня любит... кружечный сбор доходит до... все готовое... и, наконец, мне давно хотелось уединения...» Уж и из этих объяснений можно было видеть, в какой мере прочны основания, на которых зиждутся взгляды отца Виктора насчет разных частей, «духовной», «военной» и т. д. Но это еще цветочки... Прямо из окна моего нумера видна была лачуга с вывескою портного и с модными картинками, прилепленными к заплесневелым окнам; бывая у меня, отец Виктор часто посматривал на эту вывеску и часто спрашивал: «Какой-такой это Иван Купидонов, военный, статский и дамский?.. Уж не наш ли это дворовый? У нас был один Иван Купидонов и учился в губернском городе портновскому делу». Оказалось, что этот Купидонов — именно

тот самый. Прослышав стороной, что тут близко находится барчук — монах из военных, бывший дворовый явился повидаться. Свидание происходило у меня в комнате. Иван Купидонов, уже пять лет занимающийся своим делом «от себя», успел принять человеческий образ и с большими усилиями делал «рабское лицо» пред барином. Барин все-таки остался доволен. Когда оба они вспомнили прошлое, пожаловались на настоящее, вздохнули по нескольку раз — дворовый стал жалеть и печалиться о барине. «Эх, Виктор Сергеевич, — говорил он, покачивая головой с сделанным рабским лицом, — охота вам было в монахи... То ли бы дело, ежели бы вы были попрежнему... танцы всякие... всё бы себе дозволить могли...» — «Будет, — сказал барин, вздохнув, — натанцовался». — «И без вас есть кому стоять на молитве... А уж костюм бы я вам уготовил — Шармер! ей-ей! Померяйте, вот сюртучок... (У портного был подмышкой узелок.) Чего вы опасаетесь? Кажется, сукно что на рясе, что в сюртуке один дар божий». — «Так-то так...» — «Так что ж! Гляньте, померяйте-ка». Отец Виктор помолчал и с улыбкой пошел примеривать сюртук. Просто *так*, примерить только. Я ушел куда-то. Вечером, часов в одиннадцать, ко мне входит Виктор, но уже обстриженный и в статском платье...

— Видите, — сразу начал он, — так как пострижения еще не было, то по уставам не возбраняется... по крайней мере ничего определенного нет... Если бы я шел по сбору, например, — прибавил он, — я имел бы право заходить в трактиры, в кабаки... Отчего же теперь я не могу быть в воксале, на концерте, на танцовальном вечере?.. Как вы думаете? Недурно сидит?

Сидело недурно.

— Я заказал белый жилет... ведь носят же жилет под рясой; отчего ж их не носить открыто... По крайней мере честно!

За жилетом пошло бритье бороды (на что было взято, однако, докторское свидетельство), нафабривание усов, натягивание перчаток, подыскивание места на железной дороге, не упуская в то же время мысли и о пострижении... Если место выходило, то Виктор Сергеевич говорил: «Хотя я люблю уединение, но уединяться можно и не надевая клобука, не загораживая себя каменными стенами... Бог везде... Да, наконец, велик ли наш кружечный сбор?»

и т. д. Если же надежды на место ослабевали — то речь шла примерно такая: «Да почему же вы думаете, что и в монастыре нельзя быть полезным обществу? Лучше же буду *я,* чем какой-нибудь отставной солдат, постригающийся исключительно ради даровых хлебов и толкующий бедному народу, что сам своими глазами видел дьявола. Во всяком случае я-то уже не скажу этого... Кроме того, предполагаются постройки, и, наверно, будет поручено мне...» Словом, без особенного труда, без особенного соображения по-русски воспитанный ум его мог являться совершенно готовым на всяк час. Он мне показывал письма разгневанных на его поведение родственников и настоятеля. Какое разнообразие взглядов, убеждений! «Ну, что ты мог бы получить на железной дороге, о которой бес вложил тебе в ум? — писал ему настоятель, много, много, ежели ты получишь триста рублей, но заметь — на своих харчах!.. Дьявол настолько ослепил твой ум, что ты как бы совсем забыл о дороговизне жизненных припасов, тогда как, идя по духовной части, ты получишь помимо кружечного сбора...» и т. д. «Враг рода человеческого (писала ему родственница), которому, без сомнения, принадлежат все содеянные тобою свинства, настолько опутал тебя, что ты уж не в состоянии ясно видеть, что карьера твоя должна ограничиться заботою о душе, молитвою, ибо князь Сергей Андреич, как тебе должно быть хорошо известно, умер два года за границей, а без него, ты очень хорошо знаешь, тебе нет протекции ни в армию, ни в штатскую службу... Молись и проси у бога прощения, зная, что на железных дорогах все места заняты и нигде тебе не дадут ничего...»

— Да что же это такое? — воскликнул я, когда однажды почему-то вдруг припомнилось мне все виденное за последнее время. — Где же тут, во всем этом, в этих неокончательных монахах, изучателях народного быта, безбожниках, и проч., и проч., — где тут правда, совесть, могущая в искренности, чистоте и силе потягаться с совестью, например, вышеупомянутого лакея, то слепо верящего в копейку, то слепо идущего завоевать другую веру, когда копейки мало.

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ПО ОКЕ

...Утро «духова дня» было прекрасное; солнце ярко осветило нищенскую каморку с ободранными стенами, которую я вчера вечером мог с трудом разыскать на постоялом дворе в селе Павлове, всем известном своими замками и стальными изделиями. Чудное светлое утро значительно освежило меня и расправило уставшие члены. Всю ночь пришлось валяться на полу (так как мебели в каморке не было никакой, кроме стола и стула) на дрянном войлоке, пропитанном насекомыми, и слушать ругань, песни гнуснейшего содержания и просто пьяное оранье и бормотанье мастерового народа, разгулявшегося по случаю троицына дня. Весь этот праздничный гам был слышен в каморке моей вполне ясно, так как улица, на которой стоял постоялый двор, была очень узка. Боже мой, что это были за песни! Я не могу привести здесь ни одной, хотя непосредственное участие в них принимали женщины, о чем свидетельствовали визгливые голоса, прорезывавшие пьяные басы и крикливые звуки гармонии мастеровых. К утру все это безобразие более или менее утихло, — и когда я встал, на улице было совершенно тихо: или спали, или опохмелялись и «поправлялись» потихоньку. Поднявшись с своего ложа, я отправился гулять. Удивительная бедность и неряшество поражали на каждом шагу. Село, ворочающее миллионами, как будто нарочно собрало массу всякой грязи и нищеты на том превосходном месте, где раскинулось. Оно стоит на высоком берегу Оки, и с горы на реку — вид прелестный (я был во время еще не спавшего разлива), на эти широко расстилающиеся перед глазами воды, по которым

то там, то сям белеется парус или, чуть-чуть наклонившись набок и попыхивая черными, расплывающимися в длинный хвост клубами дыма, бежит пароход, на эти вереницы вершей, концы которых торчат из воды, вершей, полных рыбы, которая, впрочем, павловцу не принадлежала (по крайней мере в мою бытность река была достоянием одного монополиста), — глядя на все это, не хочется смотреть на самый город: все как будто доживает век, все как будто прожило лучшую пору, даже на каменных домах лежит этот оттенок нерадивости... Есть несомненно и богатые хоромы, но там живет не павловский рабочий человек, который собственно нас и интересует. На каждом почти углу прибит образ. Хозяин и хозяйка, выйдя утром на рынок, с кульком или с корзинкой, и приготовляясь торговаться и кричать с торговцами и лавочниками, — молится на этот образ и шествует уже смело. Унылые дома, пустынные улицы, на которых иной раз пошатывается пьяный мастеровой в одной рубахе, без шапки, клали на душу большой и тяжелый ком скуки. Походив таким образом час или два, посидев на берегу, я направился домой пить чай.

В широкой грязной кухне постоялого двора, — с полом, покрытым шишками сухой грязи, правда, подметенной для праздника, с окнами, в которые нельзя было рассмотреть, что делается на дворе, — так затекли и выцвели стекла, — я нашел кухарку. Она лежала на лавке, в новом ситцевом сарафане, в новом платке на голове, и спала.

При моем появлении она поднялась. Я попросил ее поставить самовар.

— Я еще давить думала, пить будешь, поставила самовар-от, ан ты ушел... А тут заснула...

— Теперь праздник, гулять надо, а не спать, — сказал я.

— Ну, — нам только и спать, что в праздник...

— Зачем же наряжаться-то тогда?

— Вестимо, — согласилась кухарка, — нарядишься незнамо зачем, да и спишь. Вот и праздник наш весь тут...

На лестнице, по пути в нумер, меня ожидал мой приятель мастеровой, с которым я познакомился вчера, как только сошел с парохода, и при посредстве которого была отыскана комната, в которой я сегодня проснулся. Это

был добродушный, наивный молодой малый лет девятнадцати, который, за все время своего жития на белом свете, начал работать чуть не с восьми лет от роду, а может, и раньше, заработал только пиджак, который был на нем надет по случаю праздника, и не всегда был сыт. Денег у него не было на праздник ни копейки, и он только мотался тоскливо из угла в угол, смотря, как другие едят селянку и пьют вино. Как при такой жизни он сохранил в сердце ангельскую доброту и румянец на щеках, — я решительно не понимаю.

— Спасибо тебе, ей-богу спасибо, — сказал он, встречая меня (я ему вечером дал тридцать копеек), — ловко я попировал вчась.

— Хорошо?

— Дюже хорошо.

Мы вошли в комнату.

— Дюже, дюже хорошо, — говорил он, садясь на пол. (Пиджак его был постоянно застегнут на все пуговицы, а новый картуз он ни на минуту не выпускал из рук, хотя вовсе не собирался никуда идти, — все это объясняется тем, что на дворе праздник, благодаря которому и кухарка хотя и спит, но тоже в наряде.)

— Как же ты пировал?..

— Как пировал-то? А вот как. Перво-наперво пошел я туда... помнишь, я тебе говорил?

— Помню.

— Ну, взял ее, повел в кабак. Раз.

В это время кухарка принесла самовар, поставила его на лежанку и, увидя по лицу мастерового, что он рассказывает что-то, стала прислушиваться.

— Привел я ее в кабак...

— Это свою любезную? — спросила кухарка.

— Нет, чужую взял.

— У такого кавалера как не быть своей...

— Мне такая же вот Дарья навязывалась — отказ дал.

Это, очевидно, относилось к кухарке.

— Где уж нам...

— Ты говори, как пировал-то, — сказал я.

— Пришел в кабак, — говорю: деньги есть, требуй. Потребовала она яичницы, порцию... подали, — десять копеек серебром, — а-а-атличнейшую яичницу, целую

сковороду, первый сорт. Так ей понравилось — вис-селая стала... Думаю — уж праздник ведь, — за вино, скричал подносчика, водки на шесть копеек серебром взял, думаю, надо же как-нибудь, выпили водки, съели яишню, принялись за пиво; остальное все на пиво ушло. Так разобрало чудессно...

— Какой пир! — сказала кухарка.

— Ничего! Погуляли... довольно...

Хотя кухарка произносила свою речь, повидимому, шутя, — но видно было, что и такое роскошное пированье, как пированье мастерового, — достойно порицания людей более строгих, в особенности женщин. Только мое присутствие несколько ободряло малого, с матерью которого кухарка, повидимому, была знакома.

Вот как веселился молодой малый с своей подругой; малый, которому пришлось повеселиться таким образом только случайно, благодаря моим тридцати копейкам (хотя этот же самый малый и трудится всю свою жизнь).

Когда кухарка ушла, мы принялись пить чай и повели серьезный разговор.

— Скажи, пожалуйста, — спросил я, — сколько ты вырабатываешь в неделю?

— Изволь. Я тебе все расскажу. Перво-наперво надо говорить, на чьих харчах. Я живу на хозяйских харчах. Вот какой наш харч. За работой стоишь в день боле как шестнадцать часов, — вот хушь сегодня — тебе в первом часу на пароход идти, а мне на работу, да я не пойду. Я тебя буду провожать. Все одно.

— Спасибо. Много ли же ты в неделю сделаешь замков?

— В неделю я сделаю штук сто девять, — не меньше, — и получаю я по полторы копейки серебром.

— Как, неужели?

— Да уж я верно говорю. А женщины у нас тож работают, чернильщицы, — которые замки чернят, — так те на своем материале, на своем харчу, — получают всего два рубля в неделю, — ты вот посуди, из чего тут жить. Материал не дешев — голландская сажа, сера, сало... Да ты думаешь, и у нас из полутора-то рублей остается много? Нет, за праздничный день изволь-ка вычесть двадцать копеек за харчи хозяину...

— Это за калабан-то?

— Да. Ну в праздник пирога дадут с кашей, а праздников-то девяносто хозяева насчитали в году, вот и сочти, много ли остается.

— Неужели это правда?

— Врать, что ли, я стану. Из-за чего мне? Да и за этими-то деньгами не просто идешь. Хозяева жалуются — обороту, говорят, мало, нету денег, подождите да погодите... Обыкновенно это одна ихняя уловка; потому как не быть у них денег? Одно притворство. А ежели, говорит, хочешь сейчас получить, я дам записку к Г-цеву, — тот выдаст. А Г-цев со всеми хозяевами в стачке, в союзе значит, — он сейчас рассчитывает, — да по две копейки с рубля берет с каждого, одну копейку себе, а другую хозяину, — вишь, как подведено... Ну, сочти, что останется. У иного семья есть, — что значит в неделю ему полтора-то рубля серебром, да ежели жена еще полтину добудет, так и то, — на что ему. Вот и в кабак. У нас тайных кабаков, беспатенток, страсть сколько... целую ночь отперты, ну и идет там пьянство... Вот сегодня пойдем на гулянье, я тебе его покажу, Г-цева, первый богач, — а другого у него дела нет, только рассчитывает мастеровых, — легко ли дело, каженный день на пятнадцать тысяч обороту, — учти, сколько на праздниках да на процентах Г-цевых пропадает нашего.

«Неужели это правда?» — думал я и не верил своим ушам.

— А хозяева, — спросил я, — велик ли получают барыш?

— А вот видишь — ты работаешь у них по сотням, а он продает по дюжинам, за дюжину берет не мене как рубь серебром; вот и считай, на рубь двадцать восемь али семь копеек — он получает двенадцать либо пятнадцать рублей серебром. Вот ихний барыш-то... Ну, железо, харчи, — положь пять рублей серебром на все, — семь рублей у него чистыми деньгами с каждого рабочего останется в неделю... А случись грех, заболи человек, — ну, что будет? И ежели да у тебя дети, — ну, куды ты?.. Ежели бы ты вчера мне тридцать-то копеек не подарил, — так бы мы и просидели всю ночь на лавочке без всякого угощения...

ЗЛЫЕ НОВОСТИ

I

Шестнадцать лет тому назад в жаркий июльский полдень на реке Черемухе, впадающей в Волгу, появился первый пароход. Медленно, сурово и вместе трусливо прокладывал он свой первый путь по этим девственным водам, между спокойно зеленевшими берегами... Целая армия мужиков с длинными шестами в руках толпилась на носу парохода; другая не менее значительная армия разного пароходного начальства наполняла капитанскую рубку... «Шше-есть!.. че-ты-ре-е!» — во всю мочь громкими голосами орала армия мужиков, поминутно выхватывая из воды мокрые и сверкавшие шесты... «Ти-шше! Сто-о-ой!» — гремели басы лоцманов, — и, повинуясь этим громким, ни на минуту не умолкавшим крикам, пароход то притихал, сердито ворча, то начинал свистать, дымил черными клубами дыма и безжалостно ломал тихую поверхность реки

Изумленные этим невиданным зрелищем, как вкопанные останавливались с граблями в руках толпы расфранченных, по случаю уборки сена, деревенских женщин, пестревшие по обоим берегам реки. Не понимая, что такое творится, эти простые люди испытывали в то же время ощущение чего-то удивительно страшного и вместе удивительно веселого... И вот, развиваясь с каждой минутой, это ощущение страшного и веселого разрешалось в какой-нибудь из зрительниц тем, что она, сама не зная почему, вдруг затягивала звонкую песню, начинала подплясывать и бить в ладоши... А за одной принимался петь, плясать и бить в ладоши весь расфранченный луг... И пляшет и поет он, в такт стуку паро-



ходной машины, долго после того, как пароход прошел мимо.

Это нервное состояние, производимое странным, непонятным и чудным, — повторялось по всему протяжению Черемухи, где шел пароход и где его видели люди. То же самое произошло и с жителями села Покровского, в котором пароход остановился на ночлег... Необыкновенное веселье и необыкновенный страх обуял жителей Покровского мгновенно, как только пароход остановился у наскоро (еще весною) сколоченной конторки, наполненной народом, раскачав ее своими волнами и разбросав по берегу лодки, тоже наполненные покровским народом; точно в лихорадочном жару стали метаться эти испуганные и обрадованные люди с конторки на берег и с берега на конторку; молодежь — парни, девки, ребята — лазили на четвереньках у самого борта парохода, желая разглядеть, что там делается, и когда один из таких наблюдателей увидал, что внизу, из какой-то дыры, как из окна, торчит человеческая голова, — на него нашло что-то до такой степени непонятно одуряющее, что он тотчас же пошел колесом и продрал таким образом на самый верх крутого берега...

Целую ночь, покуда стоял пароход, продолжалось это нервное, близкое к истерическому, состояние, и когда на следующий день чудный гость, засвистав и задымив, ушел дальше, все, что жило в Покровском, чуяло, что случилось что-то новое, что теперь что-то стало не то, и действительно, впоследствии, спустя годы, всякий покровский житель стал считать день первого появления парохода — днем, с которого в сельскую глушь начали являться разные злые и добрые новости. Пароход, снаряженный каким-то юным купеческим сыном, — быть может, пожелавшим шуметь на газетный манер, — «росчал» состарившиеся нравы захолустья, и вслед за тем в эти дряхлые нравы, в эти маленькие дела стали входить новые элементы, новые черты... Не прошло и года после памятного дня, как из неясно сознаваемого покровцами «нового» совершенно точно и определенно и для всех видимо обрисовалось одно явление, совершенно новое. Это явление, пришедшее за пароходом, было — *деньги*. В глушь, в захолустье, в среду бедности, забитости пришли деньги, много, много денег...

— Такие ли еще деньги я на своем веку видал! — негодуя на новости дня, говорит покровский старожил. — Может, сотни тысяч через мои руки прошли, а не то что... Какие это деньги? Тьфу, одно!

Речь этого старожила дышит неподдельным негодованием на новые времена. Но человек, близко знакомый с прошлым житьем-бытьем Покровского, посравнив его беспристрастно с настоящим, непременно должен сознаться, что негодование старожила вполне неосновательно. Да и в самом деле, за сколько бы сот лет мы ни углубились в историю села Покровского, мы всегда находим покровца работающим на кого-нибудь — на большого боярина, на сына боярского, на святую обитель, на господ злых, на владык добрых, на разбойников-приказчиков — и вообще на сотни и сотни разных сортов владык, которые поступали со всеми этими людишками как хотели: продавали их и закладывали, пропивали, проигрывали, забывали их на год, на два, а потом вдруг нагрянывали и требовали сразу все за прошлое да вперед за пять лет... Не мелея и не пересыхая, а, напротив, постоянно увеличивая свои воды, целые столетия лилась в этот уголок река приказов из Москвы, из Питера, из Парижа и бог весть откуда, и в редком из них не было повеления, чтобы — «которые людишки от нашего господского дела по лесам станут разбегаться и животы свои кидать, и те животы брать на наш господский двор да, сыскав людишек, кнутом бить и к делу нашему боярскому ставить...» А над злыми и добрыми детьми боярскими и боярами, над беспощадными немцами-управителями и кровопийцами-приказчиками — стояли Москва, Питер и тоже требовали: «да на зелейное... да на пушкарные... да посошные...» — не забывая всякий раз прибавить в объяснение законности этих сборов все то же повеление: «сыскав, бить и деньги с него взять». Эти два потока приказов, стоявшие целые столетия у самого носа покровца, естественно давали очень мало времени покровцу подумать о себе, поработать на себя... — Через его руки, как говорит старожил, прошло несметное число денег, — но чтобы они были когда-нибудь в руках у него, чтобы он привык распоряжаться ими — этого сказать никак нельзя, иначе как объяснить, что и до сих пор покровец не умеет расчесть, не знает, где его выгода, берет грош

за неистовый труд, а на пустяке думает ограбить и нажиться...

— Ежели вашему здоровью поскорея, — ломаясь, бывало излагает предводитель целой толпы покровцев человеку, который *нарочно* приехал к ним из города на лодке по какому-нибудь делу, — ежели теперича поскорея вам надыть, то ближе, как двадцать пять... то бишь... шестьдесят рублев нам взять нельзя... Этаким вот манером!

Проговорив с полным апломбом эту речь, покровец оглядывался на своих товарищей, как бы спрашивая их: «ловко ли?» Но товарищи сами смотрели на него недоумевающими глазами и тоже как бы спрашивали: «нешто столько?» Общее недоумение разрешалось обыкновенно тем, что приезжий, изумленный глупостью обывателей, не сказав ни слова, только плевал на их речи и, не помня себя от негодования, шел назад в лодку.

— Назад поезжай! — говорит он гребцам, и те берутся за весла.

При виде этого покровцы начинали понимать, что попали «не туда»; они сразу снимали шапки и, толпой придвинувшись к берегу, оробевшими голосами кричали отъезжавшему:

— А ваша цена какая будет? Ваше сиятельство! Говорите вашу цену.

— Я с дураками, — доносилось из лодки, — разговаривать не хочу!

Тут всеми покровцами овладевал панический страх; сразу поняв, что они дураки, и видя этих дураков один в другом, они принимались осыпать друг друга ругательствами и пинками и, как испуганное стадо, бросались к воде, а иные вбегали по колено и даже по шею в воду и орали...

— Двадцать... Пятнадцать, господин!..

— Десять... Пя-а-а-а-ть!..

— Я с дур-рраками, — гремел с лодки ответ, — и говорить-то не буду!..

— Три-и-и... два-а-а... — вопияли покровцы, захлебываясь и утопая.

— Рубль! — наконец с насмешкой отвечали с лодки, и на этот рубль бросались все.

— Я-я-я-я... — гудели над рекой, перемешиваясь с бранью, крики дравшихся и утопавших покровцев.

Задумав ограбить и нажиться сразу там, где этого сделать невозможно, покровец доводил, таким образом, цену своего труда чуть не до нуля... Он это понимал и хотел поправиться...

— Так за рубль? — спрашивает его воротившийся приезжий.

— Да уж... — бормочет он и робко шепчет: — за два с полтинкой... уж...

— Как за два с полтинкой?.. Полтинника не дам!

— Ну, извольте, извольте...

— Не дам!

— Ваше сиятельство! Ваше благородие!..

Со зла приезжий человек был неумолим, и покровскому обывателю приходилось брать за труд уж настоящий нуль...

— Как перед богом, перед создателем скажу, — окончив работу, клянчил покровец пред нанимателем, — как есть — ни крохи не осталось... Лошадей задрал... Всю дорогу, сам суди, на одном кнуте ехал... Чисто подохнуть таперчи... Яви божескую милость... заставь бога молить.

И получив в подачку двугривенный, он уходил к своим задранным лошадям, утирая рукавом мокрое от поту лицо и говоря:

— Дай тебе бог... Сошли тебе царица небесная...

Такое, большею частью, знание — сколько, когда и за что надо взять, обнаруживал покровец в делах случайных, где ему приходилось заработать на себя, без постороннего приказу... Очевидно, это был ребенок, который, однако, и разбойником тоже быть мог. Не в лучшем положении находился его труд и для своего будничного прокормления и житьишка. Хлеб, масло, молоко, рыба, благо река близко, летом ягоды — вот чем тянуло свое существование село Покровское. Но город, стоявший на той стороне, верстах в трех ниже Покровского, куда последнее сбывало свои продукты, был плох, беден (пароход даже и не останавливался в нем), платил мало, прижимисто... Великого труда стоило поэтому покровскому жителю или жительнице вытащить из цепких лап городских торговцев какой-нибудь рублишко, да и тот чаще всего приходилось оставить в тех же лапах, задолжав еще полтину.

Бывало, целую неделю, не покладаючи рук, какая-нибудь покровская жительница сбивает масло; целую гору набила она его — и вот, наконец, везет в город.

Сидит она с своей кадушкой в самой середине громадной дубовой лодки. Три здоровенных парня, три родных ее сына, грохая в воду громадными дубовыми веслами, доставляют маменьку в город. Они без шапок; спины их черны от поту, и руки горят, словно их огнем обожгло...

— Ты мне, маннька, три копеички бесприменно дай... Я хоть квасу выпью! — говорит один из богатырей.

— И мне, маннька! — говорит другой.

— А мне, — говорит третий, — хушь копейку...

— Да как купец, касатики! — охая, шепчет мать этих богатырей. — Приналегните, касатики... Захватить бы купца-то...

— Захватим! — дружно принимаясь за весла, произносят богатыри: — только ты нас не обидь...

— Да, хорошо, как купец...

— Н-но... рряб-бя... навались...

И несется дубовое чудовище, как стрела; часа через четыре плетется оно назад... Уныло бухают богатыри веслами, лица их суровы и злы...

— Чорт! — говорит один, адресуя это слово к купцу. — Право, чорт, прости господи...

— Идол этакой!.. — говорит другой.

— И квасу не выпил... Все нутро палит...

— Авось и без квасу не умрешь! — произносит мать. — Хорошо хошь взял-то...

— У него, у собаки, сколько денег-то... Что ему дать?.. — не унимаются богатыри.

— У него, я сам видел, — беда их сколько...

— Ну и пущай! — говорит мать. — Твои они нешто, деньги-то?

Богатырь молчит и потом произносит:

Дьявол!

Другой прибавляет:

— Именно чорт!

И едут молча.

— О-о-охо-хо! — вздыхает старушка. — Хорошо хошь взял-то!.. — И в душе благодарна купцу; да и богатыри ее тоже недолго гневаются на него. Когда младший из них в тот же день вечером, лежа на полатях и болтая

разутыми ногами, сочинил и во всеуслышание произнес стишок, в котором о купце говорилось, что

Он товар у нас берет,
Ну — денег вовсе не дает, —

то все присутствовавшие в избе разразились громким хохотом и уж вовсе не сердились на купца. В сущности все давным-давно знали, что — «хорошо еще, взял-то, а то и назад привезешь»... Во всяком случае «купец» принадлежал к числу тех, которые дают покровцам хлеб, а не отнимают.

В таком положении находился труд покровцев, в таком положении было знакомство их с деньгами, — когда, за несколько месяцев до первого появления парохода, в Покровское явился приказчик от пароходного общества, чтобы уговориться с покровцами насчет пристани, дров и т. д. Этот приказчик был провозвестник новых времен, провозвестник массы новых способов труда и, главное, полной отмены старого способа вознаграждений за труд... Но неопытность, невежество покровцев в денежных делах и тут чуть-чуть было не испортили дела.

Во-первых, покровцы заломили с приказчика неслыханную цену за то, что он хотел осчастливить их пристанью. За носку дров цена тоже была заломлена неистовая. Выслушав монолог предводителей толпы покровцев, приказчик по обыкновению плюнул и поехал назад... Увидя это, покровцы, тоже по обыкновению, стали проделывать все, что они привыкли проделывать до сих пор, то есть неожиданно узнавали, что попали «не туда», и кричали: «какая ваша будет цена? говорите, господин, вашу цену». Им отвечали, что с дураками не разговаривают, после чего они вступили по шею в воду, стали драться и ругаться —и в конце концов взяли грош.

Но как только стало известным, что за какой-нибудь час времени, покуда будет стоять пароход, будут платить три целковых, хоть и придется делить их между пятнадцатью человек, — тотчас же со всех концов Покровского поднялся народ, пожелавший участвовать в этом вознаграждении. Появились старые-престарые дворовые, доезжачий с переломленной ногой, отставные солдаты, прослужившие престолу-отечеству по тридцати лет и теперь побиравшиеся в Покровском и окрестных деревнях. Весь

этот народ, верою и правдою служивший своим начальникам и потом ими забытый, пришел требовать удовлетворения от трех рублей, объявленных пароходом за носку дров.

— Вам бы в гроб пора, — кричала на ветеранов голода и холода покровская молодежь, только что отыскавшая себе новую работу: — вы хлеб отбиваете...

— А вам-то, бесам, мало своего дела?.. — отвечали ветераны. — Прорвы этакие... Н-н-нен-н-насытные!..

— Кто голодней-то?.. — слышалось в другой группе спорящих.

— Мы!

— Нет мы!

— А ну, давай...

Трудно было самим покровцам разобрать этот вопрос, и ветераны, как люди более опытные, покончили тем, что спустили цену против прежней вдвое ниже и овладели дровами.

Но немного капитан выиграл на этой дешевизне.

Как только старикам пришлось делать дело,— вдруг им стало обидно. Каждый из них имел либо медаль, либо помнил милости покойного графа, и вот этим-то заслуженным людям пришлось теперь делать это черное дело. Несмотря на то, что все они крепко и хорошо выпили перед начатием дела, старые воспоминания не давали им покоя. Обхватив на груди дряхлыми руками три-четыре полена, еле плетется ветеран по колеблющимся сходням колеблющимися от старости и хмеля ногами и бормочет:

— При покойном графе, при Павле Петровиче... бывалушки, и-и...

— Неси, неси, чорт сивый! — гремит на старика капитан: — после будешь разговаривать... Эй ты, — продолжает он, адресуясь к другому ветерану, плетущемуся следом за первым, — старый дьявол! Что дрова-то роняешь...

— Дон-не-сем! Доннесем, куманек... И-и-и... при ампир-ратыри...

— Что роняешь, сивый чорт! — побагровев, гремит капитан.

— До-нисем... ничего... — роняя поленья, бормочет старик, да вдруг спотыкнется и ухнет в воду совсем с дровами, не успев докончить своей речи, начинавшейся словами:

— А при ампирратыри...

Вследствие таких беспорядков, с первой остановки парохода у покровской пристани, — над пристанью, над рекою и на большое пространство в обе стороны — стала раздаваться неистовая брань капитана. Он был из русских немцев, следовательно, мог на двух языках излагать свой гнев, но покровская бестолочь была столь велика, что и двух наречий было мало для выражения негодования. Эти падающие люди с дровами, эти разбитые лодки, которым не могли докричаться, чтобы они сворачивали, эти утонувшие люди и т. д. и т. д. — все это иной раз доводило капитана до того, что он метался по своей рубке как помешанный и кричал:

— Пропадайте вы и с пароходом! Чорт вас возьми всех... Пойду зарежусь...

Неизвестно, что бы сталось с этим новым делом, если бы ему пришлось продолжать свое существование исключительно при помощи старых покровских людей и понятий. Вероятно бы, оно прекратилось. Но новое дело не погибло, его поддерживало и укрепило появление новых деятелей, именно баб.

Этого никто не ожидал.

Неуспех в новом деле покровских старожилов заставил покровскую молодежь, оттертую от дела, быть вполне уверенными, что дело это придет к ним опять; но покуда они хохотали над стариками и издевались над падением людей и дров в воду, над неистовством капитана, к последнему явилась толпа покровских баб и умно, расчетливо предложила ему задаром сделать это дело... «Понравится — хорошо, не понравится — как угодно»... И не прошло четверти часа после того, как капитан дал свое согласие, ни гнева, ни намерения утопиться и бросить пароход уже не было в нем. Бабы удивительно ловко и быстро сделали свое дело. Вместо того чтобы таскать по три полена на груди, они явились с носилками и перетаскали пятерик духом. Они не болтали о графах, не спорили, не перекорялись, не просили вперед гривенник, не просили прибавить, словом — делали дело и желали получить, что следует. Даже в получении денег они умели установить порядок и стройность: подходили одна по одной, не задерживали, уходили тот-

час, — словом, делали всё проворно и ловко. Любо было смотреть, как капитан раздавал им деньги.

— Получай, отходи! — сказал он первой, вручив несколько медных пятаков. То же самое пришлось ему повторить и другой, но третьей говорить этого уже не приходилось: капитан видел, что бабы, все до единой, поняли идею нового рода труда, провозвестником которого был пароход:

— Получай и отходи!

И все, что было следствием этого принципа, привезенного пароходом, все досталось в руки баб.

Они заняли всю пристань столиками с съестным, назначили цену за рыбу, за яйца, за пироги, и пароход, налетев на них, съедал все это и оставлял в их руках деньги.

— Да грех! — говорит робко покровская девушка сухой и вострoглазой бабе, которая ей что-то нашептывает, притаившись за окном, чтобы не видали родители.

— Кому грех-то? Кому?

— Известно, мне...

— Тебе! Дура! Купцу грех — так. С него на том свете взыщут... Это верно, а не с тебя... На тебе греха нет; ежели б ты купца покупала, так тогда ты в грехе...

Девушка улыбается.

— А то чьи деньги-то? Кто деньги-то дает? Купец! Он, стало быть, тебя погубляет и за это ответит...

Но чтобы убедить девушку окончательно, к концу длинного монолога старая ведьма приберегает такой аргумент:

— Что тебе-то? Часок побывала — да назад... Нешто он тут на веки веков? Он сел на пароход — и был таков, а у тебя, глядишь, целое приданое в руках, чистые денежки...

— А Вася?

— Ах, дура, дура! У тебя с Васей любовь, а с купцом что?.. Бери деньги — да прочь, любовь при тебе и останется...

И глядишь, в дрянной и дымный номеришко, где мимоездом остановились приехавшие на пароходе деньги в виде пьяного купца, отправляющегося по делам дальше с тем же пароходом, входит ведьма и говорит:

— Готово-с!..

А за ней девушка... Входит она и, по старой памяти, крестится на образ...

С непривычки случались большие беды... Одну такую несчастную, с деньгами в кармане ситцевого платьишка, нашли наутро в реке, у берега, и узнали, что утопилась... Но понемногу все пошло лучше, и покровцы стали входить во вкус нового времени, пришедшего к ним. Стали продавать все, за что платят, и не разговаривали.

II

Вслед за пароходом так и повалили к ним деньги; скоро бабам никто уже не завидовал. В следующем, после парохода, году наехало в Покровское множество господ из столиц, и стали строить железную дорогу. Не говоря о том, что сами эти господа отличались необыкновенною щедростию и, не задумываясь, вышвыривали рубль серебра за курицу, чего отроду никто не видывал, они сразу дали работу и деньги бесчисленному множеству полуголодного народа... Рыть, копать, возить землю, делать насыпи — для этого, кроме всего мужского населения Покровского, понадобились сотни и тысячи народа из других мест. Затем понадобились десятки, а пожалуй, и сотни людей, которые бы смотрели, надзирали над этими тысячами, — и вот в Покровское повалил народ из губернского города: отставные военные, неудовлетворенные писаря и дьячки, а скоро город совсем притих и обезлюдел, потому что служащий народ бросился в Покровское занимать места на открывшейся железной дороге, а торговый люд стал перебираться сюда для торговых дел, чуя, что Покровское будет бойким местом.

И действительно, благодаря массе пришлого народа и массе нового труда, через пять лет физиономия Покровского совершенно изменилась. Не тот его внешний вид, не тот живет в нем народ: на реке свистят и дымят пароходы, за селом свистит и дымит машина, и возят они тысячи пудов товара и тысячи народа, волны которого, ежедневно перекатываясь через Покровское, всякий раз оставляли после себя деньги и деньги... Множество новых построек, выросших близ мест для новых дел, ничуть не напоминали развалившейся и покачнувшейся

покровской старины; это были привлекательные на вид новенькие домики, где из каждого окошка глядело довольство в виде пузатого, блестящего и почти постоянно кипевшего самовара, в виде довольных и румяных лиц, восседавших за этим самоваром... Также ничуть не напоминал старого покровца тот обновленный покровец, который пристал к новым делам и стал жить-поживать в этих новеньких домиках. Нет тут ни босых ног, растрепанных голов, нет распоясанных сарафанов и рубах, нет забитых лиц, — напротив, все новое и цветущее: платья туго накрахмалены, косы спрятаны под сетку, усеянную блестками, а у мужчин жирно намазаны подстриженные в скобку на жирном затылке волосы, рантовые сапоги сверкают и скрипят, а пальто или чуйка — прямо с иголочки, на вате и, повидимому, не имеют износу.

И все это благополучие пришло потому, что явился труд, который как раз пришелся по вкусу покровцу; от него требовалось, чтобы он «воротил», «таскал», «вез», «стоял и смотрел» и т. д., — вообще требовался труд мускульный, механический, вовсе не нуждавшийся ни в каких более высших способностях покровца, и за этот труд покровцу давали деньги, и деньги порядочные, давали их прямо в руки и говорили: «ступай!». — «Куда хошь!» — прибавлял к этому торговец и чувствовал себя весьма хорошо. Тот самый богатырь, который в прежнее время бесплодно и без толку грохал по целым часам веслами, доставляя маменьку в город к купцу, который не платил, теперь с удовольствием ворочает на своей богатырской спине девятипудовые кули, с легкостию перьев таскает по чемодану в каждой руке: он знает, что вечером, после того как он отворочает и оттаскает, в его горсти непременно окажутся деньги, с которыми — «поди, куда хошь...» Или как не быть в хорошем расположении духа вот этому гиганту, который из писцов земского суда, где он не знал, что ему делать с своим гигантством и силой, поступил теперь на должность надсмотрщика, где все это пригодилось как нельзя лучше. Все его дело состоит в том, чтобы смотреть за рабочими, все ли на местах, и ставить их на эти места...

И вот, проснувшись часов в пять утра, — что для него не составляет никакого труда, ибо он мог пить по неделям, не смыкая глаз, — он идет к своему делу и начинает

«ставить» рабочих... Слово «ставить» надо понимать буквально: рабочие, намаявшись, спят мертвым сном; их надо поднять и поставить на ноги. Для этого гигант поступает так: подойдя к первому из спящих, берет его могучею рукою за волосы, поднимает с армяка, ставит на ноги и, для полного пробуждения спящего, дает ему раза два-три по шее, а иногда и по щеке, после чего один уже вполне может считаться поставленным и, почесываясь, идет умываться из лужи. За первым поставленным на ноги точно так ставится второй; если, паче чаяния, спящий субъект как-нибудь выдернет волоса из цепкой лапы гиганта, то гигант раза четыре так съездит его по спине кулаком, что и второй скоро вскочит как встрепанный и побежит к луже, почесывая спину; иные вскакивают оттого, что их сдергивают за ногу и хлопают головой об пол, другие (преимущественно мальчишки) от хорошего пинка в бок и т. д. «У меня очнешься, встанешь!» — с полным сознанием правоты этих слов говорит гигант и, подняв на ноги таким образом человек двести, «со свежим, как говорит он, аппетитом» идет «куда хошь». Жена его уж знает, что у мужа теперь аппетит, и поэтому все уже готово и поставлено на стол.

— У меня встанешь! — выпив и закусив, говорит гигант и принимается за гуся...

Как ни прост этого рода труд, а несомненно, что при нем всякий получил возможность, сделав дело, «поставив», «стащив» и т. д., быть самим собою. «Как хошь», «как знаешь» — было одним из больших преимуществ нового рода труда, и тем большим преимуществом, что деньги, платимые за этот ломовой труд, давали действительно возможность иметь на деле то, что покровец мог пожелать.

Чего же захотел покровец, когда в руках его очутились деньги и когда получилась возможность захотеть «чего хошь»?

Припомнив прошлое покровца, его прошлые труды и удобства жизни, нельзя не признать, что единственным результатом этих трудов была вековая проголодь. Ввиду этого обновленный покровец, получив возможность «хотеть», решительно не мог захотеть ничего другого, как «жрать», то есть пить, есть и пробовать все, чем голодал покровец так долго... Эту животную черту, развитую

деньгами и не чуждую слоям общества более высшим, чем тот, о котором здесь идет речь, относительно покровского обывателя надо понимать почти буквально: да, он стал жрать, пробовать все, что было приятно его голодному организму... Веселенький дом его стал полною чашей, у него все закуплено на пять лет, все свое, всего большой запас, и, несмотря на то, ему стало казаться мало, и он решительно не хочет дать ни куска ни деверю, который без места, ни свекрови, у которой муж продался в солдаты и она осталась без куска хлеба; и когда ему сказали: «что ж, издыхать, что ли, нам?» — он спокойно отвечал: «да хошь издыхайте» — и засел в свои запасы... Животная черта сильно поддерживалась в покровце и тем народом, волны которого ежедневно наносили на Покровское машина и пароходы... И у этого народа было сильное желание отведывать всего, за что «без разговоров» можно было просто отдать деньги, а продавалось на деньги, как известно, все: и водка, и женщины, и все-все... Трактиры, выросшие на новых местах в несметном количестве, были всегда полны народом; громко гудели органы, звонко пели цыганки и арфистки, и все это пило, обнималось, дралось, целовалось, получало и платило деньги...

— Спрашивается, — сидя поздно вечером за бутылкой водки в одном из привлекательных на вид домиков, вопрошает себя гигант-кондуктор Петров, — спрашивается, в каком смысле, на каком основании народил я этих глотов?

Так именует он свое семейство, жену и троих детей, всхлипывания которых слышны за перегородкой...

— Вопрос, — продолжает Петров: — на какова чорта?

Он выпивает стакан водки, задумывается и произносит:

— Зачем, для чего, почему?..

И задумывается. Кроме всхлипываний за перегородкой, нет ему ответа на эти вопросы, но смутные мысли и воспоминания, несущиеся в его пьяной голове, разъясняют и «зачем», и «почему», и «для чего»... Петров из духовного звания... Не он выдумал это звание, он только родился в нем, и вот как только он родился, он уже знал, что люди, принадлежащие к этому званию, при-

надлежат к нему потому, что надо «пить-есть»... В семинарии он ничего «не понимал», тоже, вероятно, с голоду, — и его исключили. «Что пить-есть?» — тотчас же возникло с неотразимым ужасом в его голове, и хорошо еще, что нашлось дьячковское место; «по крайности, — говорили ему, — не умрешь с голоду». Но чтобы не умереть с голоду, надо было жениться на дочери старого дьячка, который сдавал свое место тоже с тем, чтобы не помереть на старости лет с голоду и чтобы иметь кого-нибудь, кто бы кормил. И вот Петров с голоду женится, с голоду поет в церкви, подает кадило, родит детей, — все ради пить-есть... Не пой он, не подавай кадило — есть будет нечего; не женись он, правда, не было бы ребят и стариков, но не было бы и места, не было бы возможности получать праздничные пироги, водку, кормиться и кормить. И вдруг этому-то человеку выпала профессия, вышло место по вкусу, деньги и возможность быть «как хошь». Чтобы иметь место, где надо «ставить», «возить», «тащить», не требуется ни зятьев, ни деверьев, ни стариков. Не требуется ни жениться для этого, ни петь на клиросе, — словом, не требуется никаких уз, при которых бы место это только и давалось... И вот ему не нужны ни жена, ни дети, ни старики... Все это было, чтобы «пить-есть», теперь они не нужны, они «объедалы»... В данную минуту они ему совершенно чужды, до такой степени чужды, что иной раз, в пьяном, конечно, виде, он как бы совершенно не узнавал своего семейства и не понимал, что это такое.

— Вы ч-чьи так-кие? — оглядывая осоловелыми глазами, спрашивает он.

— Ваши дети... — отвечали ребята.

— Ч-чь-и-и?

— Папины и мамины...

— М-мам-мины?.. Как-кой?..

— Вот этой...

Петров взглядывал на плачущую жену и в совершенном недоумении произносил:

— Не по-н-ним-маю...

Ребята смеются, жена ревет, а Петров пьет водку и бормочет:

— Перед бог-гом... Зачем? Вопрос: почему и опять? Не понимаю... ни-ни-ни.

Горю семьи Петрова много способствовало главным образом то, что жена его вовсе неспособна была так повеселеть и обрадоваться деньгам, как повеселели и обрадовались все обновленные покровцы, мужчины и женщины. Печать уныния, даже отчаяния легла на все ее существо еще с детства; выходила она замуж за кого пришлось, лишь бы «кормил». Да и к корму она привыкла случайному, доставляемому крестинами, похоронами и т. д. Ела когда хорошо, когда худо, когда и вовсе не ела... Да и до еды ли: выйдя за того, кто кормит, она стала рожать детей, об участи которых у нее целые года, дни и ночи, болит сердце. Она неряха (до нарядов ли ей); она разиня, растеряха, потому что не привыкла прятать ничего; была она постоянно грустна... В доме и хозяйстве Петрова не было того порядка, какой царствовал у других его товарищей, — все шло кое-как, как шло в доме родительском: не прибрано, не готово, переплачено... Тогда как у других всегда все готово, когда «сам» приходит со свежим аппетитом, все запасено и все куплено.

А тут, как на грех, так и вьется вокруг кондуктора, вокруг его жалованья, отопления и освещения буфетчикова сестра, перекрещенная жидовка. Она, как нельзя лучше, знает, как можно бы было распорядиться благосостоянием Петрова; зорко следит она за его очень большим аппетитом. Поминутно она докладывает Петрову, что жена его передала то на том, то на другом, а это все равно, что подливать масло в огонь. Петрова раздражала всякая мелочь в его семье, особливо в его жене, потому что он уж был раздражен множеством других, более важных несчастий; он не любил жены, как это оказалось теперь: она была дурна, слезлива и ревнива к тому же... Жидовка составляла всему этому полный контраст: глядя на Петрова только как на сорок пять рублей в месяц с отоплением, она была совершенно спокойна, рассудительна, весела и в остальном не спесива.

И вот, попав на дорогу, где чувствовалось, что можно быть самим собой, Петров с каждым днем все больше и больше стал хотеть всего, что захотел в последнее время покровец, и семья его, которая решительно не соответствовала духу времени, да и ему самому нужна не была, — стала ему вконец ненавистна.

Он пьянствовал, шумел, дрался, проклинал и гнал всех вон из дому.

Жена Петрова умерла года через полтора после того, как Петров выбился из нищеты, получив место при новых делах. Дети, оставленные без призора, делали что хотели. Сам Петров, несмотря на полное расстройство его семьи, повеселел, осолиднел, пополнел и свободно и легко отдался приятному течению времени.

Жидовка, разумеется, завладела им, но «не обижалась» скотским аппетитом Петрова, потому что была «нонишняя». Но в ту самую минуту, когда всеобщему пированью, казалось, не будет конца, случилось совершенно неожиданное обстоятельство. Кондуктор Петров, не успевший и полгода проблаженствовать со своей жидовкой, опять поздним вечером сидит за штофом вина, размышляет и плачет...

— Милая! Милая! — твердил он, рыдая и обхватив голову обеими руками. Он вспоминает покойницу-жену...

— Убил! Убил! — шепчет он и свирепо взглядывает на притаившуюся и притихшую новую жену свою...

— Змея! — посылает он ей и пьет водку.

Видно, что женщина эта глубоко ненавистна ему. И действительно, за что, за какое сокровище, найденное им в этой жидовке, погубил он жизнь человека, который пятнадцать лет переносил самую неприветливую, непривлекательную жизнь, жизнь, полную обид, нищеты и горя. Припоминая все, что перенесла она, Петров чувствует, что он — животное, самое настоящее, самое подлинное. Он плачет; долго плачет... Но вдруг слезы его начинают высыхать, и ему представляется собственная его жизнь: собирания алтынов и пирогов, вечное присутствие в передней, вечная нищета и неприятность дома — и т. д. Стоит ему только попасть на дорогу этих воспоминаний, и он не может не чувствовать, не может не видеть, что он тоже намучился, настрадался, что желание пожить он не выдумал, и не его вина, что животное так сильно пробудилось в нем.

Это состояние самоунижения, вместе с потребностию объяснить и обдумать все это, с каждым днем развивалось в Петрове более и более, и когда смысл его принимал самооправдательный оттенок, он делался высокомерен, дерзок, знать ничего не хотел, на все плевал...

А когда мысли его направлялись в другую сторону, в сторону самообвинения, он падал духом, терзался, ждал себе божия наказания — и в обоих случаях пил...

Окончание этой истории последовало очень скоро. Петрова сначала выгнали за дерзости, вследствие чего он стал пьянствовать еще больше и спился, а потом и совсем погиб...

Что ж такое вошло в среду, повидимому, безмятежного благополучия, которое стал ощущать покровец благодаря некоторому материальному благосостоянию, порожденному появлением новых родов труда? Пришла мысль, пришла потребность думать, — другой, после денег, злой гость глухих мест.

Право думать о себе, о своем положении находилось у покровцев почти в тех же условиях, как и право выбирать труд и пользоваться, благодаря ему, достатком. Если читатель помнит, что сказано нами в начале этих очерков о непривычке покровцев к деньгам, то пусть здесь те же внешние влияния приложит он и к покровской мысли. Положение покровского мозга было едва ли не хуже положения покровских желудков и карманов. Покровец постоянно был обязан жить теми идеями, которые являются к нему извне, как обязан был покоряться прихотям купца, который «ни то заплатит, ни то нет...» Мысли, которыми ему приходилось жить и осуществлять на деле, являлись, большею частию, всегда внезапно, нежданно-негаданно. «Нет людей!» — приходилось восклицать всякий раз, когда надо было осуществить в жизни покровцев какую-нибудь из подобных новоявленных идей. Очевидно, покровцы не ждали этого явления, — и вот почему не было и людей между ними. Кроме этого всем известного явления, когда в миллионах людей не оказывается ни одного человека, у которого бы мысль, явившаяся со стороны, родилась и жила в собственной голове, прежде этого странного явления, внезапность появления идей в обществе доказывается другим явлением, тоже весьма странным: является новая мысль — и массы людей целыми тысячами делаются не нужными: мысль оказывается до такой степени новою, неожиданною, что у целого еще вчера жившего поколения нет с нею никакой связи; поколение это должно исчезнуть, провалиться сквозь землю, жить ему

долее невозможно, ибо все, чем жило оно вчера, — теперь, сегодня, не нужно.

Недалеко от Покровского есть хуторок, в котором живет мелкопоместный землевладелец Иван Андреевич Поленников. Это гигант, еще очень молодой, очень недавно служивший в военной службе. Теперь он не делает ровно ничего; каждый год объем его владений делается меньше и меньше, — это Иван Андреич понемногу съедает самого себя. Ибо делать что-нибудь из того, что делают в настоящее время другие, он не может, потому что не понимает, что такое это они делают; он не понимает, что такое земство, что такое новые суды... Словом, ни тут, ни там ему места нет. И вот, съедая понемногу свои владения, в бедной конурке лежит он большею частию рядом с женой, которая постоянно беременна и худа как щепка.

В таком виде застают его все, кто вздумает посетить его, а посещают его зимой для охоты, летом для рыбной ловли. В обоих случаях он неутомим. Стоит только наехавшим повеселиться соседям обратиться к нему, например, с просьбою ловить рыбу, как он тотчас же, без возражений, слезал с кровати, надевал шапку с красноватым околышем и, почти не говоря ни слова, отправлялся за помощниками из мужиков, потом раздевался и лез в воду. В фуражке с околышем на мокрой голове и с бреднем в могучих руках он по целым часам бродил в воде, спотыкаясь по самую шапку в яму, спокойно отрывая от тела рака и не обращая внимания на то, что осока изрезала ему и бока и ноги... Этому телу нипочем, и все оно оказывается ни на что никому не нужным, не знающим и не умеющим делать ничего, кроме весьма нехитрого съедания собственного имущества, лежанья да рождения детей, что тоже дело очень простое.

А между тем Иван Андреич ведь жил — и жил, по его мнению, очень весело и широко.

— Теперь что! — грустно говорит он, выпив рюмок пять водки (говорить он начинает не иначе, как после подобного количества вина). — Теперь одна десятая часть!

С своим семейством он никогда почти о прошлом не разговаривает. Для него нужны совершенно посторон-

ние слушатели, какими и бывают большею частию соседи, явившиеся к Ивану Андреичу, чтобы половить с ним рыбы.

— Сотая доля осталась! — выпив шестую и седьмую рюмки, продолжал он. — Бывало, не можешь равнодушно на себя в зеркало взглянуть...

— Отчего ж?

— Отв-ра-ти-те-лен!.. Отвратителен самому себе — зверь, животное...

— По какому же все это случаю?

— Ожесточишься... Я ведь про поляков говорю. — Я в Польше много их положил, — войдешь в азарт, чистое животное... А сила какая была, и-и-и...

И тут Иван Андреич, перемешивая свои слова проглатыванием рюмок, начинал повествовать о своей силе. Раз он нес раненого солдата на своих плечах верст двадцать. Нес он его в деревню, надеясь, что там можно будет пристроить его на попечение помещицы; помещица, однако, отказалась принять; тогда Иван Андреич взял больного солдата за ногу и хлопнул им барыню. Но это еще что: однажды полковник заметил ему, что у него худ сапог; Иван Андреич тотчас же отправился в лес, встретил повстанца и тотчас же с одного маху отрубил у него ногу, обутую в хороший сапог. Затем он снял с отрубленной ноги сапог, надел его и явился к начальству. Но и это еще что! Шли однажды навстречу Ивану Андреичу четыре человека повстанца. Что ж сделал он с ними! Он обнял их всех одной рукой, а другой вынул саблю и срезал им всем головы, словно у пучка моркови или редьки, и т. д.

По мере того как Иван Андреич увеличивает количество рюмок водки, отправляемых в собственный желудок, фантазия его разыгрывается самым неистовым образом, и ничто уже не в состоянии остановить его: ни смех слушателей, ни конфуз целого семейства — ничто. Напрасно дергают его за рукав, напрасно шепчут ему со всех сторон: «Иван Андреич! Как не стыдно! Над тобой смеются!» и т. д. Иван Андреич все шире и шире распускает крылья своей фантазии, ни на минуту не покидая Польши, единственной арены его деятельности.

Врет он до того, что, наконец, всем станет скучно. Один по одному разойдутся слушатели. Проснувшись

трезвым, Иван Андреич чувствует себя в высшей степени неловко.

— Что, шибко я вчера городил? — шопотом спрашивает он у кого-нибудь из вчерашних слушателей.

— Да порядочно...

— Простите, пожалуйста... Ведь это я сам не знаю,— язык мелет...

— Что эта далась вам Польша?

— Служил... Был вызов охотников... Ну, я и пошел. Мне все хотелось чего-нибудь этакого...

Движением плеч и локтей Иван Андреич дает понять, что ему хотелось разойтись пошире.

— Чего-нибудь бл-лагородного!.. — Здесь он делает движение кулаками. — Ну, я и стал зверствовать... А теперь я и сам вижу, что смешно. Что ж делать, я ничего не умею...

— Чего ж не умеете?

— Ничего... Ни земства не умею... Ничего этого, понимаете... Я сам чувствую, что глупо... Что ж мне делать? Я и то все молчу.

И действительно, Иван Андреич принимается вновь лежать, съедать свое имущество и молчать. Он стыдится самого себя, потому что решительно не подходит ни к чему в окружающем. «Польша» переехала его как колесом, засела в нем на веки веков и отравляет ему существование среди земства и других новостей, которых Иван Андреич «не умеет» и не понимает. Он не нужен теперь никому и ни на что, несмотря на то, что ему нет тридцати пяти лет. Но почему же именно дикое зверство въелось в эту добрую, покойную натуру? Для понимания этого необходимо знать, что, помимо всего сказанного, в жизни покровского обывателя бывали моменты, когда вдруг, лет на десять, на пятнадцать, не было никакой возможности ни о чем думать, и тогда, при всей отвычке покровца от этого занятия, наставал такой нравственный голод, что первая так ли, сяк ли явившаяся к ним мысль проглатывалась вдруг сплошь и поголовно всеми... К этой просочившейся капле мысли бросались все с жадностию рыбы, пролежавшей несколько часов на голом песке, причем происходили вещи весьма комические: оказывалось вдруг, что какой-нибудь зверь, кулак и скопидом наглатывался в общей свалке либеральных идей и не

знал, что с собой делать: язык болтал либеральные фразы, а руки тянулись грабить, — положение поистине трагическое, особливо при неумении думать и определить свои настоящие качества; и только после нескольких лет поистине невероятных душевных мучений субъект опоминался, узнавал, что все вздор, и начинал действовать открыто.

Таким образом, право «думать» зависело у покровца от бесчисленного множества внешних случайностей, которые все, в общей совокупности, отучили его совершенно от необходимости считать это право чем-то неизбежным, серьезным и выработали из него человека, умеющего прилаживаться к каким угодно фантастическим идеям, выработали притворщика во всех почти проявлениях внутреннего мира, и притворщика ради одного «верного», ради куска хлеба или пирога, смотря по вкусу. Слово «притворщик» употреблено здесь не в смысле искусства притворяться, — покровец вовсе не искусник ни в чем, — а в смысле полного убеждения, что неправильность, самая угловатая, самая обидная во всех проявлениях личности, есть именно жизнь человеческая, причем человек-покровец привык себя представлять существом, которое именно и родится на божий свет для того, чтобы измаяться вконец, сгинуть, если не удастся перехитрить и провести этот свет с помощию разных экивоков.

И вот этот-то нравственный хаос осветила едва заметная звездочка мысли, явившаяся в массе, в толпе, благодаря тому, что новые роды труда дали возможность ей иметь три часа досуга в сутки, а главное, благодаря тому, что эти новые роды труда познакомили ее с состоянием человека, который так ли, сяк ли, а «сыт». Нравственный хаос, который осветила эта слабо мерцающая звездочка, оказался поистине невообразимо ужасным... Много драм, почти не оставивших следа, произошло в наших глухих местах, — драм, которые молчаливо зарождались в той или другой голове, впервые задумавшейся «надо всем», и об них стоит поговорить подробно, что мы и сделаем впоследствии.

ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ

I

ТАМ ЗНАЮТ

...Еду и сплю...

Быстро, легко и плавно несется уютный вагон по прусским рельсам; унылый перезвон колоколов, напоминающий благовест в бедный колокол бедной сельской церкви, дает знать, в легких просонках, что мы на станции. Но тело так устало от долгого пути, что не хочется поднять головы от подушки, чтобы взглянуть в окно, посмотреть на местность, на народ; еле-еле подумаешь про себя «станция, мол», перевернешься на другой бок, и дремота тотчас снова овладевает сознанием; чуть-чуть ощущаешь, что поезд тронулся, и опять спишь. Долго так ехал я и спал.

Вдруг... среди полного покоя и забытья что-то словно ножом ударило и в мозг и в сердце... ударило так больно, что я мгновенно вскочил с покойного дивана и долго не мог понять, что это со мной и отчего это? А между тем что-то больное, ноющее бежало по телу с самых подошв и подступало к груди, точь-в-точь как во время морской качки, когда пароход с высокой волны вдруг упадет куда-то низко-низко.

В моем сердце тоже что-то сорвалось и падало низко-низко... «Что это такое? Отчего? Что мне вспомнилось, что приснилось?» — допытывался я у самого себя и сразу не мог ничего сообразить, — я только смутно сознавал одно... через шесть часов опять буду дома... «Нет, не может быть! — решал я. — Два-три дня тому назад я так хотел вернуться домой, мне так стало скучно за границей... Нет!.. Не от этого!»

Но странное дело! В следующую за таким решением минуту сердце падало куда-то еще ниже, ушибалось обо что-то еще больней, и — увы! — всякий раз эти очень больные ушибы неразрывно связывались с сознанием, что вот через шесть часов буду дома, и опять... При слове «опять» мысль прерывалась в мозгу и продолжалась тупою болью в сердце.

Да — «опять»!

При всем моем желании и усилии как-нибудь иначе растолковать себе мое внезапное пробуждение из спокойной дремоты я с каждой минутой должен был убеждаться, что я испугался именно того, что через шесть часов буду дома, что только шесть часов осталось мне до того, когда начнется «опять»... Душной и темной тучей неслись на меня, с каждой секундой все ближе и ближе, забытые мною родные пустяки и воскрешали, всею массою своею, сливающеюся в одном мучительном представлении «опять»,— забытую боль, от которой я и скитался на чужбине, которую забыл там и которая, — вот теперь, — так и захватывает грудь... Чуть-чуть приподымет, и ниже, и еще ниже, и еще и еще ниже... А сердце то отпустит, то стиснет, — стиснет, словно клещами... Господи! — думалось мне, — да куда же девалась моя недавняя радость при мысли о возвращении? Отчего дня три тому назад не было и тени той жути, какая обуяла меня теперь? Было что-то другое, грустное, но не жуткое, не неопределенно-мучительное, не такое тупое и не невыносимое... Мне хотелось воспоминанием этого недавнего подавить мои теперешние нервные тревоги... Я уже не дремал; я напряженно чувствовал что-то тревожное, приближающееся все ближе — «вот-вот» с каждой минутой... Тревожно и беспорядочно в то же время припоминалось многое недавнее... Припоминалось, быстро сменяясь новым, так же быстро улетавшим прочь.

. . .

... Море. Ночь. Вдали чуть виднеются два огонька.

Пароход, наполненный молчаливыми матросами, молчаливыми пассажирами, то перекатываясь через высокие волны, то глубоко погружаясь в водяные овраги, ровно и однообразно стучит своей машиной и бежит вперед, навстречу к этим двум огонькам. Черная, широкая, густая и длинная-длинная полоса дыма стелется над ним

в темной вышине, спускаясь дальним блекнущим хвостом к светлой полосе воды.

Скромные огоньки все ближе и ближе. Это — Англия... Когда я вспомнил, что за величественными тверскими Триумфальными воротами начинается с одной стороны только Тверская улица, ничем, кроме калашника Филиппова, не замечательная, а с другой стороны — чистое поле, изредка пересекаемое пьяными тройками; когда я вспомнил, что в Туле, в Калуге, в Козьмодемьянске и в тысяче других великих и малых захолустий моего отечества, при въезде в город, стоят тоже триумфальные из кирпича арки, — когда, повторяю, я вспомнил эти грандиозные преддверия к чистому полю, то скромные огоньки, обозначающие место, откуда начинается не пустое место вроде Калуги или Балахны, а Англия — Англия, господа, — то эти огоньки произвели на меня самое хорошее, светлое впечатление простоты....

Мне кажется, что именно эти два огонька, кажущиеся издали такими маленькими, скромными, поселили во мне то впечатление «простоты», с которым я, наконец, рано утром подъезжал к голым английским берегам. Благодаря этому ощущению, сойдя с парохода на берег, я чувствовал то же, что чувствуешь, знакомясь с самым искренним, самым «простым» человеком, который хоть и неуклюж, и некрасив, и груб, но дорог тем, что не солжет на маково зерно, не прихвастнет на булавочную головку, а уж что скажет или сделает, то это будет *всегда* искренно, а главное, необыкновенно «просто».

Почему бы ни родилось у меня это ощущение, но оно с каждой минутой, с каждым шагом укреплялось во мне. Все, что ни встречал глаз, все было понятно, а стало быть, и очень просто. Необыкновенно простым и понятным казалась эта масса рельс, масса поездов, дымом пропитанный воздух... С бешеною быстротою летел наш поезд, то проносясь над множеством других поездов, нырявших под него и справа и слева, то сам ныряя под летевшие над ним поезда, то обгоняя, то мчась навстречу... Завизжало что-то справа, точно кошка, прищемленная впотьмах, — глядь, пронесся экспресс; вдребезги разбилось что-то слева,— и другой бешеный поезд пронесся, как молния, — и все это битком набито народом, стало быть, спешит, потому что за поездом бежит другой, тоже пол-

нехонек; все это мчится, потому что везет, потому что доверху навалено, наполнено, — а стало быть, все это нужно где-то, а стало быть, надо нырять в туннель, — потому что на земле нет места, стало быть, надо строить дорогу в воздухе, потому что нет места под землею. Это вовсе не то, что делается на Коломенско-индийской железной дороге, где пустой поезд «обязательно» два раза в сутки приносит Обществу «чистый» убыток в несколько тысяч рублей, с скоростию сорок верст в час. Это вовсе не те рельсы, не те вагоны, которые, как на Московско-индийской дороге, приготовлены раньше, нежели готово то, что надо возить по ним. Я не понимаю, зачем Московско-индийская дорога завела себя на белом свете, потому что она только жрет без всякой пользы не принадлежащий ей труд и, несомненно, скоро будет размыта дождями и засыпана снегами; я не понимаю, зачем эта дорога, которая ничего и никого не возит, сумела уже убить третью часть своих пассажиров, убить до смерти, тогда как без нее они бы благополучно доплелись до Киева, к святым мощам; убить троих из шести, убить в чистом поле, на просторе, где навстречу летит только ветер да снег! Я не понимаю тут ничего ровно, — а там, где едут — потому что везут, где спешат — потому что надо скоро поспеть, где бьют людей — потому что страшно тесно, — тут я все понимаю. Это все так просто...

Но проще самого Лондона едва ли есть что-нибудь на белом свете...

В Белебее, где три человека жителей, на имеющей быть там станции железной дороги, на которую, с обязательно убыток приносящими поездами, будет приезжать один пассажир раз в неделю, — этот пассажир будет буквально разорван на той же станции от толкотни и давки. Это произойдет оттого, что, во-первых, дорога будет проведена мимо Белебея без всякого к этому основания, во-вторых, потому, что вследствие неосновательности в самом корне дела, голодающие жители, — трое всего-навсего, — получат также ни на чем не основанные надежды обогатиться от этой дороги, и так как, в-третьих, пассажир, на которого рассчитывают эти три человека, — только один и притом появляется раз в неделю, то, не желая обмануться в своих ожиданиях, три белебейских жителя должны стараться захватить его

в свои руки и, следовательно, рвать его, этого пассажира, на части, на три части. Один отнимет у него из рук мешок, другой будет тащить за рукав, третий прямо возьмет в охапку и потащит в свои сани. Остается драться, колотить направо и налево и изрыгать самые скверные выражения... Давка и толкотня возможны также, например, во время крестного хода от Никиты к Знаменью; в ходе участвуют всего человек сто, весьма удобно размещающихся на площади, большой и широкой. Но если среди пения многолетий и духовных песен, в то самое время, когда сто человек заняты молитвой, в самую середину их впятится зад жандармской лошади, ежеминутно угрожающей ударить молящихся «задом», — то и на полном просторе может произойти свалка и смертоубийство, так как и в первом, и во втором, и в несчетном множестве других белебеевских случаев такого же сорта — в самом корне их лежит отсутствие причин, доступных пониманию.

Но там, где жителей не три человека, а три миллиона, давки и толкотни нет. Рыбе тесно только в садке (Белебей), а не в реке (Лондон).

Я знаю, что в реке ходит щука и ест карася, знаю, что и щуку также глотает какая-нибудь другая рыбища, беспомощное и беззащитное состояние всего, что есть слабого в речной глубине, перед аппетитами всего, что есть там сильного, — знаю я это и содрогаюсь перед простотой рокового закона, но предпочитать этому ужасному естественному закону белебеевское благополучие рыбного садка не могу.

Без давки, без толкотни приняла широкая река Лондона сразу несколько тысяч народу и поглотила его, не рассчитывающего ни на что, кроме того же ужасного и простого закона. Понесла она и меня по своим бесконечным улицам, и с каждым часом все нагляднее выяснялось мое первое впечатление — простоты. Лондон — такая простая и ясная вещь, как приходо-расходная книга, как таблицы выигрышей, как простые первые правила арифметики... Представьте себе первый столбец в таблице выигрышей какой-нибудь лотереи. Длинной вереницей идут сотня, а может, и две выигрышей, положим, по тысяче рублей — цифра 1000 написана одна над одной двести раз, — вот вам лондонская улица состоятельных

людей; — дома одного роста, одинаковой архитектуры, с одинаковой дверью, с одинаковыми окнами — словом, так же похожи они друг на друга, как одна цифрами написанная тысяча на другую такую же тысячу; а вот десять, двадцать, сто — бесконечное число столбцов, где вместо цифры 1000 написана цифра самая маленькая, например 10. Представьте себе, что эта однообразная цифра тянется на бесконечное число столбцов, одна под другой, одним и тем же шрифтом, — и перед вами будут бесконечные улицы, кварталы, океаны даже, засыпанные людом, у которого в руках очень маленький выигрыш и который живет в домиках, — количество их беспредельно, — стоящих рядом друг с другом на бесконечное пространство во все стороны и похожих между собою цветом, ростом, архитектурой, попыткой иметь садик — словом, решительно всем, что производит впечатление на глаз, похожих, как одна цифра на другую точь-в-точь такую же... Более двадцати минут поезд несется как-то над крышами этих домишек с народом, сумевшим отвоевать себе малый выигрыш, — и как иной раз перед маленькими выигрышами ставят скобку и пишут сразу — по стольку-то, ну, хоть по целковому, — увы, и вы, глядя на этот океан человеческих нор, поразительное однообразие которых дает вам знать, что выигрыши тут тоже одинаковы, — ставите надо всем скобку и говорите: это — «бедность»; а вот там тоже можно поставить другую скобку и смело сказать — «богатство»... Вычитайте этот маленький рост этих домиков из громадного роста домов капиталистического Лондона — и получится, тем самым путем, как получается при вычитании обыкновенных цифр, остаток — и такой громадный остаток — в пользу больших выигрышей, что вы как на ладони увидите, сколько этим малым нужно лет, смертей, трудов, терпения, чтобы приподнять свой домишко на вершок.

Всматриваясь в этот однообразный океан домов, в которых живет Лондон силы и труда, в эти однообразнейшие и суровейшего вида дворцы и в эти еще более суровейшие и однообразнейшие жилища людей с малыми выигрышами, — видишь, что хотя там и тут они все похожи друг на друга, но не тянутся такою сплошной вереницей, как дома новой французской постройки, а норовят хоть на вершок отодвинуться друг от дружки. Все

бесчисленные домики бедного люда тоже отпихиваются друг от друга, и если где придется двум жильям от тесноты вплотную сойтись друг с другом, то крыша над ними непременно разделена надвое и как будто говорит, что «тут, мол, два дома, а не один, — пожалуйста, не думайте, что мы живем вместе». Это стремление жить в одиночку, вместе с тем вычитанием бедности из богатства, которое невольно делаете вы при общем взгляде на кварталы богатые и бедные, делает борьбу за жизнь, происходящую в этом океане-городе, еще более ясною, осязаемою. Каждый крепко держится за то, что отвоевал мечом, схватил сильной лапой, выстрадал, вымучил кровавыми трудами. Страшно, но видно и понятно. Вот сила кармана, породы; вот бедность, бессилие, — кто кого? Гляди, как по цифрам выходит... выходит страшно, но понятно, потому что вот тут много, а тут мало, — стало быть, иначе и нельзя.

Вот беглые мимолетные впечатления человека, на минуту взглянувшего на этот удивительный город. Несколько мелочей, о которых можно бы и не упоминать, упоминаются потому только, что подтверждают в мелких подробностях общий строй этой жизни, бесцеремонную, жестокую правду дела и поступков. Теперь любят обедать; — скажу хоть об этом. В лучшем ресторане на странде, за пять шиллингов, то есть более чем за полтора рубля, — подают в обеде — как бы вы, любитель обедов, думали, — сколько блюд? Одно, не считая, конечно, сыра. Одно блюдо, только! Ты пришел есть, ты голоден от этой нецеремонящейся жизни, — так вот ешь тоже без церемонии три раза одно и то же мясо — и будь сыт. Этого только и нужно. Некогда думать тут ни о каких приправах. И время дорого, да и есть надо действительно основательно. И ест человек, лондонский житель, одно и то же блюдо, пока не наестся... Знаменитый гринвичский обед, известный под именем «маленькой рыбки», — лучше всего докажет охотнику до знаменитой еды, что англичанин не в силах складно и хорошо лгать даже и в виде соуса. Рыба после его приготовления действительно пахнет точно так, как будто ее только что вынули из воды... Англичанин ничем не постарался отбить этого запаха... Но нужно отдать ему справедливость, он понял, что запах этот может дурно повлиять на ваш аппетит,

и, чтобы поправить дело, придумал, начиная с десятого блюда (всех блюд в знаменитом обеде штук до двадцати, если не больше), посыпать свою пахучую рыбу перцем, да еще кайенским, от которого загорается и желудок и рот, — тут уж не до запаха... после такого обеда рыбой пахнет все кругом, и от этого запаха не отделаешься в трое суток.

Словом, все, — с чем только ни приходится сталкиваться случайному наблюдателю, заехавшему в Лондон, в Англию, — все поражает простотой, потому что держится видимой необходимостию, сложившеюся из видимых, понятных условий. Суровая действительность, обставленная этими условиями, глядит на вас в простоте архитектуры, заботящейся только о гнезде или о норе, за исключением, конечно, той аляповатой магазинной архитектуры, которая с своими бог весть что означающими амурами, мордами с разодранными улыбкою ртами, голыми женщинами, одна в одну, поддерживающими вывеску, зеркальными стеклами в три сажени и тому подобными атрибутами наживы денег, — только денег, — прошла и по Лондону точно в том виде, как и по Москве, и по Гороховой, и по Туле. Глядит эта действительность и в нищете, которая без всякой прикрышки разбросана повсюду, лезет в глаза в ужасающей грязи и лохмотьях, глядит в стремлении знать себя, в обеде — словом, во всем, что просто видишь, не входя в самую подноготную...

Но с полным уважением останавливаясь перед правдивостью всего, что видишь, чувствуешь однако, чувствуешь, что вся эта правда жестка и страшна...

И опять бежит пароход, увозя толпы народу из Англии. Ночь, дождь и ветер. Попрежнему все, что ни едет на пароходе, — молчит, молча делает свое дело, стучит машина, и темная полоса дыма еще больше увеличивает темноту неба. Стоя на палубе, слушая шум воды, я думал о том, что видел, и хотя был глубоко рад этому виденному, как всему, что просто и неподдельно, но чувствовал, что эта простота, голая правда борьбы за существование, — страшна своей наготой, что у нас, на русской земле, она не так беспощадна, что у нас есть народ, который любит действовать не в одиночку, а «всем миром»: всем миром ложится под розги, всем миром горит, всем миром голодает... Припомнилось мне тут еще и то обстоя-

тельство, что еще достаточно неизвестно, где скрывается настоящая-то сила, — в той курной русской избе, где хохочут и острят за обедом, состоящим из одних огурцов, или в хоромах, откуда бегут куда глаза глядят, да еще иной раз прямо завидуют мужику... Эти черты припоминались мне после виденного с особенною приятностию, и я рад был вернуться домой...

. . . .

Опять куча огней на берегу. Это — Калэ. Начинается новая земля — Франция.

На пристани, прямо у сходней, положенных с парохода на берег, стоит целая толпа чиновников, и военных и статских, ярко освещенная сильным светом фонарей. Тут необходим сильный свет, — чиновникам надобно видеть физиономии; каждый проходящий пассажир на минуту должен остановиться, сказать чиновнику свою фамилию и профессию и идти своей дорогой. Запомнить такую кучу фамилий невозможно, они не записываются, и вот, благодаря этому, с первого шага на новую землю чувствуется что-то не то; тут придумано что-то, на первый взгляд — просто глупое. Но даже и узнав, что это придумано с известною целью, что, пропустив сотню-другую народу, чиновники остановятся на каком-нибудь подозрительном лице, которого физиономию они уже давно изучили, — даже зная и эту цель их, — чувствуешь, что тут есть какая-то примесь вздору...

Лучше всего присутствие этой подмеси чего-то к грустной и суровой действительности заметно в самом Париже. Среди этих роскошных улиц, этих великолепных домов, этих чудных садов, отделанных буквально как свадебная корзинка, среди всей этой роскоши и изящества, весело и сильно действующих на глаз, чувствуется, — как это, быть может, ни покажется странным читателю, — то же, что чувствуется в отлично отделанной, веселой, удобной, светлой квартире, которую отдают очень дешево потому, что недавно тут кого-то убили, зарезали... «Вот в этом самом месте брызнула на стену кровь, и вот тут тоже была кровь, и на двери», — и нанимателю жутко, хотя нет и следа убийства, все давно вымыто, выстрогано, заклеено новыми обоями,— а жутко. «Здесь убили»,— от этой мысли едва ли отвыкнет тот, кто поселится здесь... Эта мысль гонится за вами по Парижу и оставляет вас

очень редко... Вся эта блестящая толпа скачет бульваром Елисейских Полей, вся она как будто сговорилась молчать про что-то, и вам за нее тяжело на душе.

Да, тяжело и на душе парижанина!.. На его усталых плечах лежит непомерная масса великих затей, необыкновенно смелых фантазий, удививших свет, обещавших царствие божие на земле, — и на тех же плечах еще большие горы грустного опыта простого, слабого, мало того слабого — дрянного человека, человека, проявлявшего инстинкты животного во всей широте и безобразии, человека, умеющего любить самые крошечные цели. Он знает, какие великие затеи предпринимал он, знает, что они действительно велики, но еще более и яснее видит, какая бездна ничтожества всякого рода лежит в нем самом, к каким ничтожным результатам, сравнительно с фантазией и с массою усилий, потраченных на нее, привели его десятки лет борьбы, сотни тысяч жертв... Знает он все это, ужасно мучительно знает, но никому не говорит об этом ни полслова; он это знает про себя. О такой беде он не проболтается ни в театре, ни в газете, ни в кафе; не проболтается потому, что верит в великость своих затей и их будущность; не проболтается и потому просто, что неловко... Со всего света, пораженный блеском, широтой, великостию и великолепием его затей, идет на него смотреть народ; на него весь мир смотрит во все глаза, как на что-то удивительное, бившееся за освобождение человека; всякий хочет своими глазами увидеть это великое, ощупать своими руками плоды великой борьбы... Весь мир смотрит на Париж во все глаза, и, стоя на таком юру, едва ли хватит у кого-нибудь духу сказать ожидающей и восторженной толпе горькое слово своей беды: — чем же тогда толпа эта будет жить, на что надеяться? Нет, это будет очень жестоко. И вот парижанин начинает парировать, делать лицо счастливого человека; начинает показывать вам следы завоеванного братства всюду, где может: в той предупредительности, с которой он проводит разыскивающего дорогу иностранца до того места, куда ему нужно, бросив свое дело; в этих шумных кафе, полных народа с разных концов света, где каждый чувствует себя как дома; в общественных балах, в бульварах, похожих на всемирную гостиную... Бедняга! Сколько горечи должно у него по

временам пробуждаться в душе, когда ему, пять раз разоренному, бившему и битому, сосланному, бежавшему, испытавшему ощущение жить полной грудью, измученному и приведенному после всего этого опять к труду ломовой лошади из-за насущного куска хлеба, — только из-за куска хлеба, — сколько усилий нужно ему сделать над собой, чтобы, подавая тарелку с телятиной или стакан мороженого иностранцу, ожидающему видеть результаты великой Франции въявь и умеющему покуда только разевать рот, удивляясь всему, начиная от женщин до омнибусов, — сколько надо усилий, чтобы перед такой плохой породой человека сохранить на себе следы великого прошлого, весело смотреть в будущее и, подавая тарелку, сделать незаметным в себе лакея, работающего только из-за хлеба... Бедный, измученный парижанин!.. Чтобы не потерять во мнении всего света, ему приходится тратить последнюю копейку на то, чтобы золотить свои дома, разводить сады, постоянно блистать, постоянно поражать, веселить, удивлять... Ему надо спрятать свою нищету с этих роскошных улиц, приодеть ее прилично, хоть в дешевенькие блузы, и не пускать на улицу в таком ужасном, но подлинном виде, как пускает ее Лондон... И вот он прячет ее в громадные дома, блистающие на улицу почти великолепием, вводит во всеобщее употребление блузу, которая стоит грош и которая легко может быть возобновлена каждый день.. Даже из утопившихся, угоревших, убившихся от голоду, холоду он, скрепя сердце, норовит сделать тоже что-то интересное для зевающего зрителя и отдергивает занавес, открывающий в морге, перед толпой любопытных и молча страдающих, измученные трупы горя и бедности, не прежде как после того, когда они вымыты, приведены в порядок и ими потеряны уже ужасные следы насильственной смерти... А тому собрату или тому простому несчастному животному, подлинно звериные инстинкты которого так велики, так зверины, что ради них оно, как настоящий зверь, не задумываясь, перекусит горло всему, что можно проглотить, что близко, — тому животному, которое, убив и ограбив, может тотчас же идти есть, пить и плясать на общественном бале, — такому животному Париж прямо рубит голову гильотиной, но рубит так, что вы и не услышите об этом,— потихоньку, ночью, когда все спят...



Господин Париж с двумя своими сыновьями в темноте строит гильотину, завтракает, ожидая дела, и потом рубит зверя... Площадь пуста совершенно; несчастное существо, пригибаемое под топор, видит только одну торговку да репортера, случайно узнавшего о казни, — и пустую, еле освещаемую рассветом площадь... На другой день только узнали вы из короткого газетного отчета, что тому-то отрубили голову; но так как это известие прочтется вами уж в ту пору, когда все кончилось, когда гильотина увезена, кровь вымыта и когда по тому месту, где была она, вы уж успели пройти и проехать, когда, словом, и следа не осталось этой смерти, — то и сотой доли того ужаса, который должно бы возбуждать это дело и это несчастное убитое дикое животное, — вам не даст ощутить удобная парижская жизнь. А таких зверей, диких настоящих зверей, немало вырывается из привлекательной парижской толпы... Их надо тотчас убирать прочь, иначе стало бы страшно и жутко... И парижанин убирает их, как уж сказано, потихоньку, и молчит об этом, зная про себя, что тут нечему удивляться, и продолжает удивлять вас, разгонять от вас печальную правду мелочными внешними удобствами жизни.

Но эта вытяжка перед всем глазеющим светом еще ничто в сравнении с тою вытяжкою, которую парижанин должен выделывать и перед самим собой. Да, бедняга, на душе у него так тяжело, что он и сам как будто боится остаться наедине с собой, с печальною действительностью, сказать себе, что от всего его мнимого богатства остался только грош... И вот он проводит вечер в громадном освещенном газом кафе, слушает концерт и умеет с восьми часов до двенадцати выпить всего только один *бок* пива или один стакан *мазаграна*, спрятав при этом в карман половину назначавшегося для мазаграна сахару. Он голоден, ему бы хорошо было съесть, вместо мазаграна, хороший кусок мяса; но, во-первых, в кафе никто не ест, а во-вторых, он просто слушает музыку и пение, беспечно смеется, и сидит он, простой рабочий, притом в великолепном помещении, и гром музыки не умолкает вокруг него несколько часов сряду... В тех же видах, как мне кажется, пишет он на вывеске кабака, где нет ничего съестного кроме сыру, — «завтраки — обеды», да и сам, усевшись перед чашкой салата

и карафоном плохого-плохого, подмешанного вина, засучивает рукава, как гастроном засучивает их, приготовляясь приступить к какой-нибудь гастрономической святыне, и смело называет этот салат завтраком, — а когда уж совсем беден — то даже и «dîner».[1]

Какая-то напряженность, сдержанность видится и чуется во всей этой, повидимому, такой удобной, покойной жизни, во всей этой, повидимому, весело делающей свои дела толпе... В чудный летний день ехал я на омнибусе по одной из улиц, ведущих к Елисейским Полям; вся улица была запружена всевозможными родами экипажей. Вереницы карет, колясок и множество других экипажей, направлявшихся на Елисейские Поля и в Булонский лес, перемешивались со множеством карет от разных магазинов, с омнибусами, телегами и так далее. Мало того, в самой середине этой массы экипажей возвышался огромный, в буквальном смысле, воз соломы. Громадная, сильная лошадь, запряженная в телегу о двух громадных колесах, запряженная широкими ремнями, смыкавшимися железными крючьями на ее животе, медленно и спокойно подвигала вперед эту громадину, наряду с медленно, осторожно двигавшеюся впереди и вокруг ее сплошною массою экипажей. Несмотря на страшную тесноту, все они подвигались вперед, отделенные друг от друга на вершок. Сидя на омнибусе, который также как-то умел двигаться в этой толкотне, я дивился этой удивительной осторожности людей и животных, их терпенью и уменью выжидать... Вдруг — все смешалось и спуталось, воз соломы покачнулся вперед; лошадь споткнулась и упала... В миг изменилось все. Задержанный возом ряд экипажей сразу, в одну минуту, задержал десятки других рядов; мгновение оплошности — и дышла стали ударяться в задки карет, лошадиные морды столкнулись с другими, послышалось ржание, свист бичей, крики. Могла случиться ужасная давка, если бы каждый, не зная этого, отдался мгновенно овладевшему страху...

Это мгновение, вдруг изменивши картину, надолго осталось в моей памяти, потому что необыкновенно хорошо рисовало вообще состояние духа парижан. Сдержанность, осторожность, любезность, прикрывающая горькую боль

---

[1] Обедом (*франц.*).

души или еще более мучительную вещь — простой расчет, — в один миг, в одно мгновение, вдруг — оттого, что кто-нибудь споткнется, не вынесет этого бремени выдержки, не вытерпит, — может превратиться во что-то ужасное и обратить удобный, блестящий и беспечный Париж в пустыню, оглашаемую воплями зверства и ужаса... Стоит только во всей этой тщательно оберегаемой организации жизни зацепиться чему-нибудь самому ничтожному об еще более ничтожнейшее, — и глядишь — все затрещало, зашумело, начало валиться... Вся пыль и грязь, вся долго терпевшаяся ложь вылезет на сцену, будет выметена из всех углов, в которых ее прятали, и сокрушена без пощады, и притом в одно мгновение...

«Нет, — думалось мне, уезжая, — нет, так жить, так терпеть, так притворяться — это такой ужасный крест, которого я не желаю родине. Слава богу, что на нас не ездят смотреть иностранцы, что мы не удивляли мир!.. Долго исцелять больное тело такими ужасными средствами, с такими страшными конвульсиями, завоевывать себе вершки счастия, каждый раз приобретая этот вершок тысячами смертей своих ближних... Нет, это жестоко и ужасно».

Тяжело, ужасно состояние духа парижанина, велико его терпение; но он все-таки знает, чего хочет, он все-таки не теряет сознания. А что скажет вот этот несчастный соотечественник, один из множества тысяч таких же соотечественников, обреченных на смерть так, от водки, от муки, от драки в пьяном виде; что скажет он, темною дождливою ночью потерявший дорогу к своему дому, который у него под носом, ищущий шапку, которая на голове, и ругающий какого-то человека, которого и нет совсем на свете?.. Пьет он, несомненно, от тоски; сумма этой тоски, наверно, так же тяжело лежит на сердце, как и тоска парижанина, но что может он из всей этой суммы извлечь понятного и объяснимого мне и вам?

Несся поезд по прусским рельсам, — чем ближе подъезжал он к границе, тем больше и больше непостижимые случайности в явлениях русской жизни припоми-

нались мне. С каждой минутой этих воспоминаний становилось больше и больше...

Заперли вагон. Поезд едет тихо-тихо... Потянулось строение вокзала. Таможенный чиновник, городовой, жандарм, полицейский офицер... и т. д. медленно проходят мимо окон двигающегося поезда; запертый вагон молчит, молчат встречающиеся фигуры официальных лиц...

— Ваше бродие! Господин начальник! Помилуйте...

— Савельев!

— Ваше высокоблагородие! Господи...

— Сав-вель-льев!..

Шашка гремит по каменному полу платформы.

— Отведи его к Петрову!..

— Ваше сиятельство! Перед истинным богом...

— Ну-ну-ну... Там разберут.

— Ступай, ступай!..

— Ох, господи!

— Ступай! Аль не слышишь?.. авось «там знают»!

II

ЛЮДИ СРЕДНЕГО ОБРАЗА МЫСЛЕЙ

— И здесь все то же, все та же тоска и скука!

Куда бы, в какой бы неведомый вам до сих пор угол русской земли ни занесла вас судьба, чрез неделю, через месяц вашего пребывания в этом углу вы непременно должны будете сказать самому себе эту унылую фразу:

— И здесь все то же! Та же тоска! Та же скука!

Покуда идет знакомство с внешним обличьем нового для вас угла, покуда вы узнаете, где, что, как, куда пройти и проехать, покуда вы знакомитесь с новыми физиономиями, с новыми лицами, — еще ничего, еще есть новизна в материале, если не для мысли, то уж для глаза — наверное есть. Но как только глазу нет работы, как только им изучены линии улиц, домов, носов, глаз и ртов и как только приходится иметь дело с внутренним содержанием обладателей этих домов и носов, — увы! нечто вялое, расслабляющее невольно начинает вторгаться в вашу душу, и тяжелая, камнем гнетущая мысль о том, что «и здесь все то же», — разливает по всему

вашему существу невообразимую тоску и, так сказать, зевоту. Все то же! Да, та же напряженная фальшь, та же безвыходность мысли, та же вообще аляповатость выдумки, которую приходится считать за общественную жизнь...

А ведь всё добрые, хорошие люди — и какая тоска!

Не предаваясь, однако, отчаянию и не осмеливаясь доставить себе болезненного удовольствия в изображении мук, которые умеет проделать с вашей душой и мыслью эта аляповатая выдумка, известная под именем жизни, — давайте соберемся с духом и всмотримся в этот густой и тяжкий туман скуки, пронизывающий насквозь все, что ни живет в так называемом интеллигентном кругу провинциального общества. Кто тут из представителей этого общества распускает этот туман, кто если не виновник, то хотя тип, в котором бы свирепствующее повсюду удушье выражалось со всеми оттенками, со всеми симптомами болезни и было бы поэтому вполне объяснимо и ясно? Вот задача; посильное разрешение ее разгонит, хотя на время, нашу собственную скуку...

Неустойчивость, неясность мысли, по нашему мнению, составляет причину того душевного состояния, которое определяется словом скука. Человек, который заблудился в незнакомом месте, стоит и не знает, куда идти и у кого спросить; человек, поставленный в необходимость делать дело, которое начато до него и конечной цели которого он не знает и не понимает, — такого рода положения, по нашему мнению, должны ставить людей в невозможность правильно мыслить и развивают в них поэтому то душевное состояние, которое близко подходит к состоянию скуки, тоски, даже отчаяния, и, следовательно, там, где мысль человека находится в более благоприятных условиях, где она свободна (какая бы по качеству ни была она), там не будет уж упомянутого болезненного и тягостного душевного состояния. Всматриваясь с этой точки зрения в густой туман тоски и вялости мысли, опутывающей интеллигентный круг людей губернского города, мы довольно отчетливо начинаем различать среди общей массы этих людей две группы, непохожие, по направлению своих взглядов, друг на друга так, как Северный полюс не походит на Южный, — группы, идеи которых совершенно ясны, определенны

для каждой из этих групп и, несмотря на всю громадность качественной разницы этих идей, не могут, вследствие полной определенности и ясности, быть причиною, корнем, откуда идет этот удушливый туман тоски. Эти группы, совершенно не равные по объему, — как уж сказано, — необычайно резко отличаются по исповедуемым ими взглядам на окружающее: одна группа — самая громадная, отхватывающая самую большую часть занимаемого интеллигентным обществом места, — в общих чертах исповедует собственное свое, личное благополучие, ставит себя, свое существо на первый план, требует себе, говорит *мне*; здесь и отставной генерал-майор, и крупный землевладелец Веретенников, и простой помещик Черемухин, и купец Кровожаднов, словом, все чувствует обиженным или довольным только себя с собственным своим семейством. Это одна группа, с бесконечным, конечно, количеством оттенков, дополнений и изменений, занимает, как уж упомянуто, почти весь горизонт, доступный глазу; другая группа, напротив, имеет столь микроскопические размеры, что ее и группою-то назвать не было бы никакой возможности, если бы идеи этих двух-трех человек, которых мы решаемся именовать группой, не были диаметрально противоположными идеям людей первой группы, а главное, если бы идеи эти не были замечены не только интеллигентным обществом гор. N, но, к удивлению нашему, и всем белым светом. Изредка мелькающий в этом тумане *ех*-студент Иванов, сельская учительница Сорокина и еще два-три человека, про которых всем известно, что они не моются и не чешутся, — вот все, что составляет эту едва приметную группу — по количеству; по качеству же взглядов этих людей оказывается, что они не обращают никакого внимания на то, что нужно *только мне*, и именно думают не о себе и хотят для других, для всех, так по крайней мере выяснилось, конечно в общих чертах, на суде. Повторяем, эти три человека, кое-как одетые, с кучей книг подмышкой, в длинных сапогах, с неприветливым взглядом, — эти люди не могли бы считаться группой, если бы взгляды их не составляли совершенно особенной области, совершенно определенно различаемой в тумане скуки. Студента Иванова почти нигде и никогда не видать; учительница Сорокина появляется тоже весьма

редко на поверхности жизни, тем не менее... Да чтобы далеко не ходить, — подите завтра к обедне к Никите и послушайте, что скажет отец Иоанн... Он намерен взять текстом «кийждо в том звании да пребудет, в нем же бысть» и коснется тех, кто в своем звании да не пребывает... вообще недурно послушать эту проповедь, чтоб убедиться, что *ex*-студент Иванов имеет хотя и извращенные, но довольно определенные взгляды... Как аргумент в пользу того, что мы могли, даже должны были упомянуть о г. Иванове, характеризуя направление идей современного общества, — можем указать читателю на чужие земли, например на Америку, на Германию... Разверните последние лучшие беллетристические произведения той и другой страны, и, к удивлению вашему, вы лицом к лицу столкнетесь с Ивановым и в Америке и в Германии, и везде у него сапоги до колен, и везде он нечесан, и везде он груб...[1] Ну, что делать, волей-неволей, а приходится и нам говорить о Иванове, приходится признать, что взгляды его — взгляды оригинальные, довольно характерные.

Итак, признавая Иванова за группу и не имея возможности не признать группой толпу людей, толкающихся вокруг «я», «мне»,— мы находим, что взгляды этих групп на белый свет, — как там, так и тут, — совершенно определенны, совершенно категоричны, ясны; находим, что для каждой из них поэтому явления жизни должны быть понятны, ясны, а следовательно, должно быть понятно и собственное существование, его цели, его средства, — из чего же и как среди этих двух групп может родиться удушье скуки? Здесь, в обеих группах, может быть осмысленный гнев, нетерпеливая злость, ядовитая насмешка или жгучая боль, но того влачения существования, той поминутно теряющейся нити жизни, которые составляют упомянутое удушье тоски, — здесь быть не может.

И действительно, оно не здесь.

Оно не там, где говорят «мне», и не там, где говорят «не мне», — а там, где говорят и делают во имя того и другого вместе, где в кучу сбиты, спутаны и «мне» и «не

---

[1] Рекомендуем читателю в этом отношении роман П. Гейзе: «Дети века».

мне». Оно гнездится между этими двумя полюсами идей — словом, оно в той, третьей группе интеллигентных людей, понятия которых одним концом расплываются во взглядах генерал-майора и землевладельца Веретенникова, а другим — в диаметрально противоположных взглядах *ех*-студента Иванова; оно гнездится в душе людей, так сказать, *среднего сорта*, людей среднего образа мыслей и взглядов, в душе людей средней добротности, говоря торговым языком, — и он-то, этот человек идей среднего качества, он-то и есть одновременно и виновник и тип поголовного удушья.

И боже, какое обилие повсюду этого среднего человека, этого богомаммонника! Он решительно заполонил своими средними взглядами все поле мысли, и везде, где только ни приходится ему предъявлять свои среднего сорта идеи и действовать во имя их, — везде царит тягостная пустота, умная глупость, и удушает тоска и скука. Он вместе с своими среднего сорта взглядами умеет внести пустоту, вялость и сон в любой факт живой действительности, в любое живое дело, отнимет соль явления, растлит его целомудренную простоту и оставит после своей бесплодной и в то же время мученической деятельности один дурной запах... Да, человек среднего сорта взглядов есть истинный мученик, истинный страдалец; плюс и минус ежеминутно разрывают его душу, в которой всегда, несмотря на страшные страдания, все-таки остается минус и минус; эта несчастная душа, точно белка в колесе, вертится в пустом месте, вечно волнуясь и спеша и все-таки ни до чего не достигая, несмотря на страшное утомление; человек этот к своему глубокому горю — недоволен, несчастлив тем, без чего не может жить; он любит то, что не может не считать гнусным; он делает то, чего не в силах делать, он принужден понимать такие вещи, которые его ум отказывается понимать, — словом, этот средний человек есть истинный мученик, агнец, закланный настоящим временем во искупление ошибок прошедшего и будущего... Плохи и трудны дела землевладельца Веретенникова; плохи, трудны, почти безнадежны дела *ех*-студента Иванова; они недовольны, злы, гневны, — но таких мук, какие переносит человек среднего образа мыслей, им никогда не приходилось испытать и сотой доли...

Повторяем, обилие людей с среднего сорта взглядом не подлежит никакому сомнению и делается совершенно понятным, если принять в соображение все, что случилось с русским обществом в последние двадцать лет. Тот или та, кому в настоящее время тридцать пять, сорок лет, пережил такую толпу совершенно необычайных по своему разнообразию душевных ощущений, что почти невозможно не быть ему человеком плюса или минуса. Ребенком он приучен к холопству, к произволу; ему чесали пятки, он рос в полном сознании своего права брать то, что не ему принадлежит, в неуважении личности. И этот-то исковерканный ребенок вдруг, нежданно-негаданно, должен был пустить в свою почти уже расслабленную душу такие идеи, которые осветили всю ее бездну. Он должен был видеть, потому что не мог не видеть всего, в ней гнездящегося; должен был отказаться, во имя осветившей его идеи, от всего, к чему только был способен, во что верил, чем исключительно только и мог жить; из деспота он должен был стать братом, из человека, не уважающего чужой личности, чужой чести и жизни, должен был сделаться защитником этой личности и чести. Буря идей правды, как ветлу, гнула его книзу, — и он гнулся, должен был гнуться, как не может не гнуться от силы ветра и простая ветла. И надо отдать ему честь: он, этот человек, в котором со дня его рождения, как у некрасовского Власа, «бога не было», — он сумел очувствоваться; не побоялся узнать всю свою дрянность, всю свою гнилость и отдаться покаянию... Кто не помнит этих удивительных попыток, в бесчисленном количестве обнаруживавшихся по всей русской земле, когда вчерашний барин во что бы то ни стало хотел быть мужиком, хотел зарабатывать свой хлеб таким же мученическим трудом, каким всю жизнь зарабатывал его кормилец и поилец мужик? Кто не знает случая, когда девушка, из стариннейшей и богатейшей фамилии, бежала из богатого родительского дома, бежала от всех его удобств, от всех земных благ, которые сулило ей ее привилегированное положение, — чтобы бедствовать, трудиться, зарабатывать себе хлеб, только хлеб насущный... В смысле полного раскаяния за все прошлое, в смысле желания искупить грехи этого прошлого — были примеры удивительного самоотвержения;

все, что было прежде, все, что так или иначе понималось и думалось прежде, — все это грех, преступление, и *все* это надо забыть, от *всего* отказаться, навеки махнуть рукой, — вот в общих чертах мысль, руководившая действиями и поступками подавленного бездною «всякой скверны» и жаждущего искупления Власа... Повторяем: *все*, в окружающем, во взаимных отношениях, в отношениях личных, все вне и внутри себя, все должно было похоронить, навеки забыть, — таков был смысл нравственного движения, последовавшего около годов до и после освобождения крестьян. Было в этом движении много странного, много, на первый холодный взгляд равнодушного человека, дикого, но что все это странное и дикое было проникнуто глубочайшею искренностию, что покаяние, самоистязание было корнем этих странных и порой диких явлений — в этом нет ни малейшего сомнения... Да, это было покаяние; это была минута, когда могло воочию совершиться чудо, вроде того чуда, когда расцвел жезл Ааронов, то есть когда сухая, срубленная палка вдруг обнаружила жизнь, дала цвет...

И в такую-то глубоко потрясающую минуту что же делал истинный духовный отец пробужденного сознания, чуткое ухо которого должно было понять всю глубину искренности грешника, каявшегося всенародно? Что делала литература? Страшно сказать, что творила она... Не говоря о явных изменах самой себе, своему вчерашнему горячему слову, — она принялась хохотать над человеком, который, бросив проторенный путь, потому что воспоминания о нем огнем жгли его подошвы, кинулся в сторону, в дремучий лес, завяз в болоте, — она принялась лечить больного дубиной. Кающийся грешник, не щадя себя, открывал свою душу, всю свою беду, боль и скверну, а отец духовный взял да и рассказал все это в виде анекдота в праздной компании, собравшейся весело провести вечерок... А ведь Влас тоже шел собирать на построение в растерзанном виде: он был бос, ворот его расстегнут, шапки на нем не было...

Да; духовный отец поступил совершенно неправильно, хотя и понятно, почему так поступил он. Что он ошибся, что это был не просто сальный анекдот — ему доказывает ежеминутно сама жизнь, уже стремящаяся обойти этого фамильярного исповедника, слишком много видев-

шего на своем веку и потому довольно-таки утомленного... Мы верим и понимаем, что «они не предали, а устали»... — и не будем поэтому распространяться о том зле, которое сделано хохотом и насмешками над человеком, «бившимся головою о камни»... Не будем распространяться еще и потому, что и помимо ослаблявшего силу страсти покаяния влияния литературы — самое прошлое каявшегося человека не могло исчезнуть бесследно и должно было рано или поздно всунуть свою свиную морду в светлый храм обновленного сознания... Корни дерева, зацветшего с такою силою, все-таки большею частию лежали в гнилой почве прошлого. Только сильные, необычайные характеры были поэтому в состоянии дотянуть дело покаяния до конца и пасть с честию и славою.

Большинству характеров не столь необыкновенных, но все же сильных и энергических, пришлось, — что мы и видим в настоящую минуту довольно часто, — употреблять громадные усилия для того, чтоб ежеминутно бороться с своими личными несовершенствами и «заставлять себя» говорить то именно слово, которое сознание считает надобным, и там, где оно надобно. Мы можем указать на бесчисленное множество «хороших людей» во всех сферах общественной деятельности, которые, изнемогая лично под бременем своих несовершенств, своих дурных, издетства вкорененных побуждений, все-таки настолько умеют овладеть собою, заставить себя молчать, заткнуть своим дурным побуждениям рот, что, благодаря им, начатое дело, хотя и медленно, но аккуратно и верно, идет вперед. Эти люди, умеющие сломить себя, умеющие смирить, казнить свое дурное *я,* чтобы сказать и сделать то, что говорит мысль, что сознание считает требующимся в настоящую минуту, — эти люди тоже мученики, которым, однако, и честь и слава... Но и таких людей мало; и тут, чтоб удушить в себе маммонные требования, нужно слишком много воли, слишком большой природный ум, слишком крепкую организацию и волю... Таких людей мало (хотя на смену их уж есть иные, еще более сильные натуры, покуда еще не действующие), их мало везде — в литературе и жизни; но зато и той и другой совершенно овладел человек среднего образа мыслей, среднего характера, среднего темперамента... Это он, этот богомаммонник, выдумал

манеру говорить битых пять часов и не сказать ни одного слова; это он выдумал фельетон с плачем о бедном брате и сальными анекдотами для публичных мужчин и женщин; это он обвиняет преступника, зная, что он не преступник; это он оправдывает виноватого кругом; это он хочет застрелиться и не может; он украл деньги и не знал, куда с ними деться... Бедный, несчастный человек!.. Он везде, повсюду, во всем... Благодаря ему нельзя задумать ни одного плана, ни одного дела, — он скажет «да», и сделает «нет», и будет говорить вам «да» и «нет» изо дня в день, круглый год, так что истомит вас и обессилит. Защищая вас, он думает, что вас надо бы обвинить; предавая, он терзается и знает, что это подлость. Он ропщет против неправды, — а она только им и держится; он обнаруживает львиные качества, когда сидит на цепи, и мышью ныряет в нору, очутившись на свободе. Он хочет свободы — и боится ее до ужаса; он постоянно жаждет любви — и не умеет любить; он путает бога и маммону, он путается у вас под ногами, он обманывает и себя и вас, говоря «да» и будучи в силах только сказать и сделать «нет», и наоборот, он, этот средний человек, душит вас в литературе, в суде, в земстве, в театре; это он заставил вас потерять аппетит к жизни, он — несчастнейший, мучающий и измученный средний человек, он — богомаммонник!

— Пиши! Сейчас... пиши!.. — на всю платформу разнесся почти воплем, почти криком голос, очевидно женский и очевидно насыщенный слезами. Он несся из окна вагона отходившего поезда, и его рыдающий тон заставил вздрогнуть всех, кто в эту минуту был на платформе вокзала... Под влиянием этого крика провожавшие поезд люди почти все ушли с зерном глубокой боли в сердце; но одного человека он ударил в сердце точно ножом.

Была ночь, первый час; поезд ушел, ушли сторожа, ушли рабочие, а человек, так больно раненный в самую глубину сердца, стоял и не мог оторвать глаза от темной дали, в которой чуть светился красный фонарь исчезавшего поезда...

Это был муж уезжавшей женщины... Старая, поминутно повторяющаяся история, — *«они разъезжались»*,

по крайней мере на время... на год... Они не могли жить, им надо было отдохнуть друг от друга, опомниться... и т. д. Не могли, потеряли смысл жизни, — словом, они сознавали только, что «не могли»... и расстались. Последние дни были особенно напряженны и тягостны. Минута отъезда тянулась ужасно долго; у каждого из них было на душе бог знает что, в отношениях господствовало что-то донельзя утомительное, хотя они, решившись расстаться, уж не имели ничего враждебного друг к другу. Была, словом, какая-то тяжелая путаница и неискренность, которую хотелось как можно скорее прекратить, чтоб одуматься... Это состояние тянулось несколько дней и все время владело и им и ей, даже при расставанье. Какие-то чемоданы, какие-то билеты надо брать, хлопотать о том, чтобы не опоздать, — все это еще более усиливало нелепость положения, особенно после всего того, что было до разлуки и что было причиной разлуки... «Пиши, я буду писать!..» выходило как-то ужасно глупо, после *всего* и в то время, когда надо было искать, куда положили квитанцию... Глуп и тяжел был поцелуй, вздох, грустное выражение лица. Словом, все дни до последней минуты — все было неискренно, глупо, тяжело, и вдруг этот-то вопль:

— Пиши! Сейчас пиши!..

В этом вопле в первый раз после долгих дней, даже годов напряженного состояния вдруг, сразу разорвалось все наболевшее сердце... Искреннее горе, сущая правда случившегося несчастия вылились в нем и сразу осветили все прошлое... Боже мой, что за безобразие, что за ужас!..

— Как это могло случиться? — почти с ужасом спрашивал себя муж.

И уродливые тени недавнего прошлого, разогнанные одним искренним звуком, были совершенно непонятны ему...

— Как это могло быть? Где она? Зачем?..

Он не понимал, не мог сообразить и, поминутно спрашивая себя: «как это? что ж это такое?» — еле передвигал ноги к выходу...

...Квартира, в которую он, сам не помнит как, добрался, ужаснула его своей пустотой. Он ходил и боялся темной полосы двери, открытой в неосвещенную комнату; он чувствовал, что тут что-то носится, что-то есть... Это что-то был он сам, только другой, искренним словом пробужденный искренний человек. Давно кто-то как будто ходил за ним, кто-то как будто был в комнате...

Почти со страхом вошел он в спальню жены, высоко над головой держа свечку и тревожным взглядом оглядываясь кругом. Некоторый беспорядок — результат сборов к отъезду — отражался на всем... Крошечная голубая ленточка валялась на полу...

— Ах, милая! — воскликнул он вслух, громко. Эта смятая ленточка принадлежала его жене, его недавнему врагу, неприятелю, — и как она была дорога теперь, в опустелом доме, для опустелой души...

— Милая, милая, — повторял он, целуя лоскуток, и, как драгоценное сокровище, сжал его в руке.

Давно, необычайно давно не волновалось его сердце такими добрыми чувствами... Он вдруг догадался — кто такой посторонний был вместе с ним теперь в этой комнате; кто такой ходил теперь за ним по пятам... Это был он сам, — только не такой, как теперь, а другой, бедняк-студент, покончивший *со всем* прошлым, разорвавший все связи с богатыми и именитыми родственниками и рыскавший из конца в конец Петербурга по рублевым урокам... Это он, усталый, но весьма оживленный, приходит в свою каморку на Выборгской, где его ждет худенькое, болезненное и преданное существо. Она тоже целый день искала переводов и говорит, что через неделю ей обещали дать пол-листа с немецкого... Она ужасно рада, потому что ей нужно работать, такое время стоит, чтобы работать и работать... Она совсем даже нехороша, — но он и не замечал этого в то время; это он заметил долго спустя, когда уж развратился или начал развращаться; тогда он любовался ее душевной прелестью, тогда у него самого в сердце были глаза... Боже милосердый, да как, каким образом он мог отучиться понимать и любоваться этой красотой мысли, которая тогда владела ею?

«Однако взял место-то!» — мелькнуло в его голове совершенно неожиданно и, повидимому, без связи с тем, о чем он думал...

Он вздохнул и сказал себе вслух:

— Да, взял! взял, брат! взял!..

И с болью в сердце он припоминал, что в один день он писал письмо к высокопоставленным родственникам. Письмо было написано гордо, но струсивший человек был виден в нем весьма явственно.

Скверное воспоминание!..

Он вспомнил, что перед этим письмом они с женой почему-то по целым месяцам молчали... Вспомнил, что иной раз она вдруг оживится, придет веселая, с очевидной надеждой обрадовать своего друга, скажет: «А мне обещали большую работу»... И не только не обрадует, а разозлит... Отчего он злится?.. Оттого, что в нем стали пробуждаться такие желания, такие аппетиты, которые заставляли смотреть на все это как на глупость... Пробуждались они в самой глубине, в самом корне организма, в крови... в этом-то вся и беда... В крови ходила любовь к даровому, к произволу, к лени... Язык еще довольно искусно мог болтать о том, что, мол, можно продолжать начатое дело, получая хороший оклад от какого-нибудь немца, благодетельствующего русскую землю, а в крови текло совсем другое: там была даже прямая любовь к тем благам, которые можно захватить в этом бренном мире... Как ему вдруг стало весело, когда вышло место! Место с большим окладом, с некоторою долею власти. От тотчас почувствовал под ногами твердую землю. Он почувствовал, что только теперь он и стал человек, а до сих пор он только мучился неизвестно из-за чего. Все это, повторяю, на беду было в корне самого организма, все это радостно бегало в крови, в нервах, хотя на словах выливалось иначе... «Приезжайте, ребята, ко мне, — говорил он на прощальном вечере с выборгскими приятелями, — приезжайте все!» Он сулил золотые горы, помощь материальную и нравственную. У него будет власть, средства, — тут ли он не развернется? Все верили, да и он не выдумывал этих слов, — только порода его, выращенная в поклонении самому себе, думала иначе, по-своему... Вот в этот вечер он вдруг увидел, что жена его очень нехороша и притом как-то глупо

надулась, когда ему отлично и весело и когда впереди — такое приволье.

А она надулась. С получением места, оклада — зачем и переводы? Оклад отнимал у ней возможность проявлять свою задачу — покончить с прошлым в той работе, которой она могла добиться. Эта глупенькая работа, этот труд достать ее и сидеть над ней — нужен был для полноты любви к человеку, с которым она именно и сошлась во имя новой жизни, во имя труда; маленький труд этот составлял все содержание ее жизни и, оказавшись ненужным, — отнял смысл и у жизни! Может ли она теперь идти вместе с ним так, как шла до сих пор, — по одной дороге? До сих пор она знала и его дело и свое; до сих пор и его дело и ее были им обоим необходимы; теперь же, по крайней мере в отношении материального подспорья, — он и без нее обойдется. Зачем будет она работать теперь? Только для собственного удовольствия, — а такое удовольствие ей не нужно. Она видела, что он как будто уходит от нее, как будто оставляет ее в стороне; ей чудилось, что она теперь остается одна... Вот отчего она задумалась, не зная, что с ней делается, — а ему было очень неприятно, что она надулась именно тогда, когда ему весело...

На пути в губернский город N, куда они направлялись на жительство и где муж получил место, случился очень любопытный эпизод. Долгое время в вагоне не было никого, кроме их двух. Он — закутанный уже в солидную шубу («нельзя же!»); она — в том же салопчике («И очень глупо!» — сказал ей муж), — оба они ехали и думали, и молчали. Вдруг на одной из промежуточных станций в вагон вошло двое господ. Они были под хмельком и громко разговаривали. Вслушиваясь в их разговор, он угадал, что эти разговаривающие — его будущие подчиненные, что они служат в том самом правлении акционерного общества, куда едет и он... Это его подчиненные, думал он — и в одну минуту, во мгновение ока, ощутил удовольствие быть начальником... Откуда взялось это ощущение удовольствия? Оно ходило в крови, оно было воспитано, возделано крепостным правом и вдруг проснулось, как просыпаются в со-

баке охотничьи свойства в ту самую минуту, когда она очутится в поле... Сердце его билось при мысли — что будет с этими двумя господами, когда они узнают, что он, этот господин в шубе, их начальник?.. Барин, произвол — стучались в его сердце частыми толчками, стучались в то самое сердце, которое еще недавно было судорожно сжато идеей братства... Ощущения, присущие барину, теплом размягчили эту судорогу, и — нечего греха таить — сознание неравенства веселым ощущением пробегало по нервам...

Между тем двое разговаривавших подчиненных, не зная, что в двух шагах от них сидит их новое начальство, — разоткровенничались... Эти господа оказывались людьми очень маленькими, незаметными; они поэтому знали всю гадость и мерзость, весь сор компанейских дел, тщательно выметаемый обыкновенно там, где действует начальство. Зная всю силу этого сора, привыкнув дышать нечистой атмосферой темного, грязного угла, — эти люди, чувствуя себя в данную минуту навеселе, один перед другим выкладывали свои планы крайне сомнительной чистоты, хвастались плутовскими проделками (хвастаться плутней еще в обычае), врали и фантазировали тоже в сфере надувательства и плутовства; они были веселы, смелы, развязны; они, очевидно, находились в своей сфере, в кругу своих задушевных интересов, и глядели весело, бодро, бойко... Вдруг вошел обер-кондуктор, посмотрел у нашего героя билет, в котором были прописаны фамилия и звание ехавшего (билет был даровой), с почтением снял шапку и, уходя, что-то мигнул разговаривавшим в полное свое удовольствие господам... Нельзя утаить, что герой мой довольно-таки внимательно следил за впечатлением, производимым надписью на билете на обер-кондуктора, на его будущих подчиненных... Ему стало хорошо, когда суровое лицо обер-кондуктора вдруг озарилось как бы некоторым счастием, и у него что-то злое защемило в сердце, когда после шопота обер-кондуктора его будущие подчиненные вдруг струсили, как зайцы. Боже милосердый, как они струсили! Они буквально вдруг, в одну минуту стали вдвое меньше ростом; они, эти сию минуту смелые в планах своих, в своих речах, грозившиеся и умевшие перехитрить всех плутов на всем белом свете, — они сразу превратились в зайцев...

какое! в мышей, не знающих, куда деться, испуганное биение сердца которых видно постороннему глазу.

Итак, не успел он на один шаг отойти от дороги, которою шел, как уж в нем пробудились такие желания, от которых, год тому назад, он с ужасом бы отвернулся. Они были у него в крови, они были в мозгу его костей, но они были скованы покуда, скованы новою мыслью; мысль была слаба. Она подалась, оробела нужды, лишений, а раз подавшись, не удержала напора дурно воспитанных инстинктов. Довольно значительное положение, сразу занятое им, давало ему право, даже обязывало его, помимо его личного желания, давать ход этим дурным побуждениям сердца, так что один этот эпизод в вагоне уж навсегда выделил его из числа людей, которые живут не для себя, и вогнал в другой лагерь, где *я, мое* — главное... Эпизод на железной дороге пробудил в нем личные удовольствия, личный гнев, пробудил то, что было в крови, в породе, а все, что было там, — было самого дурного качества...

Но эти скверные ощущения породы герой наш таил про себя. Он знал, что на этих плутов надобно смотреть совершенно иначе, он знал, что они невиновны в том, что плуты; точно так же он знал и то, что если обер-кондуктор вдруг засиял, прочитав его будущее звание, то черта эта в обер-кондукторе очень дурная, что она означает его благоговение, рабское благоговение пред властью, пожалуй, даже перед размерами оклада, который выпал на долю тому или другому счастливому. Он знал, что такого рода благоговение недостойно человека... Он все это очень хорошо знал, и поэтому ощущения, родившиеся в нем, таил про себя, под шубой, в глубине сердца... Мало того, явившись на место, он привез с собою и водворил вокруг себя непомерное количество самых либеральных нововведений. Он ходил в больших сапогах и дрянном пиджачишке, подавал писцам руку, хохотал с ними; щедро раздавал деньги вперед, под жалованье, предлагал свои книги, но уж смотрел на весь этот народ не как на искаженный продукт искаженных условий жизни, не как на несчастных, а как на сволочь, достойную глубокого презрения, притом презирать эту сволочь, ему почему-то казалось, мог только он. Только он стоял выше всей твари, забывая, что делает с тварью

одно и то же дело и во имя одних и тех же интересов. От этого-то ни с того ни с сего данного ему права быть выше этой твари, получать больше ее, стоять ее начальником — он и чувствовал себя очень хорошо и, так сказать, развязно. Ему было привольно и, так сказать, необыкновенно свободно в этой громаднейшей комнате, где сидел он как начальник; ему любо было слушать свой голос, громко раздававшийся в ней, и быть либеральным, простым, очень даже простым, — все окружающее считая ничем... А окружающее, то есть все, что волею судеб поставлено ниже его, что бесчисленным количеством поколений вырабатывало в себе уменье жить ниже других, что даже привыкло жить ниже кого-нибудь, что даже иной раз и не могло бы жить, потеряло бы смысл и интерес жизни, если бы знало, что над ним нет высшего, — все это с каждой минутой рабством и всевозможного рода низкопоклонничеством заражало атмосферу, которою дышал наш герой... Это приуготовленное в таких громадных размерах холопство распахивало перед ним настежь обе половины дверей, уверяя его таким образом, что ему невозможно отворить их самому; оно начинало метаться из стороны в сторону при звуке его голоса; оно писало в конце бумаги слово «управляющий» особенными буквами, с покорностию оставляя целое Ходынское поле для подписи и показывая явно, что правитель дел — уж вовсе не то, что он, мой герой, почему и пишется это низшее звание на самом конце листа, какими-то плюгавыми буквами, которые как бы конфузятся присутствовать при таком великолепии, которое вот тут, вверху, и хотят разбежаться врозь... Оно, холопство это, приучило его, моего героя, смотреть на подписание бумаги как на трудную и важную работу, так как, поглядите, с каким почтением оно прижимает эту подпись прессом проточной бумаги, дует на нее и потом несет подписанную бумагу обеими руками, точно в ней пять пудов весу; оно, это холопство, приучило его любоваться своим росчерком, приучило его думать, что у него железная воля, потому что он вот смелою рукою измарал бумагу, над которой писарь сидел сорок дней и сорок ночей. Оно, это холопство, возило его на извозчиках с такою необычайною быстротой, что ему начинало думаться, будто собственно для него другой род езды

и невозможен. Словом, с каждой минутой холопство, разлитое кругом его, поставленное в свое рабское положение воспитанием, бедностию, необходимостию куска хлеба, словом, тысячью вещей и причин укрепленное и вполне правильно организованное, — мало-помалу уверило-таки его, что он, мой герой, — не то, что другие, то есть он знал, что он такой же человек, — конечно, в этом не может быть спору, — но... все-таки он значит и может более других... Он привык, благодаря дыханию холопства, к приятности сознания своего иного, против других, положения; он привык ценить свое удовольствие, себя, привык дорожить этим правом и удовольствием быть выше других, хотя и без всяких резонов, так просто, потому что выхлопотал высшее место...

— А она?

Ей становилось все скучнее и скучнее с каждым днем. Она, некрасивая, отказавшаяся от «всего этого», умевшая жить только так, как жили они до сих пор, — не понимала и не могла помириться с этой, пробуждавшейся в ее муже, развязностию, самодовольствием, вообще с пробуждавшимся в нем барством... С каждым днем она видела все яснее и яснее, что холопство, его окружающее, уверило его в том, что он что-то значит такое, чего другой значить никоим образом не может, и что его пустая работа — занятие довольно серьезное. Ему действительно иной раз «все» начинало казаться пустяками... Он иной раз бывал очень серьезен, выводя свою фамилию.

Вся эта разница между прежними друзьями и теперешними мужем и женой, зачисленными в разряд высшего провинциального общества, — сначала только чувствовалась, не высказывалась открыто... Либеральные взгляды и приемы продолжали еще существовать, повидимому, в их взаимных отношениях. Но раз ставши на эту дорогу, раз признав угождение самому себе делом очень важным, — надо было уж и идти по этой дороге. И вот оказывалось необходимым, чтобы жена была любезна с такими-то и такими-то, — хотя он, разумеется, считает их консерваторами, дураками; оказывалось необходимым повоздержаннее вести знакомство с девицей Сорокиной, так как она была компрометирована и так как, не-

смотря на то, что он вполне сочувствует («передай ей, пожалуйста, двадцать пять рублей на...»), — это знакомство может повредить... Презрение к обществу стало смешиваться с ухаживанием перед ним, потому что нужно, чтоб оно не мешало быть в хорошем расположении духа. Симпатии к тем, к другим, симпатии, не обещавшие исчезнуть даже когда-нибудь совершенно бесследно, — стали отравляться ясным сознанием, что все это глупо, что все это грубо, дерзко... По временам образ скучной и унылой жены, которая не умела держать себя в этом новом обществе, не умела весело соврать, не умела утаить своих симпатий к девице Сорокиной, наконец просто не умела даже одеться прилично («что вовсе не мешает»), — иногда этот унылый, не у места торчащий образ, поминутно напоминающий что-то другое и мешающий человеку чувствовать себя хорошо, — иногда он поднимал в его душе пресквернейшие ощущения. Целый день человек чувствовал себя хорошо; целый день был занят (в этом, наконец, он убедился), целый день он очень снисходительно принимал дань почтения и уважения, — и вдруг, придя в хорошем расположении духа домой, видеть какую-то болезненную и унылую физиономию. Физиономия эта не хочет ни за что ехать к Иванишевым, а Куролесовых сама не хочет принять... Чорт знает что такое! Почему он взял должность? Потому, что у него не было поддержки, он не вынес... «Переводы! Переводы, конечно, превосходная вещь, но ведь в три года было получено пять рублей; на это жить нельзя...» Пошли такие речи, особливо в минуты раздражения, что он почти все это проделал для нее; он так выводил это правильно и ясно (говоря вообще о женщинах), что она начинала чувствовать себя просто дурой набитой, такой дурой, которая рождена на то, чтобы связывать человека, что жить на белом свете она решительно не имеет права. Это вгоняло ее в какое-то упорство, в какое-то тупое негодование на свое положение и возбуждало охоту разорвать всякую связь с тем новым кругом мужниных дел и знакомств, благодаря которым она ежеминутно должна была чувствовать себя дурой...

Нужно было видеть, что за мучения испытывали они оба, появляясь в обществе или принимая у себя. Они были истинные мученики, и любезность и развязность

мужа в присутствии жены были связаны почти по рукам и по ногам — он чуял, что она смотрит, и не мог врать перед новыми знакомыми с тою же развязностию, <как> если бы ее здесь не было. Если же иной раз ему удавалось пересилить себя и овладеть собой настолько, чтобы не стесняться присутствием жены, — зато каково было им оставаться с глазу на глаз? Спрашивается, из-за чего все это вранье и притворство? Из-за чего эта мука, эта напряженная выдумка разговоров с людьми, которых презираешь? Эти вопросы чуть не ежеминутно задавали впалые и, отчасти, гневные глаза жены; они выводили мужа из себя. Точно он не знал всего этого, точно ему самому легко проделывать всю эту чепуху; если же он проделывает ее, то — почему? И тут оказывалась виноватой она, потому что, идя по такой трудной дороге, надо иметь и силы. «Переводы!.. Пол-листа с немецкого. Необыкновенно!»

Наконец положительно захотелось освободиться от этого взгляда ненависти и презрения, которым наделяет ежеминутно жена, в то время когда он сам очень хорошо чувствует и понимает, что делает. Тут-то именно и надо поддержать, и вместо того — ненависть. Все это нелепо и глупо. Необходимо было, ужасно необходимо было кончить. С каждым днем эта унылая фигура делалась все неприятнее и неприятнее; присутствие ее, разговор, самомалейший вопрос («не закрыть ли форточку?» и т. д.) делались все тяжелее, неприятнее, злили... Каждый день расстраивая то покойное состояние делового, уважаемого и умеющего обделать дело человека, к которому герой наш привыкал все больше и больше, — жена положительно стала невыносимым бременем, чистым мучением, отравляла жизнь... день за днем, год за годом... «Ведь жизнь уходит! Неужели возможно жить с этим ужасным состоянием в душе? Кто же так живет? Пройдут годы — и что же?» Ему начинало казаться, что годы несутся с ужасной быстротой, что уж не за горами старость, что надо же жить, так как в сущности и служба и все это — вздор, надо же жить... И он стал жить так, как могла «жить» его порода: на стороне завелась самая пошлая интрига, да не одна, а сто тридцать одна... поистине свинская связь.

...Рассветало. Муж, оставленный с глазу на глаз с самим собой, припоминая всю вереницу причин, которые довели его до разрыва, ясно как на ладони видел, что причины эти в его породе, в его, так сказать, зоологических свойствах... Теперь, когда гневный, укоряющий во лжи взгляд не мучил его, — мысль проснулась вдруг, проснулась сильно и гневно и громко говорила ему, что только связав по рукам и по ногам эти зоологические качества, что только покорив их, он будет чувствовать, что живет; что только тогда задача современной жизни будет ясна ему и даст ему интерес жить на белом свете... Он хотел бросить место, уйти в деревню рубить дрова, исходить, исколесить всю Россию, чтоб устать до последнего издыхания и работать для других, так как в этом задача жизни, в этом счастье, радость, в этом все.

Но тут он заснул... И потом, разумеется, ничего не вышло.



ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ

(Из частного письма, полученного 23 декабря 1875 г.)

г. Тестоединск

...Не ждите, чтобы я писал вам что-нибудь о «молодежи», о ее целях, планах, делах... Ни дел, ни планов, ни целей — нет, потому что нет молодежи, — она вся сидит по тюрьмам, по острогам. Можно с уверенностью сказать, что все мало-мальски желающее «новых» порядков удалено со сцены действия, на которой поэтому совершенно свободно действует «обыватель», обыватель покупающий, продающий, дармоедствующий и почитающий свое начальство. Действительно — обывателю простор, раздолье, и можно бы положительно было потерять голову, если бы — по счастливой русской пословице *«шила в мешке не утаишь»* — то «новое», которое казалось совершенно удаленным со сцены в лице русской молодежи, — не прорывалось там и сям, как шило из мешка, в самых, повидимому, неподходящих для этого «нового» людях и делах...

Вот об этих-то проявлениях «нового», или шила, высовывающегося из корявого, скверного и дурно пахнущего провинциального мешка, я и намерен писать вам возможно чаще. По-моему — эти проявления должны непременно радовать всех вас, скитающихся за границей с постоянной мыслью о России и с постоянно сознаваемой невозможностью быть в ней и трудиться для нее. Неужели в самом деле вас не порадует хотя следующий факт из нашей тестоединской... ну, уж так и быть!.. жизни. Этот факт — из поповских дел, и все письмо посвящено им.

Вы знаете конечно, что такое проповедь, слово, речь, которые обыкновенно выгоняли слушателей из церкви, по причине своей догматической суши, и были вообще

сигналом к «шапочному разбору» и к рюмочке «после обедни». Обыкновенно оратор — архиерей ли, простой ли поп — брал какой-нибудь текст из священного писания, например: «И шед — удавися», и, виляя часа полтора лисьим хвостом риторики, кое-как приплетался к царской фамилии или к благодетелю храма сего. Словом, это вообще была риторическая чепуха... Судите же, до какой степени я должен был изумиться, когда на той самой кафедре, где сотни лет кряду иереями и архиереями плелась эта чепуха, — раздаются, и притом с явным неподдельным гневом, такие слова, как «коммунизм», «уничтожение существующего порядка», «реализм», «вредный материализм»... Шило вылезло — вон где! из-под поповской рясы, при всем честном народе! — Это ли не ново и не приятно? За последнее время в Тестоединске было произнесено штук пять-шесть проповедей, в промежутке нескольких дней. Говорил и архиерей и простые попы, говорили тоже по случаю праздников и царских дней, начиная также с текста «и шед — удавися», путаясь в небе и в грязи и в царской фамилии, точно в длинных полах своей рясы, когда пьяные ноги не действуют, — и везде, во всей этой чепухе, из кучи, сложенной из текстов, доброхотных дателей, царей, цариц, их супругов и супруг и т. д., вылезало шило острое и колючее, вылезало то грозное будущее, — которого не утаишь.

Это факт радостный!

Рты тестоединских ораторов раскрылись с легкой руки высокопреосвященного Варсонофия... 7 октября было открытие реального училища. Его высокопреосвященство сказал слово. [1]

«...Приветствую вас, господа граждане города Тестоединска, с открытием нового источника просвещения, желанного вами, в котором дети ваши могут получить образование, доступное для всех, по их силам. Вас же, господа начальники и наставники училища сего, приветствую с новым поприщем для вашей просветительной деятельности...»

---

[1] Эта и нижеследующие речи и слова приведены с буквальной точностью.

Тут бы, кажется, прямой переход к начальству, которое споспешествовало, и к царю, который одним уже тем, что ровно ничего для училища не сделал, есть истинный его корень и источник.. Так бы именно и поступил старинный ритор-оратор, но тут нет! Его высокопреосвященство морщится и пятится в оглоблях благодарения и радования.

«...Правда, — кисловато говорит он, — просвещение предполагается здесь реальное, значит (?) вещественное, житейское, пригодное только для жизни настоящей, временной, которое посему апостол Павел называет *«телесным и полезным вмале»,* то есть на малое время жизни земной, мимолетной...»

Его высокопреосвященство не любит «телесного просвещения» и особенно чего-нибудь «реального, мимолетного»... Несколько лет тому назад гулял он по саду у себя и вдруг наткнулся на какого-то семинариста, над которым владыка перед этим попробовал показать всю ширину вверенного ему богом и царем деспотизма, — и этот-то семинарист, встретив его в саду, поистине «мимолетно», но вместе с тем вполне «реально», то есть «вещественно» и «телесно», ударил его по щеке...

И вот, вместо того чтобы поприветствовать граждан и начальников, расточиться по древу в восхвалениях царя, владыка начинает плести какую-то ахинею о реальном, уничтожать его, рыться в текстах, чтобы раздобыть словечко «вмале», и, сохраняя видимый облик кротости елико возможно, ухищряться, чтобы подавить это реальное, это «вмале».

«...Но добрые христиане, всегда помнящие бога, все дела свои совершают не иначе, как с мыслию о боге, творце *вещества* (подбирается!) и всего сущего...» (подобрался!).

Тут владыка, очевидно, сцепил после разных маневров вещество с богом и, как локомотив, задул по текстам, как по шпалам, уничтожая самую сущую правду. Мы за ним не последуем. Задача владыки была в том, чтобы опрокинуть на вещество что-нибудь такое, что бы его

раздавило... Что такое он опрокинул, нам не интересно, — интересно, что ему надо было толковать о реальном, об этом «вмале», тогда как пять лет тому назад он бы бормотал только о боге, губернаторе да купце Кривокубышкине...

Но едва владыка укатил благополучно по текстам от «телесного просвещения», как выступил простой тестоединский поп, священник И. Хлебонасущенский, и произнес длинное слово. Это слово, во-первых, длинно, во-вторых — самое поповское слово, именно такое, где надо и о боге, и о купце, и о губернаторе, и о председателе земской управы, и так, чтобы все это слилось с царским днем или с рождением у Владимира Александровича сына, — словом, самая обыкновенная, растопыренная ахинея, за которую городской голова дарит обыкновенно гуся или поросенка...

Но вдруг, в этакой-то пошлости, этакий-то пошлый язык не может, чтобы не затянуть совсем не подходящую к этому радостному вранью речь. Воздав и царю, и земству, и в особенности купцу Кривокубышкину (идиот), оратор обращается к юношам, готовящимся поступить в училище, с предостережением, чтобы они не очень думали о выгодах реальных знаний, что мысль о выгоде таких знаний вредит душе. И вдруг произносит:

«Ваше занятие реальными науками откроет вам на деле, что *велика вещь человек* (вот те «вмале»!), что он — властелин земли, может господствовать над вещественною природою, пользоваться ее силами по желанию...»

Ошарашив таким образом владыку вместе с апостолом Павлом, бедный поп начинает тоже вилять хвостом и, по примеру владыки, торопится поскорей отобрать от реального знания все, что так неожиданно сорвалось с языка, начинает молоть о том, что власть человека над природой есть «отображение» премудрости творца, и, прицепившись к поезду с текстами, кое-как по ухабам уплетает ноги...

Что же заставляет этих попов и архиереев, этих покойных, никем и ничем еще так недавно не смущаемых служителей алтарей и доброхотных дателей из купе-

чества, вплетать в свои заученные, задолбленные пустые фразы новые понятия, новые слова и мысли?

Шила в мешке не утаишь! оно лезет прямо к самой бороде высокопреосвященного...

Но это еще только цветочки, ягодки будут впереди, и одну из таких ягод с удовольствием предлагаю странствующему соотечественнику.

30 августа, в день царских именин, священник Д. Богобоязненский произнес слово в кафедральном соборе, — слово это — перл!.. В день царских именин толковать о коммунистах, о ниспровергающих порядок людях, — да когда ж это бывало, православные!

«Кийждо в звании, в нем же призван бысть, в том да пребывает» (Кор., 7, 20).

«Ныне, христоименитые[1] слушатели, память святого благоверного князя Александра Невского, а вместе с тем тезоименитство...»

Идет длинная верноподданная, подделанная под благоговение чепуха.

«Но при молении своем о царе нашем мы должны помнить, что здравие и благоденствие его много зависит от поведения подданных его. Известно, что здоровье и благополучие всякого человека находится в большой зависимости от спокойного и веселого состояния его сердца».

Так вот, чтобы царю быть веселым, надобно, чтобы все подданные исполняли хорошо свои обязанности и старались бы «о ревностном прохождении звания своего, так как каждое звание от бога».

«...Об ином человеке говорят: «Он и родился для этой должности!» Что это значит? То, что бог, которому

---

[1] Батюшка! Надо говорить «во Христе именитые», а не христоименитые. Если можно говорить «христоименитые», то можно говорить и «боголисьи шубы с христобобровыми воротниками»! Это даже правильнее, ибо слушатели действительно лисьи шубы.

известны его телесные силы и душевные способности и расположения (не отвечаем за смысл), поставил его на месте, вполне соответствующем его способностям и силам». (Например, в помощники исправника, в шпионы III отделения и т. д.)

Но вот явились какие-то новые должности, *«прохождение* которыми своего звания» ничего не представляет приятного для его императорского величества, следовательно, вредит его веселому расположению духа.

«Не тайна для нас, братие, что в некоторых местах нашего отечества скрываются такие лица, которые не хотят исполнять заповеди апостола, то есть пребывать в том звании (и т. д.). Таковые, будучи недовольны как лично своим настоящим званием и состоянием, так и вообще существующим в нашем отечестве положением о различных состояниях и званиях, стараются, в мечтах своих о равенстве всех людей, состояний и званий, распространить, особенно между простым народом и юношеством, клонящееся к ниспровержению всего государственного строя так называемое учение коммунистическое, внушающее общение имуществ в государстве, то есть чтобы никто ничего не признавал своим, но все у всех было общее, и чтобы плоды общих трудов были делимы между всеми поровну...»

(«Что ж? — подумал мужичок в уголке. — Ничего! дело правильное! Ничего, можно!..»)

Очертив довольно ярко такую небывалую должность, «чтобы всем поровну», батюшка начинает опровергать...

«Но такое общение имуществ, такое равенство состояний не согласно ни с здравым разумом, ни с учением слова божия. Слово божие нигде не учит равенству (смотри, поп!)... Возможно ли равенство состояний, сообразно ли с законом правды равномерное между всеми распределение «плодов труда», имущества, когда не все могут или хотят трудиться, когда один трудолюбив, а другой ленив, один благоразумен и искусен, а другой недальновиден и малосведущ... один бережлив, а другой расточителен?»

(«Именно верно, — говорит про себя старичок. — Всю-то жизнь господа ничего не делали наши, а всё мы хребты гнули... За что ж им-то? Именно что невозможно этого... Поровну! Да им копейки не стоит дать, а не то что!»)

«Тогда (то есть при общении имуществ, продолжает батюшка, выдвигая самый сильный для боголисьих шуб довод против новой должности), тогда богатые невинно бы лишились законной собственности, а *бедные сделались бы богатыми!..»*

Ну, когда кто-нибудь из вас добьется счастия говорить публично, при толпе народу в храме, что при коммунизме *бедные сделаются богатыми!* Да вы давно бы уж мчались на тройке в столь отдаленные губернии, что и сказать нельзя. А простодушный поп, которому шило впилось в рыхлое белое тело, — публично и безнаказанно проповедует это.

(«Уж вот так хорошо! — говорит старичок в углу. — Ах, как чудесно!.. Ну, так уж — та-ак! Ат-тлично!»)

Поп, очевидно, шибко наколюлся на эту штуку, ибо тотчас же торопится вывернуться и поправиться.

«Напрасно, — продолжает он, — коммунисты ищут оправдания учению своему в примере первых христиан иерусалимских, у которых *никто*, по свидетельству книги деяний апостольских, *ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее* (Деяния, 4, 32)».

Какова смелость — идти против такого факта, против таких деяний, да еще чьих же — апостолов Христовых! Что ни шаг, то рожон! Но попу надо и апостолов, которые оказываются очень похожими на наших людей, «недовольных своим званием и вообще существующим порядком», — и их отстранить с дороги, чтобы дать дорогу купцам, и он, плюгавый поп, бормочет следующее:

«Это общение имуществ, как вызванное особенным положением церкви иерусалимской, продолжалось не долго: ибо в милостыни в пользу бедных христиан иерусалимских...»

Но тут шило впивается ему прямо в бороду:

«...*Чего* (то есть милостыни) *было бы не нужно, если бы продолжалось это общение имуществ*».

(«И в помине бы не было!.. — говорит старичок. — Ах, как справедливо».)

Довольно покуда. Об ораторском искусстве наших попов не будем больше, так как то, что уж сказано, на мой взгляд хорошо! Делайте ваше дело, не отчаивайтесь! Видите, против вас борются публично, всенародно; борется казенная церковь, а как борется — вы видите. Великая беда ее, что ей приходится в борьбе с вами иметь дело с Христом и с апостолами... И тот и другие вовсе на беду не похожи на городовых, мнения которых о человеческом обществе были бы для них самыми подходящими.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА

I

Уличная сцена. — Я возроптал на современность. — Сигары. — Кое-что из газет: силы клерикалов; отправка рабочих в Филадельфию. — Студенческий конгресс. — Письма г. Мерже. — Г. Гамбетта. — Вообще довольно скверно. — Письмо Ж. Занд к Луи Ульбаху.

...Проходил я как-то на днях мимо одной из мэрий и от нечего делать остановился вместе с толпой других зевак посмотреть на свадьбу. Крыльцо мэрии было наполнено расфранченными мужчинами и дамами, с минуты на минуту ожидавшими приезда жениха и невесты. Угрюмое, казарменное здание и фигуры городовых на углу и на крыльце как-то странно смотрели на эту расфранченную, сияющую предстоящим праздником публику; эти цветы на голове и букеты в руках как-то вовсе не шли к пыльной чиновничьей мурье, с темными коридорами, запыленным, грязным полом и запахом махорки капораля. Я десятки раз видал и прежде эту уличную сцену, но обыкновенно бывало как-то так: посмотришь и пойдешь; на этот же раз контраст между веселым смыслом сцены и жестким впечатлением чиновничьей мурьи как-то очень сильно и неприятно подействовал на меня. А когда к толпе расфранченной родни, стоявшей на крыльце мэрии, подкатила новенькая, с иголочки каретка; когда из нее вышли жених и невеста, оба молодые, красивые, веселые; когда вся эта праздничная толпа, мешаясь с полицейскими и мешая запах цветов и духов с запахом махорки, направилась в глубину мрачной мурьи, — так мне стало скверно, тоскливо, что я, сам уж не знаю как, возроптал на цивилизацию, возроптал на то, что она,

поглотив такую массу умов, жизней, пролив такую гибель крови, не только не осуществила так называемых «золотых грез», — что уж! — но даже удобств человечеству не дала никаких, если не считать за большое одолжение, что через семь тысяч лет по создании мира, наконец, ухитрилась провести в кухню к человечеству воду и на всем земном шаре вымостила асфальтом только парижские бульвары... Даже деликатного обращения с человечеством не выработала эта удивительная история удивительной цивилизации... Вот перед вами Ромео и Юлия, — положим, что жених и невеста, которых я видел в мэрии, точно любят друг друга так, как любили друг друга Ромео и Юлия; предположим, кроме этого, что читателю известны также в совершенстве те веронские ночи, которые проводили эти влюбленные, — поглядите теперь, что делает с ними эта цивилизация: после веронских ночей она, заприметив их страстную любовь, тащит их, с цветами в руках, в квартал, в часть!.. Ну, есть ли тут хоть капля приличия, деликатности? Какое же сравнение с этим плодом борьбы за благо человечества простой, милый, невинный «ракитовый куст» — свадебка вокруг ракитова куста?.. Где лучше впечатление: там, у куста, или тут, во французской, республиканской кутузке?.. Неужели из всей суммы этих боровшихся за счастие человечества умов и народов не могло выйти самого простого соображения, — что если ракитовый куст неудовлетворителен, то его надо заменить не кварталом, не кутузкой, а чем-нибудь поудобнее — каким-нибудь веселым храмом, а если уж храма много, то хоть сараем, что ли, просторным и чистым, хоть таким сараем, в каком здесь, в Париже, помещаются выставки экипажей и распродажи зонтиков... Нет! тащить в кутузку, в фартал... удивительно как деликатно и остроумно!..

Разогорченный этой аляповатой сценой (читатель, конечно, уж успел совершенно основательно объяснить себе причину такой чрезмерной раздражительности пишущего эти строки исключительно только скукой и бесцельным, а потому расстраивающим нервы скитанием по надоевшему Парижу), — разогорченный этой сценой, я уж не мог оторвать своей мысли от ропота на скудость результатов борьбы за человека, на ничтожность добытых этою борьбою плодов, и стало мне казаться, что человечество

непременно должно же, наконец, заступиться за себя, обуздать эту цивилизацию, заставить ее держаться прилично и вообще образумить ее. На что это похоже: в Жомоне Французская республика *отнимает* у меня сто штук сигар, — отнимает и *не отдает*. Мало того: роется в моих карманах, щупает бока, — есть ли тут хоть крупица здравого смысла? Я еду в эту республику жить, стало быть, буду пить, есть, курить; я везу ей, этой республике, доход, самый чистый; она будет тянуть с меня за эти мостовые, за эти деревца на улице, за спички, за табак, за железную дорогу, за омнибус, — словом, будет получать доход с каждого моего шага и, вместо того чтобы сказать мне спасибо, хватает за карман: «Отдай!» Загораживает (буквально ведь) дорогу обеими руками какого-то солдата: отдай ей, республике, мои сигары! На, матушка, подавись моим добром, s'<il> v<ous> p<laît>! [1] Эта удивительная цивилизация сумела так зарекомендовать человека перед человеком, что... подите-ка вот, например, попроситесь ночевать к вашему соседу, — часа этак в два ночи, — пустит ли он вас? Нет, не пустит; он боится, что его «ограбят»... Подите-ка потом, попробуйте просто на улице провести ночь (так как никто не пустит, если не заплатить), — позволят ли сделать это? Нет, сгонят с мостовой, сгонят с тротуара, с тротуарной скамейки... да и скамейки-то на улицах тоже только в одном Париже; на всем земном шаре только здесь, — слава тебе, господи, — додумались, что если человек устал (и очень можно устать от благодеяний этой цивилизации), — так надо ему где-нибудь сесть и отдохнуть... Кроме Парижа — нигде этого нет. Сел — сгонят; стал — «чего стоишь?»

— Меня, друг ты мой любезный, — рассказывал мне извозчик, — один городовой, так веришь ли, как есть *из всей улицы* выбил...

— Как так из всей?

— Так вот и вышиб вон из всей улицы. Стану так — «пошел прочь»... Перееду на угол — «чего стоишь?» Подвинусь подальше — нагонит, — «ишь нашел место!» Вышибает вон — да и на поди... Бился, бился я, — так из всей Покровки и вышиб, как есть начисто вылущил из всей улицы!..

---

[1] Пожалуйста (*франц.*).

Да то ли еще придумано: ни с того ни с сего вдруг запрут целое море, и если, наконец, пустят какой-нибудь пароходишко, так не иначе, как после страшной драки, притом денег изведут — тьмы тем, людей перебьют — видимо, невидимо... Не дают ни сесть отдохнуть, не дают ни пить, ни есть (сочтите, сколько ежедневно умирает с голоду на всем земном шаре), — и все-таки кругом виноват!.. А главное — *подо все* это подведены принципы разные — законы, и, что самое главное, никто не знает, зачем все это (то есть принципы и законы) подведено... Спросите-ка попробуйте хоть у г. Мак-Магона, — зачем это он у меня отнял сигары и куда их дел?.. Ведь, наверно, он отопрется от этого... J'y suis, j'y reste[1] — только всего и будет вместо сигар-то... а сигар все-таки мне не видать, как своих ушей, и где они — известно единому богу. Нет, решил я, — непременно надобно что-нибудь переделать во всей этой бестолковщине. Если уж нельзя совсем отдать назад принадлежащие мне сигары, то нельзя ли хоть сказать мне, каков у них вкус? Если уж нельзя совсем перестроить эту неудобную, закопченную нору, то побелить ее, подновить — решительно необходимо.

Убедившись в необходимости такой ремонтировки, я, придя домой, принялся за чтение французских газет с целью найти что-нибудь, что убедило бы меня, что ремонтировка эта уже идет и что мысль моя, стало быть, верна. Теперь, думал я, наконец-таки установилась республика,— и разумеется, ее первая обязанность — похлопотать, чтобы человечеству, хоть только французскому, было поудобнее жить на свете.

«В 1844 г., — читаю я, — белого духовенства (clergé seculier) было во Франции 41 619 человек (священников). В 1872 г. их стало уже 52 148 человек. Прибавилось на 10 529 человек. Монахинь в 1844 г. считалось во Франции около 25 тысяч, а в 1872 г. их набралось уже 84 300. Прибавив к этим цифрам 32 102 монаха, получим сумму в 149 550 человек, причем окажется, что с 1844 г. по 1872 г. духовенства *увеличилось на 69 тысяч* 529 чел., в том числе одних женщин прибыло 59 000». (Manuel du droit public ecclesiastique français, M. Dupin.)[2]

---

[1] Так было и так будет (*франц. поговорка*).

[2] Руководство французского общественного церковного права. М. Дюпен (*франц.*).

«Что же касается размеров материальных средств духовенства, то о них можно судить по размерам его расходов, о которых в книге Блока «La statistique de la France»[1] находятся следующие цифры: «В 1820 расходу было — 24 061 399, в 1832 — 33 049 361, в 1851 — 40 083 947, а в 1873 расходу уже 52 261 595 франков».

Читаю я это и думаю: «Недурно! Эти люди, очевидно, делают дело и умеют делать его. В тридцать лет они увеличивают свою корпорацию почти вдвое, а в пятьдесят лет умеют увеличить свои доходы в два с половиною раза. Нет никакого сомнения, что они работают, да и не только работают, а дают в своих монастырях прибежище массе женщин, очевидно оставшихся на свете одинокими благодаря войне 1870—1871 годов. (Иначе невозможно объяснить такой наплыв в 1872 году женщин в монастыри.) Такой успех партии, с которой просвещенному человеку почти обязательно вести войну, — заставил меня тотчас же обратить внимание на успехи, какие сделал сам этот просвещенный человек. В войну 1870—1871 годов просвещенный человек (хотя и не теперешний) ухлопал двести тысяч человек, некоторая часть вдов подобрана монастырями, духовенством. Затем из дебатов об амнистии видно, что теперешний, уже просвещенный человек в самом начале своей деятельности устранил из обращения более пятидесяти тысяч человек — тридцать три тысячи изгнал и, заковав в цепи, разослал в Нумею, Новую Каледонию, Кайенну, а семнадцать тысяч с лишком расстрелял; еще некоторая часть вдов подобрана духовенством и монастырями. Увеличивая ряды своего противника, хлопочет ли просвещенный человек о том, чтобы на будущее время не пришлось ему вновь устранять из обращения собственных своих граждан, представителем которых он служит и от которых получает за эту службу вознаграждение? Нет! Не только не старается, — а как бы стремится ожесточить против себя собственную свою партию. Вот пример. Несколько времени тому назад в газетах печаталось объявление о так называемом *Fête du travail*.[2] Праздник этот состоял в том, что парижские мастеровые решились уступить вознаграждение одного рабочего дня в пользу делегатов от рабочих обществ, отправляющихся на Филадельфийскую выставку. Этот день даровой работы и

---

[1] Статистика Франции (*франц.*).
[2] Празднике труда (*франц.*).

назван *праздником*. Необходимость такой жертвы со стороны рабочего человека в пользу своих братьев рабочих объясняется удивительно остроумным поведением вышеупомянутого просвещенного человека. Мысль об отправке рабочих на Филадельфийскую выставку пробудилась в рабочих синдикатах Парижа и мотивировалась самым основательным доводом. Член общества переплетчиков Винена, избранный этим обществом в делегаты, вот как изложил эти доводы перед своими избирателями: «Я уже имел случай и прежде путешествовать по Англии и Бельгии, и уж не раз приходилось задуматься о том, чего заслуживают рассказы о благосостоянии рабочих, существующем в каких-то отдаленных странах. Преимущества положения бельгийских рабочих, превознесенные нам несколько лет тому назад точь-в-точь так, как теперь превозносят нам положение рабочего в Америке, оказались, по моим наблюдениям, чистыми бреднями, существующими только в воображении их сочинителей. Собственный опыт убедил меня в том же относительно Англии. И в Америку я еду почти уж убежденный, что прелести рабочего быта, которою нас мажут по губам, не существует и там; никакими и ничьими указаниями и руководствами я пользоваться не буду и положусь на собственные наблюдения и собственную работу; буду наблюдать и работать, как умею. Особенное внимание я обращу на машины. Машинам предстоит в будущем принести нам, рабочим, громадные выгоды. До сих пор они помогали только благосостоянию отдельных лиц, но когда всеми будет хорошо понята необходимость товарищества, — они будут улучшать благосостояние лиц, уменьшать работу рук и дадут время поработать и мозгу». Подобного же рода цель, то есть желание изучить технические усовершенствования разного рода ремесел, была заявляема во всех рабочих синдикатах, оттененных разными специальностями, и нет никакого сомнения, что желание изучить свое дело — желание вполне законное — и должно быть предоставлено именно специалистам. Что же делают просвещенные люди? Они вручают шестьсот тысяч франков хозяевам фабрик, зная, что не всякий хозяин имеет ту же цель, что и рабочий, и зная кроме того, что не всякий хозяин — специалист: одному фабрика досталась по наследству, другой, будучи, положим, сам мыловар, получил

железный завод в уплату долга и т. д. Наконец, немало есть и таких, у которых, помимо фабрик и заводов, на руках имеются громадные капиталы и все время которых поэтому занято игрою на бирже и другими спекуляциями, отнимающими всякую возможность посвятить себя изучению техники каких-нибудь мастерств. Так вот этим-то людям палата и вручила шестьсот тысяч франков, хлопоча о том, чтобы право распоряжаться посылкою рабочих на выставку было отнято от синдикатов и оставлено в руках неспециалистов: то есть делая как раз не то, что нужно. Рабочие синдикаты отказались признать за неспециалистами право распоряжаться в их собственном деле и продолжали настаивать на том, что именно они, а не кто другой, должны и имеют к этому все резоны, — сами выбирать людей, которых надо послать в Филадельфию. Тогда, видя, что дело поставлено довольно глупо, национальное собрание просвещенных людей решилось дать рабочим сто тысяч франков, но тут же спохватилось и не замедлило поступить еще хуже: сто тысяч франков оно давало с тем, чтобы право назначения делегатов от рабочих обществ было предоставлено министру внутренних дел, — то есть лицу, которое отдалено от рабочих обществ, как земля от солнца, и уж не имеет ровно никакого понятия ни о специальностях, ни о лицах, которые посвятили себя той или другой из них. Синдикаты отказались и от этого одолжения своих представителей и решились отправить делегатов на собственные средства и на то, что даст подписка...

Органы буржуазной реакционной и умеренной прессы потешались над отказом синдикатов от подачки, издевались над их желанием самим остаться хозяевами в собственном своем деле, прохаживались насчет будто бы очень изысканной щепетильности, вовсе не подходящей к блузе, осмеивали то неуместное и аляповатое чувство собственного достоинства этой блузы, которое позволяет человеку обращаться за помощью и не позволяет ее принимать, когда дают. Несмотря на все это, синдикаты стояли на своем, и подписка продолжалась, но, к сожалению, так как у этой партии нет ни органов специальных, нет ни права сходок, а главное, нет самого необходимого — средств, то сборы подвигаются сравнительно плохо, и нет никакой возможности избежать приношений

доброхотных дателей, вроде депутатов того же умного собрания, театров и т. д. И при всем этом в течение месяца собрано только пятьдесят тысяч франков. Более двадцати франков не давал ни один из самых радикальных депутатов, в том числе г. Гамбетта — сия опора угнетенных и униженных; остальные — два и один франк, даже пятьдесят сантимов давали некоторые депутаты. Из таких грошей кое-как и набралось пятьдесят тысяч. Наконец рабочие сами решились устроить упомянутый выше fête du travail; что он даст — еще неизвестно. Делегаты некоторых синдикатов уже отправлены в Америку.

А вот в 1872 году то же самое национальное собрание отняло государственную субсидию от разных религиозных обществ, и точно так же была открыта подписка, — и опять оказывается, что враги просвещенных людей умеют помогать своим. В четыре года одна газета Вильмессана собрала около *полутора миллиона* франков, а в нынешнем, 1876 году та же газета, на тот же предмет, с 13 по 23 мая, то есть в течение десяти дней, собирает девяносто тысяч франков. Деньги эти, поступающие в распоряжение религиозных обществ, раздаются последними своим членам, большею частию — аристократам, *которые и помогают* бедным — тем самым бедным, у которых просвещенный человек разогнал и перестрелял родителей и детей и которым отказывает в желании учиться и улучшить знанием свое положение, если они не пожелают подчиниться все тем же лицам, которые присвоили себе удовольствие *помогать* чужими деньгами. Вот как либералы умеют помогать своим врагам! При таком образе действия будущность, ожидающая этот прекрасный город Париж и нас, случайных его обывателей, — не блистательна. В речи Виктора Гюго, прочитанной на могиле Жорж Занд, есть фраза о том, что каждый умирающий гений ведет за собою другого, молодого гения; что если в последние годы Франция потеряла так много сильных голов, то это значит, что на место утраченных явятся новые и новые силы и что, сообразно обилию утрат, надо ожидать и обилия грядущих и обновляющих сил. Передать в точности подлинные выражения Гюго я не могу, — у меня нет под руками подлинной речи, да и трудно вообще передавать красноречие этого маститого оратора и романиста, который говорит и пишет как-то *колесом*, как *ходят колесом*

*

наши деревенские ребята. Но смысл приведенного отрывка, как мне кажется, передан точно. Прочитав это, я порадовался: авось, подумал я, придет кто-нибудь из свежих людей, принесет свежие силы и примется поступать рассудительно. Гюго говорит — грядут! И действительно, за несколько дней до смерти Жорж Занд вдруг пронеслась весть о том, что французская учащаяся молодежь задумала устроить конгресс — собрание учащейся молодежи всех стран, для того чтобы сплотить *во имя братства* все эти молодые силы, разумеется на служение общему благу. Повеселел я, узнав об этом, и с нетерпением стал ожидать первого собрания. Наконец это собрание состоялось, — и что же? Из братского общества для начала сплочения были на первом же собрании выгнаны немцы. Признаюсь, немало это удивило меня, особливо удивило тогда, когда коновод этого конгресса, г. Мерже, один из здешних студентов, обнародовал в газетах письмо в объяснение недоумения общества и литературы, сочувствовавших этому братству. Письмо это адресовано к журналисту Шарлю Ревер. «Вы говорите, — пишет Мерже, — что «у знаний нет родины», и потому на студенческий конгресс должна быть допущена учащаяся молодежь всех национальностей. Но цель наша — не знание: мы, как учащиеся, не беремся за то, что составляет дело учителей; наш конгресс — не академия и не занимается научными вопросами. Цель конгресса — во имя всемирного братства сплотить молодежь всей Европы. Вы находите, что и ради этой цели немцев-студентов устранять не следовало бы, — но я не согласен с вами. Наша вражда к немцам не патриотическая; они взяли у нас Страсбург, но мы можем напомнить им и Берлин и Иену; точно так же русским можем напомнить Севастополь, австрийцам — Вену и т. д. Стало быть, поражение, нанесенное нам немцами, не имеет тут никакого значения. Дело все в том, что войны Франции всегда велись за освобождение, за идею, за прогресс, тогда как немецкие войны велись только ради захвата, ради того, чтобы завладеть чужим и угнетать его. Немецкая молодежь вовсе не чужда этой идее, руководящей немецкой нацией в ее войнах, и не только не чужда, а прямо воспитывается в этой идее, и особенно во враждебных чувствах к нам, французам. Почитайте немецких поэтов: Арндта, Кернера, Шенкен-

дорфа; они еще с начала столетия поучали необходимости пролить французскую кровь. Таково воспитание немецкого студенчества до сих пор».

Мне, как закоренелому российскому патриоту, — говоря правду, — очень по вкусу такой афронт, нанесенный немцам; но если я, подобно г. Мерже, изгоню из своего миросозерцания такую вещь, как вражда, то поступок юного конгресса, с г. Мерже во главе, утрачивает для меня всякую прелесть. «Не имея вражды, мы изгоняем немцев из общества, образовавшегося во имя всеобщего братства, потому что они питают к нам вражду». Тут даже и глупости очень довольно, и уж ни единой капельки нет нового. Напротив, само французское юношество, полагающее необходимым напомнить о том, что должно быть между людьми что-то братское, само начинает, подобно ненавидимым им немцам, также воспитываться во вражде. Что ж тут нового? Вот если бы г. Мерже сказал, что даже тех самых немцев, которые враждебны к нам, мы приглашаем примкнуть к братскому союзу, — это было бы ново и нужно. В настоящую минуту именно и необходим, в частной и общественной жизни народов, этот *новый* род взгляда, который бы именно отрицал вражду во всевозможных видах и показывал бы пример этого. Этого только и нужно, а этого именно и нет ни в чем *новом*. Старый человек Жорж Занд выводит рабочего Пьера Гюгенена и заставляет влюбиться в него маркизу — это ново, это действительно говорит о правде. Распайль, восьмидесятилетний старик, просидевший в тюрьме большую часть своей жизни, почти тотчас по освобождении начинает говорить об амнистии и грозит не закрывать рта, покуда она не будет дана, — это тоже ново, тоже справедливо, тоже пробуждает в сердце человека добро. А г. Гамбетта, который *отказывается от подачи голоса об амнистии,* — это ни старое, ни новое, а просто скверное явление.

Итак, покуда ничего еще и ниоткуда не грядет. Напротив, г. Гамбетта получил уже от своих марсельских избирателей письмо, в котором они высказывают сожаление, что подавали свой голос за него, так как его *основательное* молчание в самых существенных вопросах — для них явление совершенно неожиданное, особливо со стороны *главы* республиканской партии, и притом тогда, когда республика установлена окончательно. Кстати о г. Гам-

бетте, который в последнее время сильно пошатнулся в общественном уважении. Недавно, а именно 23 июня умер от удара некто г. Теофил Сильвестр. Умер он за завтраком, поутру, причем оказалось, что завтракал этот человек у г. Гамбетты. «Каким образом могло случиться, — обратились газеты к г. Гамбетте, — что у вас возникла дружба с г. Сильвестром, бывшим секретарем г. Пиетри и ревностным сотрудником Поля Кассаньяка в издании реакционной и бонапартистской газеты Pays [1], каковым Сильвестр был по день смерти? Если в настоящее время, г. Гамбетта, вас окружают люди, подобные г. Сильвестру, то мы вас не поздравляем. Кроме того, — констатируем еще следующий факт: г. Гамбетта, принимавши г. Т. Сильвестра за своим столом, не удостоил, однако, проводить своего знакомого на кладбище, когда он умер».

Итак, вот что покуда виднеется на горизонте: несомненный успех врагов республики и несомненное озлобление против представителей республиканской партии, которая ровно ничего не делает, а продолжает, в лице своего главы, систематически отлынивать от разрешения самых насущных вопросов. «Когда в 1880 году, — говорит одна хорошая газета гг. радикальным депутатам, — вы вернетесь к своим избирателям, то последние непременно спросят у вас: сделали ли вы что-нибудь из того, о чем трубили в ваших программах? Пытались ли вы делать изменения в нашем военном законе? Сделали ли вы какие-нибудь улучшения в наших судах? Подумали ли о более правильном распределении налогов? Замолвили ли хотя словечко об отделении церкви от государства? Нет, — ответите вы, — ничего этого мы не делали. Мы просто были умны и вели себя умно, так умно и тонко, что сенат решительно уже не примечает нашего существования». И разумеется, делаем, что хотим, прибавим мы... А молодежь ко всему этому, во имя братства, начинает воспитывать в себе непримиримую вражду. Все это вместе дает физиономии здешней жизни весьма утомительное натянутое выражение.

А старые хорошие люди мрут. Вам, конечно, уже известна смерть Жорж Занд. Привожу здесь письмо

[1] Страна (*франц.*).

покойной к Л. Ульбаху, которое, по мне, очень хорошо рисует эту писательницу вообще и довольно подробно знакомит с ее образом жизни в последние годы.

«...За последние двадцать пять лет в моей жизни нет ничего интересного: не спеша тянется, в кругу семьи, спокойная и счастливая старость... Изредка какое-нибудь личное горе нарушит ее спокойное течение: кто-нибудь из близких умрет, кто-нибудь поссорится... Вообще это такое состояние, которое, вероятно, знакомо и вам. При свидании, в разговоре, я охотно буду отвечать на все вопросы, какие вы мне предложите...

«За это время я потеряла двух любимых внучат, но у меня еще остались две малютки от моего Мориса. Невестку я почти так же люблю, как и сына, и им двоим я отдала в распоряжение все мое имущество. Время я провожу, забавляясь с детьми, занимаясь ботаникой, предпринимая долгие прогулки (я еще крепкий ходок), а когда выдается свободная минута, часа 4 в сутки, сочиняю романы. Пишу я легко и с удовольствием: писать — это мой отдых, рекреация; переписка с друзьями и знакомыми и вообще письма — вот это так уж настоящая работа! О, если бы можно было писать только к друзьям! Но кроме их писем сколько каждый день я получаю трогательных и смешных посланий. Каждый раз, когда я могу чем-нибудь помочь, — я отвечаю; если помочь не могу — молчу. Если вижу, что надобно удовлетворить, несмотря на малую надежду в успехе, — пишу, что попытаюсь. Из всей этой переписки необходимо ежедневно отвечать по крайней мере на десять писем. Это целый потоп, — но что будешь делать?

«Надеюсь по смерти переселиться на какую-нибудь совершенно безграмотную планету. Надо быть вполне совершенным, чтобы не уметь ни читать и ни писать. В ожидании этого счастья — терплю.

«Если вас интересует мое материальное положение, то вот вам мои, очень простые, счеты. Я выработала своими трудами миллион франков и все это отдала моим детям, исключая 20 тысяч франков, которые приберегаю на случай моей болезни, чтобы в период дряхлости не обременять собою детей. Я еще не знаю — сумею ли сохранить и этот капитал, потому что то и дело нуждаются в нем то те, то другие. Если я буду в силах еще работать, то, разумеется, и это сбережение будет пущено в обращение. Пожалуйста, молчите о том, что у меня есть сбережение, — только этим вы и поможете мне сберечь его.

«Если вы будете писать о моих средствах, то не ошибетесь, сказав, что я жила изо дня в день тем, что зарабатывала, что я смотрю на такое существование как на самое счастливое и правильное. Не имеешь излишков и не боишься воров.

«В настоящее время все домашнее хозяйство лежит на руках детей, и поэтому каждый год у меня остается свободное время, чтобы попутешествовать по отдаленным и неизведанным уголкам Франции. Уголков этих так много, и они так прелестны, что, право, дальше не стоит и ездить. Здесь я получаю материал для моих романов. Я люблю своими глазами видеть все то, о чем пишу. Если мне приходится сказать два или три слова о какой-нибудь мест-

ности, мне нужно непременно самой видеть ее и крепко держать в памяти, чтобы не ошибиться.

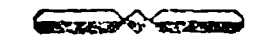
«Все это очень мелко и мало, мой друг, а для такого биографа, как вы, мне бы хотелось быть величиной с пирамиду. Но что делать: выше лба уши не растут.

«Вообще я самая простая женщина, к которой приделали ни с того ни с сего разные совершенно фантастические эксцентричности. Обвиняли меня также, что я никого страстно не любила, — а мне кажется, что я и жила только любовью... Теперь, слава богу, с любовью меня уж оставляют в покое, а те, кто хоть сколько-нибудь еще привязан ко мне, — те на меня не жалуются.

«Старуха я еще очень живая; правда, забавлять других я уже не могу, но умею сама забавляться и быть веселой со всяким. По всей вероятности, у меня есть большие недостатки, но, как и все люди, я их не сознаю. Не знаю также, есть ли у меня что-нибудь и хорошее. Думая часто о том, что такое истина, отвыкла понемногу от ощущения моего *я*. Делая добро — только поступаешь логично, и никто никогда не делал умышленно зла. Будь я развитее в ту минуту, когда я делала зло, — наверное я не сделала бы его. Так и все люди. Вообще я не верю в злобу людей, но знаю, что на свете есть масса невежества».

Справедливо!

Париж, 24 июня н. ст.



ЗА МАЛЫМ ДЕЛО

I

Начали говорить о народном невежестве, и почти у всякого из представителей уездной интеллигенции, которая от нечего делать «забрела» «поболтать» к добрейшему Федору Петровичу, нашлось какое-нибудь собственное мнение по этому важному вопросу. Радушие «добрейшего» Федора Петровича, не забывавшего обновлять столики своего кабинета постоянно полными бутылками кахетинского, было, как и всегда, причиною того, что разговор шел без малейшего стеснения; можно было говорить, не обращая внимания на слова собеседника, и собеседник мог не слушать того, что ему говорят. В этой свободе суждений и заключалось для уездной интеллигенции удовольствие вечерами посещать Федора Петровича.

Но, к сожалению, слабые силы рассказчика об этих вечерах вообще, и о том из них, о котором идет речь, — решительно не дают возможности более или менее удобопонятно передать читателям все разнообразие этих оживленных разговоров. В данном случае рассказчик не знал бы даже, как и начать свой рассказ, если бы сам Федор Петрович не нашел нужным произнести и своего слова о важном предмете разговора и тем на некоторое время значительно убавил царивший в кабинете шум и говор.

— Вы говорите — народ!.. — сказал он не спеша и «глубокомысленно». И, сказав это, по обыкновению замолк, потер свой нос шелковым платком, положил платок в задний карман сюртука и, подумав тоже весьма глубокомысленно, продолжал:

— Или также утверждают — просвещение!

После этого он кашлянул, понюхал табаку, хлопнул крышкой табакерки и решительно произнес:

— А между тем... А в то же самое время...

И, оглядев всю публику, сел в кресло и уже замолк окончательно, хотя лицо его и выражало крайнее волнение. Замолкла и вся компания, так как ей было весьма хорошо известно, что Федор Петрович каждый раз вынужден был делать то же самое, как только пожелает что-нибудь высказать. Всякий раз он начинает речь как бы обобщением, но на словах «а между тем» или «а в то же самое время» — всегда замолкает и не обобщит ничего. Все это знали, но знали также и способ, которым надобно было разрешать затруднительное положение Федора Петровича. Все знали, что добрейший Федор Петрович, много живший на свете, много видевший на своем веку, благодаря служебным перемещениям, всякого рода людей, переживший множество всяких порядков и веяний, будучи самым приятным собеседником и самым неистощимым рассказчиком, вероятно потому замолкал всякий раз, когда ему приходилось делать из своих наблюдений вывод, что в жизни Федора Петровича, как и вообще в нашей жизни, умозаключения и выводы никогда ей самой не приличествуют, но всегда являются в жизнь большею частию в запечатанных конвертах и большею частию не имеют с фактами жизни ничего общего.

Все добрые приятели Федора Петровича, зная результаты его житейского опыта и видя его затруднительное положение, всякий раз, когда ему приходилось делать какие бы то ни было обобщения, старались вывести его на ту дорогу разговора, где он мог чувствовать себя без малейшего стеснения.

— Да ты вот что, Федор Петрович, — говорил обыкновенно в такую минуту кто-нибудь из слушателей, — ты расскажи просто, в чем дело, все и будет ясно!

— И отлично! — говорил на это Федор Петрович.

И затем уже следовал простой рассказ.

Так было и в описываемый вечер. Выведенный добрым приятелем на торную дорогу свободной речи, Федор Петрович еще раз понюхал табаку и сказал:

— Действительно, лучше я расскажу просто так, как было.

И затем, покряхтев немного, стал рассказывать.

II

— Сестра моя с давних пор живет замужем в одном уездном городке под Москвой. Иногда, намучившись на службе, я ездил к ней отдохнуть, отдышаться, побыть в теплой семейной среде после холостой, одинокой квартиры. В самом деле, иногда холодно, очень холодно холостому человеку. Так вот я ездил отогреться, оттаять. А начнет забирать скука — марш назад, и так опять на несколько лет.

«Вот таким-то родом заехал я к ней лет двадцать тому назад, в самые любопытные времена: тут и освобождение, и земство, и новый суд — словом, кипучее время. Пожил я у сестры, поел, попил, позевал вволю, наслушался всякой всячины, — наконец надо и назад ехать. Настал день отъезда; привели мне из пригородной слободки извозчика. Вышел я с ним поговорить и тут же сразу чрезвычайно им заинтересовался; сразу мне мелькнуло: «талант!» Мальчишка лет пятнадцати, а красив, шельмец, боек, смел, даже дерзок. Стал я с ним торговаться. И что же?— на каждом слове дерзость, нахрап, без малейшей церемонии. И помину нет, чтобы снять шапку и дожидаться, пока скажешь: «надень». Словом, ни тени рабского или униженного! Это-то меня и обрадовало и заинтересовало в нем, дерзость-то эта. «Вот они новые-то времена!» И какой прелестный, смелый крестьянский юноша! Не стал я поэтому ни в чем ему поперечить и цену дал, какую он пожелал, даже когда он попросил тотчас же прибавить, прибавил ему без слова; просто победил он меня вообще с художественной стороны. Типичная, яркая фигурка, смелая юношеская душа, — и в ком? — в мужичонке! Люблю я это! Это наше, чисто русское, родное!»

Федор Петрович с удовольствием выпил стакан кахетинского (причем компания, конечно, последовала его примеру) и продолжал:

— Ну, вы знаете, что в былые времена отъезд от родных был делом далеко не простым. Теперь вот машина ходит по часам, — не попал к поезду, сиди лишние сутки. А тогда можно было заставить ямщика прождать целый день, давши, конечно, ему на водку. Вот в таком роде пошли было и мои проводы на этот раз. Сели закусить часов в десять, а в двенадцать стало уж казаться, что дай

бог только к четырем часам переговорить обо всем, о чем нахлынуло в голову. Перед отъездом всегда так бывает. Однако же вышло не так. Перевалило немного за двенадцать, слышу — прислуга говорит: «Извозчик спрашивает!» — «Пусть, отвечаю конечно, подождет!» Прошло еще полчасика, прислуга опять является, говорит: «Извозчик бранится, сладу нет!» Иду к нему, и опять меня в нем восхищает эта дерзновенность.

«— Что же ты, — говорю, — братец, бунтуешь тут, не даешь мне как следует проститься?

«И что же? Даже этих-то слов не успел я проговорить, как мальчонка, не слушая меня, сам начал читать мне нравоучение, да каким голосом, да с какими жестами!

«— Вам, господам, — говорит, — время завсегда дорого, а нашему брату, мужику, нет? Извольте поторапливаться или пожалуйте деньги, и я уеду. Без вторых денег ждать не буду, а эти взыщу!

«— Ну, можете себе представить, что это было за великолепие! Ну, положительно очаровал меня мальчишка. Обругал я его, конечно, также и с своей стороны, но что прикажете делать? Покорился ему! Пришлось дать прибавку, и все-таки нельзя было не поторапливаться. И, наконец, кой-как я собрался, простился и поехал».

Федор Петрович не спеша выпил полстакана кахетинского (конечно, и компания) и сказал:

— Великолепный мальчишка!

Затем допил другую половину стакана и продолжал:

— Мальчишка стал интересовать меня буквально каждую минуту: сидит на козлах мрачный, угрюмый и, очевидно, о чем-то крепко думает. Заинтересовало меня — почему он все оглядывается по сторонам: не то боится, не то желает встретить кого-то?

«— Что ты вертишься? — говорю. — Что ты оглядываешься?

«— У всякого свои дела есть! — отвечает, и это таким тоном, как будто хотел сказать: «отстань!», даже просто: «убирайся!» И едва он так грубо оборвал меня дерзким словом, гляжу, он, как будто в испуге, круто и сразу свернул с большой дороги и погнал лошадей по каким-то переулкам и закоулкам того подгородного села, откуда был взят сам, в чем не было ни малейшей надобности.

«— Зачем ты с дороги свернул? — говорю. — Чем тебе там не дорога? Ведь все-таки на ту же большую дорогу выедешь?

«— Доставить к месту — мы тебя доставим, — отвечает, — а разговоров твоих нам не требуется. Хоть бы я тебя по крышам вез, так и то тебе не о чем болтать попусту!

«Наконец это уж и меня затронуло несколько.

«— Ах ты, — говорю, — каналья этакая? Какое же ты имеешь право так мне отвечать?

«— А у тебя, — говорит, — какие такие есть права?

«Но не успел я еще как должно осердиться, потому что действительно никаких, собственно говоря, правов-то нет, — как мальчишка, гнавший лошадей что есть мочи, вдруг поднялся в телеге и, махая вожжами, обратился ко мне, весь бледный, взволнованный и чем-то чрезвычайно пораженный.

«— Не давай ему! Не давай! — кричал он, обращаясь ко мне. — Ишь, притаился, старый хрен!.. догонять хочет. Не давай, барин! А то отыму из рук! Не догонит!..

«— Кому не давать? Что ты болтаешь? — также закричал я мальчишке.

«— Отцу! Родителю не давай! Ишь насторожился! Притаился, чтобы броситься догонять! Не давай!

«От плетня отделился полупьяный и мозглявый человек, и когда мы поровнялись с ним, он ухватился за задок телеги обеими руками так, что уже я закричал, чтоб мальчишка не смел гнать, даже схватил его за шиворот и осадил. Но лошади все-таки бежали. А мозглявый человек, шлепая сзади телеги и задыхаясь, еле хрипел:

«— Руб... хошь... чорт!

«— Не давай, барин! — неистово кричал мальчишка, выбиваясь из моих рук и не останавливая лошадей. — Пропьет! Матери отдай! Она будет тут сейчас!..

«— Прокляну! Егорка! Прокляну! — едва дыша, хрипел старик, уже цепляясь за задок телеги.

«— Стой! — сказал я. — Стой наконец! Я свои ему дам. Что это такое ты делаешь с отцом?

«И, не доверяя мальчишке, сам схватился за вожжи и остановил телегу.

«— Кровопивец, змей! — задыхаясь, с величайшим раздражением хрипел отец, пока я рылся в кармане,

доставая кошелек. — Отца родного, мошенник, не жалеешь!

«— Ты-то нас не жалеешь, а тебя-то нам за что же жалеть? — не меньше раздраженный, чем отец, криком отвечал ему мальчишка.

«— Разбойник! — хрипел отец, потрясая кулаком. — Кровопивец! Я тебя... постой!.. Поговоришь ты у меня... Попадись только!

«Рублевая бумажка, которую я протянул старику, заставила его прекратить эту брань и обратиться с благодарностью ко мне, но едва он успел снять шапку, как мальчишка уже стегнул лошадей, и мы помчались опять.

«Старик, оставшись позади нас, продолжал грозить кулаком и что-то кричал, но нам уже не было ничего слышно.

«В то кипучее время, кстати сказать, во всех сословиях было ужасно много таких, обреченных на погибель отцов: еще недавно было у них всего много, благодаря плотно сложившимся неправосудным порядкам, в которых одна нечистая рука мыла другую нечистую руку. Новые порядки разрушили эти гнезда, разросшиеся до огромных размеров благодаря беззаконию, глубоко пустившему корни в глубине русского общества. Беззаконная жизнь во всех отношениях, жизнь грубая, жирная, неряшливая, нецеремонная, — а главное, непременно «дармоедная», — вся она от одного дуновения той неотразимой правды, сознание которой пришло вместе с освобождением крестьян, разложилась, и еще недавно торжествующий, авторитетный, властный, крепко державшийся на ногах человек превратился в совершенное ничтожество, в нищего и подсудимого одновременно. («Эге! Федор Петрович! как ты ловко словоизвержению-то обучился... Сущий адвокат!») Именно к числу таких-то обреченных на погибель людей и принадлежал отец мальчика, когда-то богатый дворник, монополист извоза и всяких казенных субсидий по этому делу в целом уезде. Рухнули его неправедные доходы, рухнула и неправедная жизнь с беспрерывным обжорным праздником. И вот он «допивает» остатки своего благосостояния, отнимая у детей и семьи, уже знающей, что ей надобно теперь полагаться только на свой неусыпный труд, по возможности большую часть заработка на пропой. По лицу его, кое-где носившему следы

царапин и синяков, видно было, что старик роспился, ослаб, размяк и вообще держится на свете только выпивкой.

«— Как же это ты с отцом-то так жестоко поступаешь? — сказал я мальчишке с укоризной. — А?

«— Не безобразничай!

«— Но ведь все-таки, — говорю, — он ведь отец тебе?

«— Отец, — а безобразничать не дозволим. Мы и так все, вся семья из-за него почитай что раздеты, разуты, а гоняем день и ночь, скоро скотина без ног останется. Как же он может наши трудовые деньги пропивать? Вот и получи!

«— Кто это ему глаз-то разбил?

«— Да он сам разбил-то! Мы только, всем семейством, связали его...

«— Это отца-то? Всей семьей?

«— А чего ж? Почитай бога! Держи себя аккуратно!

«— Ну, — говорю, — брат, кажется, что вы поступаете вполне бессовестно! Как же так не уладить с отцом как-нибудь по-другому? Что же это такое? Ведь он отец!

«И, признаюсь, я неожиданно впал в нравоучительный тон и стал развивать мальчишке самые гуманные теории. Говорили и о Христе, и о терпении, и о преклонной старости, которую надобно чтить, уважать, к которой надобно снисходить. Говорил, что вообще необходимо любить ближнего своего, яко сам себя... И так далее. Он слушал меня чрезвычайно внимательно, ехал тихо, и вдруг я услыхал, что он плачет, просто «ревнем ревет», как говорят о таких слезах.

«— Что это ты? — спрашиваю. — Что с тобой?

«— Ты думаешь, мне сладко этак-то делать? Нешто бы я посмел, ежели бы всех не жалел?.. Погляди-кось, какое семейство-то, всем пить-есть надо... Маменька и совсем, того гляди, исчахнет; а он сам ее еще бьет.

«И рыдает-рыдает.

«— У меня вся душа изныла от тоски... Жаль мне и братьев и сестер... А иной раз совсем осатанеешь... Знаю я грех-то мой!

«Он был в таком отчаянии, что я решительно растерялся и не знал, что сказать ему в утешение.

«— Отдай деньги-то маменьке! — всхлипывая, прошептал он и остановил лошадей.

«Около разоренного большого двора с развалившимися воротами стояла сгорбленная старушка, в глазах которой можно было все-таки видеть, что и она на своем веку попила-поела всласть! Отдав ей деньги («Уж все, батюшка, полностию, все!»), мы поехали своей дорогой, и мальчишка продолжал тосковать.

«Не думайте, что я какой-нибудь особенный любитель непочтения к родителям, — но мальчишка был для меня крайне симпатичен: как хотите, а какой-то голоногий мальчишка, отстаивающий какие-то права, обороняющий мать, как обиженную и терпящую неправду, и во имя справедливости не сомневающийся идти против отца... Все это весьма привлекательно! Очевидно, и сердце есть в мальчонке, и энергия, и чувство справедливости, и просто чувство и впечатлительность — плачет ведь! и сознает — «нехорошо, несправедливо, а нельзя!»

«— Умеешь грамоте-то?

«— Ничего не умею... Один острожный сидел за подделку чего-то в остроге; когда выпустили, пожил у нас. Ну, поучил меня по словечку... Я было и понимать стал, да острожный-то ушел, я и стал забывать. Хороший человек был острожный-то! добрый!

«— А хочешь учиться-то?

«— Я страсть какой охотник до ученья!

«— Так чего же ты в какую-нибудь школу не ходишь?

«— Да нешто при нашем деле можно? Теперь вот доставлю вас на станцию, — лошадей надо покормить, попоить. Приедем по ночи. Потом в оборотку конец сделал, а домой приехал — опять заказ готов, — опять гнать. Да ежели бы и свободное время вышло, так и то не на ученье оно, — какая жизнь-то у нас идет! Глаза бы не глядели. Только что маменьку жалко покинуть...

«Грустно, ужасно грустно стало мне за мальчишку. Сколько на Руси погибает таких талантливых головок, думал я. Кто поможет им? Не буду ли и я святотатцем, если попущу пропасть и сгинуть этому хорошему сердцу и хоть юному, но, быть может, большому, потому что искреннему, уму?

«Я сказал ему:

«— Знаешь, где живет моя сестра? откуда мы ехали?

«— Как не знать.

«— Ну, так через месяц заходи к ней, — я пришлю тебе книг, ты учись. Денег она тебе тоже даст немного, — учись, если возможно, — а потом как-нибудь справимся...

«— Да, кабы родитель помер. Так у нас бы был порядок... А то нешто можно!..

«— Ну, уж смерти родителя ты не дожидайся... Это будет, как угодно богу!

«— Само собой... Ишь он пьет-пьет, все не напьется...

«— Ну, уж это делать нечего. Надо терпеть. Ты, вместо того чтобы вот смерти ждать родителя да синяки ему ставить, ушел бы на чердак или куда-нибудь... и учись...

«Ну, словом, о просвещении... в самых по возможности очаровывающих этаких чертах. В заключение обещал давать три целковых в месяц.

«Задумался мальчишка... Долго думал, потом весело тряхнул волосами и весело произнес:

«— Кабы грамоте-то научиться, пуще всего в писаря, ежели... Выгодное дело...

«Признаюсь, покоробило меня это слово. И уже тогда я подумал не в хорошую сторону о просвещении-то вообще. Не утерпел и сказал ему:

«— Ну, уж этого я, друг любезный, не ожидал от тебя... Ты знаешь, отчего писарь-то богат?

«— Известно знаю, — доход.

«— А справедливо это простой бедный народ-то обманывать? А ты еще о справедливости-то толковал!

«И тут я опять — и в этом направлении стал внушать ему и сказал, что просвещение нужно вовсе не для дохода, а для того, чтобы делать ближним добро. Словом, поддерживал в нем уважение к книге, потому что не знал, что придумать для малого в практическом отношении. Думал я было перетащить его в Москву, в ремесленное училище, да не знал еще, будут ли средства. Все-таки, приехав на станцию, я вновь повторил ему, что книги ему пришлю и по три рубля давать буду; адрес его записал и втайне решился сделать для него все, что только возможно».

Едва Федор Петрович договорил последнее слово, как лицо его, в первый раз за весь вечер, омрачилось какою-то тяжкой думой. Он как бы растерялся, но, помедля и пособразив, вдруг как-то подбодрился и со взглядом, которого тоже никто из знакомых Федора Петровича прежде

не замечал, потому что никогда никто не видывал в его глазах той черты хитрости, которая промелькнула именно только в этот вечер, довольно бодро сказал:

— Вот в этом-то и заключается самая суть!

Слушатели почувствовали, что Федор Петрович опять стремится запутаться в обобщении, так как он начал уже пускать в ход все те жесты и приспособления, к которым прибегал в минуту невозможности разобраться с своими мыслями.

— Именно, — на эту-то суть и следует обратить внимание. Утверждают — «просвещение»? Но вот мы видим талантливого мальчика, крестьянина, у которого есть и ум, и сердце, и чувствительность, и прямота, и бойкость — все дары природы, — но вместе с тем заметили ли вы, как он, когда шла речь о грамоте, вдруг произнес: «в писаря бы»... Следовательно, в мальчонке, наряду с его прекрасными качествами, были и дурные задатки... Это уж среда! И таким образом будет легко понять, почему талантливый мальчик в настоящее время превратился в совершеннейшего кулака и первейшего местного воротилу!

— И это благодаря твоему просвещенному содействию?..

Федор Петрович, несомненно, был испуган этим вопросом до последней степени, но хитрость, уж однажды мелькнувшая в его глазах, на этот раз с полною ясностию обнаружилась не только в глазах, но и во всем его существе. Он так искусно притворился, будто не слыхал испугавшего его вопроса, и с явным желанием зажать рот вопрошателей немедленно же приступил к изображению талантливого мальчика в его настоящем виде:

— Теперь его все знают и в городе и в деревнях. Исправник говорит: «Вот истинно народный ум!» Протопоп говорит: «Истинное чадо церкви!» Хвалят почтмейстер и даже воинский начальник. Таким образом, когда я, года два назад, опять заехал к сестре и пожелал его видеть, так мне показал дорогу к нему первый встречный.

«Егор Иванович предстал передо мной в новенькой русской чуйке, в скрипучих сапогах, посреди нового двухэтажного постоялого двора, нижний этаж которого занимали новенькие лавки. Взгляд его был так же быстр, но уже холоден, хотя в улыбке было еще что-то мягкое. Он говорил не так, как говорит грубый кулак-хозяин,

любящий выйти на крыльцо и орать на весь двор, утешаясь тем, что «все мне подвержено», — а вежливо, прилично, но с непоколебимой уверенностию. Все у него в доме ходило по струне. Это я заметил с одного взгляда.

«Конечно, он не узнал меня, но когда я припомнил ему подробности нашей встречи, он искренно обрадовался... Повторяю — «искренно», так же точно искренно, как и все, что потом он говорил.

«Первым долгом я расспросил о причинах его превращения. Егор Иваныч с благоговейным выражением лица рассказал мне следующее. Перескажу в коротких словах.

«— Сами знаете, какой я был? Теперь я считаю, что был я, прямо, зверь! Отца не щадил! Это вы тогда верно говорили! Опосле того перенес свое свирепство и на общество. Например, толкуют в волостной, чтобы мост там-то мостить... По глупости моей мне и представляется, что делать этого незачем, мост не наш, мы по нем не ездим,— следовательно, и мостить его не надо... Ору!.. Зеваю, смущаю людей, — и те начинают петь заодно со мной!.. Или идет речь, чтоб на губернскую больницу вносить, — опять поднимаю бунтовство: «мы, мол, там не лежим! нам нужна больница здесь, в наших местах!..» или в эвтом смысле. Все мне представлялось, что со мной в нашей деревне неправильно поступают, а того, свинья этакая (так Егор Иваныч себя обозвал), не знал, что деревня есть ничтожная *единица* супротив...

«Тут он кашлянул... «Ничтожная единица! — подумал я. — Это его кто-то научил!»

«Кашлянул Егор Иваныч и так же искренно проговорил:

«— Но, должно быть, перст господень руководит нами... И указует... Считаю так в том смысле, что сделался из бунтовщика человеком общеполезным, следовательно, для пользы прочих... полезных сочленов...

«Очевидно, его кто-то научил всему этому!» — с каждой минутой убеждался я все более и более и продолжал слушать Егора со вниманием.

«— Домотавшись таким манером до тюрьмы, — следовательно, по случаю сопротивления властям (это и было дело моих рук), встретил я там почтеннейшего и многоуважаемого господина Кузнецова. Видя во мне таланты, господин Кузнецов, по выходе моем из тюремного

заключения, взял меня в кучера, и здесь, частию от собственного внимания к его разговорам, частию чрез его наставления, я много и скоро все явственно понял... Просвещать «невежду» тем и полезно, что просвещение смиряет человека в его буйном невежестве... На меня вон кричат: «разбойник», — но за что? За то вот, что, состоя членом ссудного товарищества, отказываю несостоятельным; но кто понимает существо, — тот будет знать, что банковые операции связаны с общим порядком всей экономии отечества... И ежели раздавать деньги, принадлежащие начальству, без отдачи, — то через это поколеблется всякое устроение, и все пойдет к дефициту! «Чем ты отдашь?» спрашиваю. «Мне отдать нечем». — «Ну, и ступай с богом». Не так ли?

«— Так! — сказал я машинально.

«— Говорят — разбойник! Ежели они бы понимали систему, тогда бы они поняли и должны бы знать, что...

«Тут Егор Иваныч почему-то приостановился. Я помог ему выйти из затруднения и сказал:

«— Если бы знали, что деньги без отдачи не даются.

«— Да-с! Верно!

«— Ну, — сказал я, — будьте здоровы, Егор Иванович, слава богу, что ваши дела идут хорошо.

«— Благодарим покорно!

«Так мы расстались, и больше я его не видал.

«Так вот, — проговорил Федор Петрович, с величайшей торопливостью собирая пустые бутылки и на минуту останавливаясь с ними в дверях передней, откуда он постоянно извлекал новые. — Так вот что такое просвещение!.. Просвещение, просвещение... А между тем...»

И он исчез в переднюю.

Но хотя он и возвратился оттуда с двойным, против взятых пустых, количеством новых бутылок, — ему, однако ж, не удалось вторично отвлечь этими бутылками внимание слушателей от вопроса о сущности такого переворота в миросозерцании одного и того же человеческого существа. Он не успел еще расставить всех бутылок, как его стали донимать самыми, повидимому, жгучими для него вопросами:

— Да ты посылал ли ему книги-то?

— Каким образом могло случиться, что твои книги дали ему такое направление?

— Вот уж именно «чудеса в решете»!

Федор Петрович и при этих настойчивых вопросах пытался было как-нибудь отвильнуть от прямого ответа, — но, наконец, видимо изнемог. Он глубоко вздохнул, беспомощно опустил голову и, с выражением той же беспомощности расставив руки, произнес почти шопотом:

— Шер-ше ля-фам!

Это совершенно неожиданное вторжение в разговор об известном предмете ни в чем ему не соответствующего сообщения — прежде всего ошеломило всех собеседников; затем, когда они начали мало-помалу приходить в себя, то разговор их уже не подлежал пониманию не только постороннего наблюдателя, но и их самих, совершенно сбитых с толку.

— Так вот в чем дело-то!.. Стало быть, ты ничего не исполнил? Ни книжек, ни...

— Какие тут книжки! — беспомощно хватаясь за голову, стонал Федор Петрович. — Какой тут народ!.. «Женись! Женись!» Двадцать раз я видел у нее в руках револьвер!.. Какие тут заботы о мальчишке, когда каждую минуту грозила смерть?.. И как это удивительно случилось! Встретился я со старым приятелем на одной станции... Облобызались... Не раздеваясь, пили на радостях два дня... Потом очутился я в каких-то дебрях... Помещичий дом... Очаровательная особа... пение... признание... И затем... Что я перенес! Что я вытерпел!..

Отчаяние Федора Петровича, в которое он сумел внести частицу комического элемента,— решительно возобладало над упреками Федору Петровичу за его негуманный поступок с мальчиком и выразилось в шумных спорах о женщинах вообще. Женолюбцы и женоненавистники окончательно завладели разговором, и народ и просвещение — все это исчезло в шуме и гаме общего галдения о женщинах. — Федо́р Петрович хотя и не переставал взывать: «Что я испытал! Что я пережил!» — но уж совершенно ясно сознавал, что он выскользнул из затруднительного положения, в которое попал с своим рассказом о народных дарованиях, и твердо знал по личному опыту, что теперь о мальчике не будет и помину...

Но он ошибся. Два молодых человека, также из служащих (по межевой части), проскучав весь вечер и постоянно чувствуя себя совершенно посторонними среди

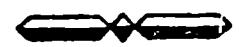
гостей Федора Петровича, — возвращались домой в глубоком раздумье. Дело в том, что даже среди такой уездной интеллигенции (полагающейся быть таковою по штату), какая собиралась к Федору Петровичу с единственною целью поболтать без всякого стеснения, — всякий более или менее пожилой человек почитал почему-то своим правом относиться к новому, молодому поколению если не с явным сожалением об его участи, то уж непременно с прискорбием и снисхождением. Так повелось на Руси с давних пор: в старину живали деды во всех отношениях лучше своих внучат. — Не тот был размах. Чего стоит *горсть*, одна только *горсть* таких людей. Указать на эту *горсть* всегда почиталось людьми отживающими свой век весьма достаточным для того, чтобы обаяние горсти отборных людей перенести и на самих себя и, вследствие этого, ощущать собственное свое достоинство и преимущество пред прискорбным положением нового, молодого поколения. Не раз это молодое поколение слышало о себе и о своей жизни прискорбные сожаления и нерадостные сомнения, выражаемые людьми якобы широкого размаха, а так как и сама молодость всегда исполнена сомнениями о самой себе, о своем деле, о целях своей жизни, то неудивительно, что двое молодых людей, о которых идет речь, попытались поближе ознакомиться с людьми широкого размаха, — вот почему они и решились посетить один из вечеров Федора Петровича... Сами они, при узкой служебной специальности, — летом межевать, а зимой чертить планы, — глубоко скорбели, что им почти нет возможности быть полезными народу. То, что они каждое воскресенье ходили заниматься в воскресную школу, на одну большую фабрику, отстоявшую верст на пять от города, а также и то, что при межевании они всегда старались соблюсти народный интерес, не продавали свою цепь в пользу тех, кому нужно крестьянское безземелье,— все это они считали ничтожным сравнительно с тем, что они хотели бы сделать. Не считали они за что-нибудь существенное и то, что отдавали последние средства на устройство народной библиотеки, где бы можно было читать всякому грамотному человеку за пять копеек в месяц. Все это было для них мало и мелко сравнительно с широким «размахом», о котором они слышали от людей иного поколения. Вот эти-то молодые люди, побывав

у Федора Петровича и ознакомившись с людьми высшего полета, — они-то и не могли оставить рассказа о талантливом крестьянском мальчике «без помину», как полагал Федор Петрович.

— Так-то вот на Руси и гибнет народ-то!

— И дарования есть и таланты — светлые головки — все есть! да за малым дело стало — ничего существенного не делать, а только скорбеть о том, что мы-то мало делаем...

— Не пойду больше! — решил один из них и даже плюнул, очевидно испытывая на душе неприятное ощущение от болтовни доживающих свой век пустомелей.



ПРИМЕЧАНИЯ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАБОТЫ

Печатается по тексту последнего прижизненного издания: Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том первый. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.

Под названием «Новые времена, новые заботы» Успенский объединил в собрании сочинений девять очерков и рассказов, впервые опубликованных в «Отечественных записках» 1873—1878 годов. При публикации в «Отечественных записках» часть очерков (1—4) входила в серию «Люди и нравы», другие печатались самостоятельно. В 1879 году восемь очерков цикла были переизданы Успенским в составе двух сборников: «Из памятной книжки» и «Из старого и нового (Отрывки, очерки, наброски)». Здесь (в отличие от журнальной публикации, где порядок очерков был иной) очерки были напечатаны в той же последовательности, что и в будущем цикле, но очерк «Больная совесть» во второй сборник не вошел; вместо него на предпоследнем месте (перед рассказом «Голодная смерть») был перепечатан рассказ «Парамон юродивый» (см. т. 1 наст. издания). Название цикла («Новые времена, новые заботы») появилось лишь в первом издании собрания сочинений Успенского (СПБ., 1883, т. III); но и здесь очерк «Больная совесть» еще не входил в цикл, а печатался в качестве приложения к нему. Лишь при подготовке писателем второго издания собрания сочинений (СПБ., 1889, т. I) композиция цикла была окончательно завершена.

Тему цикла «Новые времена, новые заботы» раскрывает его название. Являясь и хронологически и по своей тематике непосредственным продолжением «Разоренья», цикл «Новые времена, новые заботы» изображает следующий этап исторического развития России в пореформенную эпоху. Очерки и рассказы Успенского рисуют усиливающееся развитие капитализма и его проникновение в деревню, описывают ломку взглядов и привычек, совершающуюся под

влиянием этого развития у различных слоев населения, еще опутанных полукрепостническими, патриархальными пережитками, искания разночинной демократической интеллигенции. В освещении всех этих проблем Успенский выступает как подлинный писатель-реалист, продолжающий демократические традиции литературы 60-х годов. Это позволило ему приблизиться в своем изображении глубоких противоречий пореформенного развития России к Некрасову и Щедрину.

Рассказы и очерки цикла «Новые времена, новые заботы» писались Успенским в обстановке жестоких цензурных преследований. В 1874 году по постановлению Петербургского цензурного комитета была уничтожена майская книжка журнала «Отечественные записки», где была напечатана повесть Успенского «Очень маленький человек» (см. примечание к этой повести во 2 т. наст. издания). После этого следующий рассказ Успенского («Злые новости») смог появиться в «Отечественных записках» лишь почти через год — в мартовской книжке 1875 года, без подписи. Трудности, возникшие при печатании в «Отечественных записках», заставляли Успенского обращаться в другие журналы — либеральный «Вестник Европы», «Библиотека дешевая и общедоступная» и др., — но и там произведения его очень часто не пропускались, или же издатели сами не решались их печатать. «Работы мои, — писал об этом Успенский 12 апреля 1876 года в письме в Комитет Литературного фонда, — вследствие не зависящих ни от меня, ни от редакции обстоятельств, должны по нескольку месяцев, а иные и более года выжидать удобного времени быть помещенными в журналах». О постоянной, изнурительной борьбе Успенского с цензурой свидетельствуют также письма жены писателя, А. В. Успенской, за 70-е годы (журнал «Минувшие годы», 1908, IV, стр. 9—10). Следствием цензурных запрещений произведений Успенского была тяжелая материальная нужда писателя и его семьи.

Так как цензура не пропускала в печать имени Успенского, писателю пришлось прибегнуть к псевдониму «Г. Иванов», которым он пользовался и позднее, вплоть до начала 1880-х годов. Кроме рассказа «Больная совесть» (появившегося в 1873 году), все остальные очерки и рассказы цикла были подписаны при журнальной публикации этим псевдонимом.

Настороженность по отношению к очеркам цикла «Новые времена, новые заботы» царская цензура продолжала сохранять не только при жизни писателя, но и после его смерти. В 1903 году цензурный комитет не разрешил отдельное издание рассказов «Книжка чеков», «Неплательщики», «На старом пепелище» и «Неизлечимый», мотивируя запрещение тем, что, ввиду своего обличи-

тельного характера, они не могут быть «полезным чтением для народа».

При своем появлении в печати очерки цикла «Новые времена, новые заботы» не вызвали такого широкого обсуждения в современной критике, как предшествовавший им цикл «Разоренье» или последующий «Из деревенского дневника». Наиболее оживленную полемику возбудил очерк «Больная совесть», явившийся первым выступлением Успенского в жанре художественной публицистики. Реакционная критика в лице В. Г Авсеенко сделала попытку истолковать этот очерк как славянофильскую защиту патриархально-крепостнических порядков. Это вызвало ответное выступление Н. К. Михайловского на страницах «Отечественных записок». Михайловский дал отпор реакционной критике. Он подчеркнул большой общественный смысл «очень тонкой и любопытной» параллели между Западной Европой и Россией в 70-х годах, данной Успенским. Комментируя очерк «Больная совесть», Михайловский писал, что те противоречия, которые писатель наблюдал в буржуазных странах Запада, в России находились еще в «зародышевом состоянии». («Отечественные записки», 1873, № 3, стр. 165).

Из других рассказов и очерков цикла внимание современной критики привлекли «Хочешь-не-хочешь», «На старом пепелище», «Неизлечимый», «Голодная смерть».

Рассказ «На старом пепелище» завершал напечатанную в 1876 году в «Отечественных записках» серию Успенского «Люди и нравы». Это позволило демократической критике в связи с оценкой этого рассказа высказать свою общую оценку всей серии. «Публика пропустила, — писал К. М. Станюкович, — ...прелестнейшие очерки, печатавшиеся в прошлом году в «Отечественных записках» под названием «Люди и нравы». Там нет описаний гостиных, нет описаний обедов, но там есть такие поразительные страницы, такие живьем взятые сцены из жизни людей, ничего общего не имеющих с миром будуаров, там художник ставит вам такие вопросы, после которых читателю, не потерявшему еще совсем совести, делается как-то жутко. Именно жутко. Жутко за прошлое, за настоящее и будущее. А публика и критика пропустили эти тонкие наблюдения г. Иванова, под псевдонимом которого скрывается один из любимых и симпатичных наших народных писателей» («Новости», 1877, № 23 от 23 января). Аналогичную оценку серии «Люди и нравы» дал А. М. Скабичевский («Биржевые ведомости», 1877, № 20 от 21 января).

При подготовке каждого из трех изданий собрания сочинений очерки и рассказы цикла подвергались Успенским правке художе-

ственно-стилистического порядка. При этом в двух очерках («Неплательщики» и «Больная совесть») писателем были сделаны довольно значительные купюры по сравнению с журнальным текстом с целью усиления идейно-тематического единства всего цикла.

1. КНИЖКА ЧЕКОВ

(Эпизод из жизни недоимщиков)

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1876, № 4.

Рассказ «Книжка чеков» принадлежит к числу наиболее выдающихся произведений демократической литературы 70-х годов. Он стоит в одном ряду с теми произведениями Некрасова и Щедрина, в которых реалистически изображено тяжелое положение русской деревни и развитие капитализма в первые десятилетия после реформы. Успенскому удалось дать в рассказе ряд больших социальных обобщений: таковы история «распоясовцев», обобранных помещиком после «освобождения», образ предприимчивого купца Ивана Кузьмича с его магической «книжкой чеков» и формулой «человек-полтина», закабаляющего разоренных помещиком крестьян. Чувством глубокого трагизма проникнуто описание «оживления» распоясовской округи под влиянием капитала — оживления, более похожего, по словам писателя, «на опустошение, на исчезание, на смерть».

В основу рассказа Успенский положил реальные факты.

Осенью 1874 года, посетив своего брата Александра Ивановича, лесничего в засеке Тульской губернии, писатель оказался свидетелем насильственного переселения и сноса дворов крестьян села Переволоки Крапивенского уезда по требованию помещика, так как к последнему после реформы отошла земля, на которой находилось село. Из письма брата Успенский, находясь в Париже, узнал, что после переселения крестьяне попали в руки кулака, купившего имение бывшего их владельца («Воспоминания И. И. Успенского» — в книге «Летописи Государственного литературного музея», кн. 4. «Глеб Успенский», М., 1939, стр. 351—352).

Тема капитализма, надвигавшегося на русскую деревню, волновала Успенского с начала 70-х годов. Кроме «Книжки чеков» эта тема была поставлена писателем в двух других рассказах 1875 года — «Злые новости» и «Оживленная местность» (второй из них, напечатанный после смерти писателя в 1910 году, является, вероятно, первоначальным наброском III, IV и V глав «Книжки чеков» или попыткой переработки их, приспособленной к требованиям цензуры).

Рассказ «Книжка чеков» был закончен Успенским в январе 1875 года и при посредстве И. С. Тургенева, высоко оценившего

его, послан в журнал «Вестник Европы». Однако редакция «Вестника Европы» не решилась напечатать «Книжку чеков». После этого Успенский передал рассказ в «Отечественные записки», но и здесь он смог появиться лишь год спустя, вместе с очерком «Неплательщики». По словам жены писателя, «статью всю ободрали в цензуре». Так как рукопись рассказа в настоящее время неизвестна, определить объем и характер цензурного вмешательства невозможно. Мы знаем только, что в доцензурной редакции переселение распоясовцев было вызвано желанием управляющего выгодно сдать землю под винокуренный завод.

15 (27) февраля 1875 года Тургенев прочитал отрывок из «Книжки чеков» (под заглавием «Ходоки») на литературно-музыкальном утре в салоне П. Виардо в пользу русской студенческой читальни в Париже. Успенский сообщал об этом Н. К. Михайловскому в начале марта 1875 года: «Тургенев прочел мой рассказ «Ходоки», и прочел превосходно». Чтение имело большой успех, публика горячо вызывала автора.

Стр. 10 *Аллегри* — лотерея, устраиваемая в общественных собраниях и разыгрываемая тотчас по покупке билета.

Стр. 12. *«Вороти назад, держи около»* — из стихотворения А В. Кольцова «Лес».

Стр. 26. *...желтую-то бумажку* — рубль.

Стр. 30. *Зеленая* — трехрублевая бумажка.

2. НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

Напечатано впервые (вместе с предыдущим рассказом «Книжка чеков») в «Отечественных записках», 1876, № 4.

В основу очерка легли наблюдения Успенского во время службы в Калуге в управлении Сызрано-Вяземской железной дороги, куда писатель вынужден был поступить осенью 1875 года. Прослужив здесь около пяти месяцев, Успенский оставил службу. О причинах своего решения он писал 14 марта 1876 года Н. К. Михайловскому: «Место... я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, — а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле, там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не по-

могли эти острые двухдвугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают неповинного ни в чем обывателя».

В конце 60-х и начале 70-х годов в России началось усиленное строительство железных дорог. Правительственные субсидии и гарантии вели к росту богатства крупнейших железнодорожных капиталистов-концессионеров. При строительстве железных дорог в погоне за прибылью концессионеры не считались ни с государственными интересами, ни с местными нуждами. Это делало дороги нерентабельными, вызывало необходимость в новых правительственных субсидиях, которые влекли за собой увеличение податей и других поборов с крестьянства. Описывая судьбу новой «питательной ветви» (которая оставалась «пустым местом», пока Иван Кузьмич не поставил ее себе на службу, довершая разорение распоясовского обывателя), Успенский принял участие в борьбе Некрасова («Железная дорога», «Современники»), Щедрина («Дневник провинциала в Петербурге») и других представителей передовой демократической литературы и публицистики 60—70-х годов против железнодорожного хищничества.

Центральной проблемой очерка является вопрос о судьбе «неплательщика»-интеллигента в условиях капитализма. Успенский отразил процесс, сущность которого В. И. Ленин выразил в следующих словах: «Капитализм во всех областях народного труда повышает с особенной быстротой число *служащих*, предъявляет все больший спрос на интеллигенцию... капитализм все более и более отнимает самостоятельное положение у интеллигента, превращает его в зависимого наемника, грозит понизить его жизненный уровень» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 183). Успенский не разделял народнических представлений об интеллигенции как об единой, независимой группе, по своей природе противоположной буржуазии. Он показал формирование в России после реформы 1861 года буржуазной интеллигенции, материальные интересы которой привязывали ее к господствующим классам, обрисовал ее моральную опустошенность. Жизнь буржуазной интеллигенции, которая помогала концессионерам «пережевывать неповинного ни в чем обывателя», по словам писателя, — «мученье», «ужас, что такое, только не жизнь».

Стр. 31. *Неплательщики* — представители неподатных сословий, в противоположность податным — крестьянам, мещанам. В этом и других очерках автор называет так интеллигенцию.

Стр. 33. *...распоясовец, превращенный... в истинного Лира...* — то есть выгнанный из дома и доведенный до крайней нищеты, подобно королю Лиру в одноименной трагедии Шекспира.

Стр. 37. *«Аида»* (1871) — опера Д. Верди (1813—1901); *«Африканка»* (поставлена посмертно, 1865) — опера Д. Мейербера (1791—1864).

— *«Парижская жизнь»* (1866) — оперетта Ж. Оффенбаха (1819—1880).

— *Рубинштейн* — повидимому, речь идет о пианисте Н. Г Рубинштейне (1835—1881), охотно дававшем концерты в провинции. *Давыдов* — вероятно, К. Ю. Давыдов (1838—1889), известный виолончелист-виртуоз.

— *Меломан* — любитель музыки.

— *Конкомбр* (франц. concombre) — огурец.

Стр. 38. *Булонский лес* — парк в западной части Парижа, традиционное место гуляний аристократической и буржуазной публики.

Стр. 40. *Оптина пустынь* — монастырь в бывшей Калужской губернии.

— *Стуколка* — азартная игра в карты.

Стр. 46. *...под топором Ляпунова* — пародийное использование стиха из драмы Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский»: «Пей под ножом Прокопа Ляпунова!».

3. ХОЧЕШЬ-НЕ-ХОЧЕШЬ

Впервые напечатано в журнале «Отечественные записки», 1876, № 9.

В очерке намечена одна из основных тем всего цикла—тема «болезни русского сердца». Так Успенский определяет моральное состояние, которое было характерно для различных слоев русского общества пореформенной поры, в особенности для интеллигенции. Успенский показывает, что падение крепостного права было вместе с тем «отменой целой крепостной философской системы». Оно способствовало пробуждению в массах «новой, светлой мысли», вступившей в борьбу с унаследованными от прошлого понятиями и привычками. Эта борьба и порождала те разнообразные явления, которые писатель обобщенно называет «болезнью сердца». Огромная масса народа, пробужденная ломкой крепостнических порядков, начинала сознавать, как стремится показать Успенский, невозможность жить по-старому и, повинуясь голосу исторической необходимости, должна была вступить на путь искания новых форм жизни. Отсюда заглавие очерка: «Хочешь-не-хочешь». Борьбу между новыми и старыми понятиями Успенский раскрывает на судьбе героев рассказа — самого рассказчика и его отца, у которых проснулась мысль о долге перед народом.

В начале очерка Успенский выступает против французских бур-

жуазных писателей-натуралистов, у которых «взгляд на человеческую природу доведен до такой простоты», что «романиста начинает заменять зоолог». В противоположность натуралистам Успенский считает, что задача «большого художника с большим сердцем» показать пробуждение в массах неудовлетворенности буржуазным строем, принижающим человека, показать стремления народных масс к новым, более справедливым и человеческим условиям жизни, обрисовать их внутренний духовный мир. Одновременно с настоящим очерком Успенский собирался написать специальную статью против натурализма «Брем и Золя» (письмо А. В. Каменскому от 9 мая 1875 года). Выступление Успенского против писателей-натуралистов перекликается с той беспощадной критикой французского натурализма, которую дал М. Е. Салтыков-Щедрин в своей книге «За рубежом».

Тема «опрощения», разрыва со своей средой и «ухода в народ», определяющая судьбу героев рассказа, тесно связана с идеями, характерными для демократической интеллигенции 70-х годов. В дальнейшем Успенский ярко обрисовал в своих очерках и рассказах различные формы «хождения в народ», получившие распространение не только среди интеллигенции народнического толка, но и среди довольно широких слоев дворянско-буржуазной интеллигенции (цикл «Непорванные связи», 1880, и др.). Успенский показал не только те различные цели, которые влекли интеллигенцию «в народ», но и неизбежный крах ее попыток «слиться» с народом.

Стр. 65. *Корпус* — фирма Герман Корпус, известный магазин готового платья в Петербурге.

4. НА СТАРОМ ПЕПЕЛИЩЕ

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1876, № 10.

Рассказ написан в августе — сентябре 1876 года. Успенский описал в нем впечатления от посещения своего родного города Тулы, который он покинул в 1856 году и где снова побывал в 1870 и 1874 годах. По свидетельству дяди писателя Д. Г. Соколова, образ главы калашниковской семьи, фанатического чиновника-администратора, суровый деспотизм которого наложил тяжелую печать на нравственный облик его детей и ближайших потомков, наделен чертами деда писателя Г. Ф. Соколова (Дм. Васин. Глеб Иванович Успенский — журнал «Русское богатство», 1894, VI, стр. 48). Как и в «Разоренье» при изображении птицынского разоренного «гнезда», в настоящем рассказе при описании истории распада и нравственного разложения семьи Калашниковых Успенский

воспользовался воспоминаниями о семьях своих родителей и их тульских знакомых (происходивших из той же чиновничьей среды).

Начало рассказа характеризует отношение Успенского к современной ему литературе и формулирует его собственную литературную позицию. «Лучший русский журнал», о котором говорит здесь автор, — это «Современник» 50-х годов. Говоря о печатавшихся здесь романах, в которых был выведен «лучший человек тогдашнего времени», но отсутствовал «мужик» и действие происходило в «помещичьей гостиной», Успенский имеет в виду романы И. С. Тургенева, в частности роман «Рудин», напечатанный в «Современнике» в 1856 году. Успенский высоко ценил Тургенева, но в этом и в других своих высказываниях о нем отмечал либерально-дворянский характер взглядов великого писателя. Если Успенского не удовлетворял герой дворянской литературы 50-х годов, далекий от жизни народа, то не удовлетворяли его и герои произведений таких народнических писателей 60—70-х годов, как А. К. Шеллер-Михайлов, Н. Ф. Бажин, И. В. Федоров-Омулевский. Все эти романисты (группировавшиеся вокруг журнала «Дело») стремились создать образы «новых людей», но при этом они исходили из неправильной народнической теории активных «героев» и пассивной «толпы», ждущей от «героев» подвига; они идеализировали героев своих произведений и изолировали их развитие от окружающей действительности. В противоположность «романистам новых людей» Успенский защищает реалистические традиции революционно-демократической литературы. Он требует, чтобы писатель рисовал не условные «образцы», а исходил из русской общественной жизни со всей ее действительной сложностью, порожденной борьбою старого и нового.

Здесь же Успенский анализирует общественные причины, способствовавшие распространению и популярности переводной бульварной литературы, поток которой резко увеличился в 70-х годах. Как позднее Горький («В людях»), Успенский показывает, что причиной известной популярности бульварной литературы у демократического читателя была потребность этого читателя вырваться из окружавшей его гнетущей действительности, его потребность хотя бы в фантастических идеалах «добродетели, красоты, невинности».

Описание конторы «Кавказско-погибельной железной дороги» перекликается с очерком «Неплательщики» (см. примечание к этому очерку).

Стр. 106. *Салме* — рагу из жареной дичи.

Стр. 108. *«Похождения Рокамболя»* — серия романов французского бульварного романиста Понсон дю-Террайля («Похождения

Рокамболя», «Парижские драмы» и «Воскресший Рокамболь») была издана в русском переводе в одиннадцати томах в Петербурге в 1867—1868 годах.

Стр. 111. *«Тайны мадридского двора»* — роман Г. Борка. Русский перевод его под заглавием «Изабелла, или Тайны мадридского двора. Исторический роман из времен новейшей Испании» вышел в 1874 году.

Стр. 112. *Тюйльери* — резиденция Наполеона III.

— *Императрица Евгения* — жена Наполеона III.

Стр. 128. *...разыгрывали нечто из «Прекрасной Елены».* — «Прекрасная Елена» (1864) — оперетта Ж. Оффенбаха. Ставилась на сцене Михайловского театра в 70-х годах.

— *...(читай Беккера)...* — С. У. Бекер (1821—1893) — английский исследователь Африки. Его «Путешествие к верховьям Нила» вышло на русском языке двумя изданиями в 1868 и 1875 годах.

Стр. 145. *...о какой-то книге и, разумеется, о том, что делать.* — Имеется в виду роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», из которого (как видно из текста рассказа дальше) Верочка Калашникова и ее муж восприняли идею организации артели.

Б. НЕИЗЛЕЧИМЫЙ

Впервые напечатано под названием «Из памятной книжки» в «Отечественных записках», 1875, № 9.

Рассказ написан в мае — июне 1875 года и предназначался для журнала «Библиотека дешевая и общедоступная» (см. об этом в примечании к очеркам «Из памятной книжки» на стр. 450 наст. тома).

Основная тема рассказа — тема пробудившейся мысли — связывает его с очерком «Хочешь-не-хочешь». Как и в этом последнем очерке, Успенский показывает в «Неизлечимом» пробуждение совести у человека, сформировавшегося в условиях старых, крепостнических порядков и отравленного ими. Отсюда и название рассказа «Неизлечимый». Название это рассказ получил не сразу: оно появилось лишь в 1883 году, в первом издании собрания сочинений Успенского. В более раннем сборнике «Из памятной книжки» (1879) рассказ был напечатан под заглавием «Больной».

Сочинение «До человека», которое пытается читать дьякон, — цикл статей одного из идеологов народничества, публициста и социолога П. Л. Лаврова («Отечественные записки», 1870, I—III), представляющих очерк развития природы «до человека». Возможно, что Успенский из цензурных соображений заменил названием этого сочинения Лаврова название его главной книги — «Исторических

писем» (1870), в которой Лавров развил свою идеалистическую теорию исторического прогресса. По свидетельству друга Успенского, революционера-народника А. И. Иванчина-Писарева, ироническая характеристика стиля философских статей Лаврова, которая содержится в «Неизлечимом» («Дьякон прочел какой-то очень сложный период, спотыкаясь на каждом шагу, — точно плелся он без дороги по какому-то изрытому полю...»), очень задела Лаврова. Последний увидел в рассказе Успенского подтверждение падения своего авторитета в России и своего влияния на молодежь. «Да, — говорил Лавров, — этот рассказ Успенского — лучшее доказательство, что мои писания не удовлетворяют» (журнал «Былое», 1907, № 10, стр. 52).

Рассказ «Неизлечимый» вызвал сочувственный отклик Щедрина, который, ознакомившись с ним, писал 2 (14) октября 1875 года Некрасову: «Повесть Успенского — прелесть. Жаль, что в конце концов видна некоторая небрежность, как будто писать надоело».

Стр. 165. *...даже и в «Русском слове» не сказано прямо так.* — Успенский имеет в виду статьи, печатавшиеся в 1860-х годах в журнале «Русское слово», в которых с упрощенной, вульгарно-материалистической точки зрения трактовались вопросы о происхождении сознания и о природе высшей нервной деятельности человека (Ф. М. Флоринский. Усовершенствование и вырождение человеческого рода, 1865; Н. В. Шелгунов. Болезни чувствующего организма, 1864, и др.).

Стр. 167. *Шлоссер* Фридрих (1776—1861) — немецкий буржуазный историк, автор «Всемирной истории».

Стр. 169. *Хелиасты* (правильно — хилиасты) — верящие в церковное учение о «тысячелетнем царстве» после «второго пришествия Христа на землю». О хилиастических учениях упоминается в «Исторических письмах» П. Л. Лаврова.

Стр. 172. *...почитай-ко, что у Бокля сказано.* — Бокль Генри-Томас (1821—1862) — английский либерально-буржуазный историк и социолог, автор «Истории цивилизации Англии»; в 60-е и 70-е годы книга Бокля была популярна в некоторых кругах демократической интеллигенции.

— *Бисмарк* Отто фон Шёнгаузен (1815—1898) — немецкий государственный деятель и дипломат, основатель юнкерско-буржуазной Германской империи, один из вдохновителей европейской реакции в конце XIX века. Успенский в ряде очерков («Громы небесные», «Грехи тяжкие» и др.) критиковал реакционную политику Бисмарка.

6. НЕ ВОСКРЕС
(Из разговоров про войну)

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1877, № 2.

Рассказ явился отражением впечатлений Успенского от поездки на места военных действий во время сербо-турецкой войны 1876 года. Кроме настоящего рассказа, впечатления от этой поездки легли в основу серии корреспонденций Успенского, печатавшихся в газете «С.-Петербургские ведомости» и в «Отечественных записках» 1876—1877 годов, которые писатель позднее объединил под названием «Письма из Сербии».

Сербо-турецкая война 1876 года была одним из звеньев многовековой национально-освободительной борьбы южнославянских народов Балканского полуострова против турецкого ига. Успенский, как и вся передовая часть русского общества, сочувствовал борьбе южного славянства за свою независимость. Он относился с большим интересом и к русскому добровольческому движению, которое отражало сочувствие широких народных масс России освободительным стремлениям народов Балканского полуострова.

В результате своей поездки в Сербию Успенский увидел, что сербо-турецкая война имела двойственный характер. В то время как народные массы боролись в ней за свое освобождение и за уничтожение феодального гнета, сербская буржуазия, по выражению писателя, вела борьбу «из-за свинины», преследовала в войне свои узко-корыстные классовые цели. С аналогичной, демократической точки зрения Успенский подходил и к русскому добровольческому движению. Он высоко оценивал бескорыстную помощь и героизм русского простого человека и относился глубоко отрицательно к самодержавию и правящим классам России, стремившимся использовать добровольческое движение в своих интересах, укрепить с его помощью свое положение на международной арене и внутри страны. Эта демократическая оценка войны и добровольческого движения и отразилась в рассказе «Не воскрес», в котором Успенский подвел итоги своим раздумьям, вызванным сербо-турецкой войной. Делая героем рассказа интеллигента, испытавшего в прошлом влияние революционных кругов, но не сумевшего подняться до цельных и последовательных передовых убеждений, Успенский заставляет Долбежникова на личном опыте понять, с одной стороны — гнусность войны «за свинину», за дележ барышей между буржуазией разных стран, и, с другой стороны — величие борьбы за свободу, за уничтожение капиталистической эксплуатации и национального гнета.

Рассказ «Не воскрес» привлек к себе пристальное внимание

В. И. Ленина. В числе выписок из книг и газет, собранных Лениным в сентябре — октябре 1914 года для неосуществленной брошюры «Европейская война и европейский социализм», сохранилась выписка из рассказа «Не воскрес», сделанная по указанию Ленина Н. К. Крупской, с заголовком рукою Ленина («Война за свинину (Успенский)») со слов: «После этой войны я только их и считаю настоящими героями» (стр. 206) до слов: «Действительно выходило, как будто из-за свинины вышло все дело» (стр. 207; Ленинский сборник, т. XIV, М.—Л., 1930, стр. 38—39). Эту выписку Ленин намеревался использовать в задуманной им брошюре, посвященной анализу империалистического характера первой мировой войны.

Стр. 204. *Кафана* (сербск.) — кофейня, кафе.

Стр. 205. *Это именно необыкновенные люди!* — «Необыкновенными людьми», «настоящими героями» Долбежников здесь и ниже называет русских революционеров-народников. Успенский имел в виду, в частности, П. Л. Лаврова, который в своем зарубежном нелегальном органе, газете «Вперед», выступил с разоблачением истинных целей самодержавия в славянском вопросе. Лавров указал, что царизм поддерживает династические интересы сербских князей, а не интересы сербского народа. Из каждой капли крови, льющейся на войне, писал Лавров, «пытаются извлечь себе выгоды политические партии или финансисты разных стран» («Вперед», 1876, № 42 от 1 октября, стр. 595—596). Эту статью Лаврова К. Маркс охарактеризовал как «акт большого морального мужества» («Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», 2-е изд., 1951, стр. 217).

Стр. 215. *...принимаюсь за чтение... Гуака.* — «Гуак, или Непреоборимая верность. Рыцарская повесть» — одна из распространенных лубочных книг.

Стр. 216. *Землин* — город на правом берегу Дуная, при впадении реки Савы, против Белграда.

— *...спавшими богатырями францыль-венецианами.* — Францыль Венциан — герой лубочной книги «История о храбром рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королевне Ренцывене».

7. ГОЛОДНАЯ СМЕРТЬ

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1877, № 6.

Тема рассказа — пробуждение в забитом и запуганном крестьянском мальчике-самоучке сознания несправедливости существующего

порядка вещей и желания помочь народу — тесно связана с одной из основных идей цикла — о зарождении мысли в массах под влиянием «новых времен».

В 1873 году Успенский, изучив дневники и письма писателя-демократа Ф. М. Решетникова, написал биографический очерк о нем. Тяжелая жизнь Решетникова, сына почтальона, сироты, упорным трудом пробившего себе дорогу в литературу и посвятившего свою деятельность борьбе за народное благо, дала Успенскому материал для настоящего рассказа, героя которого Успенский назвал именем автора «Подлиповцев».

Говоря в рассказе о чтении героем книг, которыми в 60-е годы интересовалась «вся грамотная Россия» (то есть произведений Чернышевского, Добролюбова, Некрасова), Успенский подчеркивает влияние революционно-демократической литературы 60-х годов на умственное пробуждение людей из народа.

Стр. 226. *...пришел квартальный и сказал: «можно!»* — Стремясь использовать борьбу славян Балканского полуострова за освобождение в своих политических интересах, в частности желая отвлечь внимание демократических слоев от положения внутри страны, царское правительство разрешило в 1876 году деятельность славянского благотворительного комитета, собиравшего средства в пользу балканских славян.

Стр. 239. *Горбуновский рассказ.* — Имеются в виду юмористические рассказы и сценки И. Ф. Горбунова (1831—1895) из народного быта.

Стр. 240. *Ливадия* — название увеселительного заведения в Петербурге.

Стр. 245. *Подвести под сикурс* — подвести под удар, под неприятность.

8. ТРИ ПИСЬМА

(Из воспоминаний „безнадежного")

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1878, № 3 и № 4, с подзаголовком «Из воспоминаний Долбежникова (см. «Не воскрес»)».

В рассказе (в лице рассказчика и его друга) противопоставлены два типа интеллигентов-разночинцев 70-х годов. Если рассказчик, переживший в молодости под влиянием революционного возбуждения «61 и 62 года» период увлечения передовыми идеями, кончил службой в провинциальном банке, то его друг (названный в

рассказе «иностранцем») сделал живое, конкретное дело для людей, пожертвовал собой для того, чтобы возродить к нормальной, трудовой жизни трех брошенных на произвол судьбы детей. Сравнивая между собой жизненный путь обоих героев, Успенский отдает предпочтение «иностранцу», так как жизнь его — в отличие от жизни его друга — принесла реальные положительные плоды. Но вместе с тем путь, избранный «иностранцем», также не удовлетворяет писателя. Призывая интеллигенцию к служению народу, Успенский требует от нее не стихийных, разрозненных действий, а борьбы за общий подъем жизни и благосостояния народных масс, освещенной сознательной общественной программой. Скептическое освещение писателем практических результатов «подвига» «иностранца» в конце очерка отражает критическое отношение Успенского к проповедовавшимся П. Л. Лавровым методам медленного, постепенного прогресса.

Прототипом «иностранца», как указал В. Г. Короленко, явился товарищ Успенского по тульской гимназии Н. Е. Битмит (1842—1886), сын обрусевшего англичанина. Его воспитанниками были дети разорившегося оренбургского помещика Качки. В конце 1870-х годов Битмит сблизился с революционно-народническими кругами, был арестован и выслан за границу. В. Г. Короленко, который в молодые годы был знаком с воспитанниками Битмита, писал о них, что это были «молодые люди, производившие очень приятное впечатление. Оба были хорошими рабочими-слесарями» (В. Г Короленко. История моего современника, кн. 2. Гослитиздат, М., 1935, стр. 302—306).

В изображении семьи рассказчика и его юношеских стремлений нашли отражение воспоминания самого писателя о своей семье и своих настроениях в начале 60-х годов.

Стр. 252. *Живодерка* — улица в Москве.

Стр. 255. *«Полицейские ведомости»* — газета «Ведомости московской городской полиции», в которой печатались объявления.

Стр. 270. *И тут же шла речь о «подводных камнях»* — намек на роман М. В. Авдеева «Подводный камень» (1860), героиня которого, по выражению Щедрина, «не ищет никакой другой свободы, кроме свободы любви».

Стр. 275. *Вефур* — парижский ресторатор.

Стр. 276. *Из контуар* (франц. comptoir) — из конторы.

— *О-буа* (франц. aux bois) — в лес. Здесь имеется в виду Булонский лес, см. прим. к стр. 38.

Стр. 277. *Гарсон* (франц. garçon) — мальчик, слуга в ресторане.

9. БОЛЬНАЯ СОВЕСТЬ

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1873, № 2 и № 4, в качестве начала непродолженной впоследствии серии «Очерки, рассказы, наблюдения и другого рода отрывки из одних записок».

В очерке отразились впечатления, вызванные первой поездкой Успенского за границу в 1872 году. Успенский поехал за границу как корреспондент «Отечественных записок», для которых он собирался написать в результате поездки серию «Парижских записок». Эта серия, однако, не была осуществлена.

Свои заграничные впечатления Успенский изложил в ряде писем к жене от апреля — июня 1872 года. В этих письмах намечены, а иногда и развернуты более широко те же картины западноевропейской жизни, что и в настоящем очерке, в котором Успенский подвел итоги своим раздумьям, вызванным поездкой.

Успенский выехал за границу вскоре после окончания франко-прусской войны и разгрома Парижской Коммуны. В Германии он наблюдал разгул торжествующей военщины после провозглашения германской империи, в Бельгии — нищету рабочих каменноугольных районов, в Париже писатель оказался свидетелем чудовищной расправы победившей буржуазии над участниками Коммуны и французскими рабочими. Все эти впечатления дали писателю материал для той параллели между западноевропейской буржуазной действительностью и русской жизнью пореформенной поры, которая составляет основную тему очерка.

На Западе Успенский увидел бо̀льшую, чем в России, обнаженность классовых противоречий, ясное сознание рабочим классом и буржуазией противоположности своих классовых интересов. В России классовые противоречия в 70-х годах еще не выступали с такой же ясностью, как на Западе, в условиях победившего и упрочившегося капитализма. В то время как европейский рабочий эпохи Парижской Коммуны, по выражению писателя, уже знал, «кто его согнул», и это заставляло буржуазию в борьбе с пролетариатом открыто защищать свое классовое господство, в России народ еще не обладал ясным сознанием причин своего порабощения и путей выхода из него, а господствующие классы прикрывали свою хищническую практику «общечеловеческими» фразами. Противоречивость русской общественной жизни порождала то моральное состояние, характерное для различных слоев русского общества, и прежде всего для интеллигенции, которое писатель назвал «больной совестью»,— ощущение несправедливости существующего порядка вещей, приводившее, однако, лишь к болезненному самоанализу, к внутреннему

разладу и колебаниям, а не к действиям, освещенным сознательной передовой мыслью.

В очерке отчетливо проявился реализм Успенского. Писатель сумел понять противоречивость капиталистического развития и в то же время остаться свободным от идеализации патриархальных пережитков, от свойственного народникам отрицания исторической прогрессивности капитализма по сравнению с крепостничеством.

Мысли, изложенные в «Больной совести», получили дальнейшее развитие в печатающихся в настоящем томе очерках «Из памятной книжки» (1875) и «Заграничный дневник провинциала» (1876). Во всех этих очерках о западноевропейской жизни Успенский во многом предвосхитил направление той революционно-демократической критики экономического строя и политической жизни буржуазных стран Запада, которую через несколько лет после Успенского дал Щедрин в очерках «За рубежом» (1881). Однако Щедрин сумел гораздо более трезво, чем Успенский, описать и те явления, которые сближали западноевропейскую и русскую действительность и свидетельствовали о повороте России после реформы на капиталистический путь развития.

Стр. 308. *Нэй* — Ней Мишель (1769—1815) — наполеоновский маршал, изменивший Наполеону I, а затем во время «Ста дней» снова перешедший на его сторону. Памятник Нею был поставлен Наполеоном III.

Стр. 313. *Мы с героем — дети славы...* — солдатская песня.

Стр. 317. *Луи-Филипп* — французский король (1830—1848) из династии Орлеанов, ставленник финансистов и крупной буржуазии.

Стр. 319. *Шарль-дис* — Карл X, французский король (1824—1830), младший брат Людовиков XVI и XVIII, до вступления на трон носил титул графа д'Артуа. Крайний реакционер, свергнутый Июльской революцией 1830 года.

Стр. 322. *Кроме Наполеона четвертого— никто не будет!*— Реакционная бонапартистская клика провозгласила в 1874 году претендентом на престол сына Наполеона III под именем Наполеона IV.

Стр. 323. *...бесчисленные следы пуль* — от кровавой борьбы на улицах Парижа в 1871 году, при жестоком подавлении правительством Тьера Парижской Коммуны.

Стр. 325. *...одним отделением одной канцелярии.* — Подразумевается «III отделение собственной его величества канцелярии», то есть жандармское управление.

Стр. 327. *Шармер* — модная портновская фирма в Петербурге.

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Рассказы и очерки Успенского 1873—1877 годов, не вошедшие в цикл «Новые времена, новые заботы», по своей тематике тесно с ним связаны. Часть из них (см. ниже примечание к очеркам «Из памятной книжки») по первоначальному замыслу должна была и в композиционном отношении составить единое целое с очерками, вошедшими в состав цикла.

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ПО ОКЕ

Печатается по тексту первой публикации в журнале «Иллюстрированная неделя», 1873, № 2 от 14 января. В прижизненные собрания сочинений очерк не включался.

Замысел очерка связан с первой поездкой Успенского по Волге и Оке в мае 1871 года. Сразу после возвращения из поездки писатель задумал серию посвященных ей очерков. Первый очерк этой серии «Путевые заметки» был помещен в сатирическом журнале В. С. Курочкина «Искра», № 31 от 1 августа 1871 года с примечанием: «Продолжение следует». Успенский рассказал здесь о тяжелом впечатлении, которое произвела на него картина жизни мастеровых и рабочих известного центра кустарных промыслов по производству замков и других железных и стальных изделий — села Павлова (на Оке), грубая эксплуатация их торговцами и скупщиками. «Павловский посад, который я, по простоте, представлял себе цветущим оригинальным русским поселением в привольной местности, с оригинальными простыми нравами, имевшими более возможность сохраниться и развиться здесь, нежели где-нибудь в центральных губерниях, где уж никаких нравов не осталось и следа, — с негодованием писал Успенский, — этот «посад» оказался нищенскою помойною ямою, с грязью, с руганьем, с пьянством выше меры, а главное — с такою ужасною, забивающею бедностью, которой я никогда не видывал».

Настоящий очерк является вторым очерком задуманной Успенским серии. Несмотря на обещание редакции «Искры» поместить продолжение «Путевых заметок», продолжение это не появилось в «Искре» — несомненно, по цензурным причинам. Только через полтора года Успенский смог напечатать данный второй очерк, посвященный, как и первый, быту павловских кустарей, в виде отдельного, самостоятельного произведения в «Иллюстрированной неделе».

Успенский посетил Павлово в период ломки крепостнических отношений и начинающегося развития капитализма. В 1871 году за-

кончились затянувшиеся на десятилетие переговоры между павловскими кустарями и помещиком об условиях их выкупа. Однако еще при крепостном праве павловское общество резко разделялось на две группы: рабочих-мастеровых и эксплуатировавших их торговцев-скупщиков. В своих очерках Успенский правдиво обрисовал эксплуатацию и тяжелую жизнь павловских кустарей, дальнейшую судьбу которых при капитализме описал В. Г Короленко в своих «Павловских очерках» (1890).

ЗЛЫЕ НОВОСТИ

Печатается по тексту первой публикации в «Отечественных записках», 1875, № 3 В прижизненные собрания сочинений очерк не включался.

Очерк «Злые новости» написан Успенским летом 1874 года, вскоре после рассказа «Очень маленький человек». В конце последнего (см. т. 2 наст. издания) Успенский дал обещание рассказать «о положении целой деревни, испытавшей на своем веку... ненужные ей, но настойчиво приводимые в исполнение посторонние влияния». Осуществлением этого замысла и явился очерк «Злые новости», задуманный первоначально в виде «ряда очерков» (Д. П. Сильчевский. Из воспоминаний о Г. И. Успенском — «Новости и Биржевая газета», 1902, № 84 от 26 марта).

После того как рассказ «Очень маленький человек» был уничтожен цензурой, Успенский отказался от продолжения очерков «Злые новости». Настоящий (оставшийся единственным) очерк под этим заглавием почти год пролежал в редакции «Отечественных записок» и появился в мартовской книжке журнала за 1875 год без подписи.

В очерке поставлен вопрос о разрушительном влиянии денег и надвигающихся на деревенскую жизнь новых капиталистических порядков. В то же время Успенский замечает «едва заметную звездочку мысли, явившуюся в массе» и осветившую ее сознание в результате ломки патриархально-крепостнического уклада. Обе эти темы получили дальнейшее развитие в рассказах и очерках, вошедших в цикл «Новые времена, новые заботы» («Книжка чеков», «Хочешь-не-хочешь» и др.).

Стр. 355. *...четыре человека повстанца.* — Здесь и далее речь идет о польском национально-освободительном восстании 1863 года.

ИЗ ПАМЯТНОЙ КНИЖКИ

I. Там знают. II. Люди среднего образа мыслей.

Очерки печатаются по тексту первой публикации в газете «Русские ведомости», 1875, №№ 276 и 277 (от 18 и 19 декабря), и 1876, №№ 101—108 (от 27 апреля — 1 мая). При жизни писателя в собрания его сочинений не включались.

9 мая 1875 года Успенский писал своему другу А. В. Каменскому, издателю журнала «Библиотека дешевая и общедоступная»: «На днях Вы... получите мою статью. Называется она «Из памятной книжки». Я решил все, что думано и что есть у меня в башке теперь, привести в некоторый порядок и печатать так, как думается, в самой разнообразной форме, не прибегая к крайне стеснительным в настоящее время формам повести, очерка... Тут будет при случае и Париж, и деревня, и Петербург». Первым очерком задуманной серии был «Неизлечимый».

Очерки серии «Из памятной книжки» не были напечатаны в «Библиотеке» Каменского (издание которой вскоре прекратилось). Часть из них, посвященная темам из русской общественной жизни, появилась в «Отечественных записках» и впоследствии вошла в цикл «Новые времена, новые заботы», настоящие же два очерка, в которых отразились размышления, вызванные поездкой за границу, попали на страницы «Русских ведомостей», откуда впоследствии они Успенским не перепечатывались.

Первый очерк («Там знают») посвящен впечатлениям от посещения Успенским Парижа и Лондона во время второй поездки писателя за границу, в январе — августе 1875 года. Давая острокритические зарисовки капиталистического Запада, Успенский в эпилоге набрасывает сатирическую картинку возвращения русского путешественника на родину и его столкновения с господствующими здесь чиновничье-полицейскими порядками. Во втором очерке в центре внимания писателя находится тот же самый тип русского интеллигента «среднего образа мыслей», что и в очерках «Неплательщики» и «Больная совесть». Писатель разоблачает здесь ту часть интеллигенции, которая в эпоху реакции 70-х годов отказывалась от демократических идей, предпочитая им высокие оклады и выгодные места на службе у концессионеров и финансистов.

Стр. 361. *Коломенско-индийская, Московско-индийская ж. д.* — названия вымышленные, намекающие на стремление русской буржуазии к новым рынкам, на восток.

Стр. 364. *Гринвичский обед* — обед из разнообразных рыбных блюд, которым славился один из ресторанов в местечке Гринвич (близ Лондона).

Стр. 366. *...недавно тут кого-то убили, зарезали* — намек на расправу версальцев с участниками Коммуны.

Стр. 369. *Господин Париж* — палач.

— *Бок* (франц. bock) — пивная кружка; *мазагран* (франц. mazagran) — холодный черный кофе.

Стр. 370. *Карафон* (франц. carafon) — графинчик, бутылочка.

Стр. 375. *П. Гейзе* (1830—1914) — немецкий поэт и писатель-новеллист. Его роман «Дети века» (1873) был в 1873—1874 годах дважды издан на русском языке и вызвал ряд откликов в русской печати. Успенский имеет в виду выведенный в одной из глав романа Гейзе образ наборщика Рейнгольда Францелиуса, который ведет социалистическую агитацию среди рабочих и подвергается за это полицейским преследованиям.

Стр. 376. *Богомаммонник* — служащий и «богу» и «маммоне», то есть пытающийся сочетать признание «идеалов» с заботой о личном преуспеянии.

Стр. 377. *Влас* — герой одноименного стихотворения Н. А. Некрасова (1854).

Стр. 378. *...расцвел жезл Ааронов* — одно из библейских «чудес», связанное с именем первосвященника Аарона.

Стр. 387. *Ходынское поле* — в 70-е годы пустынная площадь на окраине Москвы, где происходили народные гулянья.

ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ

(Из частного письма, полученного 23 декабря 1875 г.)

Печатается по тексту первой публикации в нелегальной газете «Вперед», издававшейся в Лондоне П. Л. Лавровым, 1876, № 25 от 15 (3) января (в отделе «Что делается на родине»). При жизни Успенского фельетон по цензурным соображениям не включался в собрание его сочинений и не перепечатывался в России. Впервые напечатан в России в 1906 году.

К тексту очерка редакция газеты «Вперед» сделала два примечания:

1. К началу очерка: «Некоторые обстоятельства принудили лицо, передавшее статью в редакцию, заменить как название города, так и имена упомянутых в статье лиц вымышленными названиями и именами».

2. К предпоследней фразе: «Конечно, коммунизм первоначальной христианской общины, существовавший во имя *презрения* ко всему мирскому при ожидаемом конце мира, не имеет ничего общего с общежитием, которое имеют в виду социальные революционеры, требующие всеобщего пользования реальными мирскими благами ввиду всеобщего развития в этом мире».

Фельетон является одним из свидетельств связи Успенского с революционным движением его времени. О симпатии писателя к революционному движению свидетельствует не только самый факт опубликования фельетона в бесцензурном, нелегальном издании, но и его содержание.

С П. Л. Лавровым Успенский познакомился во время своей кратковременной поездки в Лондон в конце июля 1875 года. Об отношении Успенского к философским взглядам Лаврова см. очерк «Неизлечимый» и примечание к нему.

В основу фельетона писатель положил действительные факты, которые он наблюдал в 1875 году, во время своего пребывания в Калуге (переименованной Успенским в Тестоединск). Писатель хотел показать, что, несмотря на дикую расправу царского правительства с революционной молодежью в эпоху реакции 70-х годов, самодержавие было бессильно приостановить рост материалистических и революционных идей. Хотя почти вся революционная молодежь сидела «по тюрьмам, по острогам», «коммунизм» и «вредный материализм» стали грозными призраками, беспокоившими господствующие классы и не дававшими им покоя. Именно эту мысль выражает название фельетона «Шила в мешке не утаишь».

Стр. 395. *Владимир Александрович* — великий князь.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА

Печатается по тексту первой публикации в газете «Русские ведомости», 1876, № 156 от 22 июня. В сборники и собрания сочинений при жизни автора фельетон не включался.

Фельетон написан во время поездки Успенского в Париж, куда он выехал в апреле— мае 1876 года для свидания с женой и сыном. Это — единственный осуществленный фельетон из задуманной писателем серии. Название его перекликалось с заглавием сатирического цикла Щедрина «Дневник провинциала в Петербурге» (1872).

Стр. 400. *Мурья* — темный и тесный угол, каморка.

— *Капораль* (франц. caporal) — капрал, ефрейтор.

Стр. 401. *Фартал* — квартал, полицейский участок.

Стр. 402. *Жомон* (Chaumont) — Шомон — таможня на севере Франции.

Стр. 403. *Мак-Магон* Мари-Эдме (1808—1893) — бонапартистский маршал, президент французской республики (1873—1879), ставленник клерикально-монархических кругов.

Стр. 404. *Дебаты об амнистии.* — В мае 1876 года Виктор Гюго, Луи Блан и другие левые республиканцы начали кампанию за амнистию сосланным и заточенным коммунарам. 22 мая В. Гюго выступил с речью об амнистии на заседании палаты депутатов. Амнистия была отклонена вследствие противодействия реакции во главе с Мак-Магоном и из-за предательской тактики либералов и их лидера Гамбетты.

— *Нумея, Новая Каледония, Кайенна* — места ссылки парижских коммунаров.

Стр. 405. *Филадельфийская выставка* — всемирная промышленная выставка в Филадельфии, устроенная в 1876 году к столетию провозглашения независимости Соединенных Штатов.

Стр. 407. *Гамбетта* Леон (1838—1882) — французский либерально-буржуазный политический деятель, сторонник соглашательства с правыми партиями. В угоду правящей буржуазии Гамбетта высказался против амнистии коммунарам.

— *Вильмессан* Жан-Ипполит-Огюст (1812—1878) — французский буржуазный журналист, основавший в 1854 году реакционную бульварную газету «Фигаро».

Стр. 407. *Речь В. Гюго на могиле Ж. Занд* была произнесена 10 июня 1876 года.

Стр. 409. *Мерже* — руководитель конгресса учащейся молодежи в Париже в 1876 году.

— *Пьер Гюгенен* — герой романа Жорж Занд «Странствующий подмастерье» (1840).

— *Распайль* Франсуа-Венсан (1794—1878) — французский ученый и демократический политический деятель, участник революций 1830 и 1848 годов.

Стр. 410. *Пиетри* Жан-Мари (1810—1864) — префект парижской полиции при Наполеоне III; в целях борьбы с революционным движением создал организацию шпионов и провокаторов.

— *Поль Кассаньяк* (1843—1915) — реакционный журналист и политический деятель, лидер клерикальной группы бонапартистов, в своей газете «Pays» призывал к бонапартистскому перевороту.

Стр. 411. *Ульбах* Луи (1822—1889) — прогрессивный французский журналист и литературный критик, республиканец.

ЗА МАЛЫМ ДЕЛО

Печатается по тексту «Газеты Гатцука», 1890, № 1 от 12 января и № 2 от 20 января. В прижизненные собрания сочинений рассказ не входил.

Первоначальная редакция рассказа под заглавием «Грамотный» была напечатана в журнале «Пчела», 1877, № 4 от 23 января.

Центральный образ рассказа — образ способного крестьянского мальчика, тянущегося к знанию, — напоминает образы других хронологически близких рассказов Успенского, посвященных теме пробуждения мысли в массах, — «Очень маленький человек» (см. т. 2 наст. издания) и «Голодная смерть». В отличие от героев этих двух произведений герой рассказа «За малым дело» забывает о своем детском стремлении к знанию, к справедливости и под влиянием «уроков» своего хозяина становится кулаком-мироедом.

Успенский продолжает традицию революционных демократов 60-х годов, критикуя либерализм дворянско-буржуазной интеллигенции, показывая ее неспособность оказать действительную помощь народу. Рисуя в лице Федора Петровича тип либерального «пустомели», обманывающего народ своим мнимым сочувствием, а на деле не желающего помочь ему даже «малым», Успенский противопоставляет либеральным «пустомелям» людей молодого поколения, ищущих путей для того, чтобы стать действительно полезными народу.

Стр. 425. *Шер-ше ля-фам* (франц. cherchez la femme) — ищите женщину.

Стр. 426. *...в старину живали деды во всех отношениях лучше своих внучат* — перефразировка слов хора из оперы «Аскольдова могила» (1835; музыка А. Н. Верстовского, слова М. Н. Загоскина).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЕ ВРЕМЕНА, НОВЫЕ ЗАБОТЫ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

Редактор В. И. Морозова
Художник А. Я. Малков
Художественный редактор А. М. Гайденков
Технический редактор Л. П. Крючкина
Корректор М. К. Михалева

Подписано к печати 15/XII 1955 г. М-49726. Бумага 84×108$^{1}/_{32}$ — 28,5 печ. л. = =23,57 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 23,02+6 вкл. = 23,32 л. Тираж 150 000 экз. Заказ № 793. Цена 11 р.

Гослитиздат, Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 23.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 4-я тип. им. Евг. Соколовой. Ленинград, Измайловский пр., 29.

11 р.

ГОСПОЛИТИЗДАТ
1956